95 коп. Индекс 73276

В последних номерах 1990 года и в 1991 году журнал «НЕВА» планирует опубликовать:

Даниил Гранин. «Наш дорогой Роман Авдеевич», повесть

Владимир Дружинин. «Именем Ея Величества...», исторический роман

Анатолий Злобин. «Мешок законов», фантасмагория

Дмитрий Лихачев. «Как мы остались живы», блокадные записки

Юрий Рытхэу. «Интернат», повесть

Юрий Слепухин. «Час мужества», роман

Александр Солженицын. «Красное колесо» («Март Семнадцатого», том II)

Аркадий и Борис Стругацкие. «„Жиды города Питера“, или Невеселые беседы при свечах», фантастическая комедия

Феликс Светов. «Тюрьма», роман

Лидия Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой», книга вторая, 1940—1949 гг.

Михаил Чулаки. «Анабасис», роман

Владимир Шаров. «Репетиции», роман

Журнал продолжает знакомить своих читателей с творчеством лауреатов Нобелевской премии. В 1991 г. будут опубликованы «Смерть Агасфера» и «Пилигрим в море» П. Лагерквиста (перевод со шведского). В разделе публицистики «Невы» найдет отражение широкий круг проблем современности, будет продолжен дискуссионный разговор под рубрикой «Политический клуб „Альтернатива“».

Подписка на журнал принимается без ограничений



«Нева», 1990, № 8, 1—208

НЕВА 8/1990

8/1990

ISSN 0130—741X

Г. ГОРБОВСКИЙ
Стихи

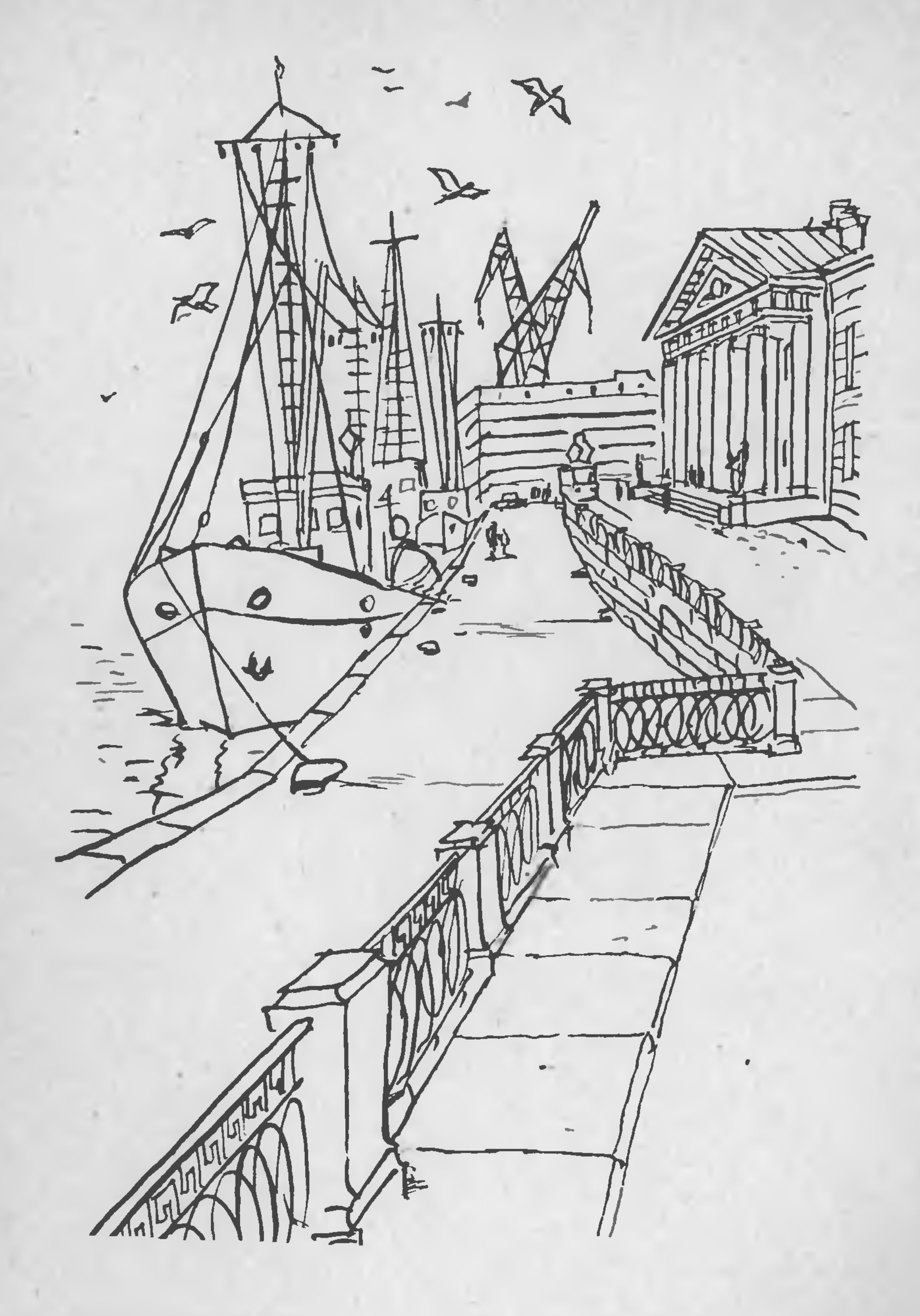
В. СУРОВ
Зал ожидания
Повесть

Нева

Р. КОНКВЕСТ
Большой террор

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

А. ПОХМЕЛКИН,
В. ПОХМЕЛКИН
Война с преступностью и мир насилия



«Ленинградский мотив»

Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

Нева

8/1990

Выходит с апреля 1955 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Письма из эмиграции

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА



Ленинград
«Художественная литература».
Ленинградское отделение

Старший технический редактор Г. В. Александрова
Корректоры А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова

Сдано в набор 27.04.90. Подписано к печати 29.06.90. М-22934. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,64 усл. кр.-отт. 23,18 уч.-изд. л. Тираж 615 000 экз. Заказ № 266. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Глеб ГОРБОВСКИЙ

Улыбка

Он стоит на краю океана
там, где суша являет обрыв,
улыбаясь смиренно и странно,
обреченно и несколько вкривь.

Словно гнали его, от рожденья,
батогами и свистом бичей
сквозь Россию — к заливу Терпенья —
в свете белых и черных ночей.

Все пытались напялить гримасу
вместо кроткой улыбки — ему,
но блаженная мета ни разу
не сошла с его лика во тьму.

Он стоит на краю у обрыва,
ветер воет, истошен и груб!
Но ничто лучезарного дива
не сотрет с цепенеющих губ.

◆◆◆

По шпалам сквозь бурьян
в поношенном пальто
в безбрежный океан
по имени Ничто.

Минуя явь, что вся
была — то бред, то жуть,
чего уже нельзя
отвергнуть и вернуть.

По шпалам дивных лет
в заоблачную высь.
Привет тебе, привет,
немеркнущая жизнь!

Возвышенная роль,
Божественная быль,
без коих все мы — ноль,
космическая пыль...

Запотевшие очки

Барак на дальней лесосеке.
Мороз снаружи. А внутри —
на нарах люди-человеки,
времянка-печь красней зари!
Клубится пар отверзтой двери,
как будто дым, как будто взрыв.
И человек, войдя, растерян,
стоит, глаза рукой прикрыв.
Его силенки на пределе,
войдя в барак, он вдруг ослеп:
его очечки запотели...
И весь он жалок и нелеп.
И можно делать с ним, что хочешь:
пинать, крутить вокруг оси,
ное мазать сажей, мозг морочить,
полено вставить в рот: грызи!
Что ж, на Руси бывало всяко.
Но вот на линзах высох пот.
И наш очкарик вдоль барака
ступает в облаке забот.
Никто в секунды ослепленья
в него не плюнул — повезло?
Что, что случилось? Поколенье
сменилось? Испарилось зло?
...Все было так же меркло, тошно.
Явь не рассеивала мглу.
Вот разве... Машка, дура-кошка,
снесла котят в своем углу.

◆◆◆

День догорал. Болела голова.
Дымился мозг. И опускались руки.
Искал я сокровенные слова,
а находил — безжизненные звуки.

Как вдруг — звонок! За дверью силуэт:
по виду — дворник. И в руке повестка:
«Немедленно явитесь, тов. поэт,
на сборный пункт, в указанное место».

...На сборном пункте встретил я толпу.
И голос свыше — с ящика пивного —
призвал искать дорогу иль тропу,
ведущую... к утраченному Слову.

Вот разошлись. Кто в лес, кто по дрова.
Кто берегом реки, кто чистым полем.
О, где вы, сокровенные слова,
где музыка любви, свет лучшей доли?

Стучали капли нудного дождя,
шуршали листья, чавкала подошва.
И голосом болотного вождя
кричала выпь... И становилось тошно.

И вдруг, как будто колокольный звон,—
в ушах, в груди — наплывом — из былого!
Душа исторгла сокровенный стон:
то в сонном сердце пробудилось Слово.

Под шум винтов геликоптера

Военных вертолетов волчий труд.
Вот дали круг. Вот ринулись вперед.
Мне кажется, пока они ревут,
В Кремле уже идет переворот.

Такой у них в моторах злой надсад,
в нависших тушках — жажда мир объять.
Мне кажется, пока они висят,
природа поворачивает вспять.

Не к Ленину и Троцкому — к весне.
К истокам, излучавшим чистоту.
К сидящему в наручниках на пне
проклятьем заклейменному Христу.

Жизнь

Не бывает ни легкой, ни трудной,
ни какой-либо жизни другой,
а бывает она... абсолютной,
как любовь или вечный покой.

Нет ни радости в ней, ни печали,
ни цветущих, ни старческих лет —
есть бескрайние, мнимые дали,
душной вечности звездный скелет...

А земля, обращенная к свету,
а трава, а вода, а гора?
А душа?! А ее уже нету:
рассосалась, как дым от костра.

Соль земли

Ах, куда эти скорбные лица,
эти спины, познавшие труд,
все текут и текут, как водица?
Оказалось — за правдой идут.

Огибая эпоху, как яму,
навьи чары и крови ручьи,
не страшась — к уцелевшему храму —
пробираются, как муравьи.

И невидимый их предводитель,
тот, что в венчике белом из роз,
тот, что в рабском истерзанном виде,—
вдруг мелькнул за стволами берез!

...Вот нестройная эта колонна
поднялась на вершину холма.
А внизу — остальных миллионы —
накрывала житейская тьма.

Падший ангел

Отца не знавшее дитя
с улыбкой мудреца,—
дитя невинное, хотя —
во взгляде хитреца!

Дитя отведало всего
за свой десяток лет...
А есть ли мама у него?
А мамы — тоже нет.

Она сейчас встречает май
одна, прогнав отца.
...Какой безнравственный мамай
прошел сквозь их сердца!

Ведь даже на огне войны,
где наш горел народ,—
все ж было меньше у страны
изгоев и сирот.

Дитя в одежке продувной.
Мат — из молочных уст...
И горних крыльев — за спиной —
уже ненужный груз.

Аппарат

Мне странное приснилось существо
размером с паука, но чуть... пожиже.
Оно сидело в звании, как в нише,
и резко пахло властью от него.

И нависало брюшко над столом.
И существо не двигалось, но как-то
текло неслышно, впитывая факты,
работая писалом, как веслом.

На нем покров стоял волосяной
из медных проводков, щетинясь тонко.
Со всеми — от героя до подонка —
он связан был, он ведал всей страной.

Но вот поднялся шум, дрожит крыльцо:
вломились в дом обветренные лица.
Они пришли митинговать и злиться.
И лозунги совать ему в лицо.

Но... где лицо? Где сам дегенерат?
Пощекотать бы ножичком щетинку!
...Лишь сонно на столе его рутинном
пиликал телефонный аппарат.

Лицо человеческое

Протру глаза и выйду на крыльцо,
и вижу пред собой печальное лицо —
не Бога, не Земли, не ведьмы на метле,—
лицо людей в единственном числе!

Одно для всех. И главная черта —
лицо скорбит. И меркнет красота
того лица, познавшего разлад
с самим собой... И сатанеет взгляд.

И глаз на глаз готов идти войной,
и зуб на зуб, и бровь летит на бровь,
и прыщ на прыщ, и мысль на мысль — стеной!
И вот уже из носа льется кровь.

И ухо в ухо бьет с глухой тоской.
Лицо в крови... И в чьей крови?
Людской.
То бишь — в своей. Щека грозит щеке.
Вдох выдоху. Тоска тоске.

Ультразвук

Выйду в поле... Не премину —
сбыв тревогу с плеч —
в чистом поле на перину
пышную возлечь.

Снег летит — сухой, упругий,
просится в слова.
Спит под ним, раскинув руки,
старая трава.

Снег жужжит, трава скрежещет,
множит сердце стук...
И сквозь зубы камень вещий
цедит ультразвук.

Слышу мысельки журчанье,
чую звезд полет.
Сладко музыка молчанья
за сердце берет.

Кажется, еще немного —
миг — и даль ясней...
И душа услышит Бога
в глубине своей.

Валерий
СУРОВ

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

Повесть

1

В этом городе я, как в эмиграции. Постоянно во мне живут тайные мечты о какой-то тихой родине, которой у меня толком не было, и хотел я ее выстроить сам, с раннего детства хотел. Хотел куда-то уйти, на берег тихой речушки, где смастерить шалаш. Или выкопать пещерку, натаскать в нее лопухов, настелить их пахучей сырости на плотную землю, лечь на них спиной и ощущать, как сохнут лопухи от моего тепла, и распространяется их дурманящий запах вкруг усталой головы, и почувствовать, что хочется плакать от горестного счастья, и радоваться, что ты зачем-то живешь на этой краткосрочной земле, и, ужаснувшись на мгновение до леденящего холодка мысли, что когда-то придется покинуть все навсегда и больше не быть (так уж и разницы нету — когда), а потом даже и на это махнуть рукой и просто бездумно щурить глаза встречь прокравшемуся в логово лучику солнца и любоваться радужными одуванчиками золотого света.

То это мерещилось мне закутком возле холодной по-летнему печки, в старом московском доме, на Рогожской заставе, куда можно было стащить какие-то ненужные тряпки, закутаться, зарыться в них, надышав в уютной темноте свой мир...

Я убежал из детсадика, куда меня сдали по приезде в Казань (я еще удивился, почему злая тетенька в халате, а не добрая моя бабушка Дуня, опрятная старушка, внезапно закрывшая глаза не так давно и уплывшая в крашеной угловатой лодке на руках людей в озеро крестов и кустов сирени), вернулся в дом, взял там топорик и, уйдя на чужую улицу, стал строить... Стал тесать полешко, мысленно представляя себе избушку, в которой я стану просто сидеть и впускать в нее и выпускать из нее гостей. Потом, спустя время, я обнаружил трубу-протоку под мощеной дорогой и, забравшись туда, решил сделать ее своим домом. Мне казалось там уютно и хорошо, и я не осознавал тогда, что в этой трубе может быть зима или вода.

Я строил свой шалаш на краю осеннего огорода. Маленький такой шалашик, из стеблей подсолнуха. Из плохих, дохленьких стебельков, потому что хорошие унесли братья и из них выстроили большой шалашище, и они кричали мне: «Иди сюда! Что ты, дурачок, какой-то чум строишь!». Они мне были чужие — эти родные кровные братья — я их совсем не знал. Они тут пухли с голоду, жрали картофельные очистки, а меня, сытенького, в мутоновой шубке, привезли из Москвы. Я был крепеньким мальчиком из благополучной семьи, а они — рахитичные, костлявые, грязные оборвыши, словно сошли с киноэкрана, где кадры о бедственном положении детей варварского мира капитализма. Я к ним не шел, мне хотелось, чтобы ко мне приходили, а не я — к кому-то. И я зажигал в шалашике свой костерок от украденного уголька, чтобы нагреть холодный осенний уют, и просто сидеть и ждать, когда кто-то ко мне придет.

Но так случилось — не иметь своего угла, своего дома до сорока лет и старше. До собственного августа жизни, когда еще светит солнышко, да слабо уже греет, а впереди — тоскливый праздник первого сентября! А получилось — лежать на чужой бабьей подушке в любезно предоставленном доме, закрыв глаза, и вновь строить где-то на бережку свой домик, логово, чуланчик, вагончик, балок, шалаш и чуть ли не плакать. Да! Вот я, сорокалетний оболтус, лежу на чужом диване, и у меня ничего нету. Все, что наживал,— все оставлял. А теперь вон, даже бумагу попросил, и авторучку. Тут мне все дадут, потому что надеются сходить за меня замуж, но замуж я никого не возьму, потому что наженился досыта, и лежу на чужой подушке, пахнущей духами, и корябаю буквы...

Да, я строил шалаш всюду. В лесу и на увядших осенних огородах, делал землянку и засыпал ее опавшими листьями лип. Или на чердаке сооружал свой уголок, набивая травой мешок, мастеря керосиновую коптилку, и стаскивал туда старые журналы, ржавые гранаты ПРГ, пересохшую воблу и черные сухари.

То ли таился во мне генетически пещерный дух?

Лет в четырнадцать я соорудил на чердаке сеновал — специально косил траву на болоте, возле аэродрома — и жил там до морозов... До этого я сколотил в сенях какую-то полку и спал на ней, на высоте двух метров, с мартовских оттепелей.

Жизнь бросала меня по стране своими широкими призывами. И вот я уже в Донбассе строю себе веранду из нащипанной дранки и живу на улице, и работаю в шахте мотористом, и учусь в вечерней школе на чужом языке, с мрачными одноклассниками, и мечтаю о домике, о чуланчике. И вот я вернулся домой и принялся строить на крыше второй этаж, который потом брат приспособил для выпивок и привода спальных девушек.

На Крайнем Севере я нашел брошенный лагерный барак. Две недели настилал там пол, потом починил печь и топил ее углем, отогревая полярную мглу и толстый лед на стенах. Привел туда случайную же девушку. Купили мы керосиновую лампу, жестяной таз, утюг на углях, байковое одеяло, перьевую подушку. Но кто-то поджег наш дом, пока я мантулил на работе, а девушка ушла в магазин, и вернулся я к пепелищу, где дотлевали одеяло, подушка, лампа. И девушка — пропала. И еще сгорели «Философские тетради» Ленина. Да-да. Я еще тогда хотел понять суть мира, пытаясь проникнуть в загадочное, то и дело тыкаясь башкой то туда, то сюда, как котенок с надетым на голову носком.

И уже на строительстве КамАЗа я мечтал о том, что когда-то наступят для меня золотые времена и я уеду. Я уеду навсегда и сам построю или выкопаю себе логово, и буду трудиться всласть от зари до зари и ждать гостей, и обязательно их провожать, чтобы все-таки оставаться одному...

— Дорогая!

— Слушаю, миленький!

— Сделай мне чайку, а то муторно что-то...

— Вот, готов уже. Пей, лапушка, пей досыта...

— Присядь рядышком. Послушай-ка.

2

Тетка ездила в Москву пробивать пенсию. У нее муж пропал без вести на Курской дуге, а они не удосужились расписаться перед войной.

— Как мы с тобой, миленький?

— Тогда вообще мало кто придавал значение расписываниям...

— А ты не пропадешь без вести?

— Ну тебя... Так вот: куда она ходила, не помню, не знаю. Я был еще мал. А меня она взяла, чтобы снова отдать дядьке с теткой — те остались бездетные и очень хотели, чтобы я жил с ними, в Москве. Они и матери говорили, что она напрасно меня увезла после смерти бабушки. Но и в этот раз что-то не сладилось. Тетка, ее сын и я оказались неподалеку от Красной площади, и мне очень

захотелось в туалет, пописать. Глядя на меня, пописать захотелось и Кольке. Мы отыскали платный туалет. У тетки была лишь пятерка. А платить надо было меньше. (Не помню сколько, ну, допустим, рубль.) Старуха-туалетчица нас не пускала — у нее не оказалось сдачи. Я уже скулил, не в силах терпеть напора. Старуха не пускала. Стояли такие сумеречные времена, что за отсутствие сдачи можно было шибко пострадать. Тетка наша только что вышла из тюрьмы, где отсидела три года за три трамвайных билета. (Она, будучи кондуктором, тогда деньги взяла, а с билетами замешкалась — в это время ее сцапали.) Она стояла возле старухи и умоляла: «Пусти мальчонок-то посцать — лопнут ведь!» Но старуха не пускала. Она тоже чувствовала затылком тень тюремной решетки. В конце концов, тетка совсем приперла ее: «Держи пятерку. Они тебе на всю пятерку насерут и нассут!» Встав на стражу у входа, старуха разрешила нам помочиться, причем беспокойно, в ужасе, озираясь. Ибо бесплатное потребление народных благ могло лихо покараться тем законом. Вот так — в полуподвальном туалете выразилось веяние целой эпохи.

— Тебе, дорогой, не холодно? Накинуть плед, нет?

— Накинь. Себе на голову.

И хотя она сидит рядом, в ногах, и преданно смотрит на меня, я — один. Страшно одиночество при свидетелях.

Я бездомный. Стоит мне не поладить с нею, и я выйду на троллейбусную остановку, и буду стоять, пропуская один за другим троллейбусы, гадая — куда же поехать? Куда? И есть, вроде б, куда — да за это надо платить. Платить — и раскаиваться, и презирать себя, и ощущать гадливость и мерзостность поутру... Нет, туда я не поеду. И туда — тоже...

3

Отца посадили, когда мне исполнился год. Я в это время жил в Москве, у бабушки. Потом мама меня перевезла, когда отца посадили, а за ним следом посадили и сестру матери, Гутю, за трамвайные билеты. Она оставила сына, Кольку, и мама, тридцати двух лет от роду, осталась с нами четырьмя, безработная, безденежная, без...

Вернулся он поздней осенью — как сейчас перед глазами. Мы и не ждали его. Вернее, ждали, ждали постоянно, но через еще шесть с лишним лет. Семь с половиной было позади. Мама, правда, что-то предчувствовала, и поэтому, наверное, поставила бражку. Но мужики с фабрики привезли дрова на зиму, тару. Расплачиваться было нечем, и мама брагу эту споила им.

В стране что-то творилось. Умер Сталин. Разоблачили Берию. То и дело раскрывали антипартийные группировки с примкнувшим всюду Шепиловым — об этом постоянно сообщало радио тревожно-бдительным голосом Левитана. Двадцатого съезда еще не было, но из тюрем и лагерей потянулись те, кто выжил, те, кто уцелел. Хрущева еще не склоняли в очередях, называя освободителем народа. Но все это доносилось откуда-то извне. Мы жили не лучше, чем прежде. В магазинах и в карманах больше не стало. Скрипа хромовых сапог все еще пугались.

Споила она им брагу. Мужики окривели. В результате, на обратной дороге они ехали стоя в пустом кузове, и один грузчик свалился через борт и рукой угодил под заднее колесо. Мать вызывали в суд, пытались обвинить ее в том, что она намеренно напоила грузчика, чтобы нанести урон государству... В последнее время ходила она, словно в воду опущенная. Ей уже доставалось от внутренних органов. Однажды она написала Сталину письмо (это когда она собиралась повеситься, да решила вначале попробовать написать), ее вызвали куда следует и пригрозили, что отправят следом за мужем. Соседи теперь переживали за нее, особенно, рядышные. «Авось, обойдется!» В этот вечер она пошла к ним рассказывать, как движется дело с грузчиком,— ее хотели заставить оплатить тому больничный лист, а нас у матери, уж сообщал, росло четверо сорванцов. А заработок ее составлял семьсот рублей старыми в месяц. Да надо еще на эти гроши дров купить, заплатить за землю ренту триста в год, купить керосину для лампы и керогаза. Об одежде я не заикаюсь — все уже в школу ходили, хотя и в заплатах. Но ведь и заплатки снашиваются.

Старшие братья вначале жгли ботву на огороде, покуривали махорку, которой у нас было навалом — отдал сосед, когда пропил свой дом, продав его за бесценок заезжим чувашам. Покурив, они утащились на Ямки — на старое, заброшенное кладбище. Там намечалась коллективная драка персон на двести. Меня не взяли, потому что я пока еще не мог считаться боевой единицей — об этом они мне намекнули пинком под зад. Я висел на заборе и пытался приладить к воротам красный флаг. Наступали октябрьские праздники. У некоторых уже висели флаги. У нас же не было. Разодрав единственную красную футболку и пришив ее к черенку лопаты медной проволокой, я укреплял флаг повыше. Вернулись братья со свежими ссадинами и фонарями и принялись рыскать по дому в поисках съестного. Хлеба ни корки. Варева — не из чего — ни капли. Зато полно зеленых помидор и картошки. Мерцала в окне керосиновая лампа, колыхались в темноте силуэты братьев. Окна были без занавесок. А ведь имелась когда-то даже нитяная скатерть. Но ее спер сосед-алкаш. В оплату-то своего греха он и отдал нам копну махорки, которой собирался торговать зимой и разом разбогатеть. До возвращения отца из воркутинских лагерей нам должно было ее хватить.

Флаг наконец-то я приладил. И собрался спуститься на землю, так как в доме эти проходимцы что-то все же сыскали и во всю лопали без меня — даже уши шевелились. А есть мне хотелось сильно, невзирая на то, что я не дрался. Зацепившись штанами за гвоздь, я старательно освобождал материю. Снизу меня окликнули:

— Эй, малец! Открывай-ка ворота!

Я глянул вниз — у калитки стоял наголо стриженный мужик в зеленом засаленном ватнике без воротника. В руке он держал тощий грязный мешок.

— А ты кто таков?

— Мать дома? — спросил он, стараясь казаться веселым, от чего лицо его собралось в морщины. Веселья у него не получилось. Тоска сквозила в его волчьих глазах.

— Мать у соседей,— ответил я. Местный житель сказал бы «у рядышных».

— У соседей? — довольно переспросил он.— Ну, тогда открывай. Или мать зови.

«Счас, разбежался открывать!» — усмехнулся я, спустился на землю и кинулся в дом.

В ту пору много бродило разных нищих, попрошаек, нехороших людей, от которых неизвестно что ждать. Было чего опасаться. То и дело по городу блуждали слухи, леденящие кровь.

Братья выгребали руками что-то из черной сковороды.

— Там дядька какой-то! — испуганно сказал я старшему.— Нищий или шаромыга, что-ли... Может, мать позвать?

— Борька, дуй за матерью! — приказал старший, а сам, прихватив топор, вышел во двор и выглянул в щелку.

Помирушник нетерпеливо пинал ворота, от чего железная щеколда звякала и веревочка на ней подрыгивалась.

— Кто?! — грозно спросил брат, не рассмотрев толком ничего. Ему уже стукнуло пятнадцать, и голос у него был почти мужицкий.

— Открывайте! «Кто-кто»! Грабители явились.

Вовка вдруг оттолкнул меня и откинул засов.

— Па-па! — завопил он и кинулся на шею нищему.

По огороду, перегоняя Борьку, торопилась мать. Ее калоши хлопали по пяткам, увязали в земле. Одна калоша осталась вдавленной в морковную грядку. Борька перегнал мать и с разбегу бросился на шею пришельцу. Затем на нем же повисла мать.

Я один стоял посреди двора и ничего не понимал. Дядька пытался обнять всех разом. Даже в сумерках виднелись татуировки на его узловатых руках. Он отворачивался, улыбался, что-то шептал, закрыв глаза. А я стоял в отдалении. Я даже не думал ни о чем. Мне казалось, что сейчас они все войдут в дом, я сяду там в уголок и стану со стороны наблюдать их постороннюю радость, и что она меня вовсе не касается... Как вдруг мама сказала:

— Валерка-то где? Где он, сорванец?!

— Да вон... Стоит, как пень...— неприязненно отозвался Вовка.— Ну, что стоишь, как чурбан? Иди сюда!

— Да он же тебя, Петя, и не знает! — поразилась догадке мама.— Ведь ему и года-то не было тогда!..

— Чего не идешь! — закричал Борька.— Ведь отец вернулся, дубина! Ты ж его больше всех ждал!..

Отлипнув от помирушника, все развернулись и принялись удивленно меня рассматривать. Отец хотел присесть и подозвать, как зовут маленьких детей, но решив, что я уже вырос, приседать не стал, а застыл в такой неуютной позе.

— Ну... иди, сынок... иди сюда...— и поманил меня короткими грубыми пальцами.

Я несмело двинулся вперед. Земля подо мной словно таяла. В воображении жил другой отец. Высокий, сильный, красивый, в парадном костюме-тройке с «искрой». А тут — скрюченный незнакомец в латаном засаленном ватнике, подпоясанный брезентовым ремнем...

Нищий шевелил пальцами и широко улыбался, обнажая десны беззубого рта.

— Иди, сынок, иди!.. Вон ты какой большенький! Я и не думал, что ты так вырос...

Мама и братья смотрели на меня выжидающе.

Не успел я дойти до него двух метров, как он сделал шаг навстречу, другой — и подхватил меня на руки. Я заупрямился. Тогда он оставил меня на земле и просто крепко прижал к ватнику.

— Что молчишь? Поздоровайся с отцом! — приказала мама.

— Ну, здоровайся, что ли! Ну...— ткнули меня по разу в бок братья.

Я сильно покраснел — лицо налилось кровью и полыхало, губы плохо слушались. Потом с трудом выдавил:

— Здравствуйте... па... па...

Он меня поцеловал, неумело ткнувшись седой жесткой щетиной в мою щеку. От него пахнуло табаком. Потом, держа меня за руку, выпрямился и спросил мать.

— Принимаешь вот такого-то?

— В дом, в дом. А то холодно,— уклонилась от ответа мать.

Вовка уже нес тощий мешок отца в дом, а Борька прощупывал — каковых пряников и лакомств накопил детям папа за восемь лет каторги.

4

— Алло? Алло?..— нет, ни до кого не дозвониться.

Я — один! У меня свой (на время, на время) дом! Ура-а!.. Это семья, собиравшаяся два месяца на дачу, собралась наконец-то и уехала. Воистину — уехала! Увезены миски, тазы, постели... Последней загружали в машину полупарализованную Нинель Андреевну, тещу. (Хочется написать «тещ»). Она в белой кепочке «Ну, погоди!», прижимая к сердцу синюю авоську с партбилетом, устроилась на переднем сиденье машины, поставив рядышком костыль. Дача в Рощине. Комната, веранда — это плюс, а минус — триста рубликов и еще за газ, и за электроэнергию.

И еще за то, что в трехкомнатной смежно-изолированной квартире радостная пустота. Я разгуливаю по захламленному полу босой и в трусах. Все двери (даже в туалет) открыты. Вечер открытых дверей. Всюду горит свет, хотя наступили белые ночи. Я волен. Я один в кои-то времена, и я сажусь к пианино и играю от души: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля...»

В первые минуты даже накатила какая-то растерянность. Чем бы заняться?! Лепкой из пластилина? Или начать водить блядей? Чем, товарищи, заняться? У меня ж растут года!..

То времени не хватало, а то... Одну комнату, конечно же, я отдам Жорке. Он завтра приезжает начинать новую жизнь опять. Он никогда не живет старой жизнью, а всегда, для простоты, начинает сразу новую, когда старая устаревает, ветшает и запутывается. Завтра он въезжает в Питер на белой лошади. Может быть, в последний раз въезжает. В давние времена он въезжал на белой лошади в Сыктывкар, потом в Ростов. В Рязань как-то въезжал на белой лошади... Тяжела его судьба, конечно. Я с ним говорил весной, когда ездил в командировку в Челны. Он тогда сидел у меня, в гостиничном номере, пил мелкими глотками портвейн, ценя букет «Таврического» казанского розлива и кивал всем моим правильным догмам, то и дело покашливая и поглаживая костлявую грудь, в которой давным-давно славно и навсегда угнездилась пневмония. Он уже разок кончал счеты с жизнью, выпрыгнув из окна седьмого этажа, но остался жив. Не совсем, конечно. Только к пневмонии еще присоединился и перелом позвоночника. Радости Жорка ни близким, ни товарищам не приносил. Все из жалости его (горбатого, пневмоничного) кормили, а чаще — как у нас водится — поили. А Жорка, грея в сухощавой ладони чарочку, приговаривал, горестно усмехаясь: «Недолго мне осталось тянуть на свете». Если же у него было хорошее настроение, он поднимал бокал вина и провозглашал гусарский тост: «За свободу, минус — тридцать три!» Это он имел в виду присужденные ему алименты на двоих детей. Алиментов он никогда не платил, а если его донимал судебный исполнитель, то Жорка шел сдаваться в туберкулезный диспансер, и пока суд да дело, отлеживался там, порой по полгода. А потом опять начинал новую жизнь... Ночевал он обычно у друзей, которые скоро становились ему просто знакомыми, а из знакомых постепенно превращались в незнакомых, нехороших людей, ибо они не могли его, бедолагу, терпеть дольше двух-трех месяцев, мерзавцы, когда человеку и так недолго осталось тянуть...

5

Господи! Да и Руслан не имел никогда жилья. Он у меня жил. Раз полгода жил. Потом уехал в Москву, где его пригрели знаменитости за оригинальность. Последнее время, перед отъездом в столицу, он жил на старой деревянной брандвахте, на барже, что стояла на приколе, у левого берега Камы. Однажды он поймал несколько рыб. Такое ему оказалось раз в жизни везение. (Впрочем, об этом и так все знают, и до сих пор помнят это событие.)

После проливного дождя, который застал меня у Калинина, я вкатил на мотоцикле в Москву, промокший до нитки. В сапогах хлюпала вода. В коляске котелки, продукты и палатка плавали. Меня с ходу оштрафовал милиционер. Нет, не тот, который улыбается с красочной обложки журнала «Человек и закон», а из тех, которых в народе свойски называют либо «фараон», либо «гаишник вонючий», потому что штраф, принадлежащий моей Советской Родине, он умело сныкал в карман, ничуть не вспомнив о квитанции. И настроение было, в силу сложившихся обстоятельств, мерзкое.

К сожалению, друг мой Руслан жил неподалеку от Кремля, и я, умотанный дорогами, смущался ехать по самому центру. Однако деваться было некуда — ночь провел на природе,— поэтому ехал, продираясь сквозь запретные знаки, напрасно развешанные на каждом углу, ибо ехавшие рядом со мной черные «Чайки» и «Волги» на эти знаки не обращали совершенно никакого внимания. Шофера превышали скорость, наезжали на сплошные линии разметки, а «гаишник вонючий» не только не свистел им вслед и не гнался за ними на мотоцикле, а даже приветливо козырял опоганенной моею трешкой рукой.

Долго не мог пристроить на стоянку свой драный мотоцикл, пока не всунул его между двумя «Чайками» возле какого-то серьезного ведомства, потому что возле него стояли солдаты с голубыми погонами «ГБ».

Взвалив на плечи рюкзак, поднялся по лестнице, позвонил. Дверь раскрыла Русланова жена Люда.

— Проходи. Кидай торбу. Давай в ванную, а я приготовлю что-нибудь перекусить за это время. К вечеру и Руслан подойдет...

Мы пили чай, и она рассказывала последние известия: приезжал Сыроежкин подавать документы в институт, потом Апельсинова — по своим делам.

Потом Чаплина, решившая устроиться жить в Москве, ошивалась у них полгода: то выходила замуж за японского атташе, то становилась морганатической внучкой-заочницей Павла Антокольского, то выдавала себя за болгарку цыганских кровей и козыряла родством собственного английского предка Чарли... Приезжала тетка Руслана — лечить глаза. Ей сделали операцию — и она вовсе ослепла. Пришлось ее сопровождать обратно. Потом Бекасов, журналист-алкоголик из Самары, совершенно незнакомый им человек, ссылавшийся на пламенную дружбу со мной...

Вечером мы пошли с Русланом за продуктами. Он взял вермишели (пакета три), сахар, чай. (Все это было тогда без талонов.) Я потом направился гулять по Москве и вернулся поздно.

Мне было постелено под обеденным столом. Мы пошли с Русланом пить чай на кухню и курить. В комнате, на диване, лежала полная женщина. На хозяйской кровати, валетом, спали два мужчины, хозяева же, как видно, собирались разместиться на полу — возле батарей центрального отопления. В общем, что и говорить, тесновато.

Всюду у нас тесно: в трамваях, на вокзалах, в магазинах — такая наша страна широкая, а тесно. Видать, народ наш такой, что простору ему никак не хватает. Иной раз думаешь: откуда только люди берутся?..

— Тут Олег приезжал Великосветский. Потом Жорка проскоком был,— сообщил Руслан.— Поехал жить в Рязань, начинать новую биографию набело. А потом — из Рязани. Говорит: «Надоело жить в Рязани, танцевать ее кадриль. Буду делать обрезанье — и уеду в Израиль».

— Как ты-то? — сочувственно воскликнул я. Шепотом, естественно: квартира спала, а ведомства по соседству были такие серьезные, что даже собственный шепот казался крамолой.

— Привык,— пожал он голыми плечами. (Он как-то не любил загромождать себя одеждой, и даже иногда ходил босой по городу, если ему это нравилось. Правда, это не всегда нравилось постовым.) — Утром через тела и головы переступаем. Но нас уже с этой квартиры гонят. Надо другую искать.

— А как вы с Людой, это самое, ну?..

— Когда все уснут. Но сейчас наловчились в ванной. Запремся и... А что делать? Ничего не поделаешь. Живем, как в зале ожидания. Чемоданы, люди...

Крадучись, чтобы ни на кого не наступить и никого не разбудить, мы пробрались в темную комнату и улеглись. Я закрыл глаза и подумал, что мы все живем, как в зале ожидания. Ожидания перемен к лучшему. Ожидания снижения цен. Повышения цен. Ожидания давно обещанного изобилия, будущего, коммунизма, смены руководства, получки, аванса, пятницы... Все чего-то ждут с надеждой. Все. Даже жить некогда стало из-за постоянного этого ожидания.

6

Я повернулся тяжело на обширном диване, ощущая тонкий запах французской парфюмерии, приоткрыл глаза. Она тихо вязала какую-то дребедень. Сидела у ног моих, преданно не нарушая хода моих мыслей. А бумага свалилась на пол. Казалось, что где-то вдали шумит динамик справочного бюро, и доносится шум волнующихся пассажиров. Но это, по-видимому, ворчал розовый унитаз, недовольный тем, что его интернировали с его родины. Родился он на одном из заводов Западной Германии. В туалете он являлся главным действующим предметом. Понизу его комель ласково охватывал пушистыми лапками бежевый коврик. На стенке клозета, чтобы не скучно было какать, была приклеена реклама-картинка. Загорелая парочка мыла друг друга белоснежными мочалками и очаровательно улыбалась объективу. Особо срамные места мужчины были элегантно припорошены пушистой пеной, а женщине нечего было скрывать от народа. «Веселые напевы доносятся из ванной фирмы Хэгфорс!» — гласила надпись. И даже подтирочный материал в этом уютном кабинете был испещрен японскими иероглифами.

Раз утром я проснулся от звонка разбитого стекла. Вот здесь проснулся, на

этом же семиспальном диване, ныне завершающимся пухлыми коленками нараспашку. Высунул башку в окно и смотрю.

Женщина лет тридцати с мелочью кавказской породы, хорошая женщина, без косметики и следов потребления алкоголя, держит в тонкой руке диабазовый булыжник (видать, второй по счету) и неумело кидает его в окно квартиры на первом этаже. Бить окна она, как видно, никогда не била, и делать это ей вовсе не в привычку. Но судьба-злодейка, наверное, заставила ее прибегнуть к таким методам критики существующих порядков. Рядом с ней мальчик и девочка. У подъезда — узлы и чемоданы. Мальчишка полез в квартиру. «Не порежься о стекло»,— предупредила его мать. «Ладно». Но вскоре приехала желтая машина ПМГ, из нее вылезли два плотных сержанта, и на глазах собравшейся публики выволокли женщину в центр двора, заломив ей руки и цепко держа ее за волосы. Наиболее усердствовал лысый старший сержант в расстегнутом кителе. Люди ему кричали: «Свинья! Она ж женщина!..» Он отовсех огрызался и ловко заталкивал женщину за решетку, в «газик». Вокруг в панике бегали дети, кричали истошно: «Ма-ама! Мамочка миленькая!..» Я не выдержал и тоже стал орать на сержанта, в окно... Да что я все это ведаю? Это общеизвестно. Август. Восемьдесят седьмой год. Двор дома на углу Северного проспекта и улицы Есенина. Люди кричали ему: «Напялил форму, лоботряс,— и думаешь, что тебе можно? Все тебе с рук сойдет?!» «Ма-ма, мамочка, мамочка!..» Ну, граждане, кто не видел этого случая, надеюсь, видели другие случаи — они у нас не редкость, да не в этом суть — советский человек имеет право на койку в КПЗ... Суть в том, что дети весь день сидели на чемоданах, а потом мать вернулась. Опозоренная, потому что сержант кричал, что милиции она личность известная, как аферистка и прочее, хотя почтальон и собравшиеся на шум дворники утверждали обратное...

Я сказал ей: «Напишите генералу, как этот мерзавец вам заламывал руки — сейчас не сталинское время и не пиночетовское». А она стала в ответ плакать и жаловаться, что ее обманным путем выписали и жить ей с детьми теперь негде, и что она не знала закона, что прошло более шести месяцев после ее выписки. И теперь она с детьми бездомная, а квартиру занимает торговый делец. «Ну и что,— сказал я.— У нас никто не знает закона. И тем более, сержант, который вам крутил руки. Он — подонок».— «У него просто такая работа»,— возразила она. «Судя по всему — вы с Кавказа?» — «Нет, это предки мои оттуда».— «А поезжайте туда? Вас на Кавказе в обиду не дадут».— «Кому я нужна с двумя-то детьми?» — она горестно усмехнулась. Действительно, кому? Не государству ж!.. На том и расстались.

Она куда-то делась ночью вместе с детьми.

А пока они сидели внизу, я сказал:

— Слушай, пустить бы их хотя бы переночевать...

— Как хочешь, миленький,— она тогда прильнула ко мне щекой.

Господи! «Как хочешь!» Это она упорно напяливает на меня маску хозяина ее квартиры, да? Почему она не откликнулась: «Давай!» — и не побежала за этой кавказской семьей? Нет, спасибо! Я на себя мизерной роли хозяина не возьму. Спасибо.

А все остается ощущение, что сидит та женщина на узлах и чемоданах и смотрит в пустоту будущего. Без укора, простив сержанта, простив обманувших ее людей, да и там, где она обитала до сегодняшнего дня, не ужилась, видать... «А я-то чего раскудахтался? — подумал о себе.— Высунулся — справедливости захотелось? Вот расслышал бы мент — пригласил бы за волосья в отделение, да по печени в машине б угостил, а возражал бы против угощения — так и до суда дело довел бы, чтоб другим неповадно». Правду говорят, что чем дальше от центра — тем сержант толще!

Так я познакомился с отцом... Раньше, когда бывшая моя вторая жена пыталась сетовать на тяготы жизни, я предлагал ей представить себя с четырьмя детьми, в полуразвалившейся избушке, с дымящейся печкой, с водой из колонки за полкилометра, с зарплатой в семьсот рублей старыми. Без бабушки, без мужа, без электричества, без газа и ванной, без горячей воды. Предла-

гал ей закрыть глаза и представить это на мгновение. Она зажмуривалась и бормотала: «Невозможно. Фантастика!» Потом открывала глаза, смотрела задумчиво в окно, усмехалась и расшифровывала усмешку: «Впрочем, на керосине и лебеде, без обуви и штанов я б десяток вырастила».

Не знаю.

Ну а выглядела мама так: видали картину Пикассо «Утюжельщица» из «голубого периода»? Вот она. Это — мама. Она работала утюжельщицей на швейной фабрике, таскала семикилограммовые утюги из смены в смену, выполняя и перевыполняя, опережая и рапортуя. И на Доске почета висела ее фотография, когда отца реабилитировали, а Берию разоблачили. И вспомнили тут, что она давно передовица и прочее. Ну, ладно.

Ей едва перевалило за тридцать, когда она осталась в таком положении. (Сейчас тридцатилетние девчонки по танцам ударяют, перекраивают, лицуют жизни и судьбы, делают пластические операции, прямят носы и уши, красят волосы, щеки и губы...) Мне год, далее — четыре, пять, старшему — семь. Пока меня кормили и лелеяли в Москве, эта контора в три ночи поднималась и перлась в очередь за хлебом. И не только летом. Что еще ели? В магазинах — шаром покати. Молоко продавали частники. Сахар и во сне не часто снился. Крупа — дефицит. В то же время, устроившись на работу утюжельницей, мама еще и «добровольно» подписывала государственные займы на размер месячной зарплаты. Она приходила в такие дни с работы, рвала на голове волосы, скомкав облигации, и по-волчьи выла. Но не плакала. Не умела. Выла только. Это лишь к старости она стала слезливой. Потом, умывшись, ходила по соседям и клянчила взаймы денег. В долг ей почти никто не давал, не верили, что она когда-нибудь вернет. Хотя она возвращала долги обязательно. Тогда выклянчивала в долг литр молока, ведро картошки, горсть соли... Хотя, что говорить! И сейчас приезжают провинциалы и увозят с собой такие странные вещи, что диву даешься. Ну, ладно масло с колбасой и мясом. Конечно, поживи-ка с шестьюстами граммами мяса месяц. Ну, мясо еще можно и на рынке. Помнится, в Казани разок мясо докатилось до пятнадцати рублей кило. Видел куриные потроха за пять рублей кучка. А масла там на рынке не продают, а детишки его хотят. Но едят торты и пирожные на маргарине — куда денешься. Везут рис, макароны, обои, соль, пилки для лобзиков, шариковые авторучки, нитки, шпротный паштет, пакетные супы — всего не перечислить...

Помню, в лютые морозы мама бегала на работу в резиновых сапогах да в железнодорожной шинели. А до фабрики километров пять... Потом справила польский военный китель. Перешила его на руках...

Детство почему-то вспоминается только хорошим. Единственное отрицательное ощущение осталось у меня в памяти — это чувство голода. Голод (после сытой московской жизни) я переживал особо остро. Наиболее трудно приходилось зимой. Летом-то можно поискать что-нибудь, поесть зелени, да и тепло повсюду. А зимой!.. Понятна моя радость, когда, заболев брюшным тифом, я угодил в больницу, приобретя право на завтраки, обеды и ужины. Аппетита, конечно же, не было, но я ел. Ел через силу, постоянно помня, что еды этой не так давно не было, и выздоровлю — ее опять не будет... В больницу ко мне не ездили, потому что на дорогу уходила стоимость буханки хлеба, и все равно посетителей в палату не пускали... С казенным питанием мне не раз везло. Однажды я свалился с крыши и опять посчастливилось попасть в больницу. Болеть не болел, только кружилась голова, когда вставал на ноги, но зато ел досыта. Правда, когда я влетел в больничные палаты с заворотом кишок,— там уж не до жратвы было. Куда глотать, когда в брюхе все перепутано. Помню, доктора даже пытались разрезать мне живот, чтобы распутать мой ливер.

Говорят, кто наголодался, набедствовался в жизни, тот потом становится жадным, у него проявляются наклонности к накопительству, к роскоши (если есть возможность). Не знаю — жадный я или не жадный. Не мне судить. Не раз брался копить. Раз накопил сто сорок рублей, но они почему-то пошли прахом. И с тех пор не брался. Вот до сих пор и не имею ни хрена. Даже угла своего. Валяюсь на чужом диване, на чужой подушке, и на ногах чужие (дежурные) тапочки, а в благодарность за это — цветочков ей даже не принесу. Да-а, осталось еще такое во мне — пересиливаю себя, когда покупаю цветы. В сознание не укладывается эта пустомельная трата денег. Не могу понять, как это, отдать за три цветка стоимость пяти килограммов сахара или тридцати батонов? За понюшку-то?! Эх, надо было, как пошел работать, откладывать хоть по пятерке в месяц. Сейчас бы сколько там было? Наверное, тысячи б полторы запросто! Вот было бы у меня полторы — я бы, в первую очередь, пошел в сберкассу, снял бы... Нет, так ничего не получится!

Сейчас, вероятно, даже пожалеют маленького человека, у которого отец находится в тюрьме. В то время, при большой плотности в классе, я сидел за партой один. Ребята меня дразнили. Пытались за меня вступиться братья, но, изголодавшие и отощавшие, оказывались биты. Как-то один диссидент утверждал при мне, что Сталин усадил в лагеря чуть ли не каждого второго мужика. А я думал, как же! Ведь я один в классе был сыном «бандита». Остальные же имели отцов. Не все, конечно. Да и отцы-то были — военные инвалиды. А у кого вовсе не было отца — матери родили их приватно, без брака, так как мужиков повыбивало на войне, и они превратились вместе с сахаром и крупой в дефицит. У меня отец пилил тайгу в воркутинских краях, а больше ни у кого.

Начал я учиться с того, что променял пенал, а затем и букварь на хлеб. Вечером мать меня выдрала, но зато я наконец-то наелся. Я мечтал стать жуликом, чтобы незаметно забраться в школьный буфет, досыта наесться, а там можно и погореть. Может, тогда меня заберут и посадят к отцу в тюрьму?.. Но что-то всегда мешало мне проникнуть в чужой портфель и добыть оттуда бутерброд, яблоко или еще что-нибудь съестное.

Может, в порыве голодного приступа, не управляя своими конечностями, вернее, не в силах контролировать их действия, я бы и грабанул кого-нибудь копеек на сорок, да матери боялся страшно. Она нас драла, лупила, секла, спускала шкуру, била как сидорову козу и еще пуще, чуть ли не каждый день устраивала выволочку, буздала, жогала, снабжала затрещинами и подзатыльниками. Но и мы, полагаю, заслуживали эти порки с лихвою. Крапиву вокруг дома мы заранее выедали, а за прутьями с березы матери уже приходилось не только тянуться, но и прыгать — нижние ветви уже были все пущены в дело. Зимой наметенные ветрами сугробы помогали ей дотянуться до прута нужной упругости, а летом она колотила нас тем, что подворачивалось под руку. Одной березы возле дома было явно недостаточно. Из всех четверых один Колька был долговязым тихоней, да еще и заикался. А поскольку мать его не лупила, делали это мы. По принципу социальной справедливости.

В школе я не слушал, о чем говорила учительница, и получал двойки, а вечером — ременный гарнир к ним. Учительница же старательно ставила меня в пример, как сына «бандита, который грабил на большой дороге людей, пуская в ход длинный нож», и мудро приговаривала, что «яблоко от яблони недалеко падает». А я в это время думал — где эта яблоня растет, и какое это яблоко...

Впервые я почувствовал, что такое заключение, после того как, не вынеся отчуждения, решил отомстить одноклассникам. «Жулик, жулик! Шпана! Бандит!» — кричала мне девочка. Сытенькая такая девочка. Схватил ручку с пером и принялся гоняться за мальчишками и девчонками, пытаясь в кого-нибудь это перо вонзить. Казалось в этот миг, нет больше счастья на свете, как вонзить перышко № 11 в пухлую щечку этой девочки. В классе поднялась паника. Девчонки визжали, мальчишки вопили в страхе. Все, давя друг друга, вываливались в коридор... Изловил меня угрюмый инвалид-дворник и замкнул в чулан.

Когда окончились занятия, меня в чулане позабыли. Я очень хотел «на двор», но в чулане не нашлось ни ведра, ни дырочки, и я терпел. Я слышал, как все ушли из школы. Как школу замкнули. Принимался кричать, стучать. Но никто не откликался. Каким-то образом мне удалось выбраться в комнату,

где лежал мой портфель. Затем — в форточку я вывалился на улицу. Наконец-то помочился и пошел на пустырь, на Ямки. Нашел непотушенный, тлеющий костер. Раздул его, подкинул палочек, щепочек, сидел у огня и размышлял о том, что где-то есть такие края, где полно еды. Вспоминал бабушку, обвинил ее в том, что она рановато умерла... И так захотелось мне теперь убежать — убежать туда, в Воркутинские края, найти отцову тюрьму, и попроситься жить с ним. Там, в тюрьме, я бы никому не мешал. Я бы сделал себе маленький уголок под нарами, натаскал бы туда листьев, лопухов, веточек, и жил бы в бараке, как собачка место бы занял, вот чуть-чуть... И папа приходил бы вместе с солдатом, под штыком, я бы его ждал... Размазывая слезы, я пытался при свете костра писать письмо в Москву... Свернул треугольник, надписал адрес: «Москва, Кремль, Отцу Сталину» — и отнес письмо в почтовый ящик. Мне казалось, узнай Сталин про меня, про братьев и маму — он отца отпустит, а нам пришлет какие-нибудь подарки. Мне бы вот валенки неплохо — зима на дворе, а братьям по лыжному костюму. Да не мешало бы пару телогреек на четверых. Мы бы менялись... А может расщедрится — и пришлет пиленого сахара?..

В этот раз мать меня почему-то не колотила, чем я был очень удивлен. Странные люди, эти взрослые,— и ремень вот он лежит, и я явился. Казалось, дери — не хочу!.. Вместо этого она предложила поесть картошки, которую пожарил Вовка на керосине (вместо масла). На следующий день, в школе, матери сказали, что меня надо отвести к психиатру. На что мать ответила, что неплохо бы в психбольнице помариновать самих учителей. Ее обозвали грубиянкой, а она их — сучками. Завершилась эта история тем, что меня все-таки отвели в роно для того, чтобы переправить либо в детдом, либо в школу для трудновоспитуемых детей. В роно тетенька оказалась доброй. Меня отправили обратно, в родную школу.

На удивление окружающим, а в первую голову, самому себе, я вдруг с голодухи принялся хорошо учиться. Вначале мать меня драла, считая, что я сам налепил пятерок в тетрадях, а потом отступилась и драла просто так, по инерции, за компанию с братьями, чтоб им не обидно было терпеть лишения. Первый класс закончил чуть ли не «отлично». Дразнить меня перестали: то ли боялись, то ли еще что? Скорее всего, меня стали считать ненормальным, психом, которому ничего не стоит замогилить любого обидчика, будь он даже одноклассник.

Ничего мне Сталин не ответил. А потом уж и помер. Сам, говорят. Мать, правда, вызывали «куда следует». Она даже не сказала — куда именно. Вернулась мрачная, молчаливая. Сняла шинель, села на табуретку и задумалась.

7

В районе новостроек из окна открывается широкий простор. Ширь и размах пустыря заплыли чистым воздухом — кажется, что если присмотреться, то можно увидеть вдали либо Карелию, либо Вологодскую область... Но намедни туда привезли вагончики. Явились строители. Буквально в ста пятидесяти метрах от окна, и начали вести кладку большого кирпичного дома. Да так шустро взялись, что люди в очереди за финскими яйцами говорили: «Не иначе, как для бояр обкомовских строят. Подождали, покуда район обустроится, появятся школы, поликлиники, магазины, транспорт заснует...» — «О, брешут люди! — возмущались другие.— Глупости-то не городите! Зачем им общественный транспорт, ради бога?! А школы? Для ихних детишек закрытые школы-то!.. И поликлиника у них своя, спец, и магазины им ни к чему — все на дом кухарки доставят». Вместе со строительством дома вступило в завершающую стадию строительство станции метро. Ну, все совпадает. Нормальному человеку в таком доме квартиры не дадут. Ну, конечно, не боярам, может, а так — мелким шавкам, функционерам, или, как их еще называют, «пиджакам». А еще пишут про дачные домики в Казахстане, словно их в Ленинграде нет. Глядите — в Осиновой роще, или в Комарове... Вся дорога легавыми

уставлена, через каждую версту... Так и зыркают зенками-то... Им бы, толсторожим, дармоедам, по лопате в руки, а не свистеть в свои свистульки... Рязхито разъели на наши копеечки... Вот такие разговоры в очередях. Очереди — это не единственное наше достояние. В очередях мы проводим четверть жизни, а бывает, и треть. Вот в очередях и поперемоют косточки не только труженикам милиции и тупоголовым генералам, но и Рейгану, и Громыко, и Горбачеву, особенно с женой... А дальше боязно и говорить, о чем судачат люди, невзирая на гласность. Черт знает, может, и можно? А ведь, может, и так — говорите, граждане, говорите побольше, а мы себе заметим говорителей... А может, и правда — наконец-то можно?! Но ведь мы не привыкли так. А привыкли к тому, что язык не только до Киева, но и до Воркуты может довести, до Магадана. Поэтому снимем шляпы и помолчим, а тем, кому шибко интересно, что говорят в очередях, пускай идут сами, потолкаются, послушают народ. Впрочем, наверняка толкаются и слушают.

А над Питером распростерлись белые ночи!

Поначалу я решил сдать всю стеклянную посуду и выесть залежалые продукты из кухонных шкафов, так как денег осталось совсем мало, да и те не бумажные. Триста за дачу отдано на лето жене, и сто пятьдесят отослано первой жене, потому что она опять позвонила в партком и сообщила, что я ей за всю жизнь не выплатил ни копейки. В парткоме я, смущаясь, доложил, что плачу алименты аккуратно, что кроме алиментов посылаю либо деньжонок, либо барахлишка, но там больше поверили письму, чем моим устным россказням, хило подтвержденным квиточками от почтовых переводов. «Пишет же человек,— сказали.— Напрасно, что ли?»

Сварив себе кашу из концентрата «детское питание», оставшегося от младенческого периода среднего сына, я поел, выковыривая кончиком ножа жучков-крупоедов, в одиннадцать часов вечера, наблюдая в окно, как девушки-подростки с насвеколенными щеками лаялись матом с тридцатилетней потаскухой. Та стояла на балконе, слегка пьяная, слегка растрепанная, в полураспахнутом халате, и обличала девиц, и осуждала их аморальное поведение — и тоже матом, только хрипло.

Моя после каши тарелку, я опять подумал о Жорке. С его-то ломанным позвоночником тащиться с чемоданом, с рюкзаком?.. Помню, был у нас такой приятель бесквартирный, вроде Жорки. Его звали Коля. А мы, смеясь, называли его «Николай-нидворай»... Поезд прибывал в пять утра на Московский вокзал. В четыре утра я не мог выехать с Выборгской стороны из-за еще разведенных мостов, да и транспорт в такой ранний час не ходил, поэтому на другой берег Невы надо было перебираться загодя.

В двенадцать ночи, сетуя на то, что не высплюсь, стал потихоньку собираться ехать встречать гостя.

Захлопнул дверь и подумал, что теперь надо будет битых пять часов сидеть в зале ожидания. И не подумал даже — взять с собой какой-нибудь журнал! Но возвращаться не стал.

Автобус подошел быстро. И в половине первого я уже сидел в вагоне метро. Было пустынно. Ехали какие-то пожилые люди, парочка пестрых девиц, кучка парней. Один с серьгой в ухе. Захотелось почему-то плюнуть ему в морду, но без труда подавил в себе это желание. «Вот так все мы не вмешиваемся, а жизнь течет наперекосяк!.. То ли нас отучили вмешиваться?.. Вон, под Киевом трагедия, а тут — серьга в ухе! Торчальщики!..»

На площади Восстания фланировали потаскухи. Вытуренные из ближайших ресторанов, кучковались компании южан. У «Невского», у «Октябрьского». В анфиладе вокзала, со стороны Лиговки, стояли две потрепанные проститутки последнего разбора, дожидаясь клиентов. Они, видимо, совсем уже отчаялись, и готовы были переспать с кем угодно даже за трамвайный талон на двоих.

Все лавки в зале ожидания были заполнены. Я послонялся туда-сюда и опять с горечью подумал о людях, спящих, как свиньи, на полу, и что это

происходит у всех на глазах, и что это никого не касается, и что людей у нас не жалеют. Из многочисленных киосков работал только аптечный, торгуя румяными клизмами, которые в изобилии зрели на верхних полках. По перрону к последним электричкам торопились пригородные жители, подзагулявшие до ночи в Северной Пальмире. Иных покачивало от усталости. Сонно стоял у касс милиционер с грустной овчаркой. У лап собаки валялся надкушенный не ею вокзальный пирожок.

Народу на вокзале было гораздо больше, чем в былые времена. Авария в Чернобыле отпугнула любителей отдыхать на юге от Причерноморья, и многие кинулись тратить отпускные монеты в Прибалтику, в Ленинград...

В кассовом зале, прямо на полу, спали люди. Приткнуться было некуда. У воинских касс запоздавшие комнатосдатчицы ожидали богатых клиентов. Мне товарищ говорил, что койка стоила уже шесть рубликов в день, вернее, в ночь. Уточнять я цену не стал, хотя коек была полна квартира. Брезговал даже думать об этом, потому что снял дачу, комнату метров семь и веранду — за триста. На два с половиной месяца. Заплатил за воздух в Рощино. И то, говорят, повезло!

Оставаться на вокзале не имело смысла, и я поплелся переулками на Витебский вокзал, в надежде, что там свободнее.

Я шел по Лиговке, и у меня было ощущение, что это не белые ночи стоят над Ленинградом, а просто как бы выцвел город после долгих дождливых стирок и сырых туманов минувшей весны...

8

...Пустился я в это прозаическое странствие, опираясь на посох пережитого, и если я всегда видел конечную цель очередного пути, то теперь, как поводырь, волоку за собой компанию доверчивых читателей, и говорю им: «Там, там...»,— и тычу пальцем — на горизонт показываю, а сам, братцы, не знаю, что «там». Каюсь — не знаю. Но идите — постараюсь я показать как можно больше, а если уж и не больше — то ярче... Посох-то слишком длинный — иной раз аж за облака зацепляется. Но так положено — с посохом, хотя, кажется, и не слепой.

Милые! Есть такие вещи, которые и слепой видит. Есть. Но молчит, словно бы он одновременно и глухонемой.

А наше поколение — странное поколение. Мальчишками мы застали обрубки фронтовиков; пытались, тужась, понять — что такое XX съезд партии, и веря свято непреклонно очередным решениям, рвались в будущее, не щадя сил. Мы думали, что действительно справедливость восторжествовала, что чуток поднавалиться и наступит такое изобилие, какого не снилось ни одному миллионеру. Это мы внесли свой посильный вклад в увеличение смертности мужиков, наша заслуга в том, что если в шестьдесят первом году среднестатистический мужчина помирал в шестьдесят семь, то ныне — в шестьдесят один. Зайдите в любую больницу — она полна сердечников сорока — сорока пяти лет. Мы не были хозяевами в своей стране, правителями — все было сделано для того, чтобы убрать нас с дороги, чтобы отстранить наше поколение, изничтожить, унизить, нивелировать личность, сделав его и в семье нулем. Поэтому-то мы и остались на пятом десятке борьками, вальками, петьками, гришками — смотрите: не прирастают к нам отчества. Никак. Большая заслуга в том нашей государственной политики. Мы кричали, потом нам кричали, чтобы мы не кричали. И мы поняли. Мы не скандалили. Молчали, молчали, молчали, а потом пили и спивались, и, накопив все боли в сердце, валились поочередно петьки, борьки, гришки, вальки — в яму...

Что сказать о своем поколении, которое как бы вычеркнули из времени? Да и как и о ком теперь? Иных уж нет, а те — далече...

— А ты слыхал? Борька помер.

— Да ну!.. Ведь ему недавно сорок отмечали... Что за мор пошел... У меня уж треть товарищей устроилась на погосте...

— Не говори. Сам, чувствую, что порой вот-вот загнусь. Детей только жалко.

— Ничего не поделаешь. Настанет время — в уголке не пересидишь, не заныкаешься от нее...

Пишу — и не знаю, чего пишу. Не знаю, но душа требует написать именно это — без четкого закругленного сюжета: сидел сопливый Иван-дурак на печке, а в конце сказки — он и царь, и герой, и женился на царевне. Красавец, и богатством обладает... Не так нынче, ребята. Не так! Вот наше, наверное: сидит Иван-дурак на печке, сопли уже вытер, и думает, что положено ему в конце концов стать царем... А пока он так думает, приходят люди и разбирают его печку, а за то, что мечтает аж царем,— за это по головке не погладят. Лучше уж не мечтай, свинья! Вон, тебя гражданка Яга дожидается — может, она тебя выведет в люди, а может, и в кощеи... Не-ет, опять сопли полезли... Хоть бы нафтизину закапал в свой рубильник!

Да-а, есть и в нашем поколении мерзавцы, есть. И мы несем за них ответственность... Они-то уж подольше поживут, из них вырастут отличные кощеи бессмертные, благодаря нерушимой системе...

9

Руслану я сказал, что уезжаю из Москвы, так как не умею стеснять людей. А сам думал съездить к одному приятелю, который жил лимитчиком в Кузьминках.

— Иди, я тебя догоню,— у него никак спички не зажигались.

Я пошел к своему мотоциклу, пересек улицу Фрунзе. Шел по переулку и размышлял, и вдруг почувствовал какой-то всполох. Оглянулся — друг выпрыгнул на тротуар, едва ли не из-под колес лимузина «ЗИЛ». Догнав меня, он пояснил, усмехнувшись:

— Едва Брежневу под машину не угодил.

Я подумал — врет. Присмотрелся — и действительно увидел на заднем сиденье «ЗИЛа» профиль Брежнева. Обознаться было невозможно — этот профиль красовался тогда всюду в нашей жизни: на каждом переулке, в каждом учреждении, в каждой газете. Его лицо мы видели чаще, чем себя в зеркале.

В этом было недоброе предзнаменование.

— Хочешь, прокачу на мотоцикле?

— Нет. Мне надо в одно место тут...— Руслан посмотрел мне вслед.

Я завернул направо и поехал через всю Москву в Кузьминки.

В грязной общаге лимитчики жили хуже скотов в хлеву. Они отмечали какой-то праздник. Скорее всего получку, потому что получка у нас — чуть ли не самый большой праздник, ибо основная масса народа ждет ее постоянно. Множество живет — из кармана в рот. От получки до аванса, на которые и купить-то толком нечего. В общаге пахло помоями. Лимитчики ели сосиски и пили портвейн, наслаждаясь столичной жизнью. Все они мечтали прописаться постоянно и через десять лет встать на очередь на квартиру, или — ловко жениться на москвичке.

Друг сидел в полупустой комнате и смотрел в окно. Мне он очень обрадовался и собрался бежать в магазин, заняв где-нибудь деньжонок, так как получка его еще вчера окончилась. Но от грядущей выпивки я категорически отказался — за рулем. Тогда он занял у соседей картошки, пожарил ее. Мы ели, и я его стыдил за грязь в комнате, за грязные ногти, за нестриженую-нечесаную шевелюру, за лень. Он меня слушал, виновато улыбаясь.

К вечеру я поехал к тетке, на Яузу. Поставил мотоцикл во дворе. Потом сидел с сестрой и племянницей перед телевизором и рассказывал о родне,

которую и сам-то много лет не видел. Докладывал, кто болеет, кто пьет горькую, а кто — выбился в крупные начальники. В начальники над тремя работягами, такими же, как и он сам, потому что чуток больше смекалки, потому что не лакает фанфуру, а пьет только вино, и не двенадцать стаканов в день, как все, а всего лишь восемь... Такая родня, что и погордиться некем. Взять хоть тут, в Москве, хоть по всему свету. С утра все давились в автобусах, в трамваях, в вагонах метро, рвались к своим станкам, тискам, конвейерам. В будни горбились за ничтожную плату. Кто не пил — выплачивал за телевизор, волоча ярмо кредита. Мужики — почти каждый — алиментщики. Красть все были не приучены, поэтому ни хрена не могли нажить и клянчили перед получкой трешки у соседей.

Брат рассказывал: в музее понадобилась шпага восемнадцатого века. Для пары. Нашли-отыскали люди его. Его указали люди. И правы были — мастер он, золотые руки. Притащили ему шпагу в бархатном футляре. Музейный работник на страже — как же! Такая ценность! «Я все в точности сделал — даже сталь такую же подобрал, хотя и можно было шаляй-валяй срубить, но я, знаешь, так не умею... И серебро тянул, и проволоку вил, когда эфес делал... Они что-то отвлеклись — я ее всунул в футляр. И не узнали! Представляешь? О как!» — «Брось,— возразил я.— Шпага-то старая!» — «Хм! А я свою тоже подстарил. Я ж знаю — как! Не различить... И четвертачок срубил, и жена не узнала!» — он был доволен до блаженства. «Да ты что! — отпрянул я.— За ювелирную работу, за уникальную работу — четвертачок?» — «Ну... они мне, правда, еще и спирту брызнули... Только после их спирту меня пронесло... А что? Четвертак же!» Заказчиков называть мерзавцами, что ли? Или уж система наша такова — не ценить человека. А если он еще и удивительный мастер, так опоганить его каким-то подозрительным пойлом. А не вознести его на тябло, и не молиться на его руки, и не дорожить им, как государственной редкостью... Братцы мои! Уж после истории со шпагой, брат разобрал и собрал поточную роботолинию. Сам. Он один на заводе все знает, а вокруг него ходят-бродят десятки инженеров, на него богу молятся, его упрашивают в отпуск не ходить. Он счастлив, этот работяга. «Сейчас ничего стал зарабатывать,— хвастался он мне, когда приезжал в Ленинград за продуктами.— Две с половиной сотни, а когда и двести семьдесят!». Отнять бы оклады и премии у пустоголовых инженеров, нахлебников братовых, прогнать их поганой метлой, отнять дипломы и выдать свидетельства об окончании шести классов вспомогательной школы... Люди, не делите заработанного братом на десять человек, а отдайте ему, и не станет он пить поганое пойло, если будет так обеспечен, как этого заслуживает. Но ведь нет! Опять он клянчит у соседей пятерку, а то аванс на день задержали, а то — трое детей, да все уж подросли... И-их, куда занесло! Прямо-таки оратор, да и только!..

Сестра и племянница очередной раз развелись с мужьями. Племянница тогда работала на огранке алмазов. Рассказывала со смехом, как они, голые, проходят проходную, и что охранницы иной раз и в задницу могут заглянуть, и причесаться над фанеркой заставят. «О, дуры! На кой хрен мне их алмаз-то! Да пропади он пропадом. Горбимся для кого-то?.. Кому эти алмазы? Потаскухам... Видела я наши камушки в магазине — полжизни надо работать, чтоб заработать на одну серьгу, а потом в таких сережках разве что с тремя вооруженными милиционерами ходить, да и то днем, да и то — по своей квартире. А иначе оторвут вместе с башкой... Я вон и шапку-то ношу за тридцатник, а то идешь порой ночью... У нас тут, на Рогожке, одну школьницу ограбили — сережки из ушей с мясом рванули».— «И правильно,— равнодушно вставила мать.— Нечего детей в золото рядить — приманивать жулье-то».

Я проспал на полу, ворочаясь до утра на старых пальто, под невесть откуда взявшейся железнодорожной шинелью. На кровати во сне сопела ослепшая тетка. Ей было далеко за восемьдесят. Отблагодарить родичей было нечем, поэтому утречком я сказал тетке несколько теплых слов о Боге. Она была верующая. На улице заморосил дождь и резко похолодало. Я еще раз хотел заскочить к Руслану, да женское семейство обрядило меня в женский плащ, в женскую кофту, в коих только ехать было вон из города, тем более, рядышком — шоссе Энтузиастов, а там — и кольцевая дорога.

Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

По приезде, через недельку-другую, утром получаю телеграмму: «Приезжай похороны Руслан умер». А через несколько дней, уж после того, как Руслана похоронили, пришло письмо от него самого. Он радовался, что угодил в больницу с чем-то непонятным. Радовался возможности отдохнуть там от сумятицы жизни и отъесться на казенных харчах, да и здоровьишко поправить...

10

«...мы живем по-старому. Правда, вот Володя угодил в больницу с сердечным приступом. Люди подобрали на троллейбусной остановке. Привезли без сознания. Я грю Людке, мол, беги в больницу-то. А она мне — пускай хоть подохнет там, паразит... Сейчас понемногу приходит в себя. Сварила ему бульон из куриных лап и башки — за шесть рублей взяла на рынке — понесу. А Кольке отняли одно легкое. Совсем ополовинили мужика. В прошлый раз полжелудка откромсали... Мне работницы наши на день рождения подарили талон на мясо. А на масло — алкоголики продают талоны. По рублю за пайку. Так что у нас все хорошо, ты не волнуйся... Целую, мама».

11

Ночами мама подолгу писала отцу письма. Она сидела в свете керосиновой лампы, макала ручку в чернильницу, шевелила сухими губами и прикасалась пером к бумаге очень осторожно.

До Нового года мы обычно перебивались теми овощами, что дожили до собственной осенней зрелости. На новогодние праздники мама доставала в фабкоме билеты на елку. Мы тащились всем табором в клуб, смотрели представления и мультфильмы. Потом наступал миг, когда в руках оказывались яркие пакеты с конфетами, печеньем, яблочком. Подарки мы несли домой. Хотелось вытащить из пакета что-нибудь, но старший брат не разрешал.

В зимние каникулы дел не оказывалось, и я болтался по городу, ходил смотреть на елки. Один раз, пока шло представление, я забрался в какой-то пустынный зал, наткнулся там на рояль и долго колотил по клавишам, пытаясь изобразить некое подобие музыки и испытывая при этом истинное наслаждение. Мне казалось, что музыка получается, и ничуть не хуже той, классической, концертной музыки, которую время от времени передавали по радио. Я сызмальства искал людей, про которых говорила иногда задумчиво мама. Она говорила, что в эти люди надо «выбиваться», и очень много надо трудов положить, чтобы «жить как люди». Эти люди, которые жили как люди, были для меня таинственным племенем, обитающем в царстве справедливости и сытости. Эти мифические красавцы не лаялись матом и не колотили чем попадя жен и детей... И теперь, уютно устроившись в пустом зале, я посвящал свой первый концерт для фортепиано без оркестра этим людям. Я как бы говорил им своей музыкой, что мне тоже хочется выбиться в люди, и жить «как люди», и ничего, что пока я еще шпингалет с урчащим от брюквы брюхом и меня почти любому разрешается пнуть или даже избить, но душа — душа у меня есть, и ей тесновато в моем костлявом организме! Это я провозглашаю своими мощными аккордами. Пра-ра-ра-ра! Бамс... Ра-ра...

Меня почему-то никто не гнал, и я, воодушевленный, играл до ломоты в пальцах и до темноты в окнах. Потом долго искал выход, затем просто вылез в форточку. На тротуарах валялся праздничный мусор. В газоне, запорошенном снегом, грустно торчала лысоватая елка. Я потрогал, в надежде, подвешенные к ее веткам огромные конфеты и обнаружил, что они из картона и воздуха.

Лет с семи я научился играть на гармошке, а потом и на гитаре. Гармонь нам была продана в долг нашим дядькой, слепым дядей Леней, а гитара,

по-моему, досталась от каких-то дальних родственников Саловых, когда их дядя Федя повесился в сарае над бочкой квашеной капусты. Затем играть на гармошке выучились и братья. Мы выходили на лавку у ворот и наяривали по вечерам разные песни. Музыкантов не хватало, и поэтому нас стали приглашать на свадьбы, на прочие гулянки. Вернее, приглашали, в основном, меня. Я и начинал играть. Наигравшись до отвала, наевшись до треска в пузе, говорил, что устал,— мне верили, потому что я был такой карапуз! Из-за гармошки виднелись лишь два глаза. Звал Вовку. Вовка — Борьку. Они играли, покуда не становились сыты.

В те же времена матери как-то предложили отправить кого-нибудь из детей в лесную школу. Бесплатно. По путевке поехал старший, Вовка, как самый прожорливый. Через неделю он вернулся и рассказал, что лесная школа, оказывается, татарская, и ему там ничего не понятно. И его никто не понимает. Мама его вновь прогнала, для убедительности отодрав ремнем. Напрасно, что ли, дармовой шамовке пропадать?! Вернулся Вовка уже весной, поднабравшийся сил и владеющий татарским языком. После этой учебы он «работал» у нас в семье переводчиком и пользовался бóльшим уважением у татар, нежели мы.

За несколько месяцев до возвращения отца из лагерей, зимой, вернулась из заключения тетка Гутя. (Мама и Гутя — двойняшки. Екатерина и Августина.) Тетка пришла стриженая и седая. Она притащила с собой котомку с пирожками и маленькую собачонку Найду. Наш пес, вечно голодный, действительно, как собака, сидел годами на пеньковой веревке, в конце концов сбесился, и его кто-то застрелил, из поджига. Найда стала жить в доме — собачьи трущобы покойного дворового пса ей не приглянулись. Вечерами тетка щелкала семечки и пела тоненьким голосом тюремные песни. Потом рассказывала, как они, заключенные, работали в поле. Я сильно удивился, когда Колька стал называть ее мамой. До этого я полагал, что Колька наш родной братан.

Тетка заняла чуланчик за печкой, конуру, где раньше жили квартиранты, узбеки. Тот закуток мать сдавала по сто рублей за месяц. Квартирантов я плохо помню. Фронтовик Закир-ака и ворох детей на ковре во главе с молчаливой женщиной. Они с нами не якшались. Они даже со мной не якшались, когда вспыхнула керосиновая лампа и у меня горели одежда, лицо, руки — видать, орал я со страшной силой, но квартиранты не вмешивались в дела хозяев. Даже в такой момент. Меня потом вылечили всего лишь за полгода.

Спустя некоторое время пришла из лагерей подруга тетки и тоже поселилась у нас, с сыном. Мальчишку звали Борькой. Он тут же соорудил голубятню сзади дома из краденых досок, наворовал голубей, и теперь регулярно у наших ворот его поджидали чужие мальчишки для выяснения с ним орнитологических проблем. Приходилось еще и за него драться.

Жизнь наша мало улучшилась: тетка стала питаться отдельно, забрав из наших рядов Кольку, своего голодного сына, который жил с нами на равных, пока она «тянула срок». Из родного брата он неожиданно превратился в соседа по дому. (К тому времени у него начались нелады с легкими. Он приступал к карьере больничного пациента.)

Зимними вечерами играли в лото. Садились три женщины и мы. Стол украшала пахучая гора семечек. Прямо по столу разгуливала злая Найда...

Бочата лото вытаскивал из мешочка Артамоня. Ремесленник, почти прописавшийся у нас, так как дома его дубасили сильнее, чем всех нас вместе взятых — мама. Он был сирота, принятый на воспитание в чужую семью. Низенький, он сильно заикался, но голова у него работала, как генератор, а руки были просто-таки золотые. Ох и ловок был, бестия!.. Колька тоже заикался, а Борька подыхал со смеху, когда Артамоня и Колька принимались ужасно неторопливо разговаривать. «Сейчас яйцо снесет!» — орал Борька, выслушивая Колькино: «Ко-ко-ко-кому?..» Артамоня же научил нас играть

в карты, в лото, в домино, в «орлянку» и в «чику»... Конечно, умение это мало сгодилось в жизни, но ведь всякое умение добавляет толику уверенности в себе. Благодаря Артамоне дом наш был сносно вооружен. В нашем арсенале имелись кавалерийская шашка, револьвер, несколько гранат ПРГ. Все ржавое и никудышное. Шашку потом кто-то экспроприировал шинковать капусту. Гранаты куда-то задевались. А револьвер отец выкинул своей рукой в гальюн. Он, после возвращения из лагерей, обнаружил «пушку» у меня в кармане...

Вероятно, мальчишек всех эпох и народов интересует оружие. Вьетнамский поэт Буй Минь Куок, воевавший в партизанах с двенадцати лет, сказал на это, что уж во Вьетнаме-то каждый сопляк владеет любым, даже сверхсовременным оружием... Впрочем, жаждой мальчишек подраться зачастую руководствовались и в странах Ближнего Востока. Там на фронт посылали даже двенадцатилетних мальчишек. Один восточный человек объяснил мне все просто: в таком возрасте мальчишка не представляет никакой созидательной ценности, поэтому дерись и гибни. Такого не жалко, как, скажем, тридцатилетнего мужчину, который уже многое умеет, знает, образован. А этих-то?! Этих полно можно новых нарожать. Воюйте на здоровье. Зато кто выживет — получит богатый жизненный опыт.

Когда мама привезла меня из Москвы, где я проживал у бабушки на булочках и пряниках, братва меня, сытого и гладкого, естественно, возненавидела. Мало того, что теперь в животе обосновалась пустота, мне еще щедро выделялись тычки и подзатыльники. Не вынеся голода и колотушек, я однажды убежал на вокзал, насобирал там перронных билетиков и собрался ехать обратно, в Москву, временно позабыв, что бабушка померла. Потом я много раз убегал из дому, из домов. Из своего убегал, а уж из чужих — и подавно. Сам бог велел... Уехать в Москву не удалось — меня задержал милиционер. И хотя милиционерами у нас принято пугать с детства (вот придет милиционер, если кашу не съешь. Или волк. Как-то они сравнялись в детском понимании — волк и милиционер. Может, отсюда у нас и отношение к милиции не очень-то любезное. Человек лишний раз не подойдет к милиционеру, а лучше его обойдет.) Но у меня имелся родной дядька, бывший работник «внутренних органов», и поэтому я того, первого милиционера, не испугался, а полностью доверился ему. Тем более, кашу нас не надо было заставлять есть — мы и тарелки до блеска выскребали-вылизывали, а роль блюстителя порядка в доме исполняла мама.

Со временем мы научились питаться и зимой. Мы таскали в лавку старьевщика кости, которые набирали по помойкам. (Кто-то даже и мясо лопал в то время!) Весной, когда оттаивало заброшенное кладбище Ямки, мы набирали там человеческих костей вместе с черепами и берцовыми костями и тащили всю эту арматуру старьевщику, предварительно разбив мослы молотком, иначе старьевщик не принимал. А узнав человеческую кость, он бледнел, закатывал глаза и называл нас «урус дунгыз»... В поисках добычи натыкались мы на целые гробы и смотрели, как и во что был одет покойник. Ямки были усыпаны человеческими костями. Валялись повсюду черепа с волосами, с бородами. Ни черта мы не боялись, и ни в ком из нас не шевельнулось сомнение, что так нельзя.

Напротив Ямок, в деревянной пивной, добросовестно спивались насмерть фронтовые калеки. Напившись, они рвали на себе рубахи, швыряли медали и ордена на землю и ломали костыли друг у друга на головах.

12

По Разъезжей и улице Марата вышел к ТЮЗу. Там, в парке, на скамейках целовались и общупывали друг друга юноши и девушки, и притулиться где-нибудь здесь было бы верхом неприличия и бестактности.

Во всех залах Витебского тоже было полно народу. Так же, как и на других вокзалах нашей необъятной страны, тут спали на полу, постелив газеты и

сунув под головы сумки с колбасой, рюкзаки с мясом, чемоданы. Возле касс, в строгом порядке, спала очередь. У багажных автоматов камеры хранения ужинали чем попало цыгане. Тоже куда-то, видать, ехали. А может, просто жили на вокзале?.. Поболтавшись по залам и почувствовав, как гудят ноги, я, плюнув в урну, вначале присел на корточки, а потом поднялся и направил стопы в парк ТЮЗа.

Отыскал скамейку, на которой сонно лизалась парочка, сел с краю. Парень держал девушку одной рукой за грудь, а другую запустил глубоко под подол марлевой юбки. Он покосился на меня неприязненно, и, в знак протеста, засунул руку под подол подруги еще глубже, показывая этим, что им на меня вовсе наплевать, и что прямо при мне (если уж им так приспичит) они смогут даже и переспать.

Я встал и пошел по Гороховой в сторону Адмиралтейства. Шел тупо и устало, наступая на бумажки от мороженого и на окурки. Всюду гуляли. Возле Адмиралтейства все скамейки были заняты. Были заняты все скамейки и на Дворцовой и на Адмиралтейской... Во всем мире были заняты скамейки. Были даже заняты скамейки на Синопской набережной, невзирая на то, что скамеек отродясь там не стояло.

У парапета околачивалось столько же народу, сколько и днем. Даже на львах сидели, на ступеньках спуска к воде возле Дворцового моста. И даже на площади Декабристов лошадь была занята. На ней сидел Петр и показывал медной рукой на ту сторону Невы. Я присмотрелся, но и у Академии всюду сидели. Все заняли до моего прихода, загодя. И тут мне места нет...

Сквозь черные чугунные подзорники Дворцового моста проблескивал золотой луч Петропавловской колокольни. Кое-где обездоленные подростки мерзко бренчали на гитарах, оскверняя красоту предрассветной тишины тоскливыми откровениями. Раздавались всплески музыки из транзисторов. По Неве важно тянулся караван судов, светя габаритными очами, а у мостов в своих машинах, сложив головы и руки на баранках, дремали частники, водители такси, водители автофур с надписями «Хлеб», «Почта»... На парапете, у ног льва, катящего к воде шар, сидел курсант торгового флота и обреченно ел целую буханку ржаного хлеба.

«Да что же это — присесть негде!» — подумал я раздраженно. Но тут же успокоил себя мыслью, что делаю благородное дело, встречая горбатого Жорку.

Миновав площадь Декабристов, поплелся по пустынному проспекту Майорова, в надежде скоротать пустой ходьбой время. Тем более, что намечался уже третий час ночи. Можно, правда, было б выехать из дому на такси и попасть к временной сводке мостов, но вспомнил, что ночью таксисты дерут втридорога, да и поймать ли ночью такси на Выборгской-то стороне, на Гражданке?..

На Измайловском решил пойти на Варшавский вокзал. Оттуда, считай, уж и вовсе нет поездов. Там-то, может, сыщется местечко!.. Но на одной из Красноармейских завернул, решив дать кругаля по Лермонтовскому проспекту, просто так, мимо дома одного приятеля.

На витрине спортивного магазина каменный манекен варил в новом алюминиевом котелке на бумажном костре концентратный суп, прямо в пачке. Наряженный неладно, будто покойник, он тупо смотрел стеклянными глазами на бадминтоновую ракетку с ценником посредине, и я подумал, что вот даже истукан, и тот имеет свой угол, хотя и за стеклом. И я бы согласился жить даже на витрине, лишь бы иметь свой, пусть бумажный костерок...

Форточка была открыта. Из нее выползал в вылинявшее белесое небо жалобный дымок. Я увидел за стеклом седую башку приятеля и вошел в подъезд. Почему-то друг не спал. Он открыл дверь на первый же звяк звонка.

— Ты что бодрствуешь? — удивился я, входя в квартиру.

— А ты?

— Встречаю поезд в пять утра. Вот, из-за мостов переехал с ночи на эту сторону.

— Позвонил бы... Чем болтаться по городу-то. Положил бы я тебя где-нибудь. Вон, на припорожном коврике, например...

— Не хотел беспокоить. Думал — спишь.

— Уснешь тут... Разве что навечно... Чаю?

— Давай.

Он кинул мне встречь шлепанцы, а сам отправился на кухню и там с кем-то заговорил. Говорить, по моим расчетам, он не мог ни с кем. Разве что с самим собой. Но на чеканутого он вроде б не походил. У него ведь и кликуха раньше была «Железный Феликс». Престарелые его родители обитали с ранней весны до зимней осени на даче, в Горелово, и в город почти не приезжали, и он в это время блаженствовал в отдельной квартире, правда, с ограничениями, которые ему вводила, уезжая, мама. Зимой же он ютился в коммуналке, у любовницы, держа свои вещи на двух квартирах. Две бритвы, два помазка, две зубные щетки...

Пройдя следом за ним на кухню, я обнаружил сидящую у окна молодую попсовую девицу. Девица курила сигарету. Она, элегантно стряхнув пепел в горшок с алоэ, сдержанно поздоровалась со мной. Этому я тоже удивился — приятель мой был из прожженных женофобов, и баб всех не то чтобы ненавидел. Хуже. Он их вовсе не воспринимал как людей.

— Тебе индийский или цейлонский?

— Какая разница.— Я присел на свободную табуретку и тоже достал из пачки сигарету.

Девица протянула мне японскую зажигалку и чиркнула ею. Я еще раз глянул на ночную гостью и допер: это была его дочь. Ее я не видел года два, если не больше, и этого времени оказалось достаточно, чтобы из голенастой комсомолки она изловчилась оформиться в симпатичную юную даму.

— А эта что тут делает? — кивнул я на Ирину.

— Сбежала от матери,— горько пояснил друг.

— Как?

— Совсем.

Я перевел глаза на Ирину. Она охотно пояснила:

— С вещами. Навсегда.

— Еще вернешься,— успокоил ее отец.

— Ни за что! — она загасила сигарету и попросила: — Сделай мне еще чаю, пап. Но мне только цейлонский.

— Ладно.

— А что не спите? — спросил я.

— Так ведь она только в два вернулась с гулянки!

— Мать, наверное, не разрешала поздно возвращаться? — спросил я ее.

— Нет, не поэтому. Я в принципе с ней не схожусь во взглядах на жизнь,— ответила Ирина.

— А что ты ей курить разрешаешь? — спросил я друга.

— Хрен с ней. Пускай. Это ее личное дело.

— Может, пусть еще и пьет, и с мальчиками дремлет? — спросил я с подковыркой.

— Пусть,— серьезно согласился он.— Пусть пьет и с мужиками спит, если ей это нравится.

— Мне пить не нравится,— вставила дочь, закинув ногу на ногу.

— Ну, не пей. Дешевле жить,— сказал отец.— На одну пол-литру неделю спокойно питаться можно. Да и на куреве не грех сэкономить. Ты вон «Космос» куришь. Семьдесят копеек. А это сто грамм сыра, плюс — сто масла и еще французская булка. А от еды проку больше, чем от курева. Или — курила хотя бы «Беломор». Все-таки двадцать пять копеек. Впрочем, все бабы бестолочи. Всех их надо вешать.

— А меня, пап, тоже?

— Тебя-то? Да тебя в первую очередь,— сказал отец.— Только всех за голову, а тебя — за ноги.

— Ну, хоть на этом спасибо.

— Чем вот тебя, такую дылду, кормить,— сказал сокрушенно Железный Феликс.— Кофе пьешь и куришь. А кофе сейчас тоже кусается.

— Как-нибудь перебьемся,— успокоила дочь отца.— Я в пэ-тэ-у пойду.

— Иди лучше в институт.

— Ну, в институт. Как скажешь.

— Только туда надо готовиться.

— Знаю.

Бросив разговаривать с дочерью, налив в чашки чаю, он закурил и пододвинул мне блюдечко с печеньем.

— Поешь немного. А то сколько еще ждать... Вот, видишь, теперь еще и эта,— он кивнул на дочь, как на неодушевленный предмет.— И так денег нет ни хрена. А от ее матери не дождешься, чтоб, я уж не говорю от себя, чтоб хоть мои-то алименты возвращала... Она ведь и со мной развелась, все рассчитав. Экономист. Замуж вышла на другой день после нашего развода. Две зарплаты — ее и нового муженька — да плюс мои алименты. Нехреново устроилась. Бабам вообще проще. Мужик должен всю жизнь ишачить, горбить, выбиваться в люди, делать карьеру. А ей только и ума надо, так это рассчитать, кому половчей свою задницу подставить,— и все дела.

— А у меня и на это ума не хватает,— притворно вздохнула Ирина.

— Кому нужна твоя говенная задница,— сплюнул он и сердито стрельнул в нее взором. Мол, не суйся не в свой разговор.

— Бабе тоже — промахнешься разок, и мучайся с довеском всю жизнь,— попытался я защитить женщину.

— Пускай аборт делает,— сказал он.— Вот я сейчас — на голом тарифе сижу. Непруха,— ни с того ни с сего перевел он разговор в другую плоскость.

— У меня тоже — карманы вовсе облысели. Никаких там ископаемых не обнаруживается.

— А кого встречаешь? Мать, как обычно?

— Нет... Так... Одного артиста... Словом, не ужился нигде он, детей настряпал... Я думаю, что здесь он притулится куда-нибудь, не бездарен. А уж работать я его заставлю.

— Кормить придется.

— На первых порах. А потом — вон иди работай. Еще не хватало — взрослого мужика кормить.

— И на первых порах тоже надо.

— Ничего. И я, и он привыкши. Может одну морковь жрать с картошкой и хлебом.

— Не пойму, зачем это тебе?

— Сам не пойму... Просто жалко, пропадает человек вовсе. И никому дела нет... Ну, спите — я пошлепал. Пешком же надо, аж до площади Восстания.

— Посиди еще.

— Нет. А то придет поезд, он выйдет с барахлом — а никто не встречает.

— Сам бы прекрасно доехал до твоей вонючей Поклонной горы.

— У него позвоночник ломаный.

— Тогда конечно. А как же он станет работать?

— Вахтером каким-нибудь... Или дворником.

— Верно. Или этикетки приклеивать к консервным банкам.

Он проводил меня до двери. Потом вышел следом на тротуар. В шлепанцах постоял со мной у подъезда, глядя на розовеющие крыши и купола, и толкнул меня в плечо.

Я пошел.

13

Мы с ней познакомились минувшей осенью. Вернее, не познакомились, а нас познакомили. Возник сейчас какой-то комплекс насчет знакомств с женщинами. Для начала разговора необходимо ляпнуть какую-нибудь глупость, чтобы потом по реакции дамы определить — есть ли контакт. Она сейчас тоже как бы в бронежилете, который ей самой жить мешает. Ее язык в вечном противоречии с порывами души и с желаниями. На любую глупость она непременно ответит, сама не желая того: «Вали своей дорогой» или «Чего привязался?» — и посмотрит, как на ненормального (сама, опять-таки, того не желая). А мужику ляпнуть глупость мешает голова. Помню, когда пил водку,— все казалось проще, глупостями полна черепушка набита. Чем больше выпьешь, тем красноречивее и необидчивее, тем легче контакт. А как трезвому? Тут тормоза работают безотказно, за три перекрестка до светофора. Увидишь именно ту, которая по душе, смотришь на нее и думаешь, вот подойти и сказать что-нибудь. А что-нибудь? Что-нибудь. Что-нибудь-то?.. Ай, что ни будь! И она смотрит, глаза ее говорят, ну что же ты, фуфло?! Говори же какую-нибудь чушь собачью!.. Я тебе отвечу!.. Но раз смотрит — как я скажу чушь? Заведомо укажу, что с мозгами у меня бывают перебои? Да ни за что! Ну, перебьемся, думаешь! И выходишь на своей остановке. И идешь и думаешь, ну и мудак же я! Господи! Наверное, и она — едет дальше в трамвае и так же думает про меня, а заодно — и про всех мужиков... И так вот: посторонние люди (есть всегда такие граждане, которые любят знакомить) придумали какое-то совместное увлечение, чтобы был повод. Познакомили нас. Для более близких отношений пришлось даже попить легкого вина, чтобы расковаться... Но сижу за столиком в кафе и упорно думаю — не то же! Вовсе не то, что мне надо бы! И близкого нет от смутного образа... А что делать? Что? Раз не умеешь знакомиться — жри, что дают и благодари еще! Черт знает — может, и она так же думает?

А у нее квартира. А мне как раз деваться некуда прямо сейчас. А она покормит — а то я который день все собираюсь пообедать. Давлюсь пирожками в забегаловках. В столовой отравят. В ресторане ограбят. Ну и что, что не то? Ну, подумаешь — посчитаем это отступлением на заранее подготовленные позиции, выравниванием линии фронта... И вот уже обитаю в дезодорантовом раю. В брюхе — добротный бифштекс мурлычет, и всего-то, за такие потрясные удобства надо, переборов себя, погладить, потискать, и потом, когда уже противно, сделать вид, что тебе хорошо, и что-то проворковать теплое, презирая себя. (Хорошо еще, что темно. Плохо в белые ночи — лицо твое видно. Но она, смотрю, щурится от счастья, как кошка на теплом телевизоре, и ей не до моего похабного рыла. Иначе в этот момент я сам к себе не отношусь!)

Утром она снимает с моего пиджака пылинку. Я сую ноги в настиранные носки, в начищенные ботинки. Она прячет мне в карман надушенный носовой платочек явно дамского направления, вместе с платком кладет пачку заранее купленных сигарет и спички, и уже на пороге наскоро слизывает тряпицей с моего портфеля микроскопические пятнышки. Затем выжидательно смотрит мне в глаза и, выждав паузу, все-таки спрашивает:

— К ужину вернешься?.. А то я купаты поставила бы оттаивать...

Каждый раз хочется уйти насовсем, и каждый раз я ухожу навсегда, но идти на земле некуда, на дворе холодно, моросит, и бормочу под нос:

— Не гарантирую...

— Можешь задержаться?

— Могу. Запросто.

— Тогда возьми ключ, на случай, если вернешься поздно.

— Не надо. Я постараюсь позвонить, если начну задерживаться...

Наконец-то в лифте, вздыхаю облегченно и смотрю с ненавистью сам в себя. «Проститутка я! Потаскун паршивый!.. Продаюсь бабе за кусок сала! Тьфу, бля!..» Мне даже самому с собой говорить неохота. И решаю (уже в метро), что ночевать больше к ней ни ногой. Хотя и понимаю, что она тут ни в чем не виновата, что она хочет жизнь устроить, а может, даже и любит меня какой-нибудь любовью Наташи Ростовой, и от этого становится еще противнее, хотя, кажется, и так уже некуда...

Кончается рабочий день. Я с час околачиваюсь на тротуаре у своей конторы. Потом иду в пирожковую, чтобы пообедать, потом брожу по Невскому. Идти некуда. Есть, конечно, куда. Есть. Но туда, туда идти еще противнее. Я уже там был. Достаточно. И верчу головой, и смотрю — как славно устроился сапожник в пластмассовой будочке. Своя будочка-то, своя... Даже милиционер — и тот сидит в будочке — движение кнопками регулирует. А вокруг широкие окна, с занавесками, с геранью на подоконниках. И там живут люди, у себя дома. Куда бы сейчас? Смотри-ка, ноги-то вовсе промокли...

На вокзале все скамейки заняты. На полу даже сидят и лежат. В гостиницу

жителя города не пустят. Не только этого, но и любого другого. Даже на порог. У нас вообще неизвестно, для кого гостиницы построены. Выглядывают из окон гостиницы «Россия» сплошные негры и кавказцы. Посматривают из-за портьер на площадь Восстания из гостиницы «Октябрьская» капиталисты-бизнесмены. Смотрят, как в городе трех революций бродят в поисках угла приезжие люди и видят наше гостеприимство. Свои без дому — зато гости все на местах. Швейцар угодливо растворяет дубовые двери перед напудренными комсомолками — эти тут ненамного дороже бутерброда с паюсной икрой... Угол, уголок, уголочек какой... Вон, шикарная будка дворника. Он в ней хранит метлы. Как бы славно можно было бы там пристроиться. Я бы туда печку, я бы туда диван из комиссионки... Я бы туда лампочку электрическую повесил или бы даже целый прожектор перестройки, я бы — Бог ты мой — вон и ту кошку пригласил, покормил бы ее колбасой, и мурлыкала бы она, лежа у меня в ногах, грея своим кошачьим теплом мои конечности, которые все стынут и стынут...

Ну — дела! О, как задумался! Уже на эскалаторе выезжаю на поверхность. Срочно покупаю какую-то дребедень: пару пачек мороженого, плитку шоколада, несколько апельсинов... И палец топит кнопочку звонка в постылую квартиру... И я, отворачивая взгляд в сторону, стискиваю зубы.

— Ну и отлично!.. А купаты я мигом... Давай пальтишко, давай портфельчик... Чмок-чмок-чмок!..

Тьфу!

14

Кроме костей и тряпок, таскали сдавать утильщику и железки, но стоили они дешево, а весили много. Случалось, везло. Однажды я нашел пачку ломаных патефонных пластинок. Пластинки стоили дорого. А как-то летом мне повезло царски — я подобрал пачку из-под «Беломора» и обнаружил в ней тридцать четыре рубля старыми деньгами. Зимой я таскался по магазинам в центре города и старательно высматривал под ногами. Находил медяки, серебро, а иногда и бумажные деньги. Поиск утерянных денег давал почти постоянный доход. Если я отправлялся искать — находил обязательно. Только раз возвращался домой обескураженный — думал, что день потрачен зря. Уныло подъезжал я к своей остановке, как вдруг заметил на полу трамвая трешку.

Первый контакт с наукой произошел также в детстве. Мы нашли блестящий доход — сдавать в Академию наук бродячих кошек. Что там с ними делали — мы не подозревали. И хотя женщина, которая производила с нами расчеты, говорила, что их кормят и лечат, в это слабо верилось. Полно было голодных людей, а наука взялась кошек откармливать. Скорее всего ученые проводили на них свои опыты. Но нас это мало касалось. За кошку платили пять рублей. Помню, как мать отправляла к ученым Борьку, завернув кошку в тряпицу и сунув ее в авоську. Он катил в Академию, а мы сидели и ждали. Потом он возвращался, купив по дороге хлеба, заплатив за этот наш скудный ужин кошачьим здоровьем.

Так мы, взрослея, начали приносить в дом что-то, хоть кошками, хоть найденным рублем, хоть чем. Бывало, поздним вечером, под столом разгуливала, мяуча, очередная пятерка. Мы чесали ей за ухом, ласкали, и сочувственно гладили ее — уже поздно, академия закрыта, и кошке придется потерпеть до утра.

Постепенно укорачивались очереди за хлебом. Его по-прежнему привозили караваями по два-три килограмма. В фургоне, на лошади. Хлеб еще продавался на вес. Продавец резал караваи острым ножом. Он мог откромсать на двадцать копеек, на десять, на сколько хочешь. Сдав кошку, или костей старьевщику, мы тащились в деревянный магазин с высоким крыльцом, заранее глотая слюнки.

Появился в продаже сахар — по полкило в одни руки. Вытянулись очереди, длинные, многочасовые. Мы прирабатывали. Мы стояли возле кассы, и нас

занимали тетки, чтобы, предъявив нас, взять не полкило, а больше. За каждое такое представление от нанимательницы получали рубль. Однажды так прозарабатывали весь день, а мама в это же самое время стояла в такой же длинной очереди в другом районе. И ей на всех нас продали всего полкило. Она принесла кулечек. Мы по крупинкам ели, наслаждались, казалось, вечно. Но зато в этот день мы принесли в дом около тридцати рублей.

(Нынче, говорят, таким образом прирабатывают пенсионерки, продавая свои очереди в винные магазины алчущим выпить. Тоже за рубль.)

Тетка Гутя устроилась санитаркой в родильный дом. Они с Колькой полностью от нас отделились. Колька рос длинным, хилым и рахитичным. Он еще и заикался. Много времени он пролеживал в больницах, из-за чего плоховато учился. Тетка, чтобы облегчить ему существование, отдала сына во вспомогательную школу, чем испортила человеку жизнь. Сразу же мальчишки принялись называть его придурком, а он был парнишкой впечатлительным. Стал сверстников сторониться, начал много читать — тогда книгу найти проблем не составляло. Книг можно было насобирать и на помойках. Играть предпочитал с малолетними карапузами. Потом он стал столяром. Напившись в очередной раз пьяным, он выдавал себя за «сотрудника внутренних органов», пока его пару раз не поколотили бывшие урки. Тогда он стал выдавать себя за корреспондента. Слово это выговорить ему удавалось с большим трудом. Один раз наш «корреспондент» так удирал от своих «читателей», что потерял ботинок. Дело было зимой. Стоял мороз за тридцать. Удрав, он надел пальто на голову, а шапку — на ногу. Тем самым спасся от обморожения...

Винюсь! Не туда вас, братцы, завел! Не туда! Наобещал, а рассказываю, как Колька удирал с шапкой на ноге,— ну, не чушь ли? Хотя, если разобрать иной день, месяц, год, то обнаружишь, что все потраченное молью секунд время состоит из чуши. Ну ладно. Сейчас поверну туда, куда обещал... Хотя, не знаю... Вообще-то хотел человек кем-то вырасти значительным, а стал столяром в тарном цеху. Хотел, мечтал — а жизнь пушинка. Фу — нету. Лови растопыренными пальцами бегущую воду, хватай — больше капли не словишь. У нас люди любят выдавать себя не за того, кем являются на самом деле... И пьет Колька «Бориса Федоровича» — клей «БФ», невзирая на отрезанное легкое, а ведь хотел!.. Ведь хотел стать сыщиком там или журналистом!.. Как-то один спившийся дворник сказал, помирая: «А ведь я мечтал стать генералом, когда мальчонкой еще был...» Да и я мечтал! А кто не мечтал? Вон ты, массажист в бане на Петроградской стороне, тискающий дряблых старух на мраморной мокрой лавке — кем ты мечтал, когда мальчонкой смотрел в розовые воды, угадывая воздушный горизонт? Ты мечтал тогда стать массажистом, да? А ты?.. Помню, один мальчик в нашей школе учился только на «отлично», несмотря на то, что его били сверстники. Он был важен, сыт и мудр. (Были и сытые — ведь по-разному жили-то. Как-то рассказывал я своему знакомому про нашу послевоенную жистянку, он глубоко, сочувственно вздохнул и вымолвил: «Мы тоже так бедствовали! Так бедствовали!.. Но папа нашел выход: он купил дом на Карельском перешейке и корову швицкой породы, и мы стали перебиваться кое-как». Вот, товарищи, как, бывало, бедствовали, что в самую черную минуту жизни нашлись деньги и на породистую корову и на дом.. Может, что ценное продали? А может, кого?..) И вот этот мальчик. Помню, его как-то спрашивают взрослые, а кем ты будешь, когда вырастешь? «Когда я вырасту — стану работать Лениным». Ответил он совершенно серьезно. «А что, Марксом не хочешь или Энгельсом?» — спросили его. «Нет — Лениным стану работать».

Что он имел в виду? Где он? Эй ты, Ленин! Расскажи нам, спустя тридцать пять лет, почему ты не устроился работать в Кремль Лениным? Или пока еще путь твой стелется по ссылкам и тюрьмам? И впереди у тебя много дел?..

Вначале я мечтал вернуться в Москву. Зачем ее у меня отняли? Да меня там каждая собака на Рогожской заставе признавала. Потом я мечтал, как папа, «грабить на большой дороге с длинным ножом — резать людей» — так нам говорили в школе про нашего отца. И из Кремля пришел ответ на матери-

но письмо. Нам сообщили новость, что сажал нашего отца в тюрьму не Сталин, а советский народ. Вот когда советский народ решит его отпустить — он его и освободит.

А я все никак не мог представить себе — как это может весь советский народ собраться и единогласно решить. Когда соседи меж собой то и дело дерутся то за полено лишнее, то за драную курицу... Да какое там! В семьях и то всю дорогу дерутся... О-о! Это не скоро мой папа выйдет из тюрьмы, раз такие требуются условия для его освобождения — когда советский народ решит. Не верилось и в то, что народ вместе может собраться по такому пустяковому делу, но если даже и соберется, то ни за что меж собой не договорится. То, что единогласно,— это исключено напрочь. Вон, дядька Земляков своего сына Вовку по улице гонит дубиной. Они только и знают — драться. Это их надо примирить. Но как? Если отец Земляков скажет отпустить моего отца, то сын его Вовка непременно, чтобы досадить своему батюшке, заявит обратное.

У нас как-то всегда делили общество на человека и советский народ. Они были как бы разнополюсными. Отсюда человек и становился врагом народа, а что он мог возразить целому народу, один-то? Против народа не попрешь. И я не попру. Кто я такой супротив советского народа?!

Нет, я даже не мечтал вырасти взрослым и работать, допустим, Маленковым или Булганиным. Я вначале мечтал стать шофером, потом стать машинистом паровоза (если, конечно, не удастся мне выбиться в бандиты). А потом плюнул на все свои мечты и стал круглосуточно мечтать пожрать.

Имелась у нас еще одна тетка, которая жила на окраине города. У нее были три дочери и сын Сергей. Сергей так же сидел в лагерях. Десять лет ему дали. Та тетка, Дуня, жила плоховато. Муж ее, Степан (Стефан), оставшийся в России после первой мировой войны, венгр, работал сапожником. Ну и пил, как сапожник. Погиб он соответственно — возвращался из мастерской «в стельку», упал в лужу и захлебнулся. Ночной мороз сковал его льдом. Первым труп обнаружил Сережа. Он пытался отковырять отца ото льда... С оравой детей, да притом и без отца, жилось тетке не сладко. Но тетя Дуня, или же просто Дуняша, старалась как могла. Возилась на огороде день-деньской, работала на фабрике, вязала из напряденной ваты тапочки и продавала их на рынке... Дочери подросли — повыходили замуж. Валя едва вышла замуж, как мужа посадили. У Раисы муж спился, и его потом убили, видать, собутыльники, и труп затолкали в кабельный колодец. У Вали остался сын. У Раисы осталось двое детей — сын и дочь. Леля вышла замуж за пожарного, доброго, с придурью мужика Виктора, который так же порядочно пил. Да и пьет, чего и нам желает. Вино приносило ему лишь веселье — он умудрился за длинную алкогольную жизнь ни разу ни с кем не подраться, и не влипнуть в какую-нибудь историю. Валяясь не раз пьяным прямо на улице, он ни разу не пощупал боками нар вытрезвителя. Возможно, это рекорд мирового масштаба!.. Лелина дочка Нинка в детстве хорошо пела. Ее даже показывали по телевидению, но девочка рано познакомилась с уличной жизнью и портвейном. Она не раз выходила замуж, и все ее мужья либо попадали в тюрягу, либо только что освободились. Невзирая на безалаберность этой семьи, к ним приятно было приходить в гости — они умели принимать и радоваться каждому вошедшему, причем от всей души... Они долго жили в единственной комнате и даже не подавали заявления на расширение, заведомо считая, что такой бестолковой семье ничего не обломится. Женился и Толька, и привел сюда еще и жену. Нинка и Толькина жена родили. В общем, муравейник, а не комната... Прожив лет тридцать в бараке, они получили на всех трехкомнатную квартиру лишь потому, что бараки сносили. Но они опять-таки посчитали, что квартиру им дали за Лелины заслуги на производстве, а не потому, что им тесно. Впрочем, это была такая семья, что им и в картонном ящике было бы не тесно.

Валя осталась с сыном, Славкой, который долгое время балбесничал. Ничего его не увлекало, кроме драк, до тех пор, пока он не угодил в армию, и ему там не показали, как обращаться с электродом. С тех пор Славка работает сварщиком в Казахстане. У него трое детей, автомобиль и толстая злая жена. А он носит на пальце перстень-печатку и в жизни счастлив. Мальчишкой же не раз попадал в милицию. Отец его так и пропал без вести в лагерях. А к ним пришел товарищ отца по нарам, Лешка. Освободившись, он беспробудно пил и дрался. Он стал жить с Валей. Раз Славка возвращался из магазина (ему тогда стукнуло четырнадцать лет). И его картежники усадили в круг (им не хватало партнера). Славка быстро выиграл весь банк — видать, повезло. Вместо денег ему, естественно, дали пинок под зад. Лешка спросил пасынка, почему тот долго не возвращался из магазина, магазин-то напротив. А вон, уж и молоко успело прокиснуть в бидоне. Тот рассказал отчиму об этой истории. Лешка вышел, помахал кулаками, и вернулся с деньгами. Натыкал Славку мордой в эти деньги и как следует выдрал. После этого Славка в карты (даже в подкидного) не играл и видеть их не мог.

Лешка был хорошим сапожником и подработать на очередную бутылку труда не составляло. Пил он крепко. В памяти остался такой случай: мне было лет пятнадцать, когда к нам пришел Лешка. Утро. Я сидел дома один и втихомолку курил, дуя дым в печку.

— Башка разваливается с похмелюги,— сообщил сокрушенно он.— У вас не найдется ничего залить пожар души??

— Нет ни хрена.

— Дай-ка, сам посмотрю,— сказал он и полез в кухонный стол. Отыскал там бутылку синего денатурата, который мать купила, чтобы натирать поясницу, налил граненый стакан всклинь.

Я испугался и сказал:

— «Денатурку» нельзя! Бывает ядовитая!

— Ерунда,— возразил Лешка матом, выпил весь стакан единым духом и занюхал корочкой хлеба. Даже закусывать не стал и не поморщился.

Я в ужасе ожидал, что сейчас он рухнет на пол мертвый, а он даже наоборот — ожил, на лице появился румянец.

Напившись, он обожал подебоширить. Начинал он дурить на улице или же в пивной, а кончал вечер дома, связанный по рукам и ногам полотенцами. Лишь поздно ночью затихали грозовые перекаты виртуозного мата. Как-то по пьяной лавочке Лешка попал под грузовик. Все потроха вылезли на дорогу. Пострадавшего отправили в больницу — еще дышал. Жена уже подумывала заказывать домовину. В больнице он никак не помирал, невзирая на то, что Валя уж и к поминкам подготовилась (руководствуясь мрачными прогнозами врачей) и почти что с местом на кладбище дело утрясла. Час по часу — проумирал он около года. Вышел весь зашитый-заштопанный вдоль и поперек. На пороге врач ему сказал:

— Станете пить — сразу смерть!

Лешка понятливо кивнул и направился в первую же пивную, где крепко поднапился и вернулся домой вдрызг, едва ли не полаком... После больницы он пил еще сильнее — хотел наверстать упущенное, наверное. Но бросил спиртное внезапно. Все долго не верили, что Лешка бросил пить. «Скорее Волга поперек потечет, чем Лешка пить перестанет!» Но не пил. Устроился работать сапожником, заработал два ордена, автомашину, катер, но все близкие еще пребывали в напряжении, ожидая, когда же Лешка начнет. Теперь-то сам бог велел — отдохнул, набрался сил, раны зарубцевались... Ну, теперь-то он не только «денатурку», но и кислоту и ртуть начнет лопать — все ему нипочем. Не пьет, язви его!

Валя родила ему дочку. Дочка содержалась отцом в великой строгости, но, невзирая на это, в пятнадцать лет вернулась раз домой под утро и заявила, что вышла замуж.

— Когда?! — поразился отец, подыскивая ремень пожестче.

— Только что.

Перебралась потом к мужу, и, когда ей исполнилось шестнадцать,— они расписались. Она — девка городская — переехала в деревню, научилась доить корову, возиться на огороде... А потом ей надоела сельская жизнь, и она развелась... А потом ей надоел и новый, городской муж. А потом, кажется, ей все-все уже надоело. Она плюнула и взялась жить дальше одна. С ребенком, которого отдала матери...

15

Вышел на Обводный канал. Долго шагал у парапета, освещенного тусклым сиянием блеклого утра. Потом стало неприятно видеть все то дерьмо, которое плывет по темной сальной воде, и я перешел на тротуар, ближе к домам набережной.

Я шел и думал теперь о друге, с которым только что распрощался, о том, что не дал ему поспать, о том, что теперь у него еще забота появилась: сам без угла, да еще и дочь прискакала к папочке... За Московским проспектом меня догнал трамвай. Я махнул рукой, но трамвай, грохоча копытами, пронесся мимо. На Лиговском проспекте было пустынно. Ехала, не торопясь, грузовая автомашина. В телефонной будке увидел забытую на полочке записную книжку. Показалось, что из нее торчит то ли рубль, то ли какая другая бумажка. Прошел дальше.

И что странно: чем дальше уходил я от будки, тем большая сумма денег мерещилась мне. Я уже воображал стопочку червонцев, а потом даже и сотенных билетов. Но это беспокойство было напрасным, хотя и разрывало меня надвое: если вернуться и заглянуть в забытую кем-то книжку, а там ничего не окажется, тогда я и денег не буду иметь, и поезд встретить опоздаю, да и себя презирать возьмусь. Впрочем, думал я, находка этих денег приравнивается к воровству. Но, возражал я же, ведь если там есть деньги, то их все равно кто-нибудь возьмет, так отчего ж не я?! Нет, в схватке с собой подумал я, пускай возьмет, пускай. Наверняка лучше, чем сделаю это я! И стало немного жаль тех денег, которые могли оказаться в записной книжке, а потом подсобить мне в деле воспитания Жорки и вскормлении его... Но я уже навсегда простился с ними, чтобы перестать огорчаться, принялся внушать себе, что торчали из книжки два замусоленных рубля.

На Ямках, на этом развороченном взрывами и кражей песка для строек бывшем кладбище, где мы собирали человеческие кости и складывали их в мешки, где шантрапа постарше не брезговала и черепами, предварительно отодрав от черепов волосы и бороды и расколотив их друг о друга, вербованные девки из ближних бараков выкидывали незаконнорожденных детишек. Я сам там два раза находил посиневших дохлых младенцев и в ужасе бежал прочь. Не в том дело, что из этих окоченевших трупиков сейчас выросли бы поэты и архитекторы. Могли бы вырасти из них алкоголики и преступники. Но там я как-то нашел два рубля. Они, скомканные жменькой, валялись возле телогрейки. Телогрейка была такая драная, что ее даже старьевщик бы забраковал... Я сунул два рубля в карман и опрометью бросился тикать с Ямок. Отбежав к Роще, что находилась напротив Ямок, через трамвайные пути, вынул деньги из кармана и обнаружил, что они в крови. В такой черной, запекшейся крови.

Ее очень трудно было отмыть.

Купив на мокрый рубль кусок хлеба и пачку папирос «Огонек», я закурил, вернулся к месту находки и осторожно, ногой развернул телогрейку. Она тоже была в крови. В такой же черной.

Люди спали не только в залах ожидания, но и на скамейках, возле перрона. По мраморным полам зала раскатывали, воя и рыча, моечные машины, и уборщики бесцеремонно толкали людей, поднимая и прогоняя их с нагретых телами лежбищ — конечно, что с них, с уборщиков, взять?! Они — не портье, а здесь — не отель. Можно машиной наехать на инженера из Чугуева, ногой пнуть каменщика из Саратова, сунуть кулак под ребро штурману сельской авиации. А уж доярку-то, скотницу, или какую-нибудь уж вовсе цыганку сам бог велел тыкануть шваброй...

Ничего-ничего. Мы привыкли уж к тому, что любая уборщица, официант, швейцар или сержант милиции нас так. Так нас! Ничего-о... завтра на работе мы сами их так — этого уборщика, официанта, сержанта. Так их! И нас так, разэдак... Ну, а кому некого лягнуть на работе — обойдется скромным скандалом в трамвае или, на худой конец, пробегавшую мимо собаку пнет, или панка. Давай-давай. Жми!

Я ушел на перрон, опять убиваясь, что мы все не вмешиваемся, проходим мимо своей страны, будто гости, пожимая иной раз недоуменно плечами,— ну и порядки у них... то есть, у нас, я хотел сказать. Вот я же прохожу. Не хочется, честно, неприятностей. А люди — через стекло видать — столпились с барахлишком и уже не могут лечь на каменный пол — он мокрый. Вдали, на постаменте, задумчиво смотрит на все это мраморный бюст вождя мирового пролетариата. Да-а, за самое мизерное право свое приходится платить, приходится расплачиваться неприятностями, будь то три копейки, недополученные от продавщицы. Она тебя же обскандалит, и ты же будешь жрать валидол, держа эти злосчастные три копейки, ощущая себя мелочным мерзавцем, и эти три копейки тебе во сто крат дороже станут... Да если б во сто!

До поезда оставалось десять минут, и я вернулся в зал ожидания. Подошел к уборщику и тихо сказал ему, чтобы он не смел толкать людей. Он демонстративно выключил машину и переспросил меня.

— Не толкайте людей,— повторил я.— Или побережнее с ними, хотя бы...

— А ты кто такой, чтобы указывать?

— А почему мне надо быть именно каким-то таким обязательно? — закипая, спросил я. «Вот оно — начинается!». Даже не обратил внимания, что он мне «тыкнул».

— А потому,— резонно сказал он и вновь поехал машиной по ногам спящих наших честных советских людей, которые, в общем-то, строят, как могут, для кого-то коммунизм, но сейчас вот находятся в отпуске — не поехали на юга из-за чернобыльской аварии — и отдыхают в Ленинграде на газетах, устелив их на полу. И торчат из-под измученных боков грязные мятые клочки бумаги с заголовками: «Под солнцем Родины мы крепнем год от года». «Растет благосостояние советских людей», «Рапортуя пятилетке...» Эх, вы, временные недостатки! Боремся мы с вами десятки лет совершенно безуспешно, и, чувствуется, задушат они в человеке человеческое, эти временные недостатки. Правда, уж часть населения нашла метод борьбы с ними — деньгами. А у кого есть денежки — для того не существует временных недостатков. Надо отметить, товарищи, что значительная часть нашего общества уже давно работает по мере сил, а получает по потребностям. И даже сверх, можно сказать, потребностей. Да что там — они насобачились уже сейчас жить при коммунизме — даже их родственники взялись получать по потребностям. И прав американский миллионер, сказав, что чего нельзя купить за деньги, то можно купить за большие деньги.

«Раньше бы я довел дело до конца,— подумал я, уходя вон.— А сейчас, видать, возраст более спокойный. Ну, перестанет уборщик ездить по ногам людей на Московском вокзале в Ленинграде, зато на других тысячах вокзалов в стране ездили, ездят и будут ездить, невзирая на „человеческий фактор“, невзирая на „все возрастающие потребности советского человека“». Боже! Как много у нас словоблудства и как мало конкретного дела!.. Впрочем, все мы живем как бы в зале ожидания — все делается помимо нашей воли, и все ожидают перемен к лучшему. Раньше ожидали снижения цен каждой весной, прильнув ухом к громкоговорителю. Потом, со страхом, стали ожидать повышения цен. Началась суматоха с покупкой золота, книг, хрусталя, антиквариата... Всегда ждали войны и хорошей погоды. Ждем перемен к лучшему, когда наверху что-то решат, кого-нибудь снимут, или — кто сам наконец-то помрет. И молчим, что все время ждем смены руководства, потому что хуже некуда, авось да хоть что-то станет лучше. И молчим. Нас долго учили молчать и наконец-то здорово научили. Мы теперь умеем показывать кукиш в кармане и громко ничего не произносить. Боже упаси усомниться в правильности решений съезда, сессии, пленума — и вот весь зал в «едином порыве» за блок, «за». И каждый норовит задрать руку свою, мандат свой повыше, словно вымаливая индульгенцию за прошлые свои и будущие грехи. Как-то я, смехом, слышал такую фразу: «Советский человек имеет право на голосование „за“!»

И, как с воображаемыми деньгами, я стал представлять себе, что не так уж сильно уборщик их толкает, что такая его работа — толкать, да и между нами бормоча, и люди на полу валяются вовсе не те, кем могла бы гордиться держава, кем мог бы гордиться советский народ. А раз валяются на полу, значит, того хотели с детства, значит, того стоят. После таких размышлений едва не вернулся в зал ожидания — очень уж захотелось этих людей потолкать с уборщиками, попинать их ногами, да побольнее! Не спите, сволота! Не спите, мерзавцы, на полу! Вот вам, вот вам, гады! Бах — инженеру из Чугуева, под ребро ботинком, каменщику из Саратова, штурману сельской авиации, дояркам, скотницам, а — цыганам еще больнее, да покрепче!.. Не спите, люди! Не спите! Просыпайтесь! Уж утро настает! Пора вставать, пора!.. Умывайтесь в вонючем туалете, и идите вон из залов ожидания, вон идите! Напротив идите! Уложите жен своих и матерей, детишек и отцов-стариков на крахмальные простыни. Тут, рядышком. Рядом же! Напротив — отель «Октябрьский» же, да и на площади-то он «Восстания»! Что, занято? А кто так славно там живет? Кто-кто в теремочке живет? Вон! Швейцара взашей, администратора — в рыло. Неча им кланяться иностранцам да нашим потаскухам. Вон отель, «Октябрьский»! А вот и очередной юбилей Великого Октября на носу!.. Или опять вы потащитесь с выцветшими флагами и транспарантами мимо зеркальных отелей, так и не побывав в них ни разу за всю жизнь! Нате вам, гады! И не войте, и не жалуйтесь на то, что больно. Мало вам, мерзавцы! Совсем позасыпали, как прямо-таки летаргики!.. «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов, кипит наш разум возмущенный...» А ну — вместе, хором, три-четыре: «Это есть наш последний и решительный...»

Фу, куда занесло!

Прочитает редактор и скажет: «Ну вот что ты написал? Что? Ты что — идиот? Ты придурок, да?.. Или тебе собственных детей не жаль?.. Молись богу, что ни одного экземпляра не угодило в Большой дом. Святыми понятиями жонглируешь, чеканушка! Ты б еще про Горбачева написал, что своими куцыми мозгами думаешь, идиот. Тогда уж точно поехал бы дрова пилить за Полярный круг, невзирая на безлесье. Возьми свою писанину, садись в электричку и поезжай закапывать ее в лесу. Только поглубже, метров на семь, и никому не показывай места, где зароешь, и следы за собой махоркой присыпь...» — «Ладно,— скажу я.— Закопаю... А между нами говоря, хотел я и про Горбачева... Он конечно, что-то делает, но...» — «Стоп! Дальше твоего паршивого „но" слушать не желаю! Нет!» — он поозирается по углам и покажет жестами, что в кабинете его, возможно, все прослушивается и где надо пишется на пленку. Я же с горечью буду думать о стоимости этого подслушивающего устройства, что на эти бы денежки можно было масла сливочного купить для какого-нибудь детского садика в Казани или же в Саратове. Или, на худой конец, что-нибудь сделать для культуры, а не против нее, и не ходила бы тогда отечественная культура с протянутой рукой по миру, со своим вынужденно созданным фондом. И детским домам явно грошей не хватает, а у нас денег не считают для устройства подобной аппаратуры, и для зарплаты орды подслушивателей... Какие же у этих людей были мерзавцы родители, если допустили, чтоб их детки пошли заниматься таким делом, боже! Неужели это лучше, чем сажать капусту? Не знаю более безнравственного занятия в мире... Повозить бы их по России, показать бы им, как старухи в очереди за ржаной мукой на третий год перестройки, как везут батоны за триста верст, как везут ливерную колбасу и соль... Раньше цари хоть переодевались и ходили в народ, чтобы узнать, как живут простые люди. Ближние-то придворные завсегда убедят, что все у нас хорошо. А к приезду правителя даже улицы восемь раз подметут... И в магазины товаров завезут, а после визита — увезут. Помню, в армии, к приезду маршала мы с мылом мыли бетонное шоссе. Потом донесся слух, что маршал любит зелень. А вокруг наших казарм ни кусточка. Накопали (посреди лета) в лесу молодых дубков, насажали. Маршал приехал, похвалил, уехал. Дубки, выполнив свою задачу, завяли. Спустя два месяца маршалу опять приспичило приехать в нашу часть, и надо же беде случиться, все забыли, что было посажено. Одни кричали — клены, другие — липы. Солдаты, естественно, помнили, но, естественно, отцам-командирам ничего не сказали и ехидно дожидались их конфуза. После длительных споров полковник приказал: «Елки-палки!» Насажали елок. А маршал-то, оказывается, был недаром маршалом. Он запомнил дубки. «Что это у вас вместо дубов елки выросли?.. Вы уж, товарищи, к следующему моему приезду на ветках груш навешайте, для реализма, да и чтобы было что околачивать!». Конечно, кому-то порядком досталось. Гауптвахта на неделю заполнилась до отказа старшинами. Солдаты, правда, раскаивались, но молча.

По сему поводу просится на страницы рассказ моего сына. Сын написал его для школьной стенгазеты. Приводить его дословно я не могу, ибо это будет плагиат чистой воды, да и не сыскать теперь оригинал рассказа, но суть его такова: жил-был одинокий мужик в лесу, и было ему все время скучно по причине своего одиночества. А к нему в сад временами «залезал» через забор заяц, чтобы грызть кору яблонь. Мужику очень-очень хотелось с зайцем познакомиться, чтоб не так скучно на свете было, но он не знал, как бы потактичнее это сделать... И вот однажды, когда заяц в очередной раз «залез» грызть кору яблонь, мужика осенило: лучший способ знакомства — это шутка. Простая наша русская шутка... Он побежал в комнату, взял там ружье, высунул его в окно и шандарахнул из двух стволов по зайцу. Заяц, естественно, в клочья!.. Мужик выбежал в сад и обнаружил, что заяц еще дышит. «Откачаю, вылечу,— радостно думал мужик, внося зайца в дом,— и за это время познакомлюсь». Но заяц приказал долго жить. Испустил дух. Дал дуба.

Вот так мы, русские люди, умеем шутить. Чтобы сразу в клочья, из двух стволов. И не по злобе же, а желая лучшего, чтоб не так одиноко жилось нам в нашем лесу...

До поезда оставалось две минуты, и я вернулся в зал ожидания. Пинать я никого не стал, сами понимаете. Поезда не было. Поезд не приближался к перрону. Не виднелись вдали флуоресцентные полосы на щеках локомотива. Выкурив папиросу, я спустился в нижний зал ожидания, потому что ближе к табло. Потом бродил по перрону, но утренняя свежесть, охладив мои мысли, загнала обратно, в помещение. Принялся смотреть в раскрытые двери, не видать ли поезда.

Не видать. Не слыхать. Алюминиевые ведра динамиков загадочно помалкивали.

Неожиданно пропала очередь в буфет, и я быстренько взял два стакана сильно разбавленного мандаринового сока (больше ничего не было) и бутерброд с сухой яичницей. Всего на рубль тридцать. Так стоял, ел, и смотрел в дверь, и думал. Конечно же, Жорка устроится. Я его полностью проинструктировал, обо всем предупредил: заплатить за развод с женой и поставить штамп в паспорт, выписаться, сделать запись в трудовой книжке — я там договорился с одним приятелем — он сделает. Или, в крайнем случае, поработать кем-нибудь это время, чтобы не было разрыва стажа. Короче: привести документы в порядок. Ох, не любил он работать!.. Сразу в сторожа, в вахтеры — сутки спать, трое отдыхать — а там пускай пописывает свои стишки. Здесь больше возможностей напечататься, чем в Челнах. Там, практически, нет никаких возможностей. Выходят несколько многотиражек, которые вовсе ничего не платят даже за стихи о родной нашей партии и о зверином облике империализма. А Жорка писал про любовь. А подобной белиберды там полна корзина в туалете... Да и в городе он там уже порядочно надоел со своим нытьем, а здесь простору побольше — не скоро надоест, а может, и не успеет. Впрочем, пора и ему самому задуматься над течением собственной жизни. Скоро сорок. Двое детей. И ни одной публикации, ни одного достижения, зато апломба полно, гусарства... Но я ж говорил ему. Наверняка подготовился, все обстряпал. С иными документами тут делать просто-таки нечего. Меня из-за одного разводного штампа три месяца мурыжили. Даже на грязную воловью работу не желали принимать. Не верили, что я искренне развелся, а не для того, чтобы пронырливо проникнуть в Ленинград и жрать в три горла мясо и колбасу без талонов. Будто преднамеренно хочу ходить по подметенным

улицам и безосновательно любоваться дворцами. Без наследственного на то права, без заслуг. А я искренне не понимал, что хотят от меня, потому что прожив тридцать лет в голодных городах, отстояв десятки километров очередей за сахаром, крупой, свиными хвостами, копчеными ребрами, шпротным паштетом, грузинским чаем, мойвой, хлебом, как-то привык особого внимания не обращать на еду. Главное, сыт. А чем — не важно. И не за колбасой я сюда ехал, и не засорять Невский окурками, а строить город. Я тогда накорябал расписку, что я с женой не сойдусь, и меня прописали. Тут очень много живет коренных ленинградцев, и они часто любят про себя говорить об этом гораздо чаще, чем жители других городов. За десять лет знакомства с моим другом, он мне об этом сказал несколько сот раз, пока я не понял, что иные коренные ленинградцы порядочные зануды, да еще и снобы к тому же. Нет никакой заслуги в том, что человек родился в Ленинграде, а не в каком-нибудь Мухосранске. И тут и там есть прекрасные люди. И в Ленинграде полно подонков, и в Мухосранске. Может, когда человеку нечем и некем погордиться, он гордится местом рождения? Хотя во всем мире — место рождения одно. В Ленинграде строят и содержат в относительной чистоте город приезжие. Они и трамваи водят и асфальт кладут, и в детских садиках нянечки, и милиционеры, и дворники... Но в Ленинграде очень много коренных ленинградцев. А я — пристяжной ленинградец. Может, отсюда живет во мне чувство, что я тут в эмиграции, пока родина моя переживает временные трудности, пока там холодно и голодно, пока царит там разруха и произвол Пришибеевых? «А что касается блокады — конечно, страшное это дело, не приведи господи,— сказала как-то моя мама,— но, думаю, мы уже подготовлены так, что дальше ехать некуда. Может, лучше уж разок как следует поголодать, чтобы потом все было в магазинах, чем вот так вот мучиться, как мы... Ведь пятьдесят без малого лет в моей голове одна жратва: сначала как бы вас накормить, теперь, на старости — как бы самой поесть...»

Поезда все не было. От сока заворчал живот, и я с горечью подумал, что низка нынче культура обслуживания: раньше сок кипяченой водой разбавляли, а теперь чем попадя.

Принято так считать, что раньше было лучше. Это брюзжание, видать, приходит с возрастом. Как-то одного старого еврея спросили: «Что прежде было: яйцо или курица?» Он задумался и ностальгически вздохнул: «Прежде, скажу я вам, было все».

Опять направился на перрон и стал бродить туда-сюда, посматривая на часы. Потом объявили, что поезд задерживается — об этом все давно уже догадались. Но пригревало солнышко. Под его ласковые лучи выползли носильщики с тележками. Они закурили и принялись беседовать, приправляя речь свою острым соусом мата.

16

Чем дальше веду я вас по колдобинам затянувшегося пустыря, чем больше обещаю, тем меньше показываю интересного, захватывающего, лихого. Где стрельба из пистолетов? Где голые Кардинале и Лорен? Где — Карл у Клары украл кораллы? Где каратэ и шпионы? «Чинзано» и «Мартини»? Кришна, Чан Кай-ши и сациви с хачапури? Магазины и лимузины? Президенты и резиденты?.. Нечего показать, братцы. Не видал, не слыхал, не щупал, не нюхал. Не пил, не бил, не привлекался, не увлекался... Ну, бог с нами, и хрен с ними! Садитесь на пригорочке — показать что-то же надо, раз обещал. Вы передохните, переобуйтесь покуда, а я хотя бы устрою стриптиз.

А что делать?

Конечно, стриптиз — это чисто дамское мероприятие, причем доставляет удовольствие лишь в том случае, если дама обладает хорошей фигурой. Будь она дура, набитая опилками, а удовольствие доставляет определенной части населения любование ее организмом. Фигура и лицо женщины, ошибочно думаю, ценится выше всего в ней остального. Любая бы ученая мымра отдала бы все свои научные труды, сдала бы свой мозг на трансплантацию любой дуре в обмен на молодость, красоту и длинные ноги. Ни разу не слыхивал ни от кого, что он полюбил женщину с первого взгляда за успехи в учебе и труде, за то, что она ударница коммунистического труда или за то, что она — чемпионка мира по лыжам, метанию молота или серпа...

Это вопрос ясный всем. Не знаю, зачем я это говорю. С таким же успехом можно вам сообщить, что полезно дышать воздухом, спать лежа, есть ртом, ходить ногами. Но, товарищи, если берется раздеваться мужик в бане, стыдливо скручивая в лицейский рулетик свои бежевые кальсоны второй свежести и затыкивая в кривобочные полустоптанные полуботинки носки, густо пахнущие сыром рокфор,— малопривлекательное зрелище. А если уж он это затевает специально, для зрителей, то иначе, как извращенцем, его не назовут. Поймите же и мое положение, надо! Настала пора раздеться и показать советскому народу свои волосатые ноги и костлявые ягодицы... Ну и остальное, то, что любят обычно называть достоинствами. Да что делать, когда именно это-то достоинство ввергает нас, порой, в неприятные истории и доставляет кое-какую суетливую заботу, время от времени, иной раз в самый неподходящий момент. И мы не одиноки со своей суетливой заботой. Немало парней их собственные достоинства отправили за колючую проволоку — это, конечно, хуже. Да и с возрастом они досаждают, конечно же, меньше, чем, скажем, лет в двадцать. В двадцатилетнем возрасте, как говорил наш старшина в армии, у молодого человека завсегда яйца больше головы. (Где ты, наш мудрый старшина сверхсрочной службы?! Помнится, ты так мечтал выбиться в прокуроры!.. Но ведь достоинствам наплевать на общественное положение.)

Вначале, конечно, я хотел устроить такой блиц-стриптиз, отредактированный, проверенный цензурой: примерно, резко снять галстук и нагло развязать шнурки. Но, товарищи, подумал я крепко и решил даже скинуть рубаху, а там посмотрим: авось гласность дело и до штанов доведет...

Говорят, человек состоит из двух половинок, как бобовое зернышко. Более прекрасная половина, плюс — менее прекрасная половина. Вот я живу, будучи менее прекрасной половиной, и хожу половиной, кажется, всю жизнь.

Пытался ли я подобрать тщательно себе другую половину, как ювелир подбирает оправу под камешек или камень подгоняет под оправу? Если честно, то на ювелирную работу просто не было времени. Да и, грубо говоря, на слесарную работу не было времени. С подбором своей половины я промахивался не раз. Подходил к этому вопросу примерно так, как водопроводчик-алкаш, приглашенный в квартиру, ставит не новый кран, а какой-то заржавленный, тяп-ляп, заматывает изолентой, а потом — и проволокой, и после этой операции кран все равно течет, потому что оказывается, в конце концов, краном не водопроводным, а «стоп-краном» из вагона электрички. Пытался я приладить к своей половине бобового зернышка и маковую росинку, и дольку апельсина, и гайку на тридцать два, и самостоятельную горошину черного перца, и представить людям за нечто общее. И люди делали вид, что все нормально. (Это только потом мужики заговорили меж собой у пивных ларьков, что женщины рождения конца сороковых и начала пятидесятых — никакие не домашние хозяйки, а совсем дикие. Что они в подростковом возрасте познали разнузданную пропаганду дамской эмансипации и восприняли ее всеми сердцами навек. В результате из них получились никудышные половинки: ни готовить, ни рукодельничать, а только скандалить, отстаивать свои (да и не свои заодно) права в чем бы то ни было, и писать в суды и обкомы жалобы. Они-то и дали такую волну разводов. Это они взялись ругать мужиков, и не могут остановиться поныне, и дочери их, естественно, опять станут плохими женами. Кампания эта породила массовый алкоголизм, а алкоголизм — ускорил разрушение семьи на базе девальвации мужика, мужа, отца. А девальвация мужика привела ко всеобщей разрухе. Отчего сейчас сорокалетние девчонки кинулись в танцы, в наряды, в перекрой своих жизней? Почему им кажется, что они чего-то недополучили? Почему им хочется и

хочется пережить все набело, и каждой подай своего бельмондо?.. Впрочем, эта комедия так ловко закручена и взаимосвязана, что порой возникает сомнение, а не тщательно ли продумана эта акция? Поставить мужика в зависимое положение, в вечно виноватое положение. Такой человек не выступит, он сам виноват отовсюду, но лучше промолчит... А вякнет что — ему тут же «на себя оборотись, мурло!»... А при этакой-то общественной виновности можно что угодно вершить безнаказанно, можно смело к любой разрухе вести державу.) А еще всегда во мне, к примеру, жил комплекс, что я недостоин красивой умной девушки. Кто она? Царевна! А я кто?.. Да и во-вторых: если же говорить, что женщина настолько по природе жадна, что и мужика выбирает покрупнее, словно бесплатный овощ, то мужик-то сам хорош! Зачем он волочится за красивой? Почему, например, комсомольский кумир былых годов Островский, зная, что ему грозит паралич, выбрал Раю, младшенькую, красивую сестру, а не старшую, с ребенком? Он-то знал, что он ей готовит, какую адскую жизнь с парализованным человеком. Это мы можем умиляться ее самоотверженностью, а он-то чем думал? Хотя, по нынешним меркам, он ведь тогда был вовсе мальчишкой. Но все-таки...

И зажил я с одной подругой средней привлекательности и упитанности и с чуть кривоватыми ножками. Она свою среднюю привлекательность совершенствовала часами напролет перед зеркалом. Мы снимали комнату в коммуналке, и я прицеливался — жениться. Настораживало одно обстоятельство. Хоть я молод был и силен, ей меня явно недоставало. После бурных вечерних часов она недовольно дышала, потом будила меня часа в два ночи и требовала еще личной жизни. А потом будила еще часика этак в четыре утра и требовала уже невозможного. Мне оставалось лишь перед ее запросами разводить руками... Тогда она меня упрекала, она говорила, что не для того спит со мной в одной постели, чтобы слушать мое сопение, мой храп наглой тональности. «Мужик в постели должен работать!» — говорила она, гневно глядя на меня в ночи. «Но не сутками же,» — слабо возражал я. «Если он любит женщину — то для него не может быть никаких преград!». Но, товарищи, не поднять и домкратом того, что само поднимается порой от одной лишь легкой мысли, особенно, если тебе через час-полтора надо ехать на работу, в забой. В конце концов она стала примерять к моей башке рога поветвистее. Этот головной убор, конечно, неприятен для любого мужика, и мне, конечно, было неприятно. Хотя, помню, в первые мгновения мне ее не растерзать хотелось, а поблагодарить того, с чьей помощью у меня выросли рожки. Он существенно облегчил мне мой любовный труд, и я наконец-то смог спокойно спать. Правда, я ушел на раскладушку, а потом и вообще — перебрался в общагу. Она мне так и намекнула: «Убирайся вон, дистрофик!». Долгое время во мне жил комплекс, что я действительно дистрофик — и все женщины яростно ненасытные существа. И долгое время этих существ сторонился. Похоже, зациклился на этом. Лишь год спустя отважился обесчестить одну подругу и — естественно — оконфузился, потому что не думал о ней и ее прелестях, а думал только о том, как бы не опозориться. Она, правда, ничего мне не сказала, но явно была недовольна моим поведением, явно. И на мой заискивающий звонок по телефону предложила больше не звонить и напрасно ее не беспокоить. Ну что ж? Оставалось забыться в работе. Так забылся, что портрет повесили на Доску почета.

Доска почета явилась косвенной моей свахой. Она притянула к моей личности журналистку с магнитофоном. Она взяла у меня интервью, а потом, подумав, вместе с интервью взяла к себе меня самого.

Я долгое время откладывал наши постельные отношения, опять-таки из-за комплекса, пока спустя месяца три после нашего знакомства не слопал бутылку спирта, и забыв на время о том, что я дистрофик, улегся с нею в одну постель. Она давно меня приглашала. И поработал на совесть, всю ночь. Да так, что едва ноги приволок на службу. Хоть обратно, с Доски почета снимай. Ее, мою возлюбленную — вернее, от бурной ночи от нее едва ли не наволочка осталась — застал дома еще лежащей. Когда я ее погладил по голове, она простонала: «Не надо, милый, пощади ради бога, умоляю — дай передохнуть!..» В благодарность за мое возрождение я покупал ей цветы посреди зимы, и водил в лучшие рестораны... Помню, она потом все любила повторять: «Я не женщина. Я — самка человека». С самкой тоже ни хрена не получилось — чтоб вместе.

«Да-а-а, бывает,— сказал на этот счет мой знакомый кочегар.— Иной раз красавица попадется, а провозишься с ней без толку, оскорбишь ее и себя, и противно даже. А бывает, закорючка, глянуть-то не на что — три мосла да стакан марганцовки, а не слезаешь с нее сутки напролет, словно нанялся по аккордному наряду. Вот и пойми их, женщин. Бывает, их прямая заслуга в нашем фиаско. Раз лег с одной, только на нее забираюсь — вдруг она нырк из-под меня. Говорит, мол, подожди буквально секундочку — я щи забыла в холодильник поставить. Вскочила — и голышом на кухню, к кастрюле. А у меня такое случилось состояние, что я из-за ее щей, через час, промучившись, надел одежку и пошел домой, несолоно хлебавши. А одна, помню, обожала акт комментировать. Ну, как Озеров хоккейный матч... Раз даже взорвался, помолчи, прошу, хоть бы минутки три. Не могу я так!»

Кочегар был и практик и теоретик по дамскому вопросу. Дело в том, что отапливал он шестнадцатиэтажное женское общежитие несколько лет кряду. Много погулял он по этажам этого курятника, щупая не только батареи центрального отопления.

Но бывают и такие дуболомные мужики, готовые в любой момент с кем угодно лечь. Хоть со скворечником. Жора из таких. Я его видел с семнадцатилетней девчушкой и с пятидесятилетней бабищей. Одна подруга у него была на полторы головы выше его и в полтора раза старше. Но это его не смущало нисколько. В те времена они буквально метров десять до загса не дошли... Один приятель южных кровей, с черной бородой и горящими глазами, мимо ни одной юбки не мог пройти, обязательно заговаривал, цокая языком. Казалось, у него на вторую минуту разговора с любой, даже пожилой вахтершей, начиналось обильное слюноотделение. И вот он нашел работу по призванию — устроился в женское общежитие ткацкой фабрики воспитателем лимитчиц. Вначале я его встречал довольного жизнью, радостного, потом он стал таять на глазах, а через три месяца непосильной работы уволился по собственному желанию, не справившись со своим бурным призванием. На этот счет в одной средневековой персидской новелле рассказывается, как голодная лошадь сожрала сорок девять мер овса, а пятидесятую, не в силах проглотить, держала во рту.

Заносит меня из стороны в сторону, граждане! Вы-то меня одернули бы. Ведь все видите, что я вместо собственного раздевания взялся разоблачать своих знакомых: вон, кочегара разоблачил, потом южного человека. Каюсь! Поднимайтесь тогда, отряхивайте штаны — пошли дальше. Пока я распространялся на сексуальные темы (что поделаешь, если это мероприятие занимает часть нашей жизни), я обнаружил какой-то просвет в дальнем кустарнике. Кажется, это и есть дорога. Только куда она ведет?

17

Незадолго до возвращения отца пришел из заключения дядя Леня Майданов, бывший муж старшей материной сестры, которая, как только его посадили, вышла замуж за нового мужа и уехала опять жить в Омск. От великой голодухи мама отправляла разок в Омск Борьку. Тамошняя сестра, Аннушка, жила в достатке. У нее рос мальчишка Юрка, взятый из детдома, ленинградский блокадник. Муж работал большим начальником, а сама она работала женой большого начальника и занимала собственный досуг спиртным. Все воспитание Борьки заключалось в том, что она среди ночи посылала его за водкой, за папиросами. И Юрку и Борьку она постоянно колотила. В результате таких отношений Борька, прихватив кусок чужого сала, убежал обратно, домой. Добирался трое суток на поездах и нормально добрался, хотя к тому времени ему не исполнилось и десяти лет. Я помню, как он вернулся из Омска поздно ночью. Он сидел за столом и при свете керосиновой лампы разворачи-

вал тряпицу, выкладывал желтое сало на стол, что-то говорил, говорил. И безостановочно плакал.

Мама долго смотрела на него злыми глазами. Потом прижала его к себе крепко-крепко.

Вернувшись, Майданов не нашел места — где жить. Мама оставила его у нас. Мы спали вместе с ним, на огороде, за домом, на чугунной койке, устланной горбылями, а поверх досок — старыми ватниками. Над нами шумела береза остатками кроны. Через неделю Майданов нанялся строить дом известной скандальной бабе Лаишке. Это у нее прозвище было такое. Дом он строил до конца лета с товарищами. Там же их Лаишка кормила, поила брагой. А когда наступил час расплаты — вычла все, включая и собственные ласки. Да так вычла, что плотники, кажется, остались у нее в долгах, как в шелках...

Майданов пришел тощим, прокуренным. Из-за этого он казался еще выше, и похож был на копченую жердь... Кожа лица у него была почти коричневая. До войны он работал комиссаром по раскулачиванию. Ездил на коне при нагане. За несколько лет работы на такой должности он получил более десяти ножевых и пулевых ранений. Раз его даже пытались утопить в колодце. Подсыпали отраву. Но он был живуч. В тридцать седьмом он сел. В тридцать седьмом посадили и моего отца. Его взяли с партсобрания. Когда он попросил разрешения одеться (стояла осень), ему вежливо сказали:

— Не волнуйтесь — оденем. С ног до головы.

Уйдя в тридцать седьмом на собрание, вернулся отец с него через три года. Строил БАМ, без права переписки.

Когда он вернулся в Москву, его долго не хотели прописывать из-за судимости. Он так и работал без прописки, на вагоноремонтном заводе, а жил у родителей на Рогожской заставе. Мама втихомолку написала челобитную прямо Калинину. Через неделю ее вызвали. Она отправилась в Кремль с маленьким Вовкой. Ей выписали пропуск. Провели к Михаилу Ивановичу. Он усадил ее в кресло, а Вовка принялся играть калининскими письменными принадлежностями, катал пресс-папье по столу. Калинин подробно все расспросил, затем велел кому-то съездить за отцом. Тот в это время работал у станка. (Без прописки, да еще и с судимостью должностей ему не доверяли, хотя последнее время перед БАМом он работал заместителем начальника строительства.) К станку подошли двое и пригласили его в машину. Он, помня старое, даже не попросил разрешения накинуть пиджак. Знал, видать, снова оденут с ног до головы. И умываться не стал даже. Ехал и думал — куда его? Мимо Таганки, мимо Лубянки... Когда машина вкатила в Спасские ворота, он понял, что дело гораздо серьезнее, чем в тридцать седьмом. Тогда-то его просто попросили расписаться в получении трех лет без права переписки. А сейчас что же будет-то?!

Как был в спецовке, так и вошел в кабинет Калинина. В руках даже клочок ветоши держал. Увидел Вовку, который елозил по письменному столу, увидел маму и из-за спины показал ей кулак.

Мама к тому времени в Кремле совсем освоилась. Словно век тут жила. Она чаевничала с Михаилом Ивановичем. Пока они вот так семейно и непринужденно разговаривали, отца успели прописать. И, по-моему, даже кого-то снять с работы. Отца направили на авиационный завод номер двадцать два, впоследствии — завод имени Горбунова. Взрослым Вовка любил изредка потрепаться на работе, в цеху:

— Что там говорить, братцы! Да я ж родился на заводе. Пролетарий. Бывало, сидим мы с Калининым в Кремле, чаи гоняем, в воздухе пахнет грозой, а он мне и говорит...

Мужики добродушно над ним посмеивались, считая его выдумщиком и балагуром.

Авиационный завод эвакуировали осенью, когда немцев подвели уже под Москву. Отец ехал на открытой платформе, со станками и оборудованием. Мама окольными путями добралась до Казани с Вовкой на руках, выдавая себя за жену летчика. Отцов эшелон попал под бомбежку. Но бомбили тяп-ляп (и у них, видать, такие бывали) и эшелон целым и невредимым добрался до пункта назначения. Отца сразу же поставили на казарменное положение и дома он почти не появлялся. Завод, где он работал, всю войну выпускал самолеты — Казань была битком набита самолетостроительными предприятиями. Здесь, на одном из заводов изготавливались первые реактивные ускорители, приводившие в ужас немецких летчиков, давшие начало реактивной авиации. Все детство пронизано воем реактивных двигателей. Вечернее, багровое небо и нескончаемый вой над горизонтом. После войны, за лугами, за Чертовым мостом испытывали самолеты. Они нередко бились, и мы на летчиков, живших в гостинице в районе Соцгорода смотрели с уважением и ужасом, как на заведомых смертников. На Арском поле, на кладбище, недалеко от могилы Василия Сталина, много могил летчиков. Есть и братские, экипажные могилы... Помню большую свалку самолетов УТ-2. Мы забирались в кабины, крутили штурвалы, переговаривались через резиновые трубки... То, что в городе строят самолеты, знал каждый сопливый шпингалет. Да и по городу видать было. Идешь — через канаву не доска брошена, а дюралевое крыло. У одних, помню, в саду, из хвостовой части самолета был сооружен туалет. А недалеко от пожарки, во дворе, видел из части фюзеляжа отличный курятник. Полно было резиновых стартовых баков для реактивок, которые жители использовали в качестве бочек для поливки огорода. Мальчишки катали тачки с колесами от самолетов или вертолетов, жгли на пустырях магниевый сплав. Много было в обиходе авиационной фанеры, стеклоткани, плексигласа — все это добро валялось на обширной свалке, на которой мы любили бывать, как любят дети западных стран ездить на пикник, на лужайку, на натюр...

Улица, на которой мы жили, называлась Батрацкая. Гутя во время войны родила Кольку. Отца Кольки, Ивана, ленинградца, пребывающего в Казани в командировке, призвали на фронт, и он сразу угодил на Курскую дугу, и то ли сгорел в танке, то ли еще что. Сообщили, что пропал без вести. Гутя потом писала, пыталась выяснить обстоятельства его гибели или пропажи. Старуха, ответившая ей, писала, что его экипаж ночевал у нее в избе перед самым сражением, а потом, после страшной этой битвы, мало было целых трупов — руки, ноги, головы... Да все обгорелое. Нипочем не разобрать — где кто. На всякий случай многим писали «пропал без вести». Пенсию дали, хотя и после того, как Гутя вернулась из лагерей. Опять они с мамой писали в военкоматы, писали в часть, где служил Иван, в Ленинград родственникам, в Кремль...

— Миленький! Ты что-то сегодня выглядишь утомленным? Тебе что лучше подать? Сок или чай? А чай индийский, цейлонский или занзибарский?.. Ну, не молчи. Как это «все равно». Может, и я для тебя «все равно»?!

— И ты.

— И моя пламенная любовь? Тебе и на нее наплевать?

— Наплевать!.. Отвяжись, ради Бога.

— Как тебе удобнее наплевать? Слева или справа? Плевательницу принести? Или тебе больше на ковер нравится?.. А давай, я попарю тебе ножки с горчичкой?..

— Парь, если тебе хочется.

Она засуетились с тазом, а я смотрел отвлеченно в окно, где неумолимые каменщики, ловко орудуя кельмами, кирпичик к кирпичику, строили дом, закладывая перспективный пустырь от меня багрово-красной стеной. Вот уже и третий этаж начали, окаянные. И куда спешат так? Вчера же еще фундамент мастерили...

Следом за Гутей родила мать. Борьку. Разница у них с Колькой была невелика, и поэтому детей оставляли то с мамой, то с Гутей.

Гутя устроилась кондуктором на трамвайном маршруте номер девять.

Трамвай ходил от Ярмарочной площади, через деревянный мост, до деревни Караваево. Сейчас нет ни площади, ни деревни, ни деревянного моста. Рассказывала, что работалось плохо. Город был переполнен эвакуированными. В вагонах случались и драки, и даже убийства. Полно каталось карманников... Трамвай в ту пору больше походил не на современный трамвай, а скорее на красного цвета сарай на колесах. В нем так же было холодно в стужу и жарко летом.

Имели они в этом городе еще и двоюродного брата Алексея Батрашова. До войны он окончил училище НКВД и работал впоследствии следователем. В сорок втором его отправили на фронт. Этот высокий, стройный, красивый офицер умел хорошо играть на гармошке, петь, плясать. У него было десять братьев и сестер. Почти все братья его, а потом и их дети пошли в военные училища.

С фронта он вернулся израненный, с одним глазом, который через год потух. Хранилось у него несколько орденов и медалей. Потом награды он раздарил нам. Вероятно, воевал он каким-то небольшим командиром. Роты скорее всего. Слыл он человеком отчаянным... В начале пятидесятых мы по очереди водили его по больницам и госпиталям. Как-то он ехал с женой через Москву в санаторий и прихватил меня. В Москве оставил, а забрал, когда возвращался обратно.

Уже слепым он ходил на свидание к отцу, когда тот сидел в пересыльной тюрьме, возле казанского кремля. У него еще оставалось полно знакомых в органах НКВД, но кроме как добиться свидания с детьми, ничего сделать для отца не смог. От свидания этого отец отказался. Конечно — такую тяжесть перенести — на родненьких детишек смотреть из-за решетки, словно зверь. Да и надеялся отец выйти, так как вины его ни в чем не было подтверждено. Он так и Алексею говорил, на что искушенный в этих мутных делах Батрашов, сложив горестную мину на исшрамленном лице сказал ему: «Нет, Петя тут дела серьезные. Посадят. И не гадай даже».

Впоследствии из пересыльной тюрьмы сделали онкологический диспансер, где отец леживал остатние дни своей мелькнувшей жизни. Он выходил из палаты во двор, ко мне. Мы сидели с ним на парапете, смотрели в темные воды Казанки, и отец мрачно шутил:

— Вот и вернулся я сюда,— и кивал на пересылку, заполненную дряхлыми стариками в линялых больничных халатах. Все они были фактически обречены, и последнее, что видели,— это темные воды реки, горбатый железнодорожный мост на горизонте, перевернутые на зиму лодки, припорошенные первым снежком... Эх, показать бы им апельсиновые рощи, ротондовые беседки над лазуревым морем, красавиц, покатать бы их на катере... Дать бы пожить досыта хоть по недельке на брата в отеле «Октябрьский»... Мда-а. Нет.

Зачем жил? Стоило ль?

Откуда столько народу в повести? Для чего? Зачем?

Что они тут все друг другу только мешают? Ругаются, смеются, ворчат, негодуют, барствуют и помирушничают... Нет, я лично тут не виноват. Я их не звал — они сами все приперлись. Это как в толпе — идешь по улице и видишь кого-то близко, кого-то чуть похуже, а кого-то и вообще не видишь — лишь пальто, воткнутое в сапоги... Зачем, спрашивается, я пишу все и всех?.. Да всех ли?.. Зачем Суриков писал стрелецкую казнь? Нарисовал бы палача да пару стрельцов... Не-ет, заполнил всю Красную площадь... Или Репин — для чего «Запорожцев» чуть ли не всех пытался изобразить? Нарисовал бы несколько кошевых, куренных атаманов, а дальше — степь вольная, и никого. А люди где? В дозоре. Стирают. Коней пасут. Кашу варят. Струги чинят... Нет, не так все на самом деле. Я вот сообщил, что народу у нас развелось — тьмы! Всюду очереди, всюду — не протолкнуться. Видать, тесновата нам страна — вот и расширялись мы испокон веку в разные стороны. Видать, и в прошлые века многовато народу было. Или простору нам не хватает? Думаешь, как же в Западной Европе без шири и просторов живут, да еще и лучше нас незаслуженно. И тут приходится уже не сомневаться, а просто соглашаться с нашими знаменитыми художниками-передвижниками. Что уж. Я бы, товарищи, написал все как положено — кто на первом плане, кто на втором, а кто — в перспективе. Но народ-то у нас, опять-таки, какой?! Все норовят вылезть на первый план, все отталкивают друг друга, вот и разберись тут! Вот и получается — давка, а не повесть! В прошлые времена социалистического реализма давки оставались за кадром, и там на первые планы вылезали передовые герои труда, орудуя стальными мускулами, оттесняя старух с кошелками и пенсионеров, или же главными героями романов становились директора, министры — те проникали на первый план, очевидно, пользуясь номенклатурными привилегиями...

Много родни у меня. На отшибах памяти какое-то время жила толпа двоюродных, троюродных родственников. Порой, кажется, возьмись копаться в родственных дебрях и доберешься до африканских негров. Приехали как-то узбеки — родственники! У меня аж челюсть отвисла. Откель?! А про негров я не просто так бухнул: вон, по двору трое черненьких бегают. Девочка лет десяти в пионерском галстуке. Она кричит что-то, не слышно. Потом открывается окно и конопатая русская девка, явно псковско-новгородского происхождения орет на весь двор: «Танька, зараза! Ты что носишься, как угорелая!.. Вон, отцу-то подмогни картошку донесть! Аль не видишь — он вовсе уж окосел от своей бормотухи!». На ее конопатый зов резво оборачивается негритянка аж чуть ли не синего цвета кожи, наспех орет: «Щас!» — и кидается на помощь отцу, белобрысому и голубоглазому работяге, который тащит картошку, тщетно цепляясь за воздух, и покачиваясь. Негритянка подхватывает его под руку, а отец, почувствовав опору, орет жене: «Ты что на робенка базлаешь?! Я те покажу мороку! Отбуздаю хорошенько, чтоб голицу впредь не разевала!..» — «Ладно, пап, ладно»,— успокаивает его черная дочь.

Второй негритенок, лет тринадцати, затолкав в карман пионерский галстук, тайно покуривает с приятелями-белыми, спрятавшись за гараж. Третьего, совсем еще карапуза, экстравагантная мамаша лет двадцати, одетая во все «оттуда», везет на заграничной каталке к песочнице.

— Бяка,— говорит черненький малыш на русском языке.— Тю-тю... Кака...

Родня ты моя, родня! Разберись — и все мы окажемся родственниками. Вот вы читаете эти мои страницы и не подозреваете, что я вам, фактически, являюсь восьмиюродным дедушкой, а вам, вот вам именно — шестиюродным правнуком... Впрочем, мне всегда хотелось быть всем людям либо братом, либо братишкой. Черт знает что: даже к собственным детям у меня не отцовское, а какое-то братское отношение.

«Вчерашний день в часу шестом, зашел я на Сенную». Там строили новую станцию метро. (Ну, не вчера, может быть,— да какая разница. Короче — намедни.) А за станцией толпились те, кому неуютно живется в этом мире. Которые не имеют своего угла, или — которым свой угол опостылел. Квартиросъемщики и квартиросдатчики. И обменщики тоже. Объявлениями об обмене квартир и комнат были оклеены все заборы, ларьки, и даже валяющиеся на земле бетонные тумбы. Немало «меняю на равноценную» написано. Зачем? Почему бездомность какая-то вселенская проснулась в людях? Что за эпидемия? Или все хотят жить, как люди? Люди хотят жить, как люди. Они гудят, договариваются с маклаками, приплачивают, о чем в объявлениях написано — «обмен по договоренности», «обмен по очень хорошей договоренности». А эти — унылые, прибитые — снимают. Комната по нынешним временам стоит до семидесяти рублей. Квартира — от ста до двухсот. Есть суточная сдача — от пятерки и выше с человека за сутки. Студенты и выгнанные из дому экс-мужья смотрят исподлобья и матерят военных и спекулянтов. У тех денег навалом — они-то и задрали цены на жилье. А бабушки, обладающие лишней жилплощадью, выбирают, присматриваются, ставят

условия... Слышу, парень кричит: «Бабуся — не сдавай военным — им на дом строевую подготовку задают и ружейные приемы!». И сам же горестно хохочет над своей глупой шуткой. Какой же он дурак! Все слышали его шутку, и сегодня ему ничего не обломится. Шутник? Весельчак? Значит, станет гостей водить. Значит, неспокойный жилец. Да и вообще, мужикам здесь хреново: квартиросдатчицы предпочитают сдавать «двум тихим девочкам» или семье военного. Старуха говорит пехотному майору: «Не курить! Сто двадцать квартира стоит». А майор возражает: «Курить буду, но и плачу сто тридцать». Старуха сомневается, тогда он бросает в атаку свежие силы: «За год вперед плачу! Ура-а...» — «Ну, кури-кури, сынок,— старуха поднимает руки — сдается.— За сто тридцать можешь немного и покурить. Я потом проветрю. Через год». Но эти ладно. Я, помню, сам ходил туда не раз, пока не отчаялся. Куда там! Сорокалетний мужик — точно станет женщин приводить. И курить будет, как паровоз. И полы мыть не станет. Да и денег нет на год вперед, даже на полгода вперед... Отвали, любезный...

«Там били женщину кнутом, крестьянку молодую». За что-то ее драли все ж. На Сенной продавали крепостных. Они стояли кучками, во главе с управляющим, а состоятельные баре выбирали их. Щупали мускулы, заглядывали в зубы... Сейчас стоят люди, наши, работающие, с несложившейся судьбой, с поломанной судьбой. И ходят мимо них старушки и выбирают. Правда, в зубы не заглядывают уже. Женщина, прижимая сумочку, торопливо говорит, что она врач. Старуха приостанавливается — здоровье к старости не ахти, а врач-квартирант под рукой. Не пустить ли?.. Но — мимо. Мало врачи получают. Разве что стоматологи, которые с золотом работают... Но стоматолог ей давно уже не нужен.

Дальше улей гудит — меняются. Снуют маклаки. Предлагают за лишний метр двести — триста рублей. Комната на комнату. Меньшая на большую. Этаж. Раздельный санузел. Тихие соседи... Он все устроит, он берет риск на себя. Плати — и живешь лучше. Один мой знакомый, по причине жилищного стеснения и хронического безденежья, взялся меняться сам. Пришлось с работы уволиться. Будучи способным математиком, он предварительно просчитал все варианты, все исчислил. Уволившись, он непрерывно менялся два года. Он, практически, жил на Сенной, и в результате обменял комнату в коммуналке на двухкомнатную квартиру хорошей планировки, шестерным обменом. Да так лихо все закрутил, что ни один меняющийся не знал всей цепочки обмена. Просто каждый из своей комнаты-квартиры ехал в ту, которая его устраивала. Знакомый гордился своей изобретательностью. Тут действительно требуется талант и математика, и социолога, и психолога... «Что ж не наменял себе трехкомнатную?» — иронически спросил я его. «Мог бы, мог, но, понимаешь, жили эти два года на зарплату жены — едва концы с концами сводили. На одной кильке да картошке перебивались... Достаточно пока. Кухня просторная, коридор... Есть где развернуться». Он был бледен и тощ от обменной диеты, но выглядел победителем.

Далее объявления об обмене междугороднем. Многие рвутся в Ленинград, в Москву. Как-то на Сенной другой шутник сказал: «Меняю трехкомнатную квартиру в Якутске на комнату в Ленинграде. А комнату в Ленинграде — на туалет в Москве». Так наш народ устроен, что готов шутить даже в самые черные минуты, даже в момент трагедии. Вспомним анекдоты о Чернобыле.

Если раньше крепостные, пригнанные на Сенную, с неприязнью ожидали, когда найдется им покупатель, то теперь ожидающие горят надеждой, идут навстречу, униженно согнувшись, плетутся за какой-нибудь противной старухой, которая выжила из жилья своих близких и теперь ей одной скучно. Надо покочевряжиться над кем-то... Бродил тут мужик лет шестидесяти. Он высматривал молодых женщин (старый кот) и предлагал им жилье бесплатно, всего лишь за постель. Один кавказец, я слышал, звучно вымолвил: «Мне бы прописаться — я бы квартиру любую купил». Только он это произнес, как спустя минуту-другую его тепло прижимали к себе две женщины лет тридцати пяти. Я вначале подумал, что это две подруги, а потом усмотрел, как каждая тянула его к себе, понял — конкурентки. Ради прописки у нас частенько любят и жениться и разводиться. Не уезжают из городов, боясь потерять



Рис. О. Яхнина

прописку. Граждане! На кой черт нам все эти справки, регистрации, прописки, паспорта, удостоверения личности! Ату их! Пускай живет человек человеком, там, где живет, с тем, с кем живет. Больше доверия словам, чем бумагам!

Еду мимо Смоленского кладбища. Вот кому уже ничего не надо. Славно устроились в своих норках, каждый в отдельной. Но мороз по коже пробирает — что там за объявления белеют на воротах? Не собрались ли уж покойники меняться?.. «Меняю крупногабаритную с оградой и скамейкой могилу в центральных аллеях Смоленского на скромное захоронение на кладбище Александро-Невской лавры, по договоренности».— «Меняю отличный подержанный склеп на две просторные могилы на разных кладбищах города. (Одну можно в пригороде.) Пискаревку не предлагать».— «Обращаться в двенадцать ночи по адресу: Богословское кладбище, аллея номер шесть...»

Господи, спаси! Какой только чертовщины не причудится. Тут, слава богу, все граждане на месте. Как говорится, отсутствующих не бывает. И никто не ропщет.

А может, от какой-то эпидемии бесприютности все взялись меняться? Вирус такой проник, неизученный? А? Все хотят уединиться. Кинулись в дачно-садовые домики, каждый в свою норку, сунуть голову, как страус, и молчать громче. Как-то я видел, в малогабаритной квартире, в большой комнате, выстроенную еще комнату. Без единого окна. С лампочкой внутри. О, как захотелось уединения человеку! Помню, Руслан тяжело переживал множество народа у меня в квартире в Челнах. Он уходил в туалет, совмещенный с ванной, и сидел там по часу, по два, и даже, порой, засыпал там. Иногда в туалете он рисовал, иногда — писал стихи, читал или просто пел сказку Льва Толстого «Три медведя». Без мелодии, без рифмы да к тому же, не имея музыкального слуха.

Некуда приткнуться на свете, чтобы подумать одному, сосредоточиться, попытаться понять, осознать, что натворил в жизни, осмыслить. Заглянуть в себя. Зачем живу? Зачем я родился на свет? А раз родился — зачем помруто? Это уж, товарищи, и вовсе несправедливо. Дореволюционные наши соотечественники не умирали, а отправлялись в длительное путешествие в лучший мир. А мы, черт возьми, исчезаем, и мир перед нами исчезает. Несправедливо, ей-богу. Уж лучше, думаю, не рождаться было, чтобы не знать — что такое жизнь, как она прекрасна своими терзаниями и мучениями. А теперь дети мои так же станут думать?.. Да? «Как бы человек здорово ни болел — а помереть все равно хуже. Правда, пап?» — сказал мудро пятилетний сынок.

— Бабуля,— спросил другой сын.— А почему так: Людмила Николаевна умерла, Егоровна умерла, Нина Филипповна умерла, а ты — нет?.

(В горшечном возрасте дети еще не умеют быть ни злыми, ни тактичными.)

— А ты что, внучек? Хочешь, чтобы я тоже умерла, да? — с досадой спросила теща, держа трясущейся рукой костыль.

— Хочу.

— А почему? Почему хочешь?

— Уж больно много ты ругаешься,— вздохнул он.

Его никто не науськивал на старую женщину, которая действительно умела превращать жизнь в доме в сущий ад своими скандалами, и планомерно довела руганью нас с женой до развода. Она уже пятьдесят лет состояла в правящей партии и считала себя принципиальной, уверенной в своей правоте. Она считала, что лишь ей известно доподлинно, как надо жить, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...» А ей самой не было больно за бесцельно прожитые годы... Когда в стране началась перестройка и гласность, она тоже (правда, тихонько) стала поругивать этого политического преступника Брежнева, на портреты которого раньше чуть ли не молилась. Едва передвигая ноги, она ползала голосовать. То ли ощущая свой партийный долг, то ли так напугали ее годы репрессий. Она не знала устава, не знала ни одной программы партии, не прочитала ни строчки из Ленина, но догматизм так и пер из нее отовсюду. От ее принципиальности и честности хотелось выть всею семьей.

— Петя, ты обязан убрать кровать! Ты почему не слушаешься бабушку?! Октябренок обязан слушаться коммуниста! А-а, ты все-таки не слушаешься?.. Вот, погоди, я сообщу твоим товарищам по октябрятству. Что ты людям скажешь, когда тебя вызовут в классе на ваше бюро? Как ты людям в глаза посмотришь, когда товарищи тебя спросят: «Почему ты, октябренок Петр, не слушаешься свою бабушку, старого коммуниста?» А-а-а, ты драться! Пашка, ты драться, да?! Как тебе не стыдно — посмотри мне в глаза! Пашка, ты понимаешь, что защищаешь своего аполитичного брата?.. Ты все равно дерешься?! Ну-у, я напишу письмо в твой садик — пусть тебя разберут на общем собрании, пусть спросят, почему ты бабушке-коммунистке наехал своим паршивым велосипедиком на больную ножку. Этим своим безнравственным наездом ты играешь на руку мировому империализму...

«Будет долго казаться зловещим нам скрип сапогов»,— пророчески пел Высоцкий. Ой, как долго будет он нам мерещиться за дверью этот скрип хромовых сапог. Люди в таких сапогах уводили по ночам наших пап и мам. (Сталин с Гитлером обожали сапоги, и не только это их единило.) А те, что уводили, нынче нередко выступают перед пионерами, как старые большевики. Носят значки старых большевиков. Кто уцелел? Те, кто сажал? Или те, кого сажали? А те, кто помалкивал, или, не имея своего ума, дули в общую нужную дуду?.. Тещу приняли в партию в тридцать седьмом году. Впрочем, видать половина сажала — половина сидела. Где еще подобное возможно? В какой людоедской стране? В каком диком стойбище Центральной Африки или прошлоавековой Полинезии? Почему у власти оказываются мерзавцы? Как они туда добираются? И долго нам еще терпеть все, питаясь в основном радиоинформациями о достатке, о грядущем изобилии? Не пора ли кончать надеяться и ждать?

Мужа своего теща решительно изгнала, и мужчин она ненавидела яростно, как класс. Ну и меня в том числе. Я только позже допер, что ее мужененавистничество волей-неволей передалось моей жене. Оно потом стало из нее выползать. И боюсь за дочь свою, которой так же мало хорошего рассказано ее маменькой про отца, и про моего отца, и про отца моего отца. Зернышко заронено — а женщина, говорят, земля — значит, прорастет обязательно. И жизнь ее семейная, по всей видимости, так же не сложится. Она как-то говорит: «С какой стати я буду стирать его (будущего мужа) носки? По какому праву? Пускай сам!» И я понял — выйдет замуж и разведется. С требований вот этих дешевых прав начались и развелись разводы. И стремимся мы в светлое будущее со скоростью миллион разводов в год!

Отмечали сыну семь лет, и я предложил бывшей жене разыскать ее отца. И хотя она говорила мне, что он — мерзавец, а я в ответ толдонил, что не доверяю людям, отзывающимся о своих родителях подобным образом, логически убедил ее в том, что не такой уж он пропащий мерзавец. Не пил? Не пил. Не курил. Воевал. Офицер. Не ругался. Не дебоширил. А мать — вон какая энергичная дама, даже сейчас, невзирая на паралич, она принимает чересчур активное участие в нашей жизни, даже, порой, больше нас самих. А если он и был мерзавцем, то к старости наверняка уже исправился. Давай найдем? А почему он раньше меня не отыскал? Нет — он мерзавец! Да больно же человеку — видеть лишний раз ребенка, терзаться. Лучше уж сцепить зубы и терпеть... Казалось, убедил. Ну, давай найдем, если тебе это надо так. В горсправку она написала бумажку, а я должен был взять адрес. Мне уже чудилось, что у сыновей появится (хоть где-то там) дедушка, и они это будут знать. Он едва ли не отцом моим мне представлялся. Видел даже растерянность старика при встрече со взрослой дочерью и обнаружении сорванцов-внуков. Но справка была выдана, что он умер три года назад. Я очень опечалился. Я даже взял пол-литру, чтобы, по русскому обычаю, помянуть его. Ехал в троллейбусе, огорченный, опустошенный, и думал, как бы потактичнее, поосторожнее сообщить траурную весть жене.

— Ну? — спросила она.

— Понимаешь... тут такое дело...— замямлил я, топочась на пороге.

— Умер, что ли? — улыбнулась она.

— Д-да...— выдавил я.

— Ну и ладно... Сбегай тогда в магазин — у нас сахар кончился.

Я так и застыл в прихожей, одетый. И не разулся даже.

— Тем более, что одеваться не надо...— совала она мне в руки полиэтиленовую авоську.— Да!.. И газетку прихвати из почтового ящика.

Гремя костылем, в прихожую вышла теща. Она всегда чуяла, что что-то происходит необычное, без ее участия.

— Что случилось? — строго спросила она.

— Да... ничего особенного,— махнула рукой жена.

— Но все же! — она любила требовать ясности.

— Да так... Вон, говорит,— отец умер.

— Чей?

— Да мой.

— А-а,— разочарованно протянула теща и погрохотала костылем в свою комнату смотреть телепередачу «От всей души». Смотреть и плакать.

Ей-богу, я переживал больше во сто крат, чем они. Да что там: они вовсе не переживали.

Отец. Обесценилось это слово теперь. Раньше про страну говорили «Отчизна», а теперь говорят «Родина». И ходят бездомные, выгнанные отовсюду отцы, словно волки, подавляя свою закомплексованность вином.

— Она к собаке лучше относилась, чем ко мне,— горестно жаловался один приятель.— Собаке варила, а мне нет. Собаку и мыла, и постель ей меняла. Я говорю, что ж, мне лучше бы собакой быть? Да, говорит, собака не возражает. И всегда хвостом виляет. Зато, говорю, собака зарплату не приносит. То, что ты таскаешь в дом — можно ли назвать зарплатой?! Зато собачка не пьет, как свинья. Зато собаку одевать не надо. А у тебя вон опять сапоги каши просят... Да и зарплата твоя больше на милостыню похожа... У нас кошка с собакой дружнее жили, вместе ели и спали, а мы...— Он пришел в воскресенье, в цех, когда я там дежурил.

— Ты что в воскресенье-то приперся? — удивился я.

— Ай...— махнул он рукой.— Мне здесь лучше.— Он сварил на паяльной лампе пакетный суп, приправил его свежим луком и картошечкой, поел, попил чайку, включил громкоговоритель и лег на лавку, постелив спецовочную изгвазданную телогрейку.— Красота! — лежал он и почесывал за ухом приблудшего к заводу Рекса. Рекс улыбался и вилял просолидоленным хвостом.

Его звали Николай. Он вскоре умер. Ему и пятидесяти не исполнилось. Напарник его тоже умер, вернее, сгорел. Стал стирать штаны в бензине, бензин загорелся, и он погиб в пламени. Хороший слесарь был. И не пил почти. Добрый, отзывчивый. Тоже иногда в выходные жил в цеху. Да все наши мужики после работы не в пять уходили домой, а в семь — восемь — девять, а то и ночевали. Спит кто-нибудь на промасленном сиденье от КРАЗа и сладко во сне губами причмокивает, черные ладошки под небритой щечкой. И скособоченные ботинки покоятся на цементном полу.

Сто-ой! Куда меня несет?! И не остановиться никак, словно тормоза сорвало на откосе! Стоп, говорю я тебе, балбес! Что ты за нытье выдаешь людям, читателям, редакторам, цензорам и прочим товарищам?.. Вон и люди приуныли, которые, облапошенные тобою, потащились следом. Стоп. Ладно?

— Ладно.

— Ну и хорошо. А то — этот помер, тот окочурился, другой сгорел, третий отравился — тут плохо, там хреново. Что разнылся-то? Жить негде? А как бы ты запел, если б тебе все дали? Ин-те-рес-но посмотреть бы на тебя, чтоб ты тогда заговорил!..

— Да не во мне дело... Дело в поколении. Дело в истории поколения, выросшего в период сплошной бездуховности, в период безверия, несоответствия, краснобайства, воровства...

— Рассказывай! Ну-ну!.. А влупили бы тебе государственную премию, прицепили бы медальку, поселили бы в квартирище — сразу б заткнулся... Видали, слыхали таких правдолюбцев — до первого блага, до первого ордена — ан и нету его, или, по крайне мере, звук поубавлен. А на должность посадили — и вообще пропал человек. Уж смотришь, и сам начинает демагогией заниматься, прославлять существующие беспорядки, перелицовывая их в порядки. Сытое брюхо к правде глухо.

— Да не про это я хотел...

— Ладно. Знаем.

18

Конечно же, поезд пришел десять минут восьмого, и я, по идее, мог бы не так оживленно ночевать минувшую ночь, а выспаться дома и приехать спокойно на метро, утречком. Утешало, правда то, что со мной встречать опоздавший поезд вышли на перрон еще человек двадцать с опухшими от утомленности лицами. Встречающие женщины были взъерошены, как побитые морозцем осенние хризантемы. Ну, все люди встречали матерей, тещ, жен, мужей, детей, близких... А я? Какого-то Жорку паршивого?!

Он и выходил из спального самого дорогого вагона. Со свалявшимися волосьями, весь мятый-перемятый, горбатый, покашливая, поддерживал короткие рваные штаны, обнажая помоечного достоинства башмаки. И я решил объяснить его приезд в дорогом вагоне, его иностранную сумку внезапным его обогащением (выиграл в спортлото, в карты, в шахматы, нашел амфору с облигациями, слиток золота, отравил портвейном инкассатора, ограбил почтовый дилижанс, женился на агонирующей миллионерше, стал председателем липового кооператива), а гардеробу он придаст значение, конечно же, в лучших ателье Питера.

Мы обнялись, хотя мне это было не так приятно, как скажем, обними я проводницу этого вагона «СВ», девушку в служебно-студенческой форме. Я взял его сумку, и мы отправились к станции метрополитена.

— Вот, приехал! — радостно сообщил он очевидное.

— И молодец! — поддержал я.— Давно пора начать жить по-человечески, выбиваться в люди...

— Да-да,— кивнул он и широко улыбнулся.

В это время мы проходили мимо лотошниц, и он пробормотал:

— Рванем по пирожку?

— Что ты! — возразил я.— Я не ем этих пирогов на машинном масле, и другим не рекомендую. Да и неприлично — идти и жрать.

Все же я заметил, как он нервно сглотнул слюну. Мысленно его оправдал: не завтракал, всю ночь трясся в поезде. Но дома, в холодильнике, кое-что перекусить нашлось бы, и поэтому с налету сообразить чай с бутербродами было пара пустяков. В метро он попросил пятачок для турникета, и мы взгромоздились на эскалатор.

— А что уж ты какой-то... немытый да мятый?.. Впрочем, сейчас ванну примешь — и все будет в ажуре.

— Да,— отмахнулся он.— Постели проводница не дала.

— Это еще почему?

— Рубля не оказалось у меня.

— А она разменять, что ли, не могла?

— Нечего разменивать,— рассмеялся он задиристо.

Я тоже рассмеялся, в поддержку его смеху, но несколько угрюмо, и для полнейшего подтверждения своих догадок спросил:

— Так у тебя ни копейки нет?

— Угадал!

— Что ж ты тогда в «СВ» — и без простыней?!

— Гусарить так гусарить! — лихо воскликнул он.— Все равно — недолго мне тянуть-то осталось,— и в доказательство пневмонически покашлял.

— Мда-да... Действительно,— согласился я. Раз уж недолго тянуть — отчего же не погусарить?.. А себя обругал жмотом: друг, можно сказать, приехал в последние месяцы своей жизни, а я о каких-то паршивых деньгах. Правда, три сотни уплыли за дачу, за перевоз семьи кое-что, и сотню — другой жене. Это при зарплате-то, которую и сейчас можно назвать плаксивым словом «жалование».

— Да ты не волнуйся,— хохотнул он.— Я завтра же на работу устроюсь.

(Мы уже ехали в метро.)

Я ничего не ответил, так как кричать не хотелось, да и порядочно притомился. Я прикрыл глаза, а когда открыл их — Жора уже записывал бисерным почерком номер телефона девушки, что сидела рядом. Я б с такой красивой не посмел бы и в один вагон сесть, а он ничего — заигрывает... И что странно — она заигрывается!

Когда мы вышли на площади Мужества, он глубоко вздохнул:

— Хорошо, что ты меня встретил. А то я адрес твой потерял.

— Как?

— Ай... Теперь уж дело прошлое. Приехал в Казань. Было немного деньжонок — ребята собрали на новую жизнь. Встретил старых друзей. Зашел к Генке Капранову. Отметили мое знаменитое будущее в Питере. Вот только билет остался в кармане. Поэтому и без простыней, и без кофэ в постэль... Хотя и в «СВ», с шиком...

— Зачем же ты...— поперхнулся я.— Ведь ехал жизнь начинать. На первое время, хотя бы...

— Так ведь я прощался со старой жизнью, не понимаешь, что ли! Да и ты же здесь у меня — а ты мне как брат. Правда же?!

— Ну,— понуро кивнул я.

Пока мы ехали в автобусе, он сообщил, что за минувшие полгода он не сумел заплатить полсотни за развод и явился со штампом в паспорте.

Я еще больше приуныл. А когда он показал мне трудовую книжку — то она удручила меня еще больше. Последняя запись удалялась за горизонт прошлого года. С такими документами, конечно же, и думать было нечего прописаться и устроиться в городе. С ними в ленинградский-то вытрезвитель не поселят. Надо было искать денег, чтобы отправить его обратно — продолжать старую жизнь.

Последний гвоздь в крышку моих надежд он забил тщательно изуверски, признавшись, как брату, что адрес мой он оставил в милиции, куда угодил перед отправкой поезда, и (ты уж брат, прости, не было иного выхода) что представился в пикете мной, ленинградцем, назвав все мои данные, и даже дав им мой номер телефона. Только тогда его отпустили. Да и билет в «СВ» сыграл свою роль — шантрапа в таких вагонах не ездит.

— Хорошо еще, что документы мои оставались в камере хранения, в сумке,— вздохнул он.

— Не знаю, хорошо ли...

Дома я поставил варить кашу, а его погнал в ванную. Пока он мылся, я добыл из шкафа чистые трусы, майку, носки. Потом стриг его лохмы и бороду. В иностранной сумке, которую он, как выяснилось, подобрал на автобусной остановке, ничего путного не оказалось, и пришлось одевать его мне. В прежнем его гардеробе шлындать по Ленинграду не только спившемуся алкоголику, но и даже непризнанному поэту было неприлично.

19

«Но песня не кончилась вовсе на том — в гору да под гору, рысью и вскачь! — Хоть умерли все, кто катался на нем: Билл Брюзр, Джек Стюэр, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкинс...»

Хотел Руслан откормиться казенным харчом, благодаря какому-то неясному для него недугу, который не доставлял особенных хлопот его организму, но умер. Рак крови оказался. Да еще и четвертая у него группа крови — резус отрицательный. Вот такие шансы на жизнь у него оставались. Жена тогда звонила всем, искала, у кого может быть четвертая отрицательная... Никого не нашла, а то пожил бы Руслан еще с недельку-другую, а может, и месяц...

Но ведь это же, товарищи, не все! Руслан имел ребенка, мальчика. Трехмесячным сына оставила первая его жена в приюте, в Казани. Догнал он ее — она написала отказ от материнства, но мальчонку отцу не отдавали, так как у отца не было справки, что у него есть лишние девять метров жилья для собственного ребенка. (У него-то самого не было ни метра.) Он взял, да и врезал в глаз главврачу. А он-то при чем? Ну, вызвали милицию, заломили родному отцу руки за спину, постучали ему по ребрам в фургоне ПМГ сержанты. Это наши сержанты умеют — семеро одного не боятся. Это им не демонстрация ветеранов Афганистана на Невском, когда вышли десантники в голубых беретах, тогда милиция от них — по подворотням. Им и народ кричал: «Ну, что серые мышки, бздите ребят-то? Это вам не с мирными работягами воевать. Десантники из вас быстро фрикаделек настрогают!». Те даже не отвечали (из скромности), а по лицам иных было видно, что совестно теперь им за свои куцые погончики, за свои мышиные мундиры. И офицеры стыдились за своих сержантов. Что поделаешь, если не пользуется уважением милиционер в народе... Его хоть в кружева наряди, хоть духами опрыскай. Ну и вот. Отночевал трезвый Руслан в камере. Отпустили его, потому что нечего с него взять, кроме анализа. В общем, больших трудов стоило ему забрать мальчишку к себе — суд да дело, тому уж десять лет исполнилось — лишь тогда. Таковы у нас, граждане, законы. Матери, будь она трижды потаскуха и алкоголичка, ребенка пропишут и на полтора метра жилплощади, будь это хоть нары КПЗ, а отец — должен справку предоставить, что он отец, и еще кучу справок. Даже с брошенными детьми что получается: если мать бросила ребенка, ей ничего за это, кроме журбы и общественного порицания. Она уйдет, пропадет, и будто не рожала. Снова девушка. Но если найдут отца этого незаконного ребенка, то с папаши станут вычитать алименты. С матери-злодейки — нет, а с отца — да. Причем, если найденный отец захочет взять этого ребенка, то досыта набегается по инстанциям. Знаю доподлинно, что с Руслана требовали справку о том, что он женился. Он женился, поскольку обязан был сделать это для сына. Но — все позади. Руслан спокойно умер и лежит на кладбище недалеко от Ленинских горок, под Москвой. Но мальчик кем приходится его жене? Никто. Его, естественно, не прописывают, и усыновить не позволяют. Жена перебралась жить на Пресню, ее прописали, а сына — он всегда звал ее мамой — ни за что. В школу как ходить? Без прописки — никак. Жил паренек незаконно, товарищи, на свете. А последний долг покойнику определило издательство «Молодая гвардия», где посмертно у Руслана вышла тонюсенькая книжка «Сказочник». Они вдове и сироте заплатили двадцать процентов гонорара. Бездушные люди! Как их не разорвало от этих грошей, от этой государственной экономии! И никто не принял участия в их судьбе. Даже те, которые раньше водили Руслана по Москве и пророчили ему великое будущее... Но живет Люда с сыном Руслана. Тот скоро в ПТУ, скоро работать, и полегче станет...

Простите, опять не туда повело. Отчего-то вспомнил Руслана? Отчего? Ах, да-да! Жорка-то приехал в моей зеленой шляпе, которую я несколько лет назад, провожая Руслана из Ленинграда, нахлобучил на его гениальную буйную башку. Шляпа объездила страну, побывала на голове одного, потом другого, потом отправилась в Рязань с Жоркой и с ним же вернулась на родину, в Ленинград.

Руслан был по паспорту и по происхождению чистокровный татарин. По-татарски он знал полтора слова (не считая мата), а по характеру был лучше незваного гостя. Хотя сам всегда являлся спонтанно.

Снимем шляпы. Встанем. Помолчим минутку.

«А все же жаль, что я давно гудка не слышал заводского!»

Помянем Руслана, Генку Капранова, которого год спустя после смерти Руслана сразила молния во время грозы. Поистине перст Божий! Да и Жорке действительно не долго оставалось тянуть. Умер он на операционном столе, где-то в Псковской области. От наркоза!

20

В тот осенний вечер мы никому не сообщали, что к нам вернулся отец, но постепенно дом наполнялся соседями. У нас, как обычно, даже хлеба не нашлось. Слава богу, что стояла осень — пора овощей. Женщины стали собирать

на стол. Пришла с работы Гутя и сразу же заплакала. (Ее вредная собачка Найда, встречавшая всех злобным лаем, на отца даже не тявкнула, хотя и не знала его, и не видела его фотографий, и никто не затыкал ей рот.) Мать от стряпни освободили. Она накинула платок, приоделась. В сундуке хранилось единственное парадное платье с аппликацией на груди. Красивые густые черные волосы, подернутые к тому времени сединой, она заплела в косы и уложила их венчиком. И стала очень красивая. Кто-то из женщин притащил губную помаду. Она накрасила губы, но отец сердито велел смыть... Люди все шли и шли. Видимо, отца моего любили. До лагерей, говорят, он был веселым человеком, играл на гитаре, плясал, знал много песен. Бесплатно соседям мастерил тазы и ведра, чинил примусы... Люди помнили все доброе, и тащили бражки, самогонки. Откуда-то появилось даже красное вино — большая роскошь по тем временам. Пели и пили. Пили и пели. Пытались плясать... Я сидел в сторонке, на единственной в доме кровати, и с разочарованием смотрел на стриженого, седого, тощего, беззубого, которого тут же обрядили в рубашку, невесть откуда взявшуюся. Заморыш какой-то. А мама — какая красивая. Что ж она-то радуется такому страшному? Да с ним рядом пройти-то стыдно, а она наоборот — цветет!.. И врали, небось, что он в гражданскую воевал, и что в цирке боролся, и что Ленина видел, Орджоникидзе, Буденного...

Гуляли долго. Почему-то никто не вспомнил про мою гармонь.

Мы, как обычно, улеглись по росту на полу, зарылись в старое тряпье. На всех было лоскутное одеяло. Широкое, бригадное.

Утром, чуть свет, примчался Майданов, а за ним явился и Сергей. Оба они так радовались отцу, словно бы приехал их отец, а не наш, и до его возвращения они были сиротами.

Сергей к тому времени работал на заводе мастером. Он тут же предложил договориться об устройстве на работу.

Дело близилось к зиме. Дрова, которые привезли перед отцовым появлением, были обыкновенной тарой. Дом разваливался. Особенно рушилась стена, что выходила во двор. Отец принялся за ремонт дома. После недели работы дом стал смахивать на дом, а не на хижину или вигвам. Отец принялся рубить и солить капусту на зиму. Он все возился во дворе и не любил входить в помещение. Перекуривал, сидя на ящике. Сил еще было маловато — быстро уставал. Но поднимался в пять утра и ложился в двенадцать ночи. (Время мы знали без часов — картонный круг радио работал чуть ли не круглосуточно.)

Учился я еще в начальной школе и времени у меня водилось больше, чем у братьев. Я вертелся у отца под ногами, и не казался он мне уже таким помирушником и старцем. Я с удовольствием следил, как он умело работал, пытался прямить гвозди для него, отбивая собственные пальцы. Отец уставал: это было слышно по его дыханию. Через несколько дней он даже что-то сказал мне.

Но домашняя обстановка, какова бы она ни была, сделала свое дело. Он начал постепенно поправляться. Вскоре, получив нужные бумаги, он направился на завод. После недели гулянки (по приезде) он потом не пил. Только много курил махорки, которую настригал ножницами при свете керосиновой лампы и затем, подсушив, складывал в металлическую коробку из-под монпансье.

На завод его приняли слесарем-сборщиком. Он ходил на работу, а я в обед бегал на завод и носил ему в банке кашу, суп. Все это мама заворачивала в тряпки. Миновав проходную, я отыскивал его в цеху. Тогда завод выпускал трансформаторы. Отец, смущенно посматривая по сторонам, принимал у меня сверток и неторопливо ел... Я же бродил по цеху, рассматривал станки, электрокары, телескопические вышки, которые делали здесь, ребристые корпуса трансформаторов...

— Миленький! О чем ты все думаешь, думаешь?.. Хочешь, я включу телевизор? Не хочешь? А хочешь — я сделаю тебе сок? Не хочешь? Ну, хочешь — я посижу рядышком с тобой?

— Пошла ты к черту!

— Сейчас пойду. Только посижу минутку рядышком, хорошо?

— Сиди. Только молча.

— А давай, постелю на диване, и ты ляжешь?

— Стели...

— Ты где ляжешь? Справа или слева от меня?

— А как ты хочешь?

— Я хочу — чтоб посерединке.

Первым делом решили купить поросенка. Отец думал, что откормив его, мы запасемся на зиму мясом. Но кормов не хватало самим, и поросенка пришлось казнить через месяц после приобретения, тем более он не толстел, а худел. Мы крали из его чугунка картошку, брюкву — самим надо было расти. Сожранное сваливали на поросенка — он возразить не мог. Родители удивлялись, глядя на жалобно хрюкающее животное — жрет как лошадь, а не толстеет... Да и будучи потомственными горожанами, не знали, как правильно обращаться со скотиной.

Матери не нравился внешний вид отца, его седина, его беззубость. Мало того, у него в лагерях ослабло зрение. Ходил он в том же лагерном ватнике, в котором вернулся. За ватник мама его тоже ругала. По-видимому, главным для отца было как-то накормить нас ненасытных, а не думать о своем внешнем виде. Он и быт наш привел к общему знаменателю, сколотив в комнате просторные тюремные нары, чтоб дети не валялись на полу, как беспризорники.

Мы к тому времени с Борькой учились в средней (бывшей женской) школе, что находилась в поселке Хижицы. Трудно сказать, что за такие чертовы Хижицы? Раньше там возвышался Хижицкий монастырь, который в двадцатые годы комсомольцы взорвали динамитом. (А может, что-то общее есть Кижи-Хижи.) Рядом с монастырем находились два кладбища: дворянское, ставшее впоследствии детским парком культуры и отдыха, и народное, превращенное временем в пустырь Ямки.

Объединение женских и мужских школ мы не одобряли. Я, впрочем, и сейчас не одобряю, так как порядки в бывших женских школах царили не по нашим характерам. Там всякого более-менее шустрого мальчугана тут же причисляли к бандитам. Меня, единственного из всего класса, не приняли в пионеры, так как «отец этого мальчика был бандитом и резал людей на большой дороге». Тут я получался как бы потомственный бандит. Я угодил в класс заслуженной учительницы, награжденной орденами Ленина и Трудового Красного Знамени,— Сергеевой Марии Семеновны, выпускницы Смольного института. Тогда не слыхивали о наставничестве. Но у нее имелась своя любимица, которая ее внимательно слушала, для которой Сергеева являлась богиней педагогики. Сергеева была проникнута духом народовольства. Говорила она басом и курила длинные папиросы. Современных педагогов она презирала за лень и бестолковость, и в школе ее побаивались. Побаивались и ее авторитета. Нас она не довела до выпуска начальной школы — тяжело заболела. И в середине второй четверти в четвертом классе ее заменила молодая ее воспитанница Мария же Семеновна.

В нашем классе не один я был с подмоченной репутацией. Учились у нас еще двое евреев — Зарицкий и девочка Гурвич, и еще сирота, племянница нищенки, да еще к тому же цыганка Томка Куликова. Никого из нас в классе не дразнили, что было почти обязательным в любом другом классе. Скорее всего этим мы обязаны Сергеевой.

Я долго сидел один, в то время, когда за иными партами располагались по трое учеников, но вскоре ко мне посадили Зарицкого, а потом поменяли его на Томку. Как-то Томку исключили из школы на две недели за то, что она принесла в класс презервативы и надувала их у всех на глазах. Таким образом она готовилась к Первому мая или к другому какому празднику. И я опять сидел

один. Потом Томка вернулась и три дня училась стоя. Видимо, нищенка надрала ей задницу основательно, а тогда детей ни облепиховым маслом, ни мумие не мазали. Не принято было. Что ж — напрасно драньью пропадать, что ли?!

Любопытно, когда, спустя годы, старуха-учительница лежала при смерти, к ней приходили только мы, которые с червоточинкой. Отличники и ябеды, любимчики и подлизы глаз не казали. В последний раз я зашел к ней, когда приехал на каникулы из горнопромышленной школы, со свежими татуировками, и сообщил ей, что получил за учебу похвальную грамоту. Она лежала, едва жива, и радовалась — лицо ее светлело. Рассказывала дрожащим голосом, что забегала Томочка Куликова, беременная третьим (ей тогда девятнадцать всего стукнуло), опять, толком, не знает, кто отец будущего ребенка, но она плевала на это. А учительница говорила ей, мол, главное, что мать есть. Томка нарожала баскетбольную команду, и была (думаю, и осталась) своим детям хорошей, заботливой матерью. И сейчас, в свои сорок три года, думаю, уже неоднократно бабушка, поскольку рано начала исполнять свои непосредственные обязанности на земле. Когда я уже заканчивал университет, я заходил к Сергеевой, да мне соседи сообщили, что Мария Семеновна давно померла. На восемьдесят пятом году жизни. Помнится, в каждое мое посещение она порывалась рассказать мне что-то важное. Может, о Смольном? Может, о подругах? Может, о закопанных на школьном огороде драгоценностях?.. Но я опоздал. Эх, братцы,— в таких случаях опаздывает даже самый пунктуальный человек.

С воссоединением женских и мужских школ поубавилось и забот — отменили экзамены за каждый класс (начиная с четвертого), а вскоре отменили и плату за обучение в старших классах. Но мы с Борькой этим благом не воспользовались. Я пошагал на завод к отцу, где Борька уже вовсю ишачил грузчиком. Володька отправился служить в армию, а Колька — строгал доски на деревообрабатывающем заводе.

21

Мы сидели на кухне. Дождавшись, когда он толком поест, я сказал:

— Жорка, вот что: все, что я тебе говорил в Челнах и повторил десять раз, это были обязательные условия. Ты их не выполнил. Поэтому тебе придется ехать обратно. Чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. И для тебя и для меня.

— Ни за что! — горячо воскликнул он.— Я уже всем сообщил, что я теперь ленинградец. Это просто невозможно!

— Но пойми — тебя же не возьмут никуда работать!

— Я найду место. Я прямо сейчас пойду и найду... Вот увидишь — я везучий. Ведь я так здорово надеялся!.. Пойми же — это последний мой шанс. Мне ведь, между нами говоря, недолго осталось тянуть...

— И то верно. Но, Жора, у меня тоже нет ни шиша. Конечно, я поделюсь с тобой последним, но ведь до последнего рядышком. Вот оно — последнее.

— Давай не будем торопиться? — сказал он.

— Ну... хорошо... Попробуем.

22

Страна постепенно очухивалась от разрухи и голода. Как-то вместе со страной очухивалась и наша семья. С возвращением отца голод уже не так стал нас терзать. До отцова приезда мы познали вкус не только лебеды, но и древесной коры. Я, помню, пытался есть землю, решив, раз из нее растет столько вкусного, значит, сама она содержит в себе тоже все необходимое... Маленьким пытался сажать на огороде хлебные крошки в грядку и старательно поливать, и ждать первых хлебных ростков...

Отец все время что-то соображал перекусить. Надоело жить с керосиновой лампой. Ходить за керосином было сущей каторгой. Это предстояло тащить восьмилитровый бидон несколько километров. За керосином бежишь, насвистывая, а вот обратно: пока доберешься, все руки оттянет проклятый бидон. Скопили денег на проводку электричества. Я хорошо помню, как у нас в доме появился электромонтер, какой-то материн знакомый с фабрики. Он пришел с брезентовой сумкой и с когтями-кошками. Отец бы и сам провел свет, да мать заупрямилась, сказала, что могут оштрафовать, если что не по правилам. Монтер возился недолго. Вот он забрался на стол! И под прокопченным потолком загорелась лампочка. Она сразу же высветила все черные углы, и мама приуныла — надо было клеить новые обои и красить потолок. Несколько дней мы не могли привыкнуть жить в такой яркоосвещенной комнате. А в тот день я смотрел, раскрыв рот и радовался за нашу семью, потому что мы теперь стали не хуже людей... После расплаты с монтером, обнаружили, что наша печь вот-вот упадет. Денег на печника, конечно же, не было. Отец засучил рукава и сам сложил печь, вполне пристойную. Поскольку печников в округе не водилось, отца стали приглашать класть печи. Шел он неохотно. То ли на работе уставал и дома, и этого было достаточно? Помню, сложил он три-четыре печи, и бросил это занятие. Деньги он брать за работу стеснялся. Его норовили угостить брагой или даже водкой, но он не пил. Не потому, что берег здоровье — там уж нечего было беречь,— а боялся за нас. Когда мы выросли и пошли работать, он к пивному ларьку стал изредка подходить, да и не отклонял рюмочки, если предлагали в компании.

Если отец брался за работу — то ли что-то строил, то ли клал печь, мать всегда оказывалась рядышком, чтобы удобнее было давать советы, как правильнее делать. Отец ее не слушал, молчал или лениво возражал. Мать же это раздражало, и она могла, разозлившись, схватить молоток или топор и разбить все его сооружение. Отец сердился и угрюмо шагал на завод. На следующий день, перекурив основательно, терпеливо принимался делать все заново. Впоследствии мама пыталась и нам постоянно советовать: как мне лучше установить гараж, как Володьке сделать сиденья в катере, как ремонтировать дачу... Ей бы работать советницей при какой-нибудь организации. Мать на работе уважали. Она такой человек, который сунется во все, и не промолчит. За что ее, после возвращения отца из лагерей, принялись выбирать в разные профсоюзные комитеты, в женсоветы... Общественные обязанности она выполняла добросовестно, и возвращалась домой, обычно, поздно, обойдя обширную Ягодную слободу, где, в основном, жили работницы бывших алафузовских мануфактур, и как представитель фабкома выслушивала жалобы на существующие порядки...

Ну вот — половина пути позади. И читатель уже, видать, принялся раскидывать мозгами: где тут автор, а где — лирический герой. Насколько плотно сливаются их биографии и черты характеров: каковы нравственно-этические предпосылки коллизий, наполняющих структуру произведения и где истоки морального обоснования опосредованного «я», и прочее. Я сам, братцы, не знаю, право слово. Все тут перемешалось. Ведаю и верую. Встречали мы людей, которые жили в это время иначе, лучше, обеспеченнее. Да. Но не в этом дело, не в этом суть. Не о них речь. Прекрасно жили, можно сказать, тогда люди, чудесно — так сообщало радио. Но имелись и отдельные недостатки, отдельные пережитки прошлого, как-то наша родня. Но ведь нельзя же судить по обществу, зная одну семью, да и то — вона какую зачуханную. (Хотя мама отчаянно переживала и жалела угнетенных, когда читала «Хижину дяди Тома».) Мои герои — кто они? Я, что ли, это — я? На самом деле я — я? Идите-ка вы дальше!.. Единственно могу сообщить, что многое здесь приукрашено. Сделано как бы немного не так, как на самом деле бедствовали. Если уж все писать как было, то и смысла-то не будет бумагу переводить. Стану я тогда очернителем действительности, врагом демократии и прочее-прочее. А особенно, если откровенно напишу, что люди думали про существующие порядки, да и продолжают думать. А я уже побывал в шкуре сына «бандита, который резал людей на большой дороге длинным ножом» и могу достоверно сообщить вам — не дубленка эта шкура, уж точно. Возможно кто-то из прототипов, прочитав страничку-другую и разгадав себя, приедет бить

мне морду. И поделом. А редактор иной скажет: «Керосиновая лампа? Лохмотья? Голод? Тиф? Лагеря?.. Это вы перехватили! Халупу убрать. Тиф переделываем на насморк. Слово „керосиновая" вычеркиваем, а пишем „настольная", а к слову „лагеря" приписываем „пионерские", вместо „воркутинские". Пускай живут, допустим, в коммунальной квартире. Ну, едят, допустим, постный супчик. Ну, пару заплаток допускаю на четверых. Да и четверых-то детишек многовато. Надо двоих оставить — и того за глаза!» (Хотя, кто знает, до какого разгула демократии в будущем мы доживем? Может, критические заметки в газетах матом станут писать, а Адольфа Гитлера примутся некоторые реабилитировать, обосновывая его варварские поступки тем, что он попал под дурное влияние Сталина. Кто знает!..) О коммуналке, о постном супчике и прочем мы только мечтали. Так что недописанного навалом. Хотя, если и не хватает для кого-то каких-то деталей (я сам себе думаю), то их вполне можно начерпать в мировой литературе, в «Жерминале», в «Хижине дяди Тома» той же, к примеру... Где-то похоже жили. Единственно, что французские голодранцы и черные рабы были все-таки посчастливее нас, потому что у них не было радиовещания. Мы же, так мощно бедствуя, ежедневно, ежечасно слышали по радио, что живем мы все краше, все лучше, что детство наше счастливое, и что за это счастливое детство спасибо нашей партии (Сталину, Хрущеву, и лично товарищу Леониду Ильичу Брежневу, но этого благодарили более поздние дети. Уже наши). «Да-а-а,— дружно думали мы.— А как бы мы тогда жили, не будь нашей родной партии?! Вовсе бы поподыхали, небось!» Рядом не было почему-то этих счастливчиков. Не видел что-то я их тогда, не встречал на нашей улице Батрацкой. Как никогда в жизни не видел человека, выигравшего в лотерею больше десятки... И косясь в окно школы на пожухлый осенний клен, мы дружно пели на уроках музыки: «Детство наше золотое под счастливою звездой...»,— а после исполнения хором песенки Дмитрия Кабалевского шли собирать окурки на трамвайную остановку, а потом — на Ямки.

Мог бы я, наверное, и петь. Пели мы тогда дуэтом с Лилькой Фурцевой, и нам все хлопали, и со сцены я пятился, чтобы не видел зал заплаток на попе. Мать Лильки была совсем не министр культуры, а наоборот, работала вагоновожатой, и в Лильку я влюбился во втором классе. Я рыскал по помойкам в поисках костей и тряпок воодушевленный, и понимал, что «детство наше золотое»,— может, и правда?!

Ну, уж совсем! (Это я себе — можно не читать!) И Лильку Фурцеву приплел. И даже фамилию не изменил. Впрочем, она сейчас, надеюсь, давно изменила фамилию, выйдя замуж. А если ее мужик прочитает? А если он ревнив, как Отелло, и возьмется ее пилить: «Умолчала, зараза? Скрыла, что тебя любили в школе, во втором классе? И даже пела с каким-то паршивым сопляком?.. Ну-у!» — и пойдет, напьется вдрызг, лишь бы повод. Почему я думаю, что напьется? Да все верно, люди! Лилька по душевному складу очень хороший человек. А хорошим людям всегда достаются в попутчики на жизненной дороге либо мерзавцы, либо дураки. Это аксиома.

Я часто с этим встречался. Приехала как-то знакомая по Набережным Челнам. (Мы когда-то вместе работали, в сантехническом управлении.) Ну, иначе про нее, как золотой человек, и не скажешь. Она еще и в восемнадцать лет была честна, порядочна, принципиальна. Рукодельница и хозяйка — всего не перечислить. Сейчас занимает какой-то там солидный пост в одном из уральских городов, секретарь парткома, член различных комиссий. Женственная, элегантная, дочку воспитывает. А живет с нравственным уродом. Работать не желает, пьет. Ни образования, ни внешнего вида, ни соображения. Удивительно, как такие граждане находят себе кормилиц? Я ей говорю, мол, бросай своего красавца. Иначе ляжет он у тебя парализованный, и всю жизнь свою положишь на вынос горшков из-под него. (Он насобачился собственную кровь сдавать и пропивать — так что до паралича, думаю, рукой подать.) «Надо-надо»,— соглашалась она, и видно было, что не бросит она его, нет. И станет горшки выносить. И для дочери он (по ее словам) будет не пропившийся оболдуй, а папочка. Не таков она человек, чтобы скинуть свой крест. «Все бы ладно,— призналась она напоследок, скорбно сжав губы.— Только,

беда, кулаки то и дело распускает». Она же об этом никому ни гу-гу... Так, думаю, и у Лильки дела сложились ее личные. Прости меня, Фурцева, если неточен, если муж у тебя настолько хорош, что его даже нету у тебя. А если он хорош и есть — то поздравляю с таким исключением и предлагаю занести его имя в «Красную книгу».

Как же не страшно рассказывать такое? И хотя многие мужья, говорят, книг не читают вовсе, то передадут, перескажут в бане или возле пивнушки. Наживаю себе врагов — язык мой говяжий!..

Гутя за перегородкой жила по-прежнему. Работала она в родильном доме. Она постоянно рассказывала о тех, кто родился, и о тех, кто рожал. (Бред, конечно!) Рассказывала, кого не встретили из родильного дома, кто дал ей три рубля, кто пять, а один летчик отвалил сразу четвертной. Говорила, что рождались с тремя руками и двумя головами, что в соседнем роддоме баба родила поросенка с человеческими ручками, а одна вообще отличилась — принесла тройню щенков, которые скулили, будто младенцы. Говорила, что всех уродов заспиртовывали и увозили на полуторке ночью в Услонские горы. Она вообще любила рассказывать разные байки, и мне кажется, что она и является автором всех кошмарных и несуразных историй и слухов, которые бродят и поныне в народе. Несомненно, пропал в ней талант писателя, и будь у нее образование и литературный опыт, из нее мог бы получиться писатель не хуже Солженицына или Проскурина...

Зачастую бралась петь тоненьким голосом:

Посеяли огурчики в четыре листочка.
Не видела я милсночка четыре годочка...

Или другую:

На Муромской дорожке стояли три сосны.
Со мной прощался милый до будущей весны...

Заговорщицки рассказывала, что ее знали в лагерях все бандитки. Они ее уважали и не забижали. Старались у нее пайки не отнимать. Как-то на работах они подкупили конвоиров — и те допустили к ним мужиков-заключенных, с которыми они, обычно, работали на одном поле. Беременных, бывало, амнистировали... Рассказывала, что поначалу неподалеку от их лагеря работали пленные немцы, но потом их отправили в Германию.

У меня все ее рассказы вызывали в памяти картины строительства брусковых домов на улице Первая Союзная. Дома строили заключенные. Потом их перевели на копку канав, а дома стали достраивать вербованные. Мужчины и женщины. Они жили во временных бараках. Вербованные же и выкидывали младенцев, завернутых в газеты и тряпье, на Ямки.

Рассказы свои Гутя прекращала, когда приходил с работы отец... Она его очень уважала и разговаривала с ним почтительно, как со старшим братом. (Да-а, были благословенные времена, когда со старшими разговаривали почтительно. Я это хорошо помню.)

23

За широкими окнами аэропорта загустела темнота, в гуле которой нервно вздрагивали багровые огни хвостовых оперений металлических птиц. Казалось, слетелись они на серый бетон взлетной полосы перед ночлегом. Перед ночлегом же им необходимо устроить вот такой реактивный галдеж. Внизу позакрывались газетные и цветочные киоски, и рой возмущенных нашими порядками пассажиров растаял. Все укладывались — кто где приютился. Энергично мигало электронное табло, выявляя счастливчиков, выигравших в этой лотерее собственный рейс. Я как будто тоже ждал, что выпадет мой номер, по которому я смогу получить в распоряжение огромное ночное небо и самолет впридачу. Снял галстук и, свернув его, ткнул в портфель. Я тоже собирался укладываться, вернее, устраиваться спать. Здесь, в Пулково, было просторнее, чем на железнодорожных вокзалах. Да и теплее. Я прикрыл глаза

и мне стало мерещиться, что я — семнадцатилетний мальчишка, ломлюсь в общий вагон — собираюсь ехать на каникулы, на родину. Надо скорее проникнуть в вагон и занять третью, багажную полку, а то ехать двое суток. Правда, без еды, без постели... И вот я вломился — и в растерянности. На мне помятая фабайцевская куртка, а меня встречает солидный седой проводник в белых перчатках, и поезд, оказывается, купированный, для высокопоставленных шишек. «Надо бежать, пока не прогнали!» — я в страхе просыпаюсь.

Ноет, зудит нога, болит шея. О-о-о! Как болит-то, проклятая. Надоело. Лучше здесь перекантуюсь, чем поеду к ней... Утром перекушу в буфете — и на службу. Тут и парикмахерская имеется. Побреюсь.

— Ты что это? — толкнул меня сосед по дивану.— Выл!

— Как выл?!

— Выл. По-собачьи.

— Заснул, видать... А ты рейс ждешь, да? — спросил я, чтобы увести разговор в сторону от своей персоны.

— Уж третий день, как из командировки вернулся, а домой идти неохота... Неохота, да,— вздохнул сосед.

— Придется,— сказал я.

— Что ж... Придется. Может, завтра соберусь...

— Ну, шел бы к бабе какой...

— Ходил уж...

Я мельком глянул на электронное табло. На нем зелененько горело: «Ромашкино, рейс 2213».

«Значит, судьба!» — я приподнялся. Табло сообщало фамилию, у которой я обитал, и к которой не поехал, номер ее квартиры и номер дома. «Судьба!»

— Алло! Дорогая?

— Дорогая. Где ты, миленький, ау?

— В Пулково...

— На работу летал, да? Ну, бери срочно такси — и успеешь до разводки мостов.

— Нет монет. Кошелек на рояли забыл...

— Езжай — не беспокойся. А я к твоему приезду сделаю пельмешек...

Сорок минут по ночному Ленинграду.

— Пельмешки готовы. На столе уже, миленький! — она прильнула к моей щеке. Вся в розовом дурмане аромата духов.— Я спущусь — расплачусь с таксером.

«Какая я падла, а?!» И диван — тоже гад.

24

— Где ты меня устроишь?

— Вон, в крайней комнате. Идет, Жор?

— Конечно. Спасибо... Говорят, сейчас в Питере десять рублей койка в ночь, а ты мне бесплатно целую комнату. Но я, слово гусара, с тобой расчитаюсь... Не волнуйся, я все запишу...

— Я и не волнуюсь. Какой разговор,— смутился я, и вспомнил, что у меня уже жили многие, помногу. Один как-то полгода, а другой — квартал. В Челнах же, в моей квартире, постоянно кто-то жил. Все они тоже записывали. (Вообще, когда надо что-то свистнуть, стындить, спереть, слямзить, присвоить, не рискуя, надо просто что-то взять, попросить и обязательно записать, а при каждой встрече напоминать хозяину вещи или денег, что у тебя записано, и каяться. Через полгода он сам начнет вас избегать.)

Вынужден прервать плавное течение моего повествования, ибо сразу же за спиной выстроилась очередь из вечных должников, из людей подводивших меня за просто так и компрометировавших. И все они, невзирая на закоренелую сволочность, мне симпатичны, это мои вериги, и я их по-своему ценю — кого за талант, а кого жалею за бездарность. Первым же, после Жорки, требует помещения на страницы главы Олег Великосветский. Он даже колотит в свою грудь могучим кулачищем, и настоятельно требует — я, кричит он, после

Жорки!.. (Что поделаешь — так мы привыкли к очередям и давкам, что, пока я писал, мои персонажи вначале скромно стояли, дожидаясь своей очереди, затем кто-то пустил слух, что осталось всего три главы (ложь!) и все принялись давиться, перемешавшись; взялись скандалить — кому сколько строк уделено автором. Слышатся уже возмущенные крики: «Вас здесь не стояло!» — «Как так „не стояло"? Протри очки, склеротик!..» — «А еще галстук напялил, мурло!» — «У меня ребенок грудной дома остался, от автора...» — «Я на поезд опаздываю...» — «Граждане, пропустите инвалида умственного труда...» Совсем, короче, распоясались. Ну, ужо, напишу-ка я на них милиционера!) Об Олеге можно было бы создать отдельный роман, если не трилогию. Надеюсь, он сам это когда-нибудь сделает, когда бросит пить и возьмется жить по-человечески. Он явился ко мне из череповецких лагерей, без гроша, отощавший, как ничейная собака, в тюремной, естественно, клифте. С волчьим взглядом и аппетитом. Он мне сказал, что все суки, что он прожил в городе на Неве десяток лет, а ночевать остановиться негде. Две бывшие его жены и четыре любовницы даже корки хлеба не дали. «Ты один у меня, как старший брат»,— сказал растроганно он, снимая с потных ног негнущиеся ботфорты у порога. Ну, что ж. Стал он, невзирая на густые возражения моей семьи, жить в моей комнате. Пришлось его, конечно, приодеть. Пришлось как-то реанимировать мораль и взгляды в светлое будущее и выдавать в день по рублю из без того скудного семейного бюджета. Он поправился и через месяца два-три ушел от меня, унеся в клюве будильник, одеяло и раскладушку. В моем новом плаще — ибо из тюрьмы он, репутация подмочена как бы, поэтому ему необходимо выглядеть прилично, а мне — и так хорошо. И так ладно. Я и без барахла — на хорошем счету. Он тоже все записывал. Завершилось еще несколькими займами под слово чести: «Падлой буду!» — затем он пропил мой плащ. И растворился без осадка. Я остался в старой драной куртке, со злой хромой тещей и злой женой — обе они были почему-то всегда недовольны тем, что у меня постоянно кто-то ошивается и лопает нашу семейную колбасу и сидит своим непродезинфицированным задом на семейном унитазе, да еще и ручку забывает дергать после себя... (Оглянулся — нет очереди! У нас всегда так — вначале лезут, не зная зачем. А разберутся — бежать сломя голову.) Не буду больше о нем, а то несправедливо... Следующий, ау? Где вы? Милые мне сволочи! Ну во-от: пока писал про Олега — очередь паразитов в страхе разбежалась, и теперь мне ничего, казалось бы, не мешает повествовать дальше, но закрутились в мозгах творения Великосветского, типа: «От козы козел ушел. Хорошо! От коровы бык ушел. Хорошо! Ну, а я пришел к тебе. Бе-е-е!..»

Впоследствии он получил ведомственную комнату на улице Ординарной, на первом этаже, и к нему, со временем, прибился Жорка. Оба они стали содержателями какого-то притона непризнанных гениев. Они даже железную лестницу к окну поставили с тротуара, чтобы гости не беспокоили соседей по коммуналке. У нас любимым негде даже посидеть вечерком в городе, я уж не говорю «полежать», вот все и тащились на огонек, на Ординарную. Там и сидели и лежали и прочее. О-о! Сколько там поперебывало будущих знаменитостей. (Не могу пока назвать ни одной фамилии, так как они все еще в стадии становления знаменитостями.) Олег работал газовиком в жилищной конторе. Менял газовые колонки на пятерки. Колонку из квартиры номер шесть нес в квартиру номер двадцать, а из двадцатой — продавал колонку в шестую квартиру. Тем и живы были. А когда колонки всем поменяли, тогда пропили диван, на котором спали порой по три пары... (О-о! Если бы диван смог заговорить! Миру явилось бы очередное произведение, подобное древней Висрамиани.) Богема, что и говорить. Как-то Жора работал натурщиком. Раздетому по пояс, ему платили рубль за час, а раздетому полностью — рубль тридцать. На этот счет я, помню, заметил, что все, что ниже пояса, дешево у него выглядит, видимо. «Резко недооценивают»,— возразил он гордо.

Жора, вопреки собственным клятвам — бежать устраиваться на работу,— лег на диван и включил телевизор. Показывали передачу «Тригонометрические функции». Он внимательно смотрел. Я подивился такому обороту дела.

На его месте надо было мчаться сломя голову, искать работу, а он... Потом стали показывать ритмическую гимнастику. Он даже приблизился к экрану, словно был близорук, как минимум, диоптрий на восемь. Его глаза загорелись, с языка побежала вода...

Впрочем, я был так утомлен встречей друга, что отправился в свою комнату передохнуть. Благо, работа тогда мне позволяла это делать. Я весной долгое время дежурил за своего напарника, и теперь он отдувался за свой весенний отдых.

Поспал я минут двадцать. Разбудили меня какие-то возбужденные разговоры. Я поднялся, сунул ноги в тапки и вышел в коридор. Ба! Там радостно гомонили моя мама, брат Борька и какая-то ярко накрашенная девушка.

— Проснулся, сынок,— ласково сказала мама.— А мы вот, без предупреждения. Вечером сидели у Бориса и решили: «А давайте съездим в Ленинград, а?» Сели в такси, поехали в аэропорт и утром только вылетели самолетом.

Я обнял маму, брата.

— А это — моя новая жена,— представил брат девушку.

— Жена,— представилась она.

— Очень приятно. Брат.

25

В этом месте следует приостановиться, потому что многое начинает меня настораживать, и требуется посоветоваться с вами.

А не похоже ли все это, товарищи, на нытье? На какое-то расширенное заявление о материальной помощи? Мне бы, честно, этого очень не хотелось. Вот я, как бы жалуюсь, в жилетки вам плачусь, казалось бы, и очень возможно понять меня вовсе не так, как я хотел бы. Но ведь я, на самом деле, желаю разобраться в жизни, в ее современном течении, в процессе ее, в психологических аспектах нравственной этики. Вот, к примеру, я был всегда настоящим другом моим друзьям, и настоящим врагом моим врагам. И чувствовал себя уверенно всегда: в шахте, на чужбине, на ринге или в мотогонках, а так же в дружной драке за Полярным кругом в какой-нибудь вонючей пивнушке, где того и жди, что либо отвертку в бок сунут, либо табуретку на башку примерят. Работал всегда добросовестно, ибо неустанно постигал свою профессию, совершенствовал знания, и, главное, любил работать. И меня награждали всякими бесплатными грамотами, значками, дипломами. Был бригадиром высотников. Вручали нам различные знамена, да и в кино снимали не раз, и в газетах славили. Что и говорить — уверенно я шел по земле, потому считаю ее своею. И иду. Вернее, теперь уж шкандыбаю. Но я знаю, что надо делать. Я чувствую это, я в этом убежден. Тут все понятно, по крайней мере, для меня. Но когда касается вопрос отношения с женщиной или с редактором, я теряюсь, что-то мямлю, топочусь на месте, краснею. Редактор убежденно мне говорит, что это надо вычеркнуть. И хотя я знаю, что не надо, что этот абзац я переписал десять раз, бормочу, мол, ну что ж... А нельзя ли оставить? Нельзя, да? Ну (глубокий вздох), вычеркивайте. А это вы тоже разве вычеркиваете, да? Да. Так надо. Ну, что ж — давайте и это тоже... Что? Вместо мальчика сделать девочку? Хорошо... К среде девочку?.. Ладно... И иду я, как ветром гонимый, повторяя: «Храни его Бог!» И папку несу, и противен себе, в той же степени противности, в какой возвращаюсь к разогретым купатам и ловко наляпанным пельмешкам... За друга, за товарища — я и в ООН поеду (если, конечно, пустят), а за себя — и в ЖЭК не пойду.

С ней прожил я восемь месяцев.

Когда мы пришли из загса, выпили сухого кислого вина, я ей сказал, что мне надо на работу, а ты пока тарелки помой. Она мне ответила матом: «Пошел ты на..!» — «Ка-ак!» — поразился я молча. Ведь это же моя половина! Вчера еще она так гладила мою рубашку, словно ласкала ее; она не сводила с меня глаз, с трепетом касалась моего плеча — а тут такое!.. Да-да, суровые будни начались сразу же после регистрации наших милых отношений. Потом она швыряла в меня тарелки с кашей, закатывала истерики, и в порыве какой-то садистской злобы, шипела: «Я доведу тебя до того, что ты у меня, как миленький, вернешься на рудник. Нормальный мужик должен приносить в семью не меньше шестисот рубликов, понял? И ты у меня их станешь носить, на полусогнутых, на голубой тарелочке, как бы тебе этого ни хотелось!..» Вот тут-то я внутренне уперся. «Ни за что не вернусь под землю,— решил я.— Хватит. Теперь очередь других. Пяти с половиной лет подземки хватило по горло». Я вынужден был покинуть собственный дом, а потом и вовсе уехать в другой город. А она писала в разные инстанции бредовые какие-то письма, типа: «Мой муж — подонок! Помогите мне вернуть его в семью!» Меня вызывали и песочили. Мне мылили шею, прорабатывали, задавали перцу, секли, разбирали... И жизнь на долгие годы утратила индекс наслаждений, а превратилась в уныние. Мы встречались с ней спустя годы, договаривались легко о чем-либо, пожимали друг другу в знак примирения руки, и она уходила, и делала все наоборот. Мы с ней не жили уже больше десяти лет, когда она откровенно призналась, что цель ее жизни — посадить меня в тюрьму. Раз двадцать она обращалась в милицию или приводила сержантов, и я, после того как убежал в другой город, долго еще вздрагивал, когда видел улыбку женщины. Даже совершенно посторонней. С полгода как-то (благодаря ее неутомимости) я оставался с десятью-пятнадцатью рублями на месяц, и тогда я понял, что и десятка — крупные деньги. В это трудное для меня время я просил маму сдавать мою комнату в Казани и мне высылать половину. Мать комнату сдавала, но посылать мне ничего не стала. «Я думала, ты шутишь»,— сказала она мне спустя годы, когда дела мои пошли вверх. Как понять это? Невозможно. Как разговаривать с женщинами, чтобы быть понятым? Мозга за мозгу зацепится. Вот и теряюсь и буду теряться. Ну, допустим, с бывшей женой не договориться, но с мамой-то!..

Тот же знакомый кочегар, которого я уже цитировал, в запале крикнул жене и теще: «Вы, бабы, очень любите мужика вначале замогилить, а потом — ходить к нему на могилку с красивыми цветочками! Вы б за живым так ухаживали, как за холмиком. Было б гораздо дешевле!». Когда мне становилось очень плохо (в смысле, подыхал), ко мне на край одра присаживалась жена и начинала долбить меня каким-нибудь разбором, каким-нибудь скандалом на тему не прибитого гвоздя или не принесенной в прошлом году картошки. Она меня грызла, а я бесился, не в силах даже подняться и выйти из дому. К деньгам у женщин тоже какое-то болезненное отношение. Любят они их, грешным делом, чуть ли не пуще родины. Порой и человека готовы угробить ради этих вонючих денег, на которые все равно ничего толком не купишь. Недаром исстари говорится: «Что мужик наносит мешком, то баба растрясет рукавом».

Помню, на нашей улице в шахтерском поселке жена постоянно пилила, пилила одного забойщика, что он, паразит, приносит домой всего четыре сотни, а сосед — семь, а работают на одной шахте. Что делать — таковы горные условия. Может, в той лаве пласт крепок, да и порода обваливается постоянно. Бывает так: на одной и той же шахте совершенно разные заработки. Прорвет вода в лаве, сам по уши мокрый, да и плана не дашь. Измотаешься, как черт, тут и там валится, товар по рештакам не идет, врубмашина не фурычит, промудохаешься под землей десять часов, да и у кассы тебе ловить нечего. Но забойщики — народ твердокаменный. Он, естественно, ей ничего не отвечал, а она его все долбила, как сорока хребтину вола. Притащится он из забоя — один скелет, а она вновь грызть его. Того и гляди, со свету сживет. Не выдержал как-то коногон. Вернулся с шахты и давай носить ведрами уголь в дом и сыпать его под кровать. Жена кричит, мол, совсем ополоумел?! Куда уголь-то сыплешь? Он же — свое. Навалил угля под кроватью, занавесил отовсюду кровать ватными одеялами, затолкал туда жену, поджег бикфордов шнур — а он вонюче горит,— кинул дымящийся шнур тоже под кровать, ближе к жене, сам взгромоздился сверху. Супруга там задыхается, он же прыгает на кровати. Минут через пять сжалился — выпустил ее. Она вся в угле, чихает-кашляет, качается, сопли, слезы... А он назидательно ей: «Ты там всего пять минут

посидела, а я так каждую смену, да еще и лопатой-червонкой шурую». Больше, говорят, она его маленьким заработком не попрекала. Хотя какой это маленький — четыреста? По тем-то временам? На современные рубли это, небось, около тысячи будет. Впрочем, денег всегда мало. Приедет молодая семья на шахту. Устроится муж в лаву. Вкалывает. Хотят, естественно, подзаработать, чтобы жизнь сладко начать. Она, конечно, дома сидит — нет там для женщин работы. Заработает он на квартиру — пора, кажется, ехать на родину, а она уговорит его еще и на машину подзаработать. Заработает он на машину. Она его подзуживает — на мебель, а потом — запас деньжонок создать на будущее, на черный день. Хвать — годы прошли! У него селикоз третьей степени. Бежать бы оттуда, сломя голову. А она опять — ну, мол, что тебе с третьей степенью-то? Доработай уж до селикоза первой степени. Молодой еще будешь, а уж пенсия сто двадцать, и никаких забот... И работает. И работает... И — глядишь, повезли-и-и мужичка на погост! Устелит молодая вдова дорогу на кладбище коврами, могилу свежую цветами завалит... А что уж. Все.

Так что в то, что она его больше не попрекала,— не верится. Благо, на памяти много обратного. Так же на Крайний Север приезжают на годик подзаработать, и возвращаются через двадцать лет, чтобы благополучно подохнуть на материке через пару лет... Было как-то плохо мне, после приезда «скорой помощи», лежал я и потихонечку думал, что не хочется, в общем-то, испускать дух. Дочь, естественно, куда-то запропала. Плевать. Молодая, вокруг поклонники, любовь горит на каждом углу. Хрен с ним, с отцом. Приезжает тогда любимая женщина — как бы сидеть подле меня, на случай, если я, может, совсем стану загибаться дугой. Скучно, видать, просто так сидеть. И устроила мне такую ночь, от которой я, сердечник, закурил, затрясся. (Спасибо — подняла на ноги! Недаром на востоке утверждают, что организм имеет исключительные запасы энергии и подключает ее в критический момент.) До ее прихода и ее скандала я лежал, и на это сил не оставалось, а она подняла меня да так, что я в четыре утра наскреб по сусекам остатки сил, посадил ее в машину и отвез восвояси... А потом остановился у обочины и долго лежал на земле с закрытыми глазами.

После нескольких подобных случаев я пришел к выводу, что больной мужик бабе не нужен. А если он еще и сильно больной, то она, помимо своей воли, старается его еще и доконать. Тут-то и вспомнил про кладбище, про любовь — носить цветочки. Смотрю, как-то в Парголово из электрички вылезает целый состав женщин с цветочками и потащились со скорбными лицами на Северное кладбище. «И правда — любят!» — подумал я тогда, и захотелось плюнуть им вслед.

Вот и теряюсь.

А она мне говорит, пододвинув мягкие пышные коленки:

— Миленький! Хочешь, кофейку я принесу тебе с тостиками? Я мигом... А может, тебе ножки с горчичкой попарить?..

Черт знает! Не верится что-то в такие ее глубинные чуйства. Научили — не верить. Больно-больно учили. Сейчас — ясно — у меня в кармане полторы тысячи. Здоров. Пятаки могу жевать. А ну — приболей-ка! Что она скажет? Как она тогда запоет?.. Прямо-таки какая-то шахматная партия на звание призера жизни...

Эх, как просто все было в забое. Крушится, валится, ура! Даем стране угля! И музыка, и духовой оркестр, и цветы пионеры несут, а мы все черные, как кирзовые сапоги, рожи, и довольные. Конечно, бывали и гробы — такова работенка. Все там понятно.

Я в семье бывшей жил как советский разведчик в тылу врага. Без права возвращения на родину. Резидент — да и только. Постоянно в напряжении — что можно говорить, а что нельзя... Ведь разведенный мужик — заведомо негодяй и мерзавец. Это разведенная женщина — пострадавшая. Так принято считать.

Предыстория последнего развода такова: ко мне зачастила дочь от первого (восьмимесячного) брака. Она жила у меня, когда училась в школе, и женщины — теща и жена — долбили меня и додолбили вконец. После ее отъезда мне сделали около ста уколов. (Видать, от бешенства.) А потом дочь и вовсе перебралась ко мне. Я — естественно — рад. А жена спрашивает, почему я не спросил ее разрешения. «Так ведь это мой ребенок!» — кричал я. «Но не мой же!» — кричала жена. И тут появляется моя мама. Я ее везу на операцию в онкологическую клинику. Обе — теща и жена — принялись скандалить авансом. Они испугались, как бы мать еще тут не осталась, потому что после операции она не сможет уехать домой. «И пускай,— говорю я.— Это же мама. А это же — дочка!..» В былые времена от такой оживленной ситуации я, естественно, запил бы, но непьющему плохо, и поэтому было шибко тяжело. Тем более, я еще платил алименты первой жене, невзирая на то, что дочь жила у меня, а первая жена невзирая на это, писала на меня в инстанции, что я ей мало денег посылаю. Карусель, товарищи! Мама лежала в больнице, потом жила у меня, потом уехала. В общем, такие дела. Мне вторая бывшая жена говорит: «Вот ты ругаешь женщин. А дочь твоя? Смотри, пока ты ее обувал-одевал, она тебе — „папочка". А сейчас и писем не пишет даже».— «Все нормально. Так и должно быть. Я ж не говорил, исключая собственную дочь. Во всех вас есть что-то загадочное. ЭВМ сломается, ей-богу!» — «Все мужчины — свиньи»,— сказала тогда она. «Кроме членов ЦК»,— внес поправку я на всякий случай.

Мать гонят, дочь гонят — пошел разводиться. Быстро развели. Сейчас это дело на поток поставлено. Около минуты у меня времени ушло. И правильно, думаю. Нечего канитель разводить. Пора бы вообще отменить эти регистрации собачьи. Сама по себе регистрация — это уже изначальное недоверие. Получается как бы: «Я тебе не совсем верю — пошли, запишем этот факт в конторе». Торжественное бракосочетание — первый шаг к разводу. Раньше ж было просто, и разводов почти не наблюдалось. Сошлись люди и живут вместе — кому еще какое дело до этого?..

И вот дочь завела где-то роман. Пропала. Мне домой идти не резон, хотя и хочется с ребятами пообщаться. И вот — сижу на чужом диване. И здесь сидеть неохота. Куда идти? Где приткнуть свою буйную голову? Может, это я такой дурак, один? Может, я действительно какой-то ископаемый изверг? Неуживчивый человек? Но не могу же я маму родную прогнать или дочь на улицу, японский городовой!

26

К тому времени праздники, которые, как правило, проходили стороной, начали посещать и нас. В нашем доме, на Батрацкой улице, собрались Майданов, слепой Батрашов, Сергей с сестрами и матерью Дунюшкой. Заранее покупали вина (в засаде, за печкой, бродила брага, сердито булькая пузырями). Стряпались пироги с рыбой и морковью — печь их бралась мама. Она все делала быстро и ловко, тесто у нее поднималось пышное. Я таких славных пирогов ни у кого не пробовал. Когда она в последний раз приезжала ко мне в гости, она пекла. Как и водится, она должна была сидеть за столом и хаять свои же пироги, а гости — возражать и хвалить. Пили много, зато много пели и плясали. Мерзавцев-телевизоров тогда еще не наплодили. Были они у кого-то из буржуев, но на нашей улице о телевизорах толком еще и не слыхивали.

Петь горазды были Леля и Сергей. Сильный голос и хороший слух были у мамы, тем более, что любую начатую песню она допевала до конца, бывало — и в одиночестве. Остальные тогда помалкивали. Но если отсутствовала по каким-то причинам Леля. Эта тоже была песенница.

Часто пелись песни инсценированно. Так, например, хорошо помню, когда пели «Бродягу», на куплете:

«Бродяга Байкал переехал...» — кто-то брал мешок и выходил к порогу, словно только что переехал Байкал.

«Навстречу родимая мать...» — поднималась какая-нибудь женщина соответствующего возраста и шла навстречу тому, кто понуро стоял в углу с мешком.

И уже «бродяга» пел в одиночку:
«Ах, здравствуй, ах, здравствуй, родная!
Здоров ли отец, жив ли брат?» — с тревогой в голосе.
«Мать» в ответ ему пела:
«Отец твой давно уж в могиле, сырою землею зарыт,— и смахивала слезу. А на вопрошающий взор «сына» отвечала: — А брат твой, а брат твой — в Сибири давно кандалами звенит».

«Бродяга» жутко огорчался от этих известий, изумленно и печально смотрел на «мать» и никак не мог прийти в себя. Тогда «мать» брала «сына» под руку заботливо и успокоительно пела:

Пойдем же, пойдем, мой сыночек,
Пойдем же в наш домик родной.
Жена там по мужу скучает,
Детишки уж плачут гурьбой...

В этом месте уже все хором подхватывали, вторя, с каким-то надрывом, и откровенно плакали и даже рыдали, не стесняясь друг друга.

Окончив песню, долго и томительно молчали, переживая во глубине душ случившееся с «бродягой». Многим эта незатейливая история была кровно близка. Углублялись как бы в себя — ни шороха. Горькие складки у ртов постепенно выпрямлялись.

И только спустя определенное время кто-нибудь неожиданно запевал:

А по Сибири я шатался!

И все дружно подхватывали:

Брюки с напуском носил...

Лица светлели.

После такого плавного перехода настроений, вдруг какая-нибудь женщина выскакивала на середину комнаты, дробно молотя каблуками, и раздавалась залихватская частушка:

Пошла плясать — дома нечего кусать!
Сухари да корки — на ногах опорки!

И всем становилось весело оттого, что певунье «дома нечего кусать», а ей наплевать, черт с ним, перебъемся, перезимуем, переживем! Где наша не пропадала!

Другая подхватывала:

Тише-тише, господа!
Пол не проломите!
У нас в подполе вода —
Вы не утоните!

Тут уж гармонист обязан был взять в руки гармонь-хромку. (Песни, как правило, пелись без музыкального сопровождения, за небольшим исключением. Так, например, «Хаз Булат удалой, бедна сакля твоя...») Когда я был еще мал, гармошка попадала в руки слепому Батрашову. Гармонь ломилась у него через колено, длинные пальцы метались по белым клавишам, словно очумелые, а сам слепой музыкант пристукивал начищенным хромовым сапогом в такт. Он всегда ходил в суконной гимнастерке, на которой поблескивали ордена. Впоследствии гармошку брал я и играл плясовые, «Саратовские страдания», «Барыню», «Цыганочку»...

Какая-нибудь одинокая женщина — а их в ту пору было полно — выплясывала, выкаблучивалась перед Батрашовым, уже чуточку хмельная, нахально кричала:

Гармонист, гармонист,
Положи меня под низ,
А я с низу погляжу —
Хорошо ли я лежу!

Батрашов масляно улыбался, словно от красоты этой женщины он на это время прозревал. А уже другая из-за стола взмахивала рукой:

С неба звездочка упала
Прямо к милому в штаны.

Ничего, что все пропало —
Лишь бы не было войны!

Эту тему тут же подхватывала плясунья (и откуда они брались и берутся эти частушки!):

С неба звездочка упала
Синяя, хрустальная!
Полюбили мы Хрущева,
Как родного Сталина!

Господи! Сколько исхожено по тропам и дорогам с тяжеленной гармонью. Во скольких домах довелось часами напролет до седьмого пота наяривать сотни раз игранное... Мальчонке и платить не надо. Пирогов насуют за пазуху — братья дома ждут голодные. А тебя еще напоят брагой для смеху, а наутро — в школу идти, да башка трещит, да в глазах тоска зеленая, да уроки не сделаны по чистописанию...

Россия! Милая, родная, старушка, Родина моя. От голода и от морозов опять неможется тебе. И расплодились снова воры, они снуют, как тараканы, они как вши, как блохи лезут и поедом тебя едят. Лихие люди уж готовы продать тебя куда угодно, продать тебя за что угодно, продать тебя кому угодно... А важеватый покупатель брелоком брякает довольный. Зачем торги — тебя он чает совсем бесплатно получить. Уже посматривает косо — на что еще сгодиться можешь. Другой советует — прикончить. Зачем же, третий возражает, она и так почти подохла... Не верь, родная, глупо это. Все будет, мама, распрекрасно! А вы идите, злые люди — без вас уж тошно, очень тошно. Вина, конечно, в этом наша, что ты, Расеинька, хвораешь. Но мы ж пытались что-то сделать! Ничто нам делать не давали и по рукам пребольно били, и бить привыкли нас повсюду, и мы привыкли, что повсюду взашей, в загривок нас, по морде. И тут с отчаянья запили, и все копеечки носили в собачьи эти магазины на радость мерзостным людишкам, которым сыто, жирно жилось, за счет того, что мы пропились... Мамулька, маменька, роднуля — вот мы, пришли твои сыночки, пришли, очухались немного, теперь корявые, больные, иные слепы или немы, иные вовсе недожили, но мы-то есть, и верь, Россия, что о тебе все были думы. И думы были горьки эти — ту горечь водкой заливали, гасить пытаясь жар душевный, и заливали водкой уши, и заливали водкой очи! И за тебя переживали. Открой глаза, испей водицы — смотри, уж до весны дожили, вон, хрупкий просяной росточек в щель подоконника пробился, найдя себе земли щепотку,— его еще погреет солнце — он подрастет еще немного... Уж, говорят, прошли метели, потает, зазвенят сосульки. Смотри — уже совсем пригрело... Россия, Родина родная! Прости нас, мама, ради бога, что мы такие уродились! И ты не думай — мы с тобою, вот рядышком, смотри, с тобою. И, кажется, мы все вернулись, за исключением померших, и не дадим тебя в обиду. Мы выведем тебя на волю, мы выведем тебя на воздух, и ты посмотришь в сине небо, и слабо-слабо улыбнешься — там жавороночек летучий под удаляющейся тучкой свирелькой-горлышком играет, и струны солнца задевает... Все хорошо! Смотри-ка, дали! Какие дали приоткрылись... Еще тебе мы обещаем, что что-нибудь тебе подарим, на Первомай или на Пасху. Платок цветистый... Или, хочешь? Красивый крестик золотистый на шелковом витом шнурочке, а то ты крестик потеряла (а, может, сняли лихоимцы), пока ты тяжко так болела, пока нас били, больно били, пока мы пили, сильно пили. Мы все подарим, только, мама, живи, живи на радость детям! Живи на радость нашим детям! Живи на радость детям внуков! Живи. Живи. Живи. Живи.

27

Господи! Куда веду я вас, через пустыри и колючие кусты? Говорили мне тут некоторые, не води читателей туда, куда никогда не водили, а то заведешь их туда, где Макар телят не пас. Ты-то — черт с тобой, но люди-то — о них подумай! А я и думаю, что о вас думать — у вас свои головы на плечах. Да и где

рамки, законы, рогатки, которые мы не имеем права переступать, преодолевать? Нет их. Не знаем мы их, не знакомы. (Недурно бы было выяснить вначале — в гостях мы или дома живем? Почему скованы наши движения?) Я зашел в магазин юридической литературы и нашел на прилавке лишь книги типа «Правовые аспекты мелиоративных работ», «Комментарии к избранным статьям устава кооператива». Ни гражданского, ни уголовного, ни жилищного кодексов я там не обнаружил. На меня продавцы удивленно посмотрели, мол, не водилось у нас такого. Даже на макулатурные талоны. Чуть ли не как секретная эта литература — советский закон. Даже Конституции СССР не нашлось. Во как! А в законе, говорят, написано, что незнание закона не освобождает от ответственности. Так что — иди вперед, а нарушаешь ты закон или нет, тебе потом скажут. Может и тогда, когда закон уже будет безвозвратно нарушен. Что творится, товарищи! Я уж не вопрошаю: «А судьи кто?» Этот вопрос задан еще в прошлом веке и ответа на него нет до сих пор. Тогда же все любили спрашивать: «А где же вы, отцы... которых мы должны принять за образцы?» — «Что делать?» — не раз уже спрашивали. «Кому на Руси жить хорошо?». Ни на что нет ответа и поныне. И не будет. Так что идите. А кто не хочет — не идите. Возвращайтесь обратно жить в прошлом. Я же все-таки пойду, ибо иного пути у меня нет к собственной норе, к собственному дому, к собственному уюту, кроме как через Австралию и Антарктиду — в Жмеринку или в Удельную.

Многого у нас нет, но зато многое у нас есть. Часть, например, людей уже давно живет при коммунизме. Платит, правда, за это собственной совестью, но живет. Есть в государстве свои закрытые магазины, какие-то удешевленные спецпайки, помимо привычного нашего рубля — есть золотой рубль, есть чек на рубль. Трое денег у нас, а говорят, что мы бедные! Вы говорите, что у нас застой, а у нас уже четвертая конституция готовится, четвертая программа партии готовится — вот как оживленно мы бытуем. Один знакомый, который выбился в брежневское время в номенклатуру (это класс такой жил в двадцатом веке — номенклатура. Они много говорили пустого вразрез с совестью, были между собой сильно повязаны, вроде мафии, но за это пользовались различными благами), рассказывал, что в гостинице, где он обычно останавливался, деньги с него брали. Но такие смешные, как за двухкомнатный номер — рубль тридцать, рубль пятнадцать и даже восемьдесят копеек; обед, обычно, представлял собой ресторанный обед приблизительной стоимости рублей пять-семь, а платил он копеек сорок. В трудовую книжку ему писали какой-то вредный стаж, чтобы, в случае чего, мог свалить на пенсию пораньше. А потом эти люди выступали с высоких трибун и говорили о Ленине, о ленинской партии, о пролетариате. И полуголодному работяге, мучавшемуся животом от суррогатного портвейна и белковой колбасы, утвердительно толковали: «Ты — хозяин страны, а мы — рабы. Мы рабы пролетариата. А ты — хозяин, самый что ни на есть полноправный!» И раб в пыжиковой шапке товарищески пожимал руку своему хозяину в промасленной кепчонке. Хлопал его по плечу и говорил ободряющие слова. Говорил, что сейчас пока везде трудно, что в этом виновато предыдущее руководство, которое развалило, которое много болтало пустопорожнего, а дел не делало, что с трудностями можно справиться, только надо взяться всем вместе и как следует работать, и самое главное, не нарушать трудовую дисциплину и безоговорочно верить партии, каждому ее слову, как верили всегда без сомнений, и прочее... а трудно? Так везде сейчас трудно. А по его сытому виду можно было сказать, что не везде. И уезжал раб в лимузине, а хозяин шел давиться к заводской кассе за грошами, на которые все равно не хрен купить...

Стоп, хватит. Поукороти язычок-то, автор! Вовсе обнаглел! Про это же никто ничего... Ни гу-гу...

Чуть было, ребята, не написал про наше общество, разделенное на классы угнетенных и угнетаемых, на класс имущих и класс бедствующих. Во время удержался за кустик над пропастью. Не буду, не буду, ребята! Я больше так делать не буду! Честное пионерское... Господи, я ж пионером-то не был. Не приняли меня, видать, из-за отца. «Детство наше золотое» прошло у меня без красного галстука. Без. Ну и что? Что такого? Значит, предоставили мне в жизни возможность поменьше врать... Тут Петю готовили в пионеры, говорили, что пионер — всем ребятам пример. Он старательно учил клятвы и заповеди, знаки различия и прочую чепуху — он добросовестный мужичок. Молодец. Он ходил колотить на барабане. Но видно, хоть и маленькая голова, а работает. Как-то вечером он пригорюнился на кухне за чаем. «Что,— спрашиваю,— сынок?» — «Да, ничего...» — отвечает. «В пионеры готовишься, да?» — «Да...» — «Молодец, как следует готовься. А что ты как-то уныло?» — «Да... подумал, что у нас уже есть в классе один пионер...» — и горько усмехнулся. «Второгодник?» — догадался я. Он кивнул. Вот, братцы, и вся их школьная готовка в пионеры приготовила в пионеры сорок четыре души к тому, что у нас официально врут. И по радио врут. И с трибун врут. Как же он потом может быть примером, да и просто доверять нам, взрослым, своей стране, когда его с детства «золотого» так по мозгам?! Мальчонке-то!.. Я тоже горестно вздохнул и сказал: «Ничего, Петр, не поделаешь. Но все равно, раз пионер — то ты сам, именно сам должен быть примером. Не смотри на других, которые утратили свое значение из-за лени и двуличности. Не смотри».— «Как же не смотреть,— возразил он, ирония у него появилась.— А вон, в школе на Петроградской стороне, что для придурков, тоже пионерская организация есть. И придурки нам всем пример, да?» — «Им ведь тоже хочется...» — а больше мне нечего было ответить сыну. Что же ты, «Пионерская правда» паршивая? Где же ты, «Комсомолка»? Куда это вы в сторону от своего дела лытаете. Ваши же проститутки и фарцовщики, фашисты ваши и националисты, которым в школах комсомольские значки нацепили да до сих пор не сняли. Ликвидировать вас надо, как развращающие умы и сердца мальчишек и девчонок...

Опять занесло, опять! Простите, я больше так делать не буду!

Садитесь, передохните — я вам спляшу. Нет! Я лучше вам покажу очередной сеанс стриптиза. Во, балдеж! Подохнуть можно! (Да и безопаснее.)

Садитесь, садитесь, плиз!

Как-то сдавила меня судьба прессом забот, что захотелось пожить ну хотя бы недельку-другую одному, безо всех. Ну, я посетовал на злодейку приятелю Тойве Ктотолайнену. Он мне говорит — какой разговор! У меня домище пустует, а я все равно обожаю у любовниц жить. Дом рядом с Ленинградом. Так что — валяй, милости прошу. Сговорились ехать завтра. Поехали. Ехали час и больше часа перлись пешком по глинистой дороге. Домище — как Тойво мне его описал — оказался небольшим домиком.

— Что я тебе должен? — спросил я.

— Ничего,— гордо ответил он.

— Тогда ставлю,— сказал решительно я.— Где у вас тут сельмаг?

— Вон. Ближе, чем ты думешь.

Принесли сразу литр, чтобы дважды не ходить. Нашли всякой закуски в подполье: капусту, картошку, лук, сомнительной солености и происхождения грибы, бурду из черноплодной рябины и многое другое. Едва устроились, едва махнули по рюмке, как видим в окошко — из-за горизонта, по совершенно сельской местности идет явный иностранец. (Я не умею придумывать иностранные имена, так пускай он будет «Марчелло Челентано», ладно?)

— А-а! Вон и Марчело Челентано! — обрадовался Тойво.

— Что за чертовщина! — воскликнул я.

— Да... приятель. Видать, опять из своей макаронии приехал. Мы с ним в университете околачивались.

Марчело Челентано — молодой, лет двадцати человек — уверенно повернул к дому. Тойво вышел гостеприимно на крыльцо:

— Каким ветром, Марчело! — расцвел он в улыбке.

— А у меня этот твой адрес — больше нет никакого,— сказал резонно итальянец.— Это есть твой загородный дачка, да-а-ау?

— Ну, ладно. Водку будешь с капустой?

Итальянец потер руки. Мы принялись пить втроем. Потом Марчело снял куртку. И я сказал Ктотолайнену, после шестой стопки, что это тут за покой и тишина, когда прямо в окно теленок уже второй час мычит, да римляне шастают, как к себе!

— Брось ты! Он ко мне в три года раз приезжает, подумаешь... А теленок? Может, с нами тоже хочет побыть, а может — думает, что мы его папу едим,— показал он на кусок колбасы.— Дурачишка еще.

Итальянец сильно обиделся, что я назвал его римлянином. Оказалось, что он — чистокровный миланец. Тогда пришлось шагать еще за одним литром. А когда вернулись из-за того же горизонта, вместе с дождевой тучей, показалась странная процессия. По мере ее приближения я понял, почуял, что они идут в этот же дом. Тоже.

— А-а! Это сеструха моя, прикатила с Камчатки. Но они люди простые — выпьют и уйдут.

Сеструха — лет двадцати девица — привела с собой троих армян. При армянах было все, чтобы где угодно (хоть на Луне) делать шашлыки. Они взялись разжигать костер во дворе. Но пошел дождь, и Тойво гостеприимно предложил разжечь костер дома. Сняли чугунную плиту с печи и разложили шикарный костер. Вскоре все норовили прильнуть к полу, так как дышать уже стало нечем...

Пардон. Это предыстория, а я такой зануда, что всю дорогу отвлекаюсь. Я часто встречался в жизни с оживленными людьми. У нас, на Батрацкой, жил такой парнишка, Ленька. Он все любил прыгать с трамвая на ходу. Допрыгался — отрезало ему одну ногу до колена. Он вышел из больницы и стал жить с двумя костылями. Ну и что ж? Они ему ни черта не мешали. Он с костылями играл в чехарду и в футбол, лазил по голубятням и чужим огородам, и ничем по оживленности не напоминал калеки. И с трамваев он вскоре научился сигать, и так ловко это делал, что мог бы, думаю, работать инструктором по прыганью с трамваев на ходу. Лет в пятнадцать он опять неудачно сиганул с трамвая и ему отрезало на этот раз оба костыля. Я помню, он шкандыбал на обрубках костылей и ловко матерился. Прыгать с трамваев он перестал, зато через пару лет он заказал себе деревянную ногу и спустя время взялся жениться. Особенно часто он женился в молодости. Сейчас он женат или разведен — трудно сказать. Раз шесть-то он в загс схромал. И даже плясать наловчился на деревянной ноге. Вот характер! «Ленька,— мать ему говорила.— Зачем ты расписываешься с бабами — живи так!» — «Что мне — чернил жалко, что ли»,— отмахивался он от нее.

Так и армяне здорово проявили свою оживленность. Вскоре мы пили коньяк с водкой и ели шашлыки. Трое армян, итальянец, финн, его сеструха, почему-то хохлушка (Ктотолайненко) и я, по паспорту — русский. Но дело не в том. Это как бы увертюра к собственному падению, а заодно и к сеансу стриптиза. Тойво с итальянцем улеглись валетом на старом мускулистом диване. Армяне устроились у дверей другой комнаты, охранять честь сестры Тойво. На столе еще валялись шампуры и стояли бутылки водки. Мне, как самому старшему, было предоставлено право спать на кровати с никелированными шишечками. Но мне не спалось. Трещала башка от дыма и гари, от мерзостной водки череповецкого ядохимикатного завода — гадость, скажу вам откровенно. Казанская водка, после стакана которой в себя приходишь неделю, пионерка супротив череповецкой морилки. Да тут еще и армянский коньяк вступил с водкой в спор — что-то они не поделили внутри организма на межнациональной основе. Ночью, не выдержав, я поднялся и вышел вон. Дождя не было. Я хотел умыться, да не нашел воды. Пошел к бане. Увидел возле бани бочку воды и решил — а что там, гулять так гулять — истопить баньку. Покуда орда спит. Все равно глаз не сомкнуть. Вернулся в дом, наощупь отыскал спички, курево, выпил на ощупь водяры стакан для тонуса и отправился, жутко качаясь из стороны в сторону — топить. Баня была нагло заперта. Я сбил замок топором. Включил свет. Отыскал дрова и принялся топить, плеснув предварительно полведра керосина в печь. Налил воды в бак, натаскал еще дров. И вскоре, часа, может, через два, баня изомлевала жаром. «О-о, как тяжко на свете, о-о!» — стонал я, ощупывая опаленные керосиновым пламенем волосы. «Ну, может парком выбью хмель!.. И больше никогда ни за что — эту мерзость! Тьфу! Ска-атина-а!» Вышел охладиться перед парением, стою, и вдруг

вижу — из скворечника туалета торопится в белом привидение. Я схватил топор и погнался за ним (как атеист), на полдороге до меня дошло, что это просто-таки белая горячка. Но гнался. Было не остановиться. У крыльца догнал — оказалась девица, что привела армян.

— Пошли вмажем? — предложила она.

— Пшли,— сказал я.

— Нет, я лучше вынесу. А то народ проснется...— Она исчезла за дверью и вскоре вернулась с бутылкой и полным шампуром мяса.

— Пошли — в бане выпьем?

В бане она удивилась — было натоплено. Я объяснил, едва шевеля языком, что собрался париться.

— Вместе будем! — воскликнула она радостно.— А то что — зря я сюда тащилась, да?

— Конечно,— поддержал я и поставил топор в угол...

Мы выпили и принялись раздеваться. Сначала она, потом я.

Не скажу, чтобы я страстно ее жаждал. Мне было даже противно, но животный инстинкт поднял голову. Мы принялись парить друг друга вениками, ну в точности как та парочка с рекламы фирмы Хэгфорс, затем она сказала, что нечего париться без толку, а пора браться за работу.

— Вначале,— промолвила она деловито, беря каустическое мыло,— я как следует вымою твой хвост.— И принялась претворять свое решение в жизнь.

Я безвольно стоял у лавки и думал о себе, как о мерзопакостном существе, как о твари, но вскоре, по мере мытья моего хвоста, угрызения совести растаяли, замаскировались. Печка уже раскалилась докрасна, камни в каменке угрожающе потрескивали, и злорадно шипели, если на них попадала хоть капелька воды...

— Теперь все нормально,— сказала она, деловито укладываясь на полок спиной.— Пора приступать! Ну, что ж ты стоишь? Что же вы стоите?.. Ох ты — здравствуй!..

(Здесь, товарищи, мне придется запустить руку в карман мировой литературы, ибо не выразить своими словами то, о чем сказано гораздо раньше и гораздо лучше, и приведу о дальнейших событиях строки из средневекового китайского романа «Цзинь, Пин, Мэй».)

Она гостеприимно раскинула ноги шире плеч, заранее томно заулыбалась и:

Детина, прямо скажем, лучший сорт:
То в обращеньи мягок он, то тверд:
То мается-шатается, как пьяный,
А то застынет, вроде истукана,
Привык он, забияка неуемный,
Туда-сюда сновать в пещере темной,
Ютится он в обители у чресел,
Два сына всюду неразлучны с ним.
Проворен и отзывчив, бодр и весел,
Красотками он ревностно любим.

После — красотка вскочила на меня верхом, пришпорила и скакала на мне, как ведьма на Фоме. Все бы ничего, да дело в том, что полок-то был всего метра полтора длины, и мои босые ноги то и дело срывались и попадали в раскаленную каменку.

Через некоторое время я почти бездыханный валялся на полу. Девица с размаху окатила меня из ведра ледяной водой — так окатывают в плохих кинофильмах жестоко избитых советских разведчиков, чтобы привести их в чувство — поставила ведро на лавку, и определив, что я уже ни на что не гожусь, поцеловала меня (неважно — куда) и вышла. Еще раз заглянула и проворковала:

— Спасибо, добрый человек! Я пойду, а то мою дверь аж трое стерегут,— и с сожалением ушла.

Потом я выполз в предбанник. Выпил еще водки, закурил, затем вышел, хромая, на улицу.

Все происшедшее казалось каким-то кошмарным бредом! Я подумал: что

мы, собаки, что ли, кошки, что ли, твари животные... Потыкались — помыкались!.. О-о, господи! Как противно! Это я! В вонючей бане, с какой-то похотливой девкой, пьяный-сраный... А мои дети, мои детишеньки спят сейчас в теплых постельках, смежив мягонькие реснички, причмокивают губенками, а папа? Папа — сука! В бане, с пошлой девкой — Господи, прости!.. Господи, прости! Господи!.. В судорожном вое я опустился на колени, вытянул трясущиеся руки к небу — и в приоткрытые глаза хлынул на черном небе неяркий фисташковый свет! «Боже!» — вскричал я про себя. Боже, да это ж северное сияние — я знал его в лицо. Откуда оно здесь, в России? Откликнулся Господь на мои раскаяния? Оно таинственно змеилось, извивалось и по мере моего прозрения исчезало. Я поднялся с коленей и поковылял в дом. Там я тихо оделся и похромал на станцию. Я шел больше часа, шел и перерождался, а надо мною все еще текли далекие фисташковые отблески Господнего отклика... Я клялся себе во всем, и в главном — что больше я так жить не стану! Не стану, нет, нет!..

Дети, конечно же, меня спросили утром:

— Пап, у тебя ножки болят, да? Ты ножки поранил, да?

И знаете, товарищи, мне хотелось уйти в туалет, отыскать там, в шкафчике, веревку покрепче и тихо удавиться.

Но причудившееся сияние озаряло мою испоганенную душу, и я в это время верил, и клялся сам себе, и слеза пополала у меня из одного почему-то глаза. За что я их так? Где у них я? Боже, боже!..

Но кто гнал меня, кто? Почему не хочется домой, а хочется из дому. Почему хочется уйти-уйти-уйти — и в нору. Чья в том заслуга? «Это моя квартира»,— сказала теща. «Это мой дом»,— сказала жена. А мой где? Где мой дом? Я — пристяжной ленинградец.

Ну, вставайте. Простите, люди добрые, за такой уж совсем грустный мой стриптиз. Вот ведь, и стриптиз бывает грустным. Добью уж я вас до конца: через два дня газета сообщила, что такого-то под Ленинградом приключилось явление необычное для этих мест, северное сияние! Боже, а я им жил — я думал, что небо откликнулось именно на мое раскаяние. За что?! Какой гад написал эту заметку, зачем он отнял у меня веру, вынул у меня малюсенький уголек из души? Я бы раздул его, я бы разжег его, а там!..

Прочитав информацию, я зашел в коньячную, потом в другую, потом — в третью, потом с бутылками портвейна лез в окно к Великосветскому и Жорке на Ординарную и пил там вино, и пел во все горло: «Посеяли огурчики в четыре листочка, не видела я миленочка четыре годочка...» (Гутя ее, бывало, любила пищать.)

Кому еще не надоело — пошли, что ли?

28

Прослышав, что я гармонист, да еще неплохой, учительница пения заставила меня притащить гармошку в школу, где я играл со сцены. Наверное, всякую мешанину из моего репертуара. Сюиту, что ли. К тому времени я играл еще и вечерами, когда подростки в сатиновых шароварах, намеленных тапках и кепочках с резиновыми козырьками плясали на вытоптанной земле «Мишку», «Андрюшу»... Учительница повела меня в музыкальную школу. Она не раз ходила к нам домой, пытаясь всеми силами выковать из меня Чайковского. Но мама воспротивилась, так как за учебу предстояло платить, а в семье каждая копейка уходила тут же на жратву, если она появлялась. Учительница (молодая такая, одержимая) соглашалась сама за меня платить, но мама меня на первое же занятие не отпустила, заявив, что мы не нищие. Так же она кричала, когда нас, всех четверых собирались упечь в детдом. Действительно, мы не были нищими. Нищие, думаю, жили получше.

Потом, другая учительница, рисования, обнаружила во мне незаурядные способности живописца — я так ловко рисовал кастрюли и горшки, что по моим рисункам меня собирались зачислить сразу в четвертый класс художественной школы. Но надо было покупать альбом, кисточки, краски. И эта идея провалилась. В великой тоске я пытался сам изобрести ноты, на базе нераскрывшегося таланта художника: разрисовал клавиши гармошки в разные цвета, и на какой цвет нажимаю — таким цветом ставил точку в тетради. Потом учительница пения, увидев мои ноты, радостно рассмеялась, потом заплакала и взялась учить меня нотной грамоте. Но наши занятия вскоре прекратились. Я угодил в больницу довольно-таки надолго, а когда вернулся в школу — учительница уже не работала. Пытался сам научиться играть на пианино, оставался в школе после уроков, но уборщицы гнали меня всякий раз поганой шваброй вон. Тогда я насобачился играть на татарской гармошке — бишпланке. И не только русские песни, но и татарские. Впоследствии я переиграл в разных оркестрах самостийно, начиная от джаз-квартетов и биг-бендов, кончая сводным духовым оркестром горно-обогатительного комбината. В армии играл в ансамбле песни и пляски, а в роте — служил бессменным запевалой, чему имею документальное подтверждение.

После гулянки гости оставались ночевать, или расходились. Дунюшка уводила свой «выводок» на трамвай. Добираться им предстояло далековато. В то время хулиганья в городе было хоть отбавляй. Когда мама уговаривала старшую сестру не уходить, потому что много хулиганства, поножовщины, та отвечала, что у нее собственные бандиты, имея в виду Сергея и Лешку. И она несомненно была права. А если уж Лешка приводил своего младшего брата — слова его тещи подтверждались — затевалась драка у нас на огороде. Лешкив брательник и Сергей почему-то друг друга ненавидели, мечтали друг друга зарезать, хотя видимых причин не было. Впоследствии я узнал, что Сергей, будучи лагерным сапожником, ремонтировал иногда сапоги и начальству, что, по-видимому, считалось делом позорным и недостойным порядочного заключенного. Западло́.

Думаю, все стремились жить как люди и выбиваться в эти люди, и торили тропинки по-своему в этот загадочный мир мифических людей. Вскоре Сергей женился. По соседству с нами жила большая безалаберная семья Сатинкиных. Отец, мать, два брата, три сестры. Старшая, Антонина, относилась к преуспевающим женщинам, к тем, кто с приданным, у кого в руках любая работа горит. Служила она в снабжении и умела жить как люди. Она-то и заглянула к нам в дом, когда у нас находился Сергей. Они тут же быстро сговорились, и Сергей увел ее с собой. Вместе с дочерью, которой тогда уже стукнуло восемнадцать лет. Свадьбу справлять не стали. Выпили — и все дела. Тем более, ни Сатинкиным, ни нашим такой брак не пришелся по душе. Сатинкины жили весело. Оба брата вскоре женились и привели жен в дом. Была у них сестренка Тамарка, уродка, но красивая, и здорово играла на гармошке. Уродкой она родилась потому, что мать ее захотела сделать выкидыш (в пору ее беременности был издан указ, запрещающий аборты). Она целыми днями носила кирпичи на животе. Выкидыша не получилось, а получилась Тамарка с короткими ножками. Уже взрослой женщиной она оставалась росточком не выше метра. При коротких ножках с нормальным туловищем, Тамарка была очень доброй, отзывчивой. И еще — очень ловкой. Все ее на улице любили и считали нормальным человеком. Я и сейчас помню, как она возвращалась с работы, как двигалась утицей ее карликовая фигурка по земляной тропке, и как болтался на локте редикюль, задевая землю. Замуж она, естественно, не смогла выйти. Раз она сидела у окна и заплетала толстенную косу. Мимо шли два офицера. Пораженные ее красотой, они взялись с ней заигрывать, уговаривать выйти к ним, на улицу. И, дураки, уговорили. Она вышла — они и бежать!.. Борька видел ее как-то, не так давно — ей уже к пятидесяти. Утверждал, что ничуть не изменилась.

Антонина была вдова. Говорить об этом стеснялась, потому что ее муж, во время мобилизации, чтобы обмануть медкомиссию, надышался сахарной пудры. В легких образовалось затемнение. На фронт его не взяли, но зато пудры он, видимо, передышал, потому что вскоре умер.

Всюду снимали портреты Сталина. Помню, в школе мальчишки плясали на портрете Берии и плевали на него. Свергали многочисленные барельефы и статуи Великого Вождя. Отца народов. Благодетеля. Ученого. Преобразователя. Поговаривали, что его скоро выкинут из Мавзолея, где он лежал вместе с Лениным. В Кремле творилась какая-то смута. То и дело радио сообщало тревожным голосом Левитана, что только что в Кремле раскрыта антипартийная антиправительственная группировка во главе с Маленковым, Булганиным, Кагановичем и примкнувшим к ним Шепиловым. Спустя время — опять радио экстренно сообщало об очередной антипартийной группировке. Кремль был просто-таки насыщен врагами советского народа, словно Киевская Русь басурманами. Сквозь толпы врагов все увереннее пробивался в лидеры Хрущев, окрещенный позже в народе Никитой Чудотворцем.

У нас по улице шлялось полно безотцовщины. Иметь отца в то время — считалось роскошью. (Впрочем, и теперь, в эпоху повальных разводов — тоже). Наши голодранцы с детства курили, выпивали (если подворачивалась возможность) и ученостью не блистали. Понятно наше отношение к ребятам, когда посреди улицы Декабристов, или как ее еще тогда называли «Большая дорога» заключенные выстроили красивый пятиэтажный дом. Детей военных (дом принадлежал военным) приписали в нашу школу. Они явились наряженные, с кожаными планшетами, с деньгами на завтраки, с яблочками и пирожками, с толстыми бутербродами. Я не скажу, чтобы они задавались — это были неплохие ребята, и у нас с ними почти не было вражды. Но их матери знаться с нами не велели, с отрепьем, а наши матери не велели знаться с ними — как бы чего не вышло. Короче, собрали в одно стадо сытых и голодных. Дети военных, воспитанные в достатке (почти в каждой семье имелась домработница), естественно, жаждали познать мир во всех его прелестях. Мы-то уже умели не только плавать, свистеть, драться, стрелять, знали где добывать курево и жратву, но и что-то мастерить полезное. На уроках труда проявляли особое рвение, но зато отставали в учебе. Они же — наоборот. Наверное, потому, что в учебу мы не верили, как не верили радиопередачам, которые ежедневно убеждали нас в том, что «краше нашей Родины нет в мире ничего» и что «под солнцем Родины мы крепнем год от года». Я, например, никак не мог понять, зачем нужно знать, как привить к дичку яблони почку роял-бергамонта (проще этих яблок наворовать), или же — какое практическое применение имеет геометрия. Мне бы поскорее научиться мастерить табуретки, чтобы толкать их на базаре. Я знал заранее, что учиться дальше семи классов мне не позволят, что мой путь — на завод, что родители никак не дождутся, когда мне стукнет шестнадцать...

Приятно осознавать, что знаешь и умеешь больше, чем твой сытый одноклассник. Мы научили своих товарищей материться, петь блатные и лагерные песни, рассказывали, каким образом делаются дети и чем, научили свистеть в два, три и в четыре пальца, и чуть ли не любым отверстием собственного организма, вытачивать из напильников финки, мастерить «поджиги» — самодельные пистолеты и стрелять из них по бородатым черепам, на Ямках. Научили драться, добиваясь быстрой крови противника, научили играть на деньги — в чику, в котел, в карты, и они преданно проигрывали нам на Ямках пирожковые денежки, которые мы тут же пускали в дело — покупали папиросы «Огонек» или же «Бокс», и великодушно угощали их — мы не жадные. Богатая шантрапа важно покуривала «Памир»... Безденежные тоже были игры. Наиболее популярной была игра в городки. Биты вырезали сами и сами же обшивали их жестью. Долго и старательно делали чушки, размечали поле.

У нас не водилось магазинных игрушек, и поэтому игрушки нам мастерили старшие братья. И делали здорово. Считалось зазорным не суметь сделать самодвижущийся пароход. Делали модели самолетов. А какие делали воздушные змеи! Величиной в полтора-два метра — котенка поднимали. Запускали их на три катушки ниток. Не знаю, сколько это метров, но змеи забирались очень высоко и парили чуть не в облаках.

Очень любили футбол. Иногда матч начинался утром, а кончался только в темноте. Мяча, естественно, не имелось, и поэтому, гоняли всякую рвань. Обзавелись мячом неожиданно — во время какого-то матча на центральном стадионе города мяч, посланный футболистом кривой ногой залетел к нам, на трибуну. Тут-то его и ждали наши объятия.

Заречье делилось на слободки. Самым отъявленным по числу бандитов на душу населения считался райончик по берегу Казанки — Савинка. Говорили, что там жили одни уголовники. Перед савиновскими трепетали. Может поэтому мы не ходили в темное время суток в Рощу. Это бывшее дворянское кладбище, превращенное временем в парк. Там имелась деревянная танцплощадка-обезьянник, летний кинотеатр, аттракционы, какие-то карусели, и хозяйничали там савиновские головорезы.

И вот новость — мы переезжали на Савинку.

29

У нас все постоянно чего-то ждут: снижения цен, повышения цен, каких-то перемен к лучшему, каких-то свобод и радостей. Ждут у нас в очереди на квартиру, ждут продвижения очереди на кооператив, на садовый участок. Ничего у нас просто так не получишь, не возьмешь, не купишь. Все у нас надо доставать, выбивать, переплачивать, хлопотать, справлять, искать... От продавца нервно ждут, что он обсчитает, того же ждут от официанта. Ждут, когда вырастут дети, а потом — внуки. Томятся в очередях за билетами на поезд, ждут летной погоды и опоздавший пароход. Построить бы такой огромный зал ожидания, и кто хочет чего-то ждать, пускай сидит в нем и ждет. Впрочем, вся наша страна — зал ожидания, и стоят, и сидят, и лежат во временных, неуютных позах люди, и ждут, молчаливо ждут, не ропщут. У нас даже промышленные товары в магазинах годами ждут своего ненаглядного покупателя. Мы привыкли ждать перемен. Любая перемена приносит какие-то надежды, ибо «хуже некуда» — так говорят. А смотрите, каким энтузиазмом откликается наш народ на какую-нибудь хорошую новость. Бывает, в очередях зайдет разговор о том, как живут знаменитости или министры там. Недавно в очереди за финскими яйцами стояли женщины и рассуждали о жене Горбачева. Одни ворчали, и чего это она всюду суется, ездит за ним по пятам, да наряды свои демонстрирует, а другие — наоборот возражали, говорили, что помогает ему, рядом с ним в трудную для державы минуту. Наверное, первый, пожалуй, человек во главе советского государства, о котором говорят свойски, словно о соседе или родственнике. И что интересно, о нем пока не так уж и много анекдотов. А это существенно. Алкаши его называют «Минеральный секретарь», сторонники его политики говорят: «Куй железо, пока Горбачев». Но понимают и принимают его боль, с которой он говорит, выступая перед народом. А женщины в очереди судачили, примерно так: ну и что за наряды-то? Да такие наряды сейчас не редкость и у простой женщины, например, у Пугачевой, а она по лицу, видать, не дура. И держит себя — ничего, в фигуре. А другие — как же ей тогда командировочные платят? За что? Она-то на каком основании по заграницам катается? Опять же возражают — если вдруг Миша задержится где долго... да и у него вся жизнь теперь в разъездах. А если у него естественные потребности — что ж ему, в блуд ударяться, да? Болтаете — не знаете что. Им виднее. И правильно, что ездит. Побывали б вы на месте жены Генерального секретаря — посмотрели б мы на вас. Вечно мужик в работе круглые сутки, да и лихих людей требуется остерегаться. Вон, Крупская с Лениным тоже всюду ездила. Значит, таковы у них семейные отношения, что иначе, как и жить, если он дома бывает раз в неделю, да и то с собой половину политбюро обедать тащит. Наготовь-ка на всех-то. А что им готовить? У них, небось, целый штат поваров и горничных. Тоже мне — штат! По нему не скажешь. Ну и если нету штата-то! Все доставят, что надо. Пойди-ка, Раиса, в наш вон магазин, постой за колбасой за два двадцать или за помидорами... Только им и время — стоять в очередях. Зато все б знали, на себе б ощутили, да и очередь все расскажет, и не надо никаких советников... Общим голосова-

нием (без поднятия рук) решили разрешить ей ездить, и указали ей (заочно) чтоб берегла мужа, кормила, лелеяла... Не дай бог, что случится; не дай бог — приболеет... Тогда враги тут как тут, мерзавцы. Потом сказали, что с винным указом он погорячился. Повысился престиж поллитры. Ее трудно достать, да и дорого стоит. Надо б все наоборот, сделать ее, вонючку, по рублю за бутылку, а штрафы за появление в нетрезвом виде повысить рублей до двухсот. Штрафами компенсировать это дело. И тогда все было б в ажуре. Говорят, в продолжение кампании по борьбе против пьяниц скоро возьмутся повышать цены впятеро на закуску. Да? Что вы говорите? Правда. У меня зять двоюродной сестры работает в Кремле. Дворником, правда, но уже майор... Это уж точно. Интересно, что за закон готовится о браке и семье? Не иначе опять повысят плату за развод. Говорят, теперь развод будет стоить тысячу, а то и две. Надо бы скорее развестись, пока еще развод двести рублей стоит... Тут в очереди стоял какой-то замухрышный мужичок, и он заявил: «Вашей сестре хвост прижмут, наконец. Пора... Говорят, отменят вовсе алименты. Тогда на развод ни одна баба не пойдет». Хотели женщины его обскандалить, да пораскинули своими куриными мозгами и тоже, как ни странно, пришли к выводу, что отменой алиментов можно не только сократить, но и напрочь уничтожить разводы. Во-первых, девка будет осторожнее выбирать себе мужа, а не выскакивать за него на следующий день знакомства. А во-вторых, смысл развода теряется, если не будет алиментов. Тогда без мужа будет не прожить, и жена замолкнет в тряпочку. «Брак будет не типовой, а такой брачный договор. Как договорятся — так и станут жить. Заверят бумагу у нотариуса. Один экземпляр у семьи, второй — в загсе», — продолжал тем временем мужик. В этот момент явилась наконец-то продавщица, которая отходила «на минутку». В золоте, сытая. В шапке за пятьсот. Она что-то даже напевала. На нее накинулись, почему ее долго не было, на что она возразила, что уж, она весь день за прилавком, и сходить не может поссать. Так и сказала. От ее хамства все опупели.

Вот и все дела.

Прочитав это, редактор мне скажет, ну, докатился. Давай выбрасывать. «А нельзя ли оставить?» — замямлю я. «Нет,— твердо скажет он.— Имей же совесть. Не обо всем же можно писать!» — «Но ведь это жизнь. У нас, в России, испокон веку в очередях говорили о правителях, причем, по-разному. А в литературе этого никогда не было. Елки-палки! Почему загнивающие американцы свободно включают в свои произведения президентов, и даже фамилии их называют, ругают их, как хотят, кроют в хвост и в гриву, а у нас – в самом демократическом обществе — нельзя! Не пора ли вообще убрать это слово „нельзя“?» — «Понимаешь, не традиционно писать о Горбачеве. Ты где-нибудь читал, чтоб во времена Хрущева про Хрущева так или про Сталина в годы его правления?» — «Нет».— «Ну, и не тебе начинать. С тобой, чувствую, хлопот не оберешься. Это только говорят, что нет цензуры — а она, хоть ее и нет, все повычеркивает, и с меня премию снимут, да еще и по шапке надают. А кое-кто может и полететь к чертям. Да и тебе, думаю, не поздоровится».— «Вот почему у нас делятся литература и жизнь? В жизни все можно, а тут что льзя, а что нельзя».— «Конечно, можно идти по Невскому и сто раз плюнуть, и все это описать. Это тоже будет, по-твоему, литература?» — «Черт ее знает. Может, и будет — смотря, как написано. На плевание у человека тоже часть жизни уходит».— «Или — как человек сидит на унитазе».— «Про это тоже не было».— «Многого у нас не было. И не будет никогда».— «А жаль».— «Ни черта не жаль,— скажет редактор,— таковы законы социалистического реализма».— «Но у меня же нет очернения действительности. Я, например, даже кое-что заранее подредактировал. Тот мужик в очереди говорил с применением жаргонизмов и бранных выражений, которые у нас идут, как нецензурные междометия. Я ж их исключил. И народ говорит о Горбачеве, как о человеке, а не как о барине. Вот с такой вот свободой: беспокоются, переживают, да и дела его обсуждают».— «Все равно!» — скажет он и занесет над этим всем карандаш.

А-а-а! Не надо!.. Оставь... Впрочем, если так, то что уж, ну ладно... Эх, вычеркивай... А жалко, правда. Ей-богу.

30

— Ну что? — засуетилась мама.— Надо же позавтракать. У тебя есть что-нибудь? У нас ни черта. Схватили только со стола красной рыбы, да водки...

Мы сидели на кухне до вечера. Мама и брат рассказывали про родственников. Мы пили и курили, и я ждал, когда же все это кончится.

Жору пришлось переселить ко мне в комнату. Матери предоставили отдельную, а брату с новой женой — проходную. С братом сходили в магазин. Он очень удивился, что в Ленинграде свободно с вином, и купил сразу много выпивки.

Поэтому и завтракать наутро стали вином. Но это наступило завтра, а еще вечером я поехал к приятелю, провожать его в Среднюю Азию. Он вошел в состав сборной МВД и ехал наводить порядок и социалистическую законность в Узбекистане, где ко времени начала перестройки сделалось все продажным и покупным: должности, дипломы, партбилеты. Где почти возродилось Кокандское ханство и мир разграничился опять на эмиров, баев и дехкан. Приятель был чисто выбрит, пил чай. Возле него околачивался один из его молоденьких лейтенантов в штатском. Мы ждали, когда наступит пора ехать в аэропорт, и я говорил ему общие слова, чтобы берег себя, хотя знал, что он не станет себя беречь, что полезет в самую бучу, и что у него есть все шансы найти на свою буйную голову массу приключений. В общем, словно на фронт провожал. Переживал за него, он был спокоен и серьезен. В нужный час надел кобуру под пиджак и мы вышли на улицу. Их уже ждала машина. Я извинился, сказал, что у меня мама приехала, и что я не поеду его провожать до самолета.

— Конечно, какой разговор. Я не думаю ничего — не все же там продались.

— Надеюсь, что да.

— Ну и я на это шибко надеюсь.

Мы обнялись, и я сказал, что жду его в Ленинграде целым с головой, с руками и ногами.

Добрался на метро последним поездом. Потом половину дороги плелся пешком — автобусы уже не ходили. В парке Сосновка вовсю шло братание мальчиков и девочек. В кустах маячили мрачные негры и арабы. «Спидометры»,— так их назаал недавно один шпингалет в нашем дворе.

Дома гремела музыка. Борька с новой женой танцевали, а мама и Жорка ими любовались. В стены стучали соседи. Я выключил проигрыватель и сказал укоризненно брату:

— Очумели? Люди же спят!

— Ну и ладно,— обиделся он.— Брат называется. Если б ты приехал ко мне — я бы тебе позволил. Тем более, может же человек устроить себе свадебное путешествие.

— Действительно,— согласилась с ним мама и неприязненно на меня посмотрела.

— А ты, Жора, что не спишь? Да и пьешь еще,— укорил я Жорку.— Завтра вставать со свежей головой, а ты...

— Ну тебя,— отмахнулся Жорка.— Мне уж недолго осталось тянуть. Напоследок хоть повеселиться...

Все, недовольно косясь на меня, принялись расходиться по комнатам. Еды брат, конечно же, не купил, поэтому в холодильнике уже ничего не было. Я погрыз прошлогодний брикет фруктового киселя и решил заварить чаю, чутко прислушиваясь, как укладывается народ в квартире.

Я уже совсем было собрался идти спать, ибо на часах стрелки указывали три, как на кухню вышел брат. Он, видимо, уже успел «подарить одну любовь» новой жене и решил перекурить.

— Сядь,— приказал он мне.— Я давно хотел поговорить с тобой.— Он сыто затянулся сигаретным дымом.

— Давай лучше утром, а то я как вареный.

— Нет — сейчас.
— У меня уж и башка не соображает...— неуверенно пробормотал я.
— Ничего. Она у тебя никогда не соображала.
Он покурил молча. Я ждал, что он скажет чего-нибудь, но брат безмолвствовал. Мне пришлось тоже закурить. Потом он потянулся к холодильнику и достал «ноль семь».
— Может, не надо? — взмолился я.
— Надо! — он уверенно налил себе и мне. Я хотел отказаться, но он потребовал, чтобы я непременно выпил. Мне все это надоело и я вылил свою водку в раковину.
— Так значит, да?! — зло прищурился он.
— Да. Так.
— Когда вся страна стоит в очередях за этой бесценной жидкостью, ты в это время... Ты что? Хочешь этим показать, что ты чистенький, а братан у тебя — алкаш, да? Или, если я простой каменщик, а ты валандался в университете, то ты умнее меня, что ли? Так ведь ты-то сам монтер вонючий!..
Я промолчал. Действительно, валандался я в университете, а работаю, в результате, монтером, электриком в автопарке. Что тут скажешь, что возразишь? Да у меня полно приятелей с дипломами вузов кочегары, дворники, сторожа. Электрик среди них — это еще ничего, это еще головой работать надо, это еще знания какие-то нужно иметь. Откуда ему знать, что многие честные люди ушли в сторожа да кочегары, имея дипломы. Чтоб не юлить и не ходить по головам. Чтоб не лизать зады начальству. Чтобы попробовать остаться людьми.
— У меня, понимаешь, свадебное путешествие! Я вон мать-старуху с собой взял. Вон, ты о ней не беспокоишься...
— Как же,— попытался возразить я.
— Молчи! Я тебя вот что хотел спросить. Сейчас у нас большие дела делаются. И я решил тоже. Усек?
— Усек.
— И вот с тобой хотел посоветоваться. Решил тоже начать новую жизнь. Ремонт в ванной сделал. Газовую плиту сменил. Жену совсем новую нашел. С вином постепенно вяжу. Зубы вот надо вставить, постричься — но это уже мелочи. Сейчас у меня бригада — дома строим на селе. Зарабатываем по шестьсот на рыло. Ничего же?!
— Конечно. Не мои полторы сотни. А что тут сомневаться? Тут и без советов...
— Ну, ты, как брат, подскажи. Зря, что ли, я тебя учил в университете?
— Ты меня не учил. Я сам учился.
— А толку-то что от твоей паршивой учебы? Учился, учился, а монтером ишачишь. Да и пока ты учился — я ж работал.
— Так и я в это время работал, и не жил на твой счет. И никогда не жил на чужой счет.
— Все равно... Ну, одобряешь мою перестройкуу?
— Да.— Я поднялся. Ныло уже все тело.— Впереди — смена унитаза. И еще балкон застекли, помойся в бане и побрейся...
— Не торопись. Посиди с братом.
— Не могу больше, Борь.
— Не хочешь,— определил он.— Ну, что ж — иди. А я вот еще немножко посижу. Может, тебе стыдно станет спать. Вспомнишь, что брат родной на кухне в одиночестве остался.
«И это же Борька, мой брательник! Мы ж с ним вместе лебеду жрали! Неужели это он, врун и драчун, неряха и насмешник? Не он это. Это какой-то небритый чужой мужик со своим похмельным бредом».

Мою койку, конечно же, занял Жорка. Я вернулся в коридор, набрал охапку старых пальто, постелил их на полу. Под голову свернул тюремный ватник Великосветского, оставленный им мне на память о плаще, и заснул.
Часов в шесть утра меня разбудила мама.

— Встань, сынок. Хоть чайку попей, а то что ты голодный спишь.
Пришлось встать навстречу заботе.
Мы сидели, пили чай. Без бутербродов. Булки не было и не было чем ее намазать.
Потом поднялся брат, за ним — его новая жена. Собрались на кухне. Брат с женой дружно закурили. Налили друг другу выпить. Поискали глазами, чем бы загрызть, и не найдя ничего, брат укорил меня:
— В вузе учился — а даже закусить нечем!
— Сейчас магазины откроются,— пробормотал я, обжигаясь горячим чаем.
— Давай, выпей с нами?
— Нет.
В дверь позвонили. Упорно и настойчиво. Я пошел открывать.

31

Материна знакомая... Да как сказать — знакомая! Повариха из фабричной столовки. Она ее помнила долго. Как-то раз, в голодное время, бесплатно выдавали вареную вермишель. Мама, получив положенное, решила плошку отнести нам, но изголодавшая, не выдержала запаха, и подумала — отъем чуток, только чтоб во рту побывало — да не удержалась, и не заметила, как съела все... Потом на коленях она молила положить ей еще порцию, да повариха не дала. Возвращалась мама с работы и била всю дорогу себя по голове, и рвала волосы, царапала себе лицо. Вернулась в ссадинах и синяках — даже мы испугались, как бы она не взбесилась. Она долго еще стучала головой о печку, выла...
Вот, повариха эта, что-то не поделив с братом, с которым имела на двоих дом, и предложила матери (доплатив десять тысяч!) перебраться в ее половину, а сама с дочерьми и любовником — в нашу развалюху. Брат терпеть не мог ее любовника, бывшего уголовника и выпивоху. Обговорили. (У них еще и огород поменьше, да и Савинка стоит на болоте...) На полуторке уместилось все наше барахло и мы: отец, мать, Гутя, Колька, Борька, Вовка, я, Найда, кот и куры. Переезжали поздно вечером, в совершенной темени, да еще и под проливным дождем. Старшим было все равно — они предусмотрительно напились браги. Машина то и дело буксовала в непролазной грязи. Каких-нибудь несколько километров ехали час, не меньше. В ночи же таскали наши пожитки, шлепая по лужам. Несколько узлов с тряпьем, ведро с посудой. Две кровати и три табуретки. И фанерный стол. Первым хотели впустить, по обычаю, кота, но пока его искали, отец плюнул на предрассудки и вошел сам. Вместе с котом куда-то исчезли и куры. Потом их кое-как нашли, поймали и определили в сарай. Кота затащили в дом — он старательно зевал. Сами улеглись спать далеко после полуночи.
Наутро живности не обнаружили.
— Украли,— обреченно решила мама.— Савинка — одно слово!
— И кота, что ли, украли? — засомневался отец.
Но, оказывается, и кот и куры направились пешком на старое место жительства. Их насилу догнала Гутя, ушедшая на работу утром.

В новом доме, на Савинке, было три комнаты, а всего площади тридцать квадратных метров. (Это не бывшие наши девятнадцать, на Батрацкой!) Имелись и сени. Пустые, темные и холодные. Расселились так: Гутя с Колькой в маленькой, дальней комнате, отец и мать — в большой, а мы — братва — в прихожей...
Мне надо было в школу во вторую смену. Я обошел узкий двор, осмотрел сарай, так не понравившийся курам, и флигилек. Но флигель был недостроен.
Вышел за калитку: дома на улице теснились друг к другу, испуганно тараща окна. Вскоре выяснилось, что за водой тут надо переться километра два — не меньше. В школу — и подавно дальше. Мне сразу понравилось, что до школы далеко — это предвещало отсутствие визитов учительницы к нам...

За огородами начинались обширные, болотистые луга, а за лугами — аэродром, где гудели реактивные двигатели. У последних домов Савинки вытянулся барак торфопредприятия. Там же возвышался вместительный жухлый сарай с покинутыми и ржавыми торфокопалками.

В другой половине нашего дома жили соседи Ждановы. У них была грудная девочка, которую они потом, время от времени, к нам приносили поняньчиться, если сами уходили в гости. Жданов дядя Саша, крупнотелый мужик, вернулся из Германии, где долгое время служил. Его сдобная жена работала на железнодорожном вокзале буфетчицей.

В новом доме сначала мы порядком приуныли. Матери было значительно дальше на работу. Отцу — тоже. Вовке — в ремесленное училище путь удваивался. Вокруг не росло ни кустика, ни деревца. На улице — непролазная грязища... Но все-таки дом нам казался просторным.

В наследство от поварихи досталась нам и квартирантка, Тоня. Она работала парикмахером, жила скромно и тихо. За печкой ютился топчан — как она там помещалась — не знаю. Платила она в месяц сто рублей старыми. И в обязанность квартирантки входило иногда мыть полы. Вовка стал посматривать на ее круглые формы, облизываясь. Тогда мама сразу же предложила ей подыскивать иную квартиру, но та, вместо квартиры, нашла себе жениха из клиентов. Привела его к нам — показывать. Раньше так было принято — сначала показать будущего супруга знающим, опытным людям. Мать одобрила ее выбор.

— Только уж очень рыжый,— посомневалась Тоня.

— Выкрасишь, если не нравится. Главное, чтобы хозяйственный был,— резонно ответила мать.

Вместе жить им за печкой стало вовсе тесно, тогда жених предложил достроить флигелек и поселиться в нем. Мама согласилась. Вскоре флигель был готов. Отец выложил молодоженам печь, и они стали там жить. Когда, со временем, они перебрались в торфяной барак, во флигеле пожила и Гутя с Колькой и с собакой Найдой. А когда они получили комнату в большой коммунальной квартире, пришел проситься во флигель Артамоня, который к тому времени сподобился жениться. Мне флигель казался довольно-таки просторным, хотя был он площадью всего семь квадратных метров...

В связи с переездом на новое место жительства, я в школу не пошел, а проболтался в Роще. Стояла поздняя осень. Рабочие жгли опавшие листья. В воздухе висел серый сырой дым. Под горой, в низине, болтались мальчишки. Собирали картошины на использованных уже огородах и пекли их на кострах. Отсюда, с горы, четко просматривалась вся Савинка до самой реки Казанки, а на том берегу — Кремль, перед ним — новый строящийся бетонный мост.

Насквозь от Тверской улицы к Козьему мостику через Гривку тянулась плотно натоптанная тропа. А в Роще расстилалось футбольное поле, на котором какие-то голодранцы, налопавшись горелой картошки, гоняли мяч, то и дело огибая ветвистый дуб, что рос между воротами...

32

Вновь я стою у окна и смотрю, как каменщики неумолимо строят дом, как живо орудуют они кельмами, как подъемный кран подает поддоны багрового кирпича, как плывут в небе бадьи дымящегося раствора, как подсобницы-лимитчицы кидают этот серый раствор на стены совковыми лопатами. Они перепачканные, в огромных парусиновых рукавицах... А вечером, в своих общагах, намажутся, завьются и отправятся удить женихов в бары и рестораны. Но и парни там — либо лимитчики, либо бомжи, без прописки, жилья и монет. Редко заглянет коренной ленинградец. Все чаще — пристяжные. Да и не ленинградцы вовсе. Куда еще податься лимитчице, приехавшей в Северную Пальмиру покорять белый свет нарядами и красотой?.. Был павильон танцевальный в парке, да туда перлись сплошные лимитчики из окрестных общаг. Там они пьяные и плясали, и дрались, здесь же создавали временные

и постоянные семьи. Потом жили эти семьи в общагах, при толпе свидетелей. Лимитчикам комнат сдавать не любят. Сколько семей создается ради прописки, а сколько рушится! Меня теща упрекала в том, что я женился из-за прописки. Но это не совсем так, хотя доля истины тут и присутствует. Но более всего я хотел семьи, хотел человека рядом, хотел детей. Я больно тогда переживал свое бесправное положение и как отец, лишенный дочери, и как лимитчик, словно крепостной крестьянин... Но минули годы, и родился у меня сын, и дочь приехала ко мне жить. Последнее оказалось не по нутру теще. Она то и дело скандалила, я готовил обеды на всю семью, молча переживал все скандалы, и не имел возможности даже напиться вдрызг, чтобы отвлечься хотя бы на время, так как мое пьяное состояние было бы использовано в качестве аргумента не в мою пользу. Встретил знакомого кочегара. Он меня спрашивает, что я такой утомленный. Махнул рукой, мол, наготовил ведро голубцов, а семья их вмиг умела. «Да-а,— протянул он.— Голубцы они метут. Это ты неправильно поступил. Я вон своим настряпал кастрюлю брюквы — едят, не торопятся». ...Раз вернувшись поздно домой, я застукал Петра. Он, спрятавшись за пианино, ел втихомолку апельсин.

— Ты что делаешь?! — закричал я, почуяв неладное.— Ты что делаешь?!

— Бабушка сказала, чтобы съел где-нибудь тихо, а то Машка увидит и отнимет...

— А ну — немедля отдай Машке апельсин, мерзавец! Ты ей брат! Ты должен о ней заботиться — она ж на Севере жила, а там ни черта, ни одного витамина... Она должна есть, чтобы прийти в себя. Не сметь больше так делать, понял?! Ты обязан поделиться с сестрой — и как мужчина, обязан отдать ей большую часть, понял? Лучшую, большую!.. Заруби это себе на носу, на всю жизнь!..

— Да какая же она сестра ему...— усмехнулась многозначительно теща.

— Понял, Петр!? — продолжил я, не обратив на нее внимания.— Иначе из тебя никогда мужика не вырастет, если ты не будешь заботиться о женщине!

Он отнес апельсин сестре — она сидела в моей комнате и молча плакала. Я весь кипел. На следующий день занял двести рублей (неизвестно — подо что!) и накупил килограмм пятнадцать апельсинов, яблок, грейпфрутов. «Ешьте все,— сказал.— Сколько хотите. Надо будет — принесу еще. А я — не хочу».

По случаю семейной блокады мы жили с дочерью в девятиметровой комнате, перегородив ее пополам книжным стеллажом. Мне еще приходилось делать с ней уроки, иногда до двух ночи, так как она без меня почти не садилась за учебники: то ли нервишки ее дергали без меня, то ли лень-матушка ее обуяла, раньше нее на свет родилась. В конце четверти выкарабкалась с «двоек» на «четверки» и даже «пятерки». С тех пор она взялась учиться хорошо.

А Петя, утомленный вечными разборами и скандалами, не знал куда ему приткнуться. Бабушка безостановочно ругалась — по причине паралича она из дому не выходила уже несколько лет. Возвращалась с работы жена — принималась ругать меня. Потом они брались ругаться между собой — мать и дочь. И я не знал, куда мне приткнуться на белом свете. «Почему женщины любят так долго ругаться,— недоумевал я.— Мужики делают это гораздо быстрее».— «Я — и мачеха,— улыбнулась как-то жена.— Не вяжется ничуть». Ничего, связалось со временем. Приходила через день скандалить машкина мамашка. Она и в школу ходила ругать меня учителям, и чувствовал я себя виноватым перед всем белым светом. Казалось, сдохни я — и все пойдет нормально, по накатанным рельсам, все перестанут ругаться и жизнь станет совсем прекрасной! Очумелый, бродил я по квартире, не зная, куда приткнуться. А так хотелось одиночества, хоть на час, хоть на минуту... И тогда я стал спать на балконе, в двадцатиградусный мороз. Как-то вышел из комнаты, смотрю — стол завешан тряпками. Заглянул под стол — а там обживается Петр. Он уже туда тарелку с кашей принес, свечечку новогоднюю запалил, и ничего ему не мешает, и — красота. Как я ему позавидовал — но, одернув себя, я приказал разобрать вигвам. Защемило, правда, в душе — не только я маюсь, а вон и мальчонке хочется побыть в своем уголке, хочется покою.

— Ты знаешь,— сказал он как-то.— Нам дали задание в школе — написать про героев труда. Ты же много знавал героев труда?

— Да,— сказал я сыну.— Много. Знакомых до черта, этих героев. Работали вместе.

— И друзья у тебя были герои труда? — его глаза загорелись.

— Нет, Петя. Мои друзья не опорочены ни званиями, ни наградами. Так... знакомые. Я их знал — они меня знали. Ведь и на Севере и на строительстве автозавода звезды героев давали вовсе не тому, кто это звание честно заслужил... Помню, редкий из этих «героев» пользовался уважением среди мужиков. Знаешь что: ну их к черту, современных героев. Тут не угадать: честно ли он получил Звезду, или нет. Напиши-ка лучше про Стаханова. Он — родоначальник целого движения, шахтер!

— А ты его знал?

— Да.

— Во здорово! — и под моим руководством он принялся за дело. Стал копаться в энциклопедии, в каких-то документальных книжонках и брошюрах. Раздобыл где-то.

Вечером он завершил свое сочинение. Любовно посматривал на лист бумаги, где неуклюже нарисовал шахту, дядьку в шахтерской каске.

Я устало присел на табуретке, налил чаю. Время было уже позднее. Смотрел на сына и думал, что пускай хоть он с детства поживет в мире правды, и может, у него не будет стремления — жить как люди, выбиваться в эти чертовы люди — а просто он сам будет человеком. И не станет ожидать чего-то, чего мы ждем всю жизнь. Разные думы бродили в моей голове, словно банка томатной пасты, забытая возле батареи центрального отопления.

— А вообще-то,— неуверенно вздохнул я.— Если честно, то Стаханов ведь тоже как бы не полный герой, а немножко бумажный...

(Не лишнее ли я говорю ребенку-то?!)

— Ему просто больше повезло,— продолжал тем временем молоть мой язык.— Настоящим-то героем был Никита Изотов. Вот уж коногон был — я те дам!.. Куда Стаханову до Никиты!

— Ка-ак? — удивился сын.

— Дело в том, что рекорд Стаханова был организован заранее. Парторг ему лампу держал, когда он шуровал отбойным молотком, и крепильщики за ним крепили, двое. И получается, что те сто с мелочью тонн на всех подели — выйдет по двадцать пять-шесть тонн на брата. А если это крутопадающий пласт, как на Центральной-Ирмино, то что такое двадцать пять тонн на нос? Не так-то уж и много. Тогда «конь», то есть норма был семь-восемь тонн, и коногоны в «упряжку» рубили по двадцать тонн... А Никита Изотов — тот нарубил более шестисот тонн. Улавливаешь?

— Что? В шесть раз больше, да?

— Да... Но движение-то стахановское, а не изотовское... Но ты, сынок, об этом знай, да никому не вздумай говорить. Не надо.

У меня еще в памяти сидела его «двойка» за рассказ о ленинском субботнике. Школьники рассказывали о том, как весь советский народ от ветхого старика до пионера вышел на коммунистический субботник, и в едином порыве... А Петя рассказал честно о субботнике в нашем дворе. Советский народ вышел, а люди не вышли. Двор огромный, на тысячу квартир. С утра дворники поставили у подъездов лопаты и метлы в большом количестве. Я побуждал Петра идти со мной, зажигал его патриотическими речами, говорил, что стоит только всем вместе взяться, как наш захламленный двор засияет, и прочее... Часов в восемь вышел какой-то мужик из семнадцатого подъезда и стал откапывать свою машину от снега и льда. Затем вышли мы с сыном. Вскоре вышли еще два соседа. Получилось четыре с половиной мужика. Дворники, решив, что двор нынче уберут энтузиасты, куда-то запропастились. Мужик, откопав машину, ушел домой. Два соседа мои то и дело курили, и в общей сложности наработали по часу времени, затем скинулись на законную бутылку бормотухи и ушли в магазин. Мы с Петькой копались до двух дня, потом я предложил завершить эту бесполезную работу. Мы пошли обедать. Но после обеда Петя вновь взялся за лопату и опять вышел во двор. Я, к стыду своему, не пошел, а стал заниматься своими делами. Дотемна копошилась его маленькая фигурка с лопатой, словно он собрался срыть напрочь саму Поклонную гору. Его работа была совершенно бесполезна. И тщетна. Снегу в ту зиму понападало много, и он жесткими сугробами таился в тени до мая... Все в классе бодро рассказывали о каком-то плакатном, мифическом субботнике. Потом вызвали и Петю. Он честно рассказал о нашем субботнике, и ему — естественно — поставили «два».

— Понял? Про Изотова не говори, сынок, ладно? А то опять пару схлопочешь.

— Ладно,— уклончиво кивнул он.

Утром я обнаружил еще красивее оформленный листок, и на нем все что можно было зачерпнуть в энциклопедии и книжках про Изотова. Я ему ничего не сказал — это его личное дело.

Вернулся он из школы с «двойкой», но не очень унывал. А я втайне радовался за него, за принятое им решение, за то, что не послушался отца.

Он такой. Честный, работящий, душевный человек. Как-то я спросил его:

— Ты, небось, станешь либо художником, либо знаменитым танцором? — (Он занимался и тем и другим, причем, с успехом.)

— Я стану каменщиком,— заявил он.

Ну что ж. Вон они — каменщики. Закладывают мне вид из чужого окна. Нашли место — где дом строить!

33

На пороге стоял мой северный друг Хаханов и сиял. Он ждал, что я кинусь к нему с объятиями и затащу в квартиру.

— Заходи,— сказал я.

Он вошел, скинул туфли и сразу принялся знакомиться. По-северному здоровый и телом и духом. Не раз замерзал он в тундре, откачивали, отлечивали. Просился во Вьетнам добровольцем, в Афганистан, но его даже в Антарктиду не пустили, чего-то в анкете не сошлось. В Ленинграде он обычно бывал день, два, от силы — три. Поэтому, если Жорка ко мне приехал, можно сказать, навсегда, родственники — на неопределенное время, то Хаханов точно — дня на два. Он втащил сумку на кухню и принялся выгружать на стол огурцы, помидоры, укроп, петрушку, зеленый лук...

— Сейчас салат сообразим! — крикнул он.

— Очумел! — определил я.— Помидоры ж по червонцу на рынке!

— Один раз живем,— возразил он, доставая из бокового кармана финку, отточенную словно бритва.

— Молодец,— одобрил брат.— Сразу видно — свой мужик.

— В отпуск? — спросила его мама.

— Не, мамуленька. На работу... Настоящая шабашка подвернулась. Как раз по мне.

— Там каменщики не нужны? — спросил брат.— А то я бы месячишко смог бы на работе урвать.

— Нужны, Боренька, позарез!

— А где это?

— Отличные места. Припять. Киев — рядышком. Чернобыль называется. Вот туда и еду! — он радостно сверкнул глазами, словно не на эту жуткую аварию ехал, а получать какую-нибудь Нобелевскую премию.

— Да ты опупел, парень! — сказал брат.— Облучишься. А я — только-только женился. И тебе не советую туда.

— Не в этом счастье,— вздохнул Хаханов.

— А в чем? — ревностно спросила новая жена.

— Счастье в том, чтобы стряпать его из всяческого несчастья.

— Так ты ж после этой работы в постели ни на что не сгодишься,— встревожилась новая жена.

— Обойдусь,— сказал он.— Двое детишек у меня есть, так что программу-минимум выполнил... Да и как говорится, если хочешь быть отцом — прикры-

вай конец свинцом. Если ты уже отец — на фига тебе конец... Ну, ладно. Давайте — налегайте... Хлеба нет, что ли? Сейчас появится.

Когда Хаханов возник на пороге с буханкой, брат достал водку из холодильника. Налил северянину, но тот отодвинул стакан:

— Не ем, и на хлеб не мажу.

— Но ты же вон какой здоровый мужик!

— Да, на здоровьице не жалуюсь,— бахнул он себя кулаком в грудь, словно кувалдой по наковальне.— Гусеницу вездехода еще сам натягиваю, в одиночку. Потому что не пью.

Установилось молчание. Брат не знал, пить ему или нет. На что Хаханов сказал разрешающе:

— А ты дербни, если хочешь. Не мучайся. Тем более, закуска царская. У меня и для прекрасных дам найдется напиток,— он полез в недра сумки и достал бутылку шампанского.

— Ох ты! — воскликнула мама, а мне сказала: — Иди, хоть Жору разбуди. Он ведь, небось, есть хочет.

Я послушно поднялся. Хаханов в это время сказал матери:

— А вы, видать, в юности красавица были?

Мама приосанилась, зарделась:

— Почему вы так решили?

— А вы и сейчас красивая!

— Что ты, сынок! Ну да уж!.. На восьмом-то десятке?!

— Не клевещите на себя! — воскликнул Хаханов.— Вам не больше пятидесяти шести лет!..

В комнате я толкнул Жорку и осторожно спросил:

— Жор, не пора ли вставать? Десять уже все ж.

— Нет. Я еще посплю,— пробурчал он и повернулся на третий бок.

Я возвратился на кухню. Там было людно и шумно, а хотелось немного отдохнуть.

Вначале я долго стоял у витрины какого-то магазина, тупо рассматривая никому не нужный дорогой наш товар. Стояли плечо к плечу громоздкие стиральные машины, которые из-за габаритов совсем не помещаются в ванные, да и стоят огромные деньжищи. Висели пропыленные плащи и зонты, красовались кривобокие, страшные полуботинки с аляповато шлепнутым всюду, где можно, «Знаком качества», лежали гирьки электронных часов, с которыми можно смело выходить ночью на большую дорогу, если укрепить их на конец цепи, и я ощутил свою собственную вину за это дерьмо. Ну, ладно, дерьмо выпускают заводы и фабрики, а я-то почему молчу? Потом подумал, что не только люди чего-то постоянно ждут, но и вещи. И вещи у нас годами ожидают, что их наконец-то купят какие-то приезжие...

Поплелся дальше, рассуждая, что сам я не в силах что-либо изменить, хоть сожги себя на площади, хоть кричи криком в толпе людей, хоть валяйся в ногах у всех вместе взятых господ начальников. Повернул выпить чашечку кофе в баре, но «швейцар не пустил, скудной лепты не взяв».

Совсем было некуда податься и я направился на пляж, в Озерки. Может, там удастся полежать — погода-то прекрасная. Доехал на трамвае, вышел по тропинке на берег — всюду играли в волейбол, в бадминтон, в «очко», пили квас и портвейн. Я принялся устраиваться на пригорочке, подальше от воды, чтоб возле меня не трясли шкурами мокрые собаки. Совсем было уже лег на собственную распластанную одежду, как нечаянно заметил, что буквально в десяти метрах от меня загорали... негры! Человек двадцать. Угнетенные у себя капиталистами, они лежали в СССР под солнышком, нежились и хохотали на чистом русском языке. И чихали по-русски. И кашляли — тоже. Во, насобачились уже! Я встал и ушел. Мне показалось, что я начинаю чокаться. Надо же — померещилось — лежат совсем черные негры и еще загорают!.. Мало им. Уходя — обернулся. Нет, товарищи, загорали! И пили квас на чистом русском языке!..

34

После Октябрьских праздников наступала зима. Числа десятого выпадал снег. До этого все озера, которых в Казани великое множество, покрывались прочным льдом. Мы пробовали коньки. Самыми дешевыми и доступными были «спотыкачи» и «снегурочки» с загнутыми по-мусульмански носами. Могли мы кататься едва вернувшись из школы и вплоть до темноты. С первым снегом начинались зимние заботы: колоть дрова и убирать снег. Управдом решал так: вдоль всего порядка огребать у заборов от соседей и до соседей. По тому, как огребали у дворов, было видно, что за хозяева. Самыми ленивыми были Петуховы. Они проскребывали узенький проход, тропку у своего забора, на которой вдвоем не разойтись, хоть дерись. У нас имелись деревянные лопаты, которые мы сами же делали. Мы огребали снег, затем еще и подметали. Веники ломали с березы, что росла возле дома над замшелым колодцем. Снегу зимой выпадало много. Нагребали сугробы по два метра высотой, так что за ними совсем скрывались заборы. Зимой же пилили-кололи дрова. Их привозили на лошадях или на машине и сваливали у ворот. Мы таскали во двор пахучие плахи, пилили их двуручной пилой и кололи топорами. С возвращением отца дрова мы перестали покупать. Отец стал выписывать с завода древесные отходы, тару, и за считанные рубли привозил к дому полную машину.

Вернувшись из школы, мы наскоро ели (если было что), затем брали таратайки и тащились на бугор. Таратайкой у нас называлась согнутая на манер финских саней водопроводная труба или гладкий металлический пруток. На хорошей таратайке из дюймовой трубы умещалось человек десять. Большая таратайка трудно управлялась, поэтому впереди пристраивался кто-то из ребят на коньках — он и был рулевым. Доехав до Батрацкой с бугра — наша улица находилась в низине — мы толпой тащились опять в гору. Или поблизости с дорогой поливали склон водой. На этой катушке тоже катались, издирая в клочья и без того дырявые наши рединготы и манто... Катались и на самодельных лыжах, которые мастерски делали нам старшие братья. А если старшим было недосуг, то приколачивали ремешки к кривым дощечкам от бочек и ездили.

Шум и гам стоял до полуночи. Иногда удавалось прицепиться за борт грузовой машины, и та везла таратайку далеко. Черпанув наслаждений от быстрой езды, все тащились потом обратно. Цеплялись проволочными крючками и за трамваи. Делали легкие санки из ломанных лыж и старых, негодных коньков. Однажды я прицепился за трамвайную «колбасу», сидел на таких санках и насвистывал (а скорее, покуривал), как вдруг санки мои клюнули, и я с лету врезался лбом в дорогу. Оказалось, что кто-то заботливо посыпал золой переезд через трамвайные пути. Конечно же, никаких благодарностей этому человеку из моих юных уст не донеслось, когда я собирал останки санок, затыкая нос варежкой, чтоб не особенно изойти кровью.

Накатавшись вдосталь, мы возвращались обледенелые домой, где мама принималась пилить нас за то, что нет дров, что не привезли на санках воды, что треплем одежду. Появлялся отец. Приносил молча воды, дров, затапливал печь. Доставал дратву, пришивал крючком внеочередную заплатку на особо бедствующий валенок. Печь гудела, потрескивали дрова, а мы сидели на полу, оттаивали, сушили одежду и кто-нибудь рассказывал что-то ужасное: про бандитов, про людоедов, про черную руку, про подземные катакомбы под городом... Постепенно и засыпали, утомленные насыщенностью жизни.

Печка разгоралась, дверцу открывали. Отец сидел перед печкой, покуривал махорку и едва прислушивался к нашим страшным историям. Дым махры втягивался в печь, а отец все смотрел и смотрел в огонь. И ничего не говорил. А в огонь смотрел только.

Вчера я немного простудился. Хрипы в глотке. Кашель. Не уснуть. Хотя — не уснуть — может, из-за разных там дум?

— Миленький, может тебе удобнее будет не стоять, а сидеть у окна? Хочешь, принесу стул помягче? Или креслице прикачу? В ногах правды нет.

— Ее и в руках нет. Но, дорогая, не надо мне кресла.
— Так ведь ты можешь устать досрочно!
— Миленькая, отвяжись, ради аллаха!
— И кашляешь вслух. Давай, горчичники тебе на пяточки наклею, а?
(Действительно, говорят: в двадцать пять — необходимо иметь автомобиль, а в сорок — достаточно быть холостым... Это женщине в сорок, если она одна, лучше бы иметь автомобиль, квартиру, дачу впридачу с облигациями под паркетом, да и это не всегда удовлетворяет...)

«Ничего я в жизни не имею, хоть зовусь хозяином земли». Где-то я слышал подобное. «Я съем холостяцкий ужин, укроюсь потертым пальто. И я никому не нужен, и мне не нужен никто». Что за чертовщина прет в башку? О жизни б подумать, о проблемах мира и социализма. А оно прет, и еще, и еще. «Килька плавает в томате. Ей в томате хорошо. Только я, едрена матерь, места в жизни не нашел...»

— А?.. Горчичники? Сделай-ка мне лучше чаю, дружочек.
— Йеменского, цейлонского или индийского?
— Грузинского, второго сорта.
— Миленький — такого не держим.
— Тогда, дорогуша, иди — занимайся своими бестолковыми делами, а я стану продолжать тебя любить заочно.

Она скрылась в ванной комнате. Оттуда послышались всплески воды — стирала — и донесся хвойный дух ароматного заграничного стирального порошка. Такой, в общем, странный запах, словно кто-то вспотел под елкой.

Да, вчера она наклеила мне гренландские горчичники на подошвы ног. То ли кожа у меня стала деревянная от вредности жизни, то ли чувствовать я уже все перестал, только горчичники не работали, не грели. Зато наутро я никак не мог от них избавиться. Их словно приклеили «суперцементом», польским клеем к ногам. Соскоблить горчичники косарем тоже не удалось. Попытался отодрать их наждачной бумагой — бесполезно. Так и пошел в горчичниках на службу.

Ей хорошо стиралось. Вскоре она запела в ванной.

«Веселые напевы доносятся из ванны фирмы Хэгфорс!»

Отец мечтал носить галифе и сапоги. Это и явилось первой одеждой, которую он в силах был справить, чтобы выглядеть как люди. Вообще, выражение «жить как люди» было в нашем доме популярно. Галифе и сапоги мы поехали покупать на толкучку, которую в Казани и поныне называют «Сорочка».

«Сорочка» вначале находилась прямо на центральном колхозном рынке. Затем толкучку перенесли за Арское поле. По воскресеньям туда стекались массы народу с узлами и чемоданами барахла. Тут продавалось тряпье, обувь, которую давно пора выкинуть на помойку, продавались порнографические открытки и карты. Здесь можно было купить мех, ковер, самокатанные валенки-чесанки, оренбургские платки...

В стороне продавали ватные стеганые одеяла, самовязанные накидушки, подзорники, занавески. Живое участие в торгах принимали, как правило, цыгане. Перед ними валялись вороха тряпья и цена любой тряпки — три рубля. Там можно было откопать более менее приличное платье, рубашку, и растерзанный пиджак, сапог без пары и ремешок — то ли на тощую собаку ошейник, то ли для ручных часов...

Невдалеке от цыган торговали мужики самодельными татарскими тапочками. Впоследствии такие тапочки стали продавать в магазине «сувениры», что открылся на улице Баумана в эпоху расцвета Хрущевских преобразований... Поговаривали люди, что на Сорочке можно купить все, вплоть до шестидюймового орудия, только в разобранном виде.

Много продавалось военного обмундирования — из армии сокращали безграмотных офицеров-выдвиженцев. Мы с отцом долго толкались у рядов. Приехали в то воскресенье очень рано, потому что самый разгар торговли

считался где-то в районе шести утра, когда еще на дворе темень. Трещал мороз. Густой пар из мата витал над головами.

Торговали тут всем, что только возможно продать, торговали, пританцовывая, цепляя за локти покупателей, и тыча им в физиономии товаром. Отец выбирал галифе. Долго примеривался к цене, к размерам, и наконец выбрал самые большие. Он почему-то все любил великоватое после лагерей — простору хотелось, видать, во всем. Там же срядил и хромовые сапоги, отличные сапоги ручной работы, на березовых гвоздях, за сто шестьдесят рублей. Старыми.

В стороне продавались перины и подушки. Там же продавались патефоны и саратовские гармошки, тальянки, хромки, гармошки русского строя, бишпланки и даже баяны с аккордеонами. Казань славилась гармонными мастерами. Я с любопытством вертел головой, посматривал в ту сторону — сам гармонист. Хорошая гармошка, услышал краем уха, тянула на восемьсот рублей. Продавцы-мастера играли на них покрасневшими от холода пальцами, не обращая внимания на игру соседей-конкурентов. У них как бы шло соревнование — чья гармонь сильнее, голосистее, чья гармонь слышнее остальных. Под этот перелив двадцати гармошек и десяти баянов текла и жила толкучка. Сквозь писк и визг гармошек, прорезывался буржуазный звук трофейных аккордеонов «Хорх».

Казалось, весь город и все окрестные деревни собрались на площади-майдане, огороженной высоким дырявым забором. Крики и шум, шарканье тысяч ног, игра патефонов и гармошек сливались в сплошной гул. В десять утра Сорочинское столпотворение редело. Все, словно по команде, двигались к трамвайной остановке, и уехать отсюда в этот час казалось делом невозможным. Благо еще, что рядом пролегала железная дорога, по которой изредка проходил пригородный поезд. Вагоны его в таком случае заполнялись до отказа. Парни лезли на крыши, прицеплялись между вагонами, висели на подножках. По тротуарам Сибирского тракта двигались могучие толпы. Словно дореволюционные каторжане решили вернуться из гибельной Сибири обратно. Люди поколачивали валенками, покуривали, смеялись. Кто-то что-то купил, кто — продал. Не купить на Сорочке ничего — делом было немыслимым. Даже имея в кармане рваную трешку. Впоследствии Сорочка стала притоном спекулянтов и фарцовщиков. Власти города относили ее все дальше и дальше. Не раз закрывали, разгоняли с милицией, устраивали облавы, но Сорочка живуча — хоть хлорофосом поливай. В наше время здесь развернулся огромный мотоциклетный толчок. Рано утром съезжаются тысячи мотоциклистов не только из Казани, но и из других городов Поволжья и Предуралья...

Тогда мы с отцом направлялись с Сорочки пешком. Вероятно, я замерз, ибо мы зашли к слепому Батрашову. (Они жили — нам по пути. В большом доме, в комнате с тамбуром. Кроме Батрашовых в квартире жили еще две офицерские семьи.) Слепой сидел на корточках и топил печь льготными дровами.

Мы с отцом пошли в магазин за водкой, а слепой принялся возиться с закуской. Потом мужики пили и разговаривали. А я болтался на широкой коммунальной кухне. Его жена тетя Тася вручила мне банку из-под сгущенного молока. Я звучно выскребал железной ложкой засохшие бугорки и удивлялся: «Живут же люди — сгущенка у них засыхает!» В нашем доме подобного бы не случилось, окажись, волей рока, банка сгущенки там. Ее бы не только вылизали, выскоблили, вымыли, но и, думаю, этикетку бы слопали. Так бы обработали, что служила бы потом банка нам зеркалом.

35

Как условились, мы встретились с Хахановым на Невском, и он предложил поужинать в ресторане. На что я сказал ему, что материально не соответствую в данный момент ресторану.

— Мы же не станем зеркала бить и в фонтан нырять. Хватит — не волнуйся.

Но я, тем не менее, волновался. Дело в том, что друг-приятель был шибко неугомонный человек, каких бы в цивильный город без намордника впускать не следовало. Главное — никакие инструкции и предупреждения на него не действовали.

Мы шли по летнему цветастому проспекту. Хаханов резал духоту воздуха расправленной грудью, на которой трещала по швам чистая розовая рубаха. Возле всеизвестного «Сайгона» (кафетерия при ресторане «Москва») околачивались разные хиппи, панки и прочие лентяи, с виду похожие скорее всего на нищих иностранцев или же — на наших блаженных. Некоторые из них обреченно сидели на паперти этого божьего приюта. Хаханов не мог пройти мимо. Он остановился около них и стал спрашивать, отчего они не стригутся и не моются, и почему они такие чудики. Они посмотрели на него высокомерно, как на идиота. (И правильно!) Но он был настойчив, тогда блаженные встали и стайкой направились в кафе.

— Что ты к ним привязался,— сказал я.— Человек имеет право ходить так, как ему заблагорассудится.

— Человек не имеет никакого права. Человек это право либо зарабатывает, либо берет. Но главное — зарабатывает, понял? — возразил Хаханов.— Постой-ка! — он внезапно притиснулся к лотку с тортами, за которым стоял сытенький холеный мужчинка, весь в фирме, при золотых печатках.— Здорово...— сказал ему Хаханов и свойски подмигнул.

— Здорово,— с усмешкой ответил тот и принялся возиться с коробками.

«Ну-ну,— подумал я.— А что здесь северянин выкинет?»

— Ты что ж это? — спросил Хаханов соболезнующе продавца.— Инвалид, да?

— Почему? — тот рассчитывался с женщиной за торт.

— Или болит что?..

— Ничего не болит. Даже зубы. О!.. Давай, шагай дальше и ширше, не мешай-ка...

— А что же ты, парень, торгуешь? Ведь неудобно же — люди на тебя смотрят.

— Работаю потому что,— огрызнулся продавец.

— Так разве это работа для мужика? — удивился искренне Хаханов.

— Иди-иди дальше. Или помочь тебе — походку продолжить? Вон, сейчас мента позову. Он тебе скорость включит.

— Зови. Я не о милиции. Я думал, что ты просто инвалид... Эх, небось, мечтал мальчишкой в космос, а? Ну, давай — решай, пока не поздно. Поехали со мной! — загорелся он.— Я под Киев сейчас!.. Вот где дела... Или — к нашим, на полярную станцию, ну?..

Продавец захлопнул в ответ лоток и покатил его по тротуару.

— Ты не сомневайся,— торопился за ним следом Хаханов, хотя я и держал его за локоть.— У нас хорошо выходит. В среднем по шестьсот. А бывает и по тысяче, когда с морозными и коэффициентом!.. Да еще полярки набегут...

— Отвяжись! И у меня бывает не меньше...

— Поздно же будет потом!

Парень почти бежал от него.

— Слушай, действительно! Что ты, как репей прилип,— сказал я ему.

— Дурачок ты,— сокрушенно вздохнул северянин.— Пожалеешь же в старости...

— Не волнуйся — не пожалеет. Пошли дальше. Что ты ко всем подряд пристаешь,— потащил я его в сторону.

— Так жалко ж его. Ты, правда, лучше здешние порядки знаешь.

— Обязательно с тобой в какую-нибудь историю влипнешь... Кончай. Веди себя прилично. А то помнишь — в прошлом году взялся цыганок устраивать в детскую комнату на вокзале.

— И устроил же!

— Так цыгане ж привыкши.

— Ну и что? И цыганам пора отвыкать на полу валяться. Сколько же можно! У нас все равны.

— Лучше, конечно, с тобой встречаться на дому... И желательно, на Ямале. Там ты спокойнее.

— Как хочешь, но поужинаем в ресторане... В самом лучшем. Ни разу не бывал в самых лучших.

— Только трудно попасть...

— Врешь,— уверенно сказал он.— Как это трудно попасть в ресторан? Кому захочется есть дороже, чем дешевле? Это у меня как бы последнее желание. Праздник души — получил работу, о которой мечтал!

— Там у многих — праздник души. Порой — ежедневно.

— А я спрошу там.

— Вот этого только не надо!

— Ладно. Но — для тебя.

Он почти сдержал свое слово, и вечер выдался почти без закидонов, если не считать некоторых несущественных мелочей. Прошел сквозь швейцара, выговорив ему, что тот не знает своих обязанностей, что тот обязан радоваться посетителям, а не глядеть на них рублевыми глазами. Оттеснив швейцара, пригласил всех, кто стоял у дверей, войти. Толпа вошла. Швейцар засвистел в милицейский свисток, но было уже поздно.

Мест не оказалось, хотя половина столиков пустовала. Тогда Хаханов принес из какой-то подсобки столик сам. Потом он сманивал официанта ехать с ним в Чернобыль. Пить он не стал вовсе, чем удивил обслугу.

Когда установился порядок и нам принесли еды, Хаханов вышел на минутку и привел трех совершенно законченных проституток, усадил их за наш столик и мне (!) стал объяснять, что «девушки не успели в столовую, что они студентки и живут в общежитии, где буфет только что закрылся на капитальный ремонт...» Видимо, они наплели ему про столовую и буфет! Заказав им по солянке, по бифштексу и компоту, он успокоился. Они, конечно, же почти не ели. Им, естественно, хотелось другого. Не за тем сюда тащились. Из-за девушек этих впоследствии вспыхнула в вестибюле блиц-драка персон на десять, которая окончилась боевой ничьей.

Возвращались к дому на частнике. Хаханов никак не мог понять, что от него хочет владелец «жигуля». На Севере, или там, вон я в Челнах жил, не заведено платить шоферу, если он взялся тебя подкинуть по дороге. Не только за какие-нибудь пять улиц, но и за сто, за двести километров — денег с тебя не возьмут. А если предложишь трешку — могут и в рыло съездить. И тут, когда владелец машины сказал с усмешечкой «на бензин», Хаханов велел ему ехать к бензоколонке. В бак вместилось не больше пяти литров. Хаханов укоризненно сказал:

— Как же тебе не совестно врать?! А еще комсомолец, наверное!

(Ну-у, братцы, я таких придурков давненько не встречал! Даже в нашем кинематографе!)

Водитель, пользуясь тем, что мы вышли, захлопнул дверцу, не пустив нас в машину, и в щелочку закручиваемого окна крикнул:

— Два идиота!

(Я-то при чем?!)

— Канай по холодку, пока не помяли твою фольгу! — лениво посоветовал ему Хаханов.

Мы перлись пешком от бензоколонки и Хаханов говорил:

— Люблю я белые ночи! У нас на Ямале сейчас полярный день. Ума не приложу, как буду в Хохляндии спать?! Там ночи, говорят, совсем черные, а я так не привык...

— С твоими выкрутасами — вот премся пешкодралом, правдолюбец, правдоискатель сраный!

— Перед сном полезно даже таким дуракам, как ты.

36

Вы идете следом и никто не спросит, куда это я вас? Зачем?.. Да и я-то хорош: по Невскому, по паршивой Сорочке. Вкривь и вкось, сикось-накось... То ли сам не знаю, куда веду, то ли страшно мне по привычке становится за ту ответственность, которую взвалил на себя. Вы вправе спросить меня, а было ли что-то хорошее у тебя в жизни? А то все гундосишь, ноешь, лаешь, хаешь, порочишь, упрекаешь, винишь, ругаешь, злопыхаешь, брюзжишь, ворчишь, скулишь, плачешь, мямлишь что-то. Клянешь всех и все. Под решетом родился, что ли, в погребе? Или в детстве в бочку квашеной капустой свалился? Тут вон некоторым товарищам, выяснилось, и вовсе непонятно, зачем вся эта петрушка? К чему наворочено этой тягомотины воз и маленькая тележка? Я бы, конечно, объяснил особо бестолковым, что и как сделано, из скольких пластов состоит данная наша дорога, какой герой для чего выписан и обрисован, где служит главный герой «я», и где он сшибает деньгу для прожитья и выплаты алиментов, и даже взялся, было, за дело, даже запланировал такую «Главу для бестолковых», но потом одумался — зачем? Кому эти пояснения затянувшейся концовки анекдота? Дурак не догадается, а умный — и так все поймет. А повесть, пока я находился в замешательстве, и вовсе обнаглев — сама потекла, в руки уже не дается. Я пытался править кое-какие главы, ну, хотя бы многочисленные «было» повычеркивать. Не даются! Паршивые «было» не даются, боже!.. Заглянув через плечо в рукопись, один гражданин сказал, что герой-то у меня подкачал — нуль он кромешный, бездействующий. А он должен работать на сюжет, занимать активную жизненную позицию... На что я возразил, что нулей у нас навалом, благодаря чему у нас всюду миллионы: стали, зерна, людей, кубометров, одиноких. Только есть большие нули, с обруч хула-хуп, а есть малюсенькие нулики, с маковую баранку... Посмотри — изберут, бывало, свинарку в Верховный Совет — она что? Действующий герой, что ли? Сократиха? Раз свинарка — значит, хреново училась, значит, учеба не поддавалась ее мозгам. Как же она может сенаторшей быть? Если у нее ума на простую «арихметику» не хватило? Она со своими считанными извилинами нами руководит? Решает государственные задачи? Как нам с тобой лучше жить, тем, которые валандались в университетах? Получается, как в дурной сказке — умные ушли, честные спрятались, а власть захватили остальные. Вот и нету белого батона в черноземной деревне. Или — весь зал сидит и торжественно голосует «за». Неужели ни у кого нет и не было сомнений ни по одному вопросу? Или долго-долго подыскивали по всей стране таких бесхребетных, беспринципных, трусливых людишек, чтобы удобнее было со многими нулями единице чувствовать себя миллиардом, а? Нам говорят, что вот он — цвет державы, весь в зале собран, краса и гордость народа и партии. Что нам тогда, грешным, делать? Если гордость наша получается такая марионеточная? Человек с хорошей анкетой — опасный человек! Берегись его. Говорят, как-то приняли решение с завтрашнего дня всех вешать (по просьбе советского народа). Кто «за»? Единогласно. И вдруг вопрос — да, слушаем вас! Скажите, пожалуйста, а веревки свои приносить? Или со склада, казенные выпишут? Но это — частности. Народ давно привык в эти спектакли не верить, а верить в надбавку к зарплате, в кусок колбасы, в украденный с работы электродвигатель или фанерку, и бытует частной жизнью, и его теперь дубиной правды надо поднимать на какие-то свершения. Так же — досыта насвершались и по многим программам и планам семимильным давным-давно живем в будущем, в коммунизме. (Кстати, как-то мужичье наше неугомонное свистнуло на предприятии листовую платину и наварганило из нее ведер бабкам, по бруснику ходить. Откуда им было знать, что это платина. Ну, толкнули они одно ведро старухе за портвейн. Потом оценили эксперты, стоимость его определили — получилось, триста тысяч с мелочью.) И живут единицы, притворившись нулями — так целее будешь. Еще говорят, что народ у нас делится на черных и красных. Красные пьют красное вино, у них красные морды, они ходят в магазины с красного входа и так далее. Черные едят черную икру, ездят на черных машинах, и в магазины проникают с черного входа... «Если твою белиберду напечатают,— сказал другой товарищ,— тогда действительно гласность грянула, а не пустые слова». А третий сказал коротко, глянув, о чем пишу: «Посадят».

И я жду — куда: в высокое кресло или на кичу, теплую еще от моего отца.

Ну, так какой вопрос там прозвучал? Было ли у меня хорошее в жизни? Щас, почухаю в патылице, соображу, смикичу и отвечу. Щас.

Действительно, граждане попутчики, было. Только поросло все пылью и паутиной, как гитарка, струн которой касаться не хочется уже несколько лет — незачем, думаю. Как пианиио, по клавишам которого только и бегают мои сорванцы, создавая невоображаемый грохот на все этажи бывшего моего (не моего) дома. Счастье иметь? Или счастье — в минуту невзгоды прикрыть очи и замереть в душе огонек о когда-то минувшем дне, часе, минутке? Или томиться предчувствием хорошего? Или знать — что наступит оно?

Всегда было хорошо в начале, и казалось, в такие мгновения, что на зонтике улетишь к облакам. В детстве я был вечно бит и голоден, но сейчас вспоминаю детство, как океан лазуревого счастья. Я был счастлив в своей первой любви, в шестнадцать лет, когда душа долгое время находилась в сладостном томлении, и я не замечал неприятностей в качестве подзатыльников и ругани. Потом меня совали головой в помойный ушат, говорили — это жизнь. Я очухивался, долго приходил в себя, и следующее счастье было еще слаще, так как оно являлось человеку, поверженному духом. Но история повторялась, и с каждым разом все тяжелее было подступиться к счастью, поверить, что оно бывает, и каждый раз оно было еще слаще... В последний раз я просто-таки сходил с ума от нахлынувшего счастья, и как-то странно восприиял в последний раз мое уже любимое помойное ведро как простую водную процедуру. Вот тебе и ощущение полета. И наоборот. Затомишься, бывало, вспоминая теплую летнюю ночь, ее в беленьком платьице, самого себя, готового на любой подвиг, и балдеешь, и торчишь (так сейчас говорят подростки. А я, к сожалению, на пятом десятке остался трудным подростком, так и не пережив, не изжив переломный возраст. Как-то получилось, что переломный возраст мой растянулся на всю жизнь), и вдруг вспомнишь, нечаянно, а она ж меня предала, продала. Ну и что, думаешь. Все предавали. Это естественно. А вот, как ни странно, вспоминается то и дело один простенький случай.

Предыстория его такова. Летом жена сообщила мне, что она беременна. Мы с ней обсудили этот вопрос. Я втайне порадовался, потом стал прикидывать — на какие шиши жить, пока она полтора года будет сидеть дома с новым ребенком. Шишей вблизи особенных не наблюдалось. Из моей двухсотрублевой зарплаты вычитывали подоходный, профсоюзные взносы, алименты — итого, тридцать девять процентов, и от зарплаты оставалось жалование. Значит, надо где-то грабить, с топором в руках, по ночам. (А то днем — на работе.) Вспомнив про топор, я вспомнил, что знаю, как с ним обращаться, где пусковые кнопки на топорище, и кинулся на шабашку — строить дом. Шабашка была, конечно же, мне была уже не по здоровью. Несколько лет под землей и на Севере даром не прошли. Не курорт это, ребята, не Пицунда — гадом буду!.. Но взял я сам себя за штаны и приказал. Ради будущего. И вот. О-о-о! — поднимаю бревна с шести утра до десяти вечера, с шести утра до десяти вечера я превращаюсь в скотину, в тягловую силу, корячусь, и в редкие выходные — навещаю свою пузатенькую женушку. На работе собрал правдами и неправдами все отгулы за народную дружину, за пожарную (свои и чужие), за учебу, за все-все-все — по сусекам. И рву жилы, и становится мне худо в конце шабашки. Да тут еще и простыл, с температурой, но болеть, товарищи, в такой момент никак нельзя. Болеть — роскошь. Она меня жалеет, и то и дело говорит, чтобы я отдохнул денька два как-нибудь, подлечился... Но этого я допустить не могу. Время дорого стоит, а ей впереди еще полтора года сиднем сидеть, а на какие шиши? По сотне в месяц требуется пристегивать к моей кастрированной зарплате. Я, как дурак, глажу ее живот, а сам думаю, что ничего, мужик, ничего... Проскочат эти полтора года, и дальше станет легче. Авось в больницу лягу потом, подлечусь. И вкалываю ради будущего дальше, упиваясь мыслью, что раз я мужик — значит, я просто-таки обязан обеспечить жену, детей, иначе грош мне цена в базарный день, и не мужик я тогда буду, а дерьмо... И пру бревна уже на верхние венцы. Как назло посто-

янно лили дожди, и простуда не проходила, и в шесть вставал я с температурой и брал топор... И тут еще кровь пошла из задницы... И вот — в золоченой раме я — с пачкой денег, заявляюсь домой. Вот я моюсь в ванной, надеваю чистую рубаху. Все, дело сделано! Мой детеныш обеспечен. Петру гарантирую еще братана (или сестренку) нужно подчеркнуть... «Завтра,— говорю за ужином, растирая задубевшие ладони со множеством ссадин и заноз,— отнесешь деньги на книжку, и как выйдешь в декрет — станешь снимать по сотняге в месяц. Там видно будет, когда надо — побольше, когда надо — поменьше». Там видно будет. Она кивает. Но ничего не говорит. Я же рассуждаю, что еще надо будет коляску, кроватку, разные там тряпки и прочее, да и ей необходимо просторное пальто и сапоги без каблуков...

Мы ложимся спать заполночь. Я опять рассуждаю — наработал себе право порассуждать и легонько покомандовать. И лежу, прикрыв глаза. Она кивает, уткнувшись мне в плечо, сопит носом... Я ее глажу по голове — как же, надо и ласку беременной своей жененке. Ну и что, что я поуродовался, ну и что, что из всех моих телесных дырок кровь, и рука теперь плохо сгибается, так мне и положено. Я ж мужик, а она за мной, как за каменной стеной... Глажу по голове. Думаю, может моя глажка и ребенку будущему передается, и тепло так на душе, и хочется поднять ее на руки и носить по комнате. Но можно ли беременных-то? Да и спят уже все, да и не поднять ее — выдохся, к черту! Милая. Уж совсем я ее разлюбил, совсем она мне стала почти чужая, а смотрика — стоит бабе забеременеть, как мужик тоже становится иной. Видно, в природе все взаимосвязано. «Приду в себя — может, еще где подработаю. Чтобы совсем уж тылы обеспечить. И семья на лад пойдет, и может, так и должно быть. Вон она какая стала мягкая характером, как забеременела. Видать, так положено... О-о!» — зевнул я и заснул в половине третьего.

Утром говорю ей:

— Ты что кофе себе такой крепкий варишь? Очумела? — ласково так заботу проявляю.

— Ничего,— улыбнулась она радостно.— Мне не страшно.

— Не понял юмора.

— Да, я не хотела тебя вчера тревожить... Просто я сделала аборт. Еще месяц назад.

— Ка-ак? — и спросил вовсе не для того, чтобы узнать, как и где делаются аборты.— Ты шутишь, миленькая?

— Нет, не шучу. Я подумала, что много хлопот, да и мама меня убедила...

— Что ж ты мне не сказала месяц назад? Я бы бросил эти проклятые бревна!

— Я не хотела тебя расстраивать...

— Ну уж нет! — вскочил я.— Так дело не пойдет.

— Но ничего уже не изменишь. Зато мы теперь ванну сможем отделать кафелем, туалет...

Я вышел. Сказал, что в магазин. Поначалу (вчера) было желание купить цветов, тортик выбрать, да и вообще разных фруктов и медов... Оставалось еще дня три свободного времени. И я поехал в Москву. Со всеми деньгами. «К чертовой матери — пропью!»

Но устроить себе праздник я не мог. Было подавленное настроение. Заехал к другу — тот тоже был грустен. Он устроил меня жить на кухне, а сам — в комнате. Мы для начала выпили подарочный набор со сливянкой, и я поехал на такси, по Москве, просто так. В Химки съездил, в Текстильщики, и наоборот — в Ховрино. Купил по дороге себе куртку за двадцатник. У одного из шикарных ресторанов подхватил девицу обыкновенного вида — но чем-то она меня привлекла, может тем, что она никому не нужна была тут — и повел ее. «Вот,— думал,— устрою этой прошмандовке праздник!» Она прибалдела, конечно, от заказанного, потом от принесенного. Я раздухарился. По пьянке во мне проснулись национальные чувства, национальные достоинства — рядом сидели какие-то кавказцы и шиковали. Мне надоело, что у них всегда навалом денег, а у нас нет, и я заплатил еще и за их столик, послав вдогонку

каждому по бутылке шампанского... По ночной Москве поехал с этой девицей Наташей, с корзиной разных яств к другу. Он сидел и играл сам с собой в карты. И выигрывал. Мы отпраздновали мое возвращение из ресторана, за знакомство с Наташей выпили. Она все твердила, что завтра едет в Загорск креститься, что сегодня она последний день курит и выпивает. Завтра у нее начинается иная жизнь. Потом мы расположились на ночлег, и если у друга была спокойная ночь, то у меня (у нас) — беспокойная. Как только погас свет, я понял, что имею дело с девушкой, занимающейся любовными утехами едва ли не с детства. Можно сказать, она выпускница какого-то колледжа по этому делу. Она показывала высший класс, и с легкостью можно было утверждать, что если бы состоялся всемирный конкурс падших девушек, то она бы завоевала первое место, оставив далеко за спиной мастериц из Парижа и Нью-Йорка, и я бы гордился ею. Забылся я полусном где-то около пяти утра. А проснулся уже в семь. Ее не было. И мне стало грустно.

До сих пор немножко грустновато. Я все время ее вспоминаю, как нечто непорочное. Может, эта профи и была половиной нашего бобового зернышка. Какая-то она, невзирая ни на что, человечная... А может, просто от того, что убегая креститься, она выстирала мои носки? Висели на стуле мои выглаженные брюки. А на столе, под тарелочкой, пара бутербродов, чашечка с насыпанным уже сухим кофе. И даже ванну помыла, которую мой приятель не мыл с пятилетку, со дня заселения... И так защемило у меня в душе, и так я ее захотел найти, что сил нет! А она растворилась, пропала куда-то, что мне до слез было обидно. Сам себя убеждал: ну кто она? Девка панельная, приехала со мной после ресторана, переспать. Да и делала она все ловко. Но тут же одергивал себя и говорил: «Не смей оскорблять женщину!» Оставшиеся два дня я бродил у ресторана, но ее не было. Несколько лет, приезжая в Москву, час-другой околачивался возле этого ресторана. Со мной там заигрывали потаскухи, но я на них — ноль внимания, фунт презрения. Я надеялся, что ее встречу, и мы будем вместе всю жизнь, и жил я этой надеждой, когда мне становилось невмоготу. Видать, это была любовь. А почему «была»?

Вот. Сияло хорошее в жизни мне, сияло. Где же ты, Наташа? Натали — по-французски «родная» значит. И болит за нее душа, и за себя болит — найдемся ли мы когда? А нужно ли находиться-то? Так-то, может, и лучше?.. Светленькая такая, ничего особенного. Не Софи Лорен, и не Алла Пугачева даже... Думала ли она обо мне? А может, забыла уже в электричке загорской? Важно ли это?

Тут редактор скажет: «Ну и нашел же ты светлый образ в своей дребедени! Так сказать, луч света в темном царстве... И вообще, не многовато ли у тебя постельных сцен? Не вычеркнуть ли? А то получается, что лирический геройто у тебя тоже, так сказать, с подмоченной репутацией. Тоже, мягко выражаясь, потаскун какой-то. И имя ведь выдумал, обормот. „Наташа“. Ты б уж и фамилию дописал в таком случае. Ростова, например».

— Ну, вычеркивай... Тем более, что... А, впрочем, смотри.

Моя бывшая теща (почему-то все время хочется написать про нее во множественном числе!) считала потаскуном одного моего знакомого, который всякий раз, как только переночует с женщиной, ведет ее в загс и узаконивает их постельные отношения, поскольку считает себя порядочным человеком. А порядочным человеком моя бывшая теща считала как раз другого, который ни разу не женился, а регулярно водил девушек к себе и лишал их чести. Некоторые, возможно, за этим к нему и перлись, ну а другие-то — которые с надеждой на светлое будущее! Вот как выходит. И не переубедить было тещу, что потаскун-то аккурат именно второй приятель, а не первый. Так и у меня получается, что светлый образ в моей душе теплится — этой ресторанной Наташи. И не вышибить мне его никак из себя.

И прав будет редактор, сказав мне:

— А ты сам-то? Ангел, что ли?

Трудно сказать. Скорее — черт с куриными крылышками и раздолбанной лирой.

37

В редкие оттепели мы лепили снежные крепости и снежных баб. («Ну-у, опять про баб!» — вадохнет обреченно редактор.) Комья катали иногда вместе. Однажды слепили снежную бабу прямо в сенях. Мама, вернувшись с работы ночью, едва в обморок не опрокинулась. Много мы доставляли ей неприятных и неожиданных минут. Как-то притащили собаку величиной с теленка и привязали к ручке входной двери, а сами ушли. Мама не смогла попасть в дом обычно и ей пришлось карабкаться в окно. Или — притащили из лесу клубок ужей — они расползались по комнатам, кто куда. Одному надоело блуждать и он повис на печке. Мама в темноте подумала, что пояс какой-то и взяла за хвост. И заорала.

Как-то мама заказала нам две зеленые телогрейки у портнихи. Откуда-то появились две пары кирзовых сапог. Мы в этом одеянии и щеголяли по очереди. Мне редко что покупали — я обычно донашивал за братьями барахло, обувь, и так длилось до тех пор, пока я не устроился на завод.

Когда мать и отец находились на работе во вторую смену оба, а за окнами мела метель или трещал лютый мороз, мы, натопив печь, нажарганив ее до истомы, сидели на полу. Тут же с нами и Артамоня и Борька Сорокин. Братва сворачивала самокрутки и густо дымила табачным дымом. Вовка взрослел. Он уже достал где-то финку, тельняшку, флотский ремень, и у него начался период любви. Мы по очереди бегали к его девчонке, передавали записки или вызывали ее на улицу через ее братанков.

Учились мы вначале в деревянной школе возле улицы Восстания. По соседству стоял детдом, куда в одно время хотели нас упечь. Я с опаской посматривал на детдом. В школе было вечно холодно. Нередко чернила замерзали в чернильницах, и мы сидели за партами в пальто и валенках. А про детдом рассказывали, прикрыв глаза от ужаса. Видать, там было еще хуже... Рядом со школой, во флигельке, работал буфет, куда я заглядывал из любопытства, так как денег все равно никогда не имел. Мне было любопытно, как мои товарищи по школе что-то покупают и спокойно едят. И главное, не торопятся. Странно было и то, что некоторые школьники оставляли объедки. Подбирать которые я не мог, так как мама нам это настрого запретила под страхом смертной казни. Она так нам и сказала: «Узнаю — убью, к чертовой матери! На одну ногу наступлю — другую выдерну!» С нами матери особо не церемонились и, бывало, говорили между собой: «От, паразиты! Хоть бы их немного мором проредило!»

Следующая школа была двухэтажная, каменная, бывшая женская. Занимались мы в ней в две, а были времена и в три смены. За школой рос богатый фруктовый сад, а в саду располагалось озеро. В нем мы купались до холодов. Однажды я на этом озере провалился под лед. Прямо в пальто и в валенках, и меня потом отмораживали на печке, в школе.

В школу предстояло шагать долго. Оставить позади брусковые дома, прогуляться по Ямкам мимо скелетов и гробов, затем, миновав с тылу офицерский дом и деревянную аптеку. На дорогу уходило полчаса — если в школу, а если из школы — то и час, и два, а то и больше.

Носили мы кирзовые сумки через плечо и самовязанные обшитые тряпкой варежки. (Об остальном гардеробе уже сообщал.) Когда утром надо было бежать в школу, вечный путаник Борька обязательно надевал разные варежки — они дружно сушились на печке — непарные. Он так же мог надеть и разные валенки. Оба левых, например. Володя, наоборот, был аккуратен. Колька носил все, что на него наденут. Я занимал позиции умеренного неряхи. Иногда нападало безразличие, и я ходил не лучше Борьки. Но иногда вдруг принимался чистить обувь, гладить штаны, причесываться, как Володя.

В марте, пока рыхлый снег, мы лепили крепости. Проводили на улице все свободное время, и только ночью, когда мама возвращалась с работы, будила нас и спрашивала:

— Уроки сделаны?

Мы дружно молчали. Она брала ремень — и выдрав нас на совесть, усаживала всех в двенадцать ночи делать домашние задания. Мы сидели полусонные, корябали ручками бумагу, а мама стояла сзади и держала ремень наготове. Мы не дышали. Как только кто-то пытался почесать в затылке, сразу же на него обрушивался ремень. Учились мы неважно. Иногда только проявлялись всплески сознания, как у Володи, который хорошо окончил семилетку, или у меня — в первом, пятом и десятом классе. Но в десятом я уже учился на чужбине, вдалеке от родного дома и от родителей.

Отец работал слесарем на электромеханическом заводе. Потом его перевели сборщиком трансформаторов. Он собирал магнитопроводы. Пластины металла тогда проклеивались тонким прессшпаном на крахмал. Крахмал поступал на завод с кондитерской фабрики, как отходы производства, и там иногда попадались обломки конфет. Помню, как мы с этими конфетами пили чай. Чай нередко бывал у нас и завтраком, и ужином, а порою — и обедом. Не всегда настоящий. Зачастую либо фруктовые плитки, либо сушеная морковь. До возвращения отца из лагерей мы здорово голоднули. Даже, помню, пытались грызть кору деревьев, как Петин заяц из его стенгазетного рассказа. Пекли лепешки, используя керосин вместо жира. Противно, но ели ж, не подохли. Жарили картошку на протухшем рыбьем жиру. А по радио, которое все время молотило, не выключалось, нам говорили, что благосостояние наше с каждым днем растет. Но у нас росло не наше благосостояние, а волчий аппетит. Казалось, сожрали бы сыромятные рукавицы, окажись они на сковороде. Росли же парни, бегали, играли, дрались... Чего было навалом — так это аппетита. Помню, приехала тетка Аннушка с мужем из Омска — он у нее уже тогда был крупным руководителем. Они ходили по двору и восхищались: «А воздух-то у вас! Воздух какой!..» Но, к нашему сожалению, воздух ни на что не намажешь и его не разжуешь. С возвращением отца стало легче. Он из чего угодно, но старался сварганить какую-нибудь похлебку. Варил, обычно ведерную кастрюлю, покупали четыре буханки хлеба. Он возвращался ночью с работы — а по дну кастрюли хоть скреби ложкой.

«Черт,— озадаченно чесал он голову.— Бак, что ли, бельевой для них варить, для оглоедов? И что странно — как у них в пузах-то все поместилось?! Ведь ведро же целое!». Мама теперь, получив такой тыл в смысле пропитания, стала норовить покупать в дом вещи, мебель. Вначале у нас появился комод, а за ним — кушетка. Занавески мама купила, когда мы жили уже в новом доме.

Женщина, с которой мы поменялись домами, в один из приходов к своему брату увидела в окнах занавески. «Ах, так!» — сказала она и принялась разговаривать с мамой по поводу добавки — десяти тысяч. «Ты собиралась выплатить постепенно, понемногу, а сама занавески покупаешь?!» — «Откуда я тебе выложу десять тысяч? Смотри, у нас и продать-то нечего!» — «А зачем тогда сговаривались?» — «Так выплатим».— «Когда?» — «Ну, лет так за десять». Короче, скандал завершился судом, и мать выплачивала по десять процентов из зарплаты. Суд же присудил не десять тысяч, а шесть. (Все вы понимаете, что речь идет о старых деньгах, значит, о шестистах рублях.) В общем, отец был недоволен матерью за этот скоропалительный обмен, за ловкое умение — жить вечно в долг. Он этого не любил, царство ему небесное. А мама не могла обойтись без долгов всю жизнь, невзирая на вполне приличную потом пенсию, да и помощь детей.

Эх, многое я, братцы, упускаю тут. Детали, может, какие или случаи разные. Ну, например, повесила одна женщина у нас на День Победы не красный флаг, а черный. Было у нее метра четыре черного сатина — она и соорудила флаг. Прискакал участковый милиционер — чуть ли не в кутузку, на кичу, старую каргу. Ополоумела вовсе, из ума выжила совсем старуха. (Старухе было около пятидесяти тогда, но в те времена, годы, как рубли, видать один к десяти, что ли, шли? Пятьдесят — старуха. Пятьдесят — дед. И не думали, как сейчас они о танцах, о перекрое своих потрепанных биографий и судеб. Сермяжные они были, да цельные, не залатанные.) «Срывай,— кричит фараон,— флаг, стервь!»

Она сняла — куда денешься? Научили бояться сапог да формы, ой ли как! Может, поэтому не любят их сейчас, ибо невозможно любить иуд? А люди

потом ему говорят: «У нее ж муж и четверо сынов полегли в войне. Какой же ей флаг вешать в этот день?»

Или. Неграмотная одна женщина просила свою соседку написать под диктовку ее письмо мужу, в лагеря. Да та все отмахивалась: некогда, дети, огород, стирка, готовка... Тогда она сама взяла листок и накорябала корябушек бессмысленных, заклеила в конверт, перевела адрес, как могла, и отправила. Муж ей писал потом, что лучшего письма он в жизни не получал, хотя и ничего в нем не понял, ни буквы, но так плакал, так плакал... И не вернулся он оттуда. Вот.

Или соседка Фатима жила напротив. У нее была корова, и старуха отпускала нам в долг молоко, сколько хочешь. Порой долг накапливался неописуемый, но она все-таки молоко нам наливала, и иной раз и кусок хлеба совала вослед. Ей уже тогда было к девяноста годам. Недавно слышал я, что будто бы все еще жива. Сколько ж ей тогда годков-то? Муж ее, бабай, помер — тому больше ста лет было... Зур рахмат, Фатима-апа!

Да и всего не уместить, не запечатлить, потому что помниться уже клочками. Но ничего, вы-то, товарищи, которые жили в то время и так же, как мы, найдете, чем дополнить это мое прозаическое блуждание по чащобам и дебрям быстротекущей нашей жизни. А кто всегда жил сыто, может призадуматься, да и начнет посматривать по сторонам — не сидит ли кто рядом с пустым брюхом, глядя на его бутерброды с бужениной. Хотя сейчас не то время. Сейчас голодных мало. Сейчас ненасытных много. Бездомных еще много, бесприютных. Потому что никто никому не рад, никто ни перед кем дверей настежь не откроет, если этот «кем» приехал, изгнанный отовсюду, жить. Даже в доме бездомно, даже ребенок мастерит свою конурку под столом, и хочется ему уйти со своей бужениной, и съесть ее в одиночестве, при своем огоньке, в своем уюте... Беда, видать, в том, что нет дома у людей, нет дома — одни квартиры.

38

В большой комнате брат и его новая жена, при содействии мамы, разбирали покупки, примеряли тряпки. Хаханов тепло поздоровался со всеми, сказал, что идет спать на балкон, и удалился. Я спросил:

— Ну, с урожаем? Видно, хорошо погуляли?

— Да,— согласилась мама.— Только очень уж я намучилась.

— Себе кожан купил, а ей вон — плащишко за триста,— небрежно кинул брат.— Ну и еще кое-чего. Хочешь выпить?

— Нет.

— А теперь спроси меня.

— Тебя и спрашивать не надо,— проворчала новая жена.— Ты всегда хочешь. Тебе хоть родник бей — не оттащишь.

Она повернулась ко мне:

— Мы мать домой отправили с покупками. Борька пошел бриться в парикмахерскую. Мы свидание назначили. Ждала его, ждала! Два раза милиционер подходил — спрашивал, что я здесь делаю...

— Конечно! — воскликнул брат.— Они брить там меня напрасно не хотят. У них, оказывается, салон. Пришлось еще и постригаться...

— А где ждала? — насторожился я.

— Ну, где выход из метро, на вокзале. На Невском-то. Только ни где на Невский, а как бы сбоку...

— Так это же коронное место вокзальных трехрублевых проституток!

— Ах ты, паразит! Ты где мне свидание назначил, а?! Ты нарочно это подстроил, мерзавец!.. А я смотрю, две потрепанные шалавы так на меня зло посматривают... Значит, я заместо проститутки там разгуливала?

— Значит.

Она врезала только что купленным чайником брату по башке.

Брат не обратил на удар никакого внимания.

Мама доставала из холодильника коровьи ноги. Видать, купила где-то днем. (Приезжие иногда покупают в Ленинграде удивительные вещи!)

— Ты что собираешься? — спросил я.

— Палить ноги стану, а потом холодец заварю.

— Так время-то,— показал я на циферблат.— Два!

— Вот и хорошо. Паленым не будет пахнуть во всем доме, а я еще окно растворю...

— Ну, как хочешь, как хочешь...

Жора лежал с закрытыми глазами. Его маленькая костлявая горбатенькая фигурка вытянулась. Руки у него были сложены на груди. Лицо, окрашенное мертвенным светом белой ночи, было неподвижно. Я вздрогнул. «Не хватало еще Жорку хоронить!». Подкрался к нему и осторожно прислушался. Он не дышал. Потрогал руку — она была словно ледяная. Озноб пробежал у меня по спине, и я кинулся ухом на грудь товарища!..

— Ты чего это? — вытаращил он глаза.

— Да, так... Показалось...

— Ничего...— понял он меня.— Мне недолго осталось. Потерпи.

— Так ты сутки, что ли, проспал? — спросил я, приходя в себя, осваиваясь.

— Нет. Вставал. Ел. Смотрел телевизор.

— А из дому не выходил?

— Нет. Не хочется что-то.

— Ну, ладно. Спи дальше.

Я выглянул в окно, на лоджию. Прямо на бетонном полу, на развернутой газете, спал совсем в плавках Хаханов. Я ужаснулся, отворил дверь и принялся его будить.

— Ну тебя. Отвяжись,— сказал он сонно.— Мне не холодно.

— Ну, все-таки... Хоть пальто возьми...

Он послушно взял какое-то старое пальто, надел его на себя и снова лег. Подсовывая под голову полено, он недовольно проворчал: «Вот только что-то кошки на улице орут со страшной силой... То ли к дождю. То ли гласность почуяли?..»

Я принялся укладываться в комнате, на полу. Когда я закрыл глаза, из кухни донесся терпкий запах паленой щетины. Я встал, чтобы прикрыть вторую дверь в коридор, но в проходной комнате брат очень оживленно «дарил новой жене любовь». Она благодарно стонала. Я сплюнул и снова лег. Под запах паленой щетины, под стоны новой жены брата думалось о том, где бы найти такой уголок, уголочек и устроиться пожить хотя бы недельку. Живут же люди где-то!

Где вы, люди, ау?!

Проснулся совершенно разбитый в пять утра. Мама спала. Брат с новой женой утомленно спали. Хаханов дрыхнул, раскрыв пасть. Лишь Жора ловил из кастрюли руками ошметки мяса.

— А я вот решил чуток позавтракать,— он нервно выхватил грязную руку из кастрюли, завидев неожиданно меня. В клочковатой его бороде запутались какие-то жилки, застыли капельки говяжьего жира.

Я ничего не сказал, тогда он, в оправдание своих действий, прокашлял:

— Ничего. Мне недолго осталось тянуть... А я ночью пробовал стихи писать. Послушаешь?

— Обойдусь.

— Присоединяйся! — кивнул он на кастрюлю.

— Мерси.

Появился на кухне Хаханов. Он бодро делал физические упражнения. Затем, ухватившись за антресоль, подтянулся на одной руке, потом на другой. С антресоли посыпалась штукатурка. Они с Жорой как бы представляли собой две крайности: один слишком больной, другой — слишком здоровый.

Хаханов стиснул Жоркину ладонь и представился. Потом спросил:

— А что какой-то дохлый да горбатый? Довелось хлебнуть хорошенько лиха, да?

— Да,— кивнул Жорка.— Упал с седьмого этажа... А пневмония у меня

давно. Последний раз в больнице лежал два года назад, так там сказали, поезжай, пока не поздно, в Москву, иначе больше двух месяцев не протянешь. А я не поехал — и живу. Мне много раз так говорили. Говорили, мол, не пей — загнешься, а я живу, ха!

— Фактически, значит, не жилец на этом свете,— подбил бабки Хаханов.

— Точно. Я уже к этому привык. Помри я хоть прямо сейчас — ничуть не огорчусь.

— Отлично! — воскликнул Хаханов.— Едем со мной. Там такие никудышные люди позарез нужны. Раз тебе одинаково помирать — то можно будет смело прямо в реактор лезть. Не волнуйся! Я тоже полезу, с тобой вместе. Уж такой я мужик со значительным запасом здоровья. Мне по хрен всякая радиация. «Даже тысяча рентген не согнет советский член!» — так говорится? А тебе — раз уж все равно и дни твои сочтены — то лучше пользу родине принести. Прикинь хозяйски — зачем гробить здорового мужика, когда можно тебя заместо него израсходовать. А тебе еще и памятник бесплатно, медаль посмертно, семье — деньжонок, пенсию... Подумай, Жор?

— Нет уж,— вздохнул Жорка.— Я не поеду. Мне эта идея не совсем нравится.

— И напрасно. Ну, ладно. Подумай — может, решишься?.. А я пойду — побрею морду лица. И давай-ка чайку. Надо в аэропорт. А то в Киеве заждались.

Я поставил чайник на газовую плиту.

Жорка тоже попил чаю, затем сказал:

— Ну, я пойду?

— Да-да,— подхватил я.— Конечно! — думал, что он собирается идти искать работу. Но он направился в комнату.

— Полетел,— сказал Хаханов и хлопнул дверью. Выйдя во двор из подъезда, крикнул: — Если не вернусь — барахло не береги. Отдай комунибудь, или выкини.

Мы всем шалманом поехали на дачу, так как мама и брат решили проведать моих детей, мою жену и тещу. (Опять хочется написать «тещ»!) Разместиться там, в небольшой конуре, было невозможно, и мы провели день в лесу. Я хотел было остаться ночевать на даче, но возразили женщины. Мама: «Очумел, что ли? Завез в такую глухомань и хочешь нас бросить?» И жена: «Где? Негде же! На веранде — бабушка с Петром. Мы с Павлом — в комнате. Там и на полу-то не пристроишься!»

— Да нет... Я просто...

— И Петра с собой возьмем,— решила мама.— А то я по нему соскучилась. Да и что он тут живет, в лесу-то, без удобств.

— Так мы за этот лес три сотни уплатили!

— Ну уж, загнул — три сотни! — брат хлопнул меня свойски по спине.

— Нет, правда!..

— За эту конуру-то?.. Да, спорим, что вся эта халупа не больше трех сотен стоит. А комнатенку эту снять — ну, рубля три в месяц, от силы — пятерка.

— Правда — три сотни!..

— Не надо родному брату врать! — сказал он обиженно.— Три сотни! Иди — расскажи это хозяйскому Шарику! — и он смачно захохотал. На всю дачную улицу.

— Нет, Петра я не отпущу,— решила моя жена.— Я его вам привезу через недельку.

Мама и новая жена брата шли немного впереди, по тенистой тропинке. Рядом с нами прыгал и резвился Петька, сзади шла моя старая жена с Павлом. Они все нас провожали.

39

Что творилось в стране? Черт его знает! Жила-была Савинка по-своему. Мало здешними людьми обращалось внимание на то, что говорилось по радио. Если бы кто-то из соседей заговорил бы так, как говорят по радио, его наверняка сочли сумасшедшим и вызвали бы скорую помощь. Ну, представляете себе,

что кто-то, без смеха, а натурально, на полном серьезе говорит: «Наш дорогой и любимый Никита Сергеевич Хрущев!». Если бы не поняли, что это острое психическое заболевание, то дали бы в лучшем случае в морду. Жрать нечего, мяса нет, за хлебом очереди, а по радио: «Полнее удовлетворять все возрастающие потребности населения! Догоним и перегоним Америку по производству...». Или кто-то (даже по пьянке) запел по-настоящему: «Будет людям счастье-е, счастье на века, у советской власти сила велика!». Или: «Под солнцем Родины мы крепнем год от года, мы делу Ленина и партии верны...» Наверняка не поздоровилось бы этому певцу. Даже пьяному бы накостыляли, хотя, обычно, к пьяным на Руси всегда относились снисходительно. Значит, думал я своими неокрепшими мозгами, что поют и говорят совсем про других людей, которых ни я, ни соседи не знаем. Но в которые мама нас призывает стремиться.

А может, я сам ненормальный? В детстве угодил я как-то в цирк. Там один клоун колотил другого палкой по башке. Все ржали до коликов в животах, а я сидел мрачный. Ты что не смеешься, удивились взрослые. «Так ему же больно»,— сказал я. Может, и наша пропаганда такова? Все дерутся, грызутся, а она радостно улыбается, глядя на грызню.

Как-то натворил я дел, что не хотелось домой возвращаться. Мать поколотит, будут неприятности. Ну их! Думал, думал о жизни, пошел на берег Казанки, бродил по пустынному весеннему пляжку, и так неуютно стало мне, что я подумал: «Зачем я живу? Для чего? Зачем меня родили, чтоб вот так маяться? Уж лучше не знать бы ничего этого!». И постепенно созрела мысль — утопиться. Ну, действительно, что это за жизнь? Мать с палкой дома дожидается, в школе — педсовет норовит сожрать тебя. Участковый милиционер так и ждет, как бы посадить. Ни одежки путной, ни обуви, в животе пустовато, да и влюбиться уже хочется некстати, а кому я такой нужен?.. Будучи обстоятельным человеком, решил воочию проследить путь на тот свет. Мне этот путь был несколько знаком — не так давно покончил с собой слепой Батрашов и мы его хоронили.

Я угрюмо зашагал на ту сторону Казанки, представляя уже, как за гробом моим пойдут одноклассники, исподтишка корча друг другу рожи. Как будет убиваться мама, приговаривая: «Родненький!» — и раскаиваться, что так нещадно меня дубасила. Как-то незаметно вышел я к городскому кладбищу.

В начале главной аллеи стоял безносый ангел с высоко поднятой рукой, как бы говоря: «Добро пожаловать!». У него было отбито правое крыло и вместо него торчала ржавая арматурка.

Походив среди могил и мысленно выбрав себе местечко, я направился к выходу.

Навстречу мне неслись медные звуки духового оркестра. Ухал барабан, взвизгивали тарелки и от этой щемящей музыки стало как-то так жаль себя, погибающего в расцвете сил, что я заплакал натуральными слезами. Авансом.

Мимо плыла черная похоронная очередь, а какая-то сердобольная бабка сунула мне в руки черствый пряник. Когда процессия мрачно повернула за угол, я потопал на выход, всхлипывая сквозь пряник.

Незаметно дотащился до городского морга. Там как раз грузовая машина привезла труп мужчины.

Окна морга были наполовину закрашены. Я вскарабкался на подоконник и осторожно заглянул через краску.

В небольшой комнате, под потолком, тлела тусклая лампочка, а на каменных лавках лежали голые покойники.

Рядом с одним покойником сидел бородатый мужик в черном фартуке и ел хлеб, запивая его молоком. Эмалированная кружка стояла возле бледного уха покойника. У покойника на веках лежали два металлических кругляша. У его соседки по тому свету — дряблой бабуси — челюсть была подвязана марлей, словно померла она от зубной боли...

Короче: их бледное общество мне не понравилось. Я спрыгнул на землю и споро пошагал домой, навстречу грядущим невзгодам, твердо решив еще чуток пожить.

Партией был взят курс на химизацию, и первенцы этого курса — полиэтиленовые мешки — появились в магазинах. Полетел Гагарин в космос. Сбили американский самолет в Предуралье. Сорвалась баржа в Тихом океане с четырьмя солдатами. Планировали построить плотину через Берингов пролив, повернуть все реки вспять, разоружить мир за четыре года. Произошла революция на Кубе. Началось активное освобождение африканских народов от колониальной зависимости. На стадионах поэтические турниры собирали многотысячные толпы, но все было — где-то и с кем-то. Расплодились магнитофоны и телевизоры. Покатили по улицам трамваи без кондукторов. Магазины стали работать без продавцов и без товаров. Столовые — самообслуживания. Рабочие получали зарплату без кассира. Бригадами бросали курить и пить. Стали расти крупнопанельные дома. Говорили, что Хрущев намерен соединить город с деревней, ванну с туалетом, пол с потолком. Стереть грани между мужчиной и женщиной. Скрестить корову с медведем (чтобы зимой лапу сосала). Засеять футбольные поля кукурузой... Из всех раскрытых окон неслись песни Кристалинской и Кобзона, перебивали их Эдита Пьеха и Робертино Лоретти. Царил в стране подъем. Люди постепенно переставали страшиться арестов, и все наше боевое прошлое казалось народу каким-то ужасным сном, какими-то мрачными сумерками. Правда, не разрешалось на улицах собираться больше трех человек, запрещалось обнимать девушек в присутственных местах, а комсомольские дружинники рихтовали физиономии танцевальщикам рок-н-ролла, но это уже мелочи. Вот, говорили, что во время поездки по стране, в Куйбышеве, в Хрущева кинули утюг, замаскированный букетом цветов. Про Казань поговаривали, что Никита будет ездить по улицам и разбрасывать талоны на сахар, на муку, на крупу. Причем, люди на полном серьезе верили! Но он промчался мимо всех, жаждущих талонов. Где-то приостановился и крикнул, стукнув о борт лимузина кулаком: «Цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!». Уж нет давно Хрущева, а люди в Казани, по-моему, до сих пор ждут на улицах, что кто-то когда-то все-таки проедет и разбросает эти талоны на муку, на крупу, на мясо, на масло, на сахар... Молодые люди рвались покорять Сибирь, и вообще, пошла мода куда-то ехать и что-то обязательно покорять. Ну, мог ли я оставаться дома, когда Борька уже покорял просторы Крайнего Севера, а Вовка — нес службу в Германии? Нет, естественно. В солнечный день я, влюбленный в одну школьницу, чтобы принять участие в скоропостижном строительстве коммунизма, который вот-вот наступит, да и чтобы доказать своей Джульетте, что я мужчина, уехал. Уехал, никому не сказав об этом. Боялся скандала дома, ругачки. Мне хотелось уехать, и где-то там, приложив усилия неимоверные, выбиться в эти люди. Сначала, правда, предстояло их найти, настоящих людей, а потом уже, посмотрев на них, выбиваться в них.

Я пропал. Родители подавали во всесоюзный розыск, который меня, естественно, не нашел. Хотя я, к тому времени, уже имел конкретную прописку.

Я шел по солнечной улице, по теплой улице с голубенькой сумочкой на шнурках (тогда они только вошли в моду), в костюмчике, купленном в кредит за шестьдесят два рубля, в пестренькой рубашке. Я шел туда, куда глаза глядят, чтобы никогда не вернуться назад.

40

Несколько дней Жора все же посвятил хождению по конторам, пытаясь устроиться. Пришлось мне найти полсотню и заплатить за него в суд, чтобы ему поставили печать о разводе. Но то то его не устраивало, то — это. Как говорится, причина сыщется, было б желание: зимой — холодно, а летом — жарко. Видя бесполезные его шатания, я предложил подыскать ему подругу и женить его на ней, а большей частью — жениться на квартире и куске хлеба (с маслицем, добавил бы он). Необходимы были деньги для этой акции, на представительство. Брат с новой женой мотались за покупками и мне негостеприимно было обращаться к ним за деньгами. Тем более, нечем отдавать.

Я бродил по Невскому и напряженно думал: может, что продать, может, сдать какие-нибудь книжки в букинистический, а и — нашел на панели железнодорожный билет до Батуми. На улице. На сегодня!

Два часа томился в очереди, понимая, что поступаю безнравственно по отношению к растеряхе, но выстоял и получил двадцать рублей с копейками.

В этот вечер проводил Жорку на танцы «кому за тридцать». Что делать, раз у него никаких способностей и талантов, ни денег, ни здоровья. Остались у него одни, выше уже упомянутые, мужские достоинства. Авось хоть они кому сгодятся?! Какой-нибудь бабушке. На афише было написано «кому за 30». Неизвестный шутник, наслюнявив палец, переделал тройку на восьмерку. Думаю, он недалек был от истины, судя по возрасту женщин, что стояли к кассе. Жоре я выдал три рубля, и он ринулся в обширную благоухающую толпу одиноких женщин. Вернулся он поздно ночью, как назло, холостым.

— Понимаешь, там нет той, о которой я мечтал всю жизнь, которая бы соответствовала моему поэтическому воображению...

Я развел руками. Трудно было в эти басни поверить. По-моему, он мечтал об очень многих, в его мечтах бабы, по-моему, валили сплошной демонстрацией. И он не нашел соответствующей мечтам? Ну-ну.

Мы все ждали приезда моей жены с Петром. Мама наводила порядок в квартире, который постоянно в течение дня нарушался.

Приехал знакомый режиссер народного театра со свежей актрисой. Рассказав последние новости, он потребовал выделения комнаты, так как ему срочно надо пробовать актрису на роль. Пришлось на ночь поселить Жорку на кухню. В комнате, где обитал брат, остаться было невозможно из-за наглых стонов его новой жены... Потом приехал друг-милиционер из Средней Азии и привез с собой узбеков, которые готовили плов, покупали вино и вообще — старались жизнь превратить в праздник. Рассказывали, что у них все продается и покупается. Диплом стоит столько, партбилет — столько... Я думал, что они приехали дня на три, но они, оказывается, приехали чуть ли не жить. Пришлось их селить в братовой комнате, на полу. Я вернулся в свою комнату, на пол. На кровати пробовал на роль режиссер свою актрису. Жора — по-прежнему обитал на кухне. На следующий день прикатил давний друг Валентин из Москвы, с сыном и с другом сына. А друг сына — со своим приятелем. Тут уж мы не стали разбирать — кого где потактичнее остановить. Началась такая суматоха, что жить дальше четверга не имело смысла. Но в четверг приехал друг Володя из Казани. Я ему очень бы обрадовался, если б он не прихватил с собой жену и дочь. Потом приехал Рощин из той же Казани, но с сыном. Вот товарищи, и считайте!.. На кухне шел постоянный гудеж, Жора там полнокровно обитал, как мышь в крупяном амбаре. Он ловко бегал в магазин, открывал баночки сайры, и «Ркацители» кислый запах пропитал все в квартире, вплоть до сапожной щетки. О поисках работы он не заикался. И если б я ему напомнил, для чего он ехал в Питер, думаю, он бы сильно удивился. Потом приехали узбеки, но эти, слава Богу, не ко мне, а к тем узбекам, которые к тому времени жили у меня. Вернее, узбечка с малолетним сынишкой. Лечить его. Устраивать в одну из клиник Ленинграда. По среднеазиатским понятиям, он болел, примерно, тысяч на десять, если его лечить в Узбекистане. И это еще при бесплатном медицинском обслуживании! А если б бедолага прихворнул в странах каплагеря?

Люди спали уже не только на лоджии, но и в коридоре, и на обеденном столе, на полу, на кроватях и под. Мы по людям ходили — они этого даже не замечали. И в этот момент приехала дочь Машка. Согнав всех со своей кровати: актрису, режиссера и какого-то узбека, присоединившегося к ним, видимо, в качестве суфлера, уложив их тоже на полу, штабелем, я устроил ее более-менее благополучно. На кроватях в просторе теперь спали немногие: мама и Машка. Остальные бытом не отличались от вокзальных ночевщиков, только ночью их не будили уборщики.

Внезапно, когда дело близилось к ночи, приехала жена с Петром, так как запланировала отправить его с моим братом и с моей мамой в Казань, на Во-

лгу. Заскрежетал ключ в замочной скважине, и я похолодел. Кого куда прятать?

Немая сцена — у порога жена, застывший удивленный Петр. Кое-кто уже засыпает, кое-кто — просыпается. (Некоторые уже спали на одном месте в две смены.)

— Что это? — удивленно спрашивает она.— Что это за люди? Откуда?

— Понимаешь...— бормочу я, а из-за спины уже выглядывает мама.

— Внученек, миленький мой!..

— Петька! — кричит восторженно Маша.— Братан!..

А мой братан вдруг ощущает беспокойство. Он щупает, щупает возле себя, и не нащупывает совсем новой еще жены. Он мечется по квартире в течение нескольких секунд, затем быстро и профессионально взламывает дверь ванной туристским топориком, и его взору открывается следующая картина: новая жена согнулась над ванной и стирает там братовы носки, правда, совсем без воды. Она их испуганно трет сухим мылом. Рядом почему-то Жора. Сохраняя гордое выражение на физиономии, он надменно спрашивает:

— Я не понимаю, простите!.. Что это такое, простите!.. Хамы, как вы посмели, простите!..

(Хорошо, что этого эпизода не видит моя старая жена, а Петр пошел по комнатам — считать народ.)

— Убью!!! — замахнулся на него топором брат.

Жора не шелохнулся. Он только презрительно подернул скривобоченным плечом.

— Я не виновата! Я не виновата!..— поспешно затараторила женщина.— Я спокойно стирала тебе, Боренька, носочки на завтра... Я и не заметила, как он сзади подошел. Я-то стираю и не вижу, понимаешь ли!.. Хоть бы вы подсказали!.. Со стороны-то видней... А-а-а, видать я не дорога тебе, коли ты дрыхнешь и внимания на меня не оставляешь... А я и не заметила, пока стирала — смотрю, а уж дверь сломлена. А я стираю тебе носочки...— Она продолжала тереть сухим мылом сухие носки (один красный, другой синий), наглядно подтверждая свои праведные слова делом.

Как они продолжали разбираться — не знаю. Меня отвлекла жена. Она решительно заявила:

— Я уезжаю!

— Постой! — слабо удерживаю я ее.— Уж и электрички не ходят...

— Нет,— рвется она пройти в дверь.— Петя, бери сумку!

И она совсем бы ушла, если б в дверь не позвонили, и не ввалились неожиданные гости, которые были гораздо хуже любого татарина, в количестве четырех мужиков.

— А-а-а! — заорали они мне от радости, не обращая внимания ни на кого, поскольку были уже «под балдой».— Обещал нам баб?! Где твои обещанные бабы?.. А ну — ку-ку! Где вы, бабочки?!

— Ополоумели! — ору я.— Какие бабы? Совсем, что ли, рехнулись?!

— Разве не ты обещал? Нет? Ну, извини, что побеспокоили. Ошиблись, ребята. Значит, это Колька Ерофеев пообещал. У него пустует хата, пока семья на даче — па-а-аехали!.. Ан нет! Стой — вижу плов! Сейчас перекусим и поедем...

Гуськом вышли на шум узбеки. И узбечка.

— Ба-а! Узбеки! — воскликнули хором гости. Хор сильно не строил.

— А вы откуда узнали, что мы узбеки? — спросил старший, Фархад.

— Я узбека от любого чукчи или грузина отличу! — заявил хвастливо один гость.— Ну, садитесь плов есть. Я щас вам покажу, как его правильно едят...

Из ванной не доносились веселые напевы, потому что ванна была вовсе не фирмы Хэгфорс. А из наших отечественных ванн что может доноситься, кроме сердитого урчания крана? Правильно. Скандал, крики с угрозами применения бытового металлического предмета. Я вовремя вспомнил, кстати, что Фархад — лейтенант милиции — и направил его в ванную расследовать причины скандала и успокоить граждан. Он как был в трусах, так и пошел. Только застегнул на груди сизую рубашку с погонами.

— Товарищ лейтенант,— сразу же обратились к нему все трое, почему-то напрочь забыв, что живут с ним в квартире не меньше недели.

— Разберемся,— строго пообещал Фархад, суетливо шаря по трусам, в поисках планшета с блокнотом для составления протокола.— Фамилия, имя, отчество?..

И вскоре там утихло. Хорошо, все-таки, иметь домашнего милиционера! (Не хватает нам этого, нет! На тысячу жителей приходится всего лишь ноль семь милиционера. Спросите любого мужика возле пивной, и он вам сразу скажет, что ноль семь — мало!)

Боже, что в квартире творилось — не описать пером! Скажу только, что творилось вовсе не укрепляющее здоровье и семью. Поэтому закрою я занавес, и исчезнет за ним ночная ленинградская квартира, в которой, пока я жил там, останавливались тысячи моих друзей, и спали на полу, на кроватях, под кроватями, на антресолях, и даже — кажется — на потолке. Потому что все время откуда-то сверху падало одеяло. Один, например, вовсе очумел — взял раскладушку и поставил ее на газоне, и его утром поливали дворники водой из шлангов.

Мне Жора потом сказал про инцидент в ванной:

— Что уж... Потерпите. Мне уж недолго осталось тянуть на этом свете...— И в подтверждение своим словам пневмонически покашлял минут пять. Он кашлял, его горб дергался, на носу повисла капля...— Недолго уж...

Грустно все это, товарищи. Брат вместе с потерей новой жены потерял жилплощадь, и теперь ему придется теснить маму — она теперь на старости лет потеряет покой... Придется тогда ему находить жену еще новее. Сколько же можно-то?! Боже!.. Но не так давно один приятель из деревни Паднаг — не скажу, из какой страны, дабы предотвратить нездоровый интерес наших дам — Аванг Санд женился ровно в восьмидесятый раз, на совсем молоденькой, тридцатидевятилетней крестьянке, и считает, что еще не все потеряно. Одних детишек он настряпал более сорока голов. Кто мы супротив полинезийского аксакала? Щенки, Боря! Хотя дядя Аванг Санд мог бы сказать словами Жорки сейчас: «Потерпите — мне недолго осталось тянуть! Девяносто уже!»

Спустился вниз и увидел: в почтовом ящике что-то белеет. Обрадовался, думал, что перевод. Но вытащил листовку, где мне предложили сделать выбор — или горе, или счастье:

«Святое письмо

Слава Богу и Святому Духу, и Святой Богородице: Аминь!

Двенадцатилетний мальчик был болен. На берегу реки он встретил Бога. Бог дал ему письмо и сказал: „Перепиши это письмо 72 раза и разошли во все стороны“. Мальчик переписал и поправился. Одна семья переписала и получила большое счастье. Другая порвала и получила большое горе. Перепишите письмо 72 раза и через 36 дней получите большое счастье. Если в течение 3-х недель не перепишете, то получите большое горе и неизлечимую болезнь. Это проверено. Письмо обошло весь свет. Переписка идет с 1936 года. Обратите внимание: через 36 дней.

Аминь!»

Вот, оказывается, где выход-то! А мы!..

41

Уффф! Останавливаемся! Перекур с дремотой. Все. Смело садитесь. Даю вам честное слово, что это последний наш привал. Да где попало садитесь — не церемоньтесь. Вон, у крайнего товарища даже раскладной стульчик имеется. Запасливый. Ну, устроились? Так вот. Я думаю, что необходимо не только перед дальней дорогой присесть, но и после нее, тем более, когда остается всего лишь ничего, всего лишь последняя глава. Подумать, об чем поведаешь своим домашним. Жены-то наверняка вас дома встретят словами типа: «Явился — не запылился. Где это ты шлялся, дорогуша, битых сорок три

ухаба? У тебя совесть есть? Или ты ее совсем зачитал? Ну, чему может научить тебя этот пресловутый автор? Чему, я спрашиваю, хорошему? Автор, извините за выражение. Лишь бы по жизни шлындать — нет, чтобы лишний гвоздь в доме прибил... Сам таскается, как проклятый, по каким-то бабам, да задворкам, да еще и людей с панталыку сбивает!» Ну, что им объяснять? Как достучаться до их мозгов? Тут образованные-то люди не все понимают. Но — ерунда. И не такими словами вас, ребята, встречали. Мы — народ закаленный. Нас дерут — а мы крепчаем. Дело вовсе не в том, что ничего бесследно не проходит. А может, и в том? Жорка сдержал обещание и, конечно же, помер. На операционном столе в одном районном городишке, куда занесла его судьба в поисках нового счастья, и бывшая его жена никак не хотела брать его из морга районной больнички, так как боялась, что ей, с ее зарплатой, и с двумя детьми придется его хоронить. А похороны-то нынче кусаются!.. Он так и лежал как бы неопознанный, пока исполком местных советов не похоронил его в сосновом ящике на двадцать рублей. Но и этим дело не кончилось. Усилиями многих друзей и знакомых мы не смогли набрать ему трудового стажа и года, для оформления пенсии детишкам. Он при жизни не помогал им, да и после смерти не смог. Такой уж он оказался: каким был, видать, человеком, и даже став покойником, ничуть не изменился, и теперь про него невольно хочется сказать словами милицейского протокола: «Труп покойника принадлежал худощавому мужчине сорока лет».

Хаханов прибыл через год из госпиталя. Он уже никуда не годился. Говорил тихо, здоровья у него не было. Рассказывал, что им выдали зашкаленные дозиметры, чтобы не сеять панику, чтобы не беспокоить напрасно народ, и вообще, рассказывал про мародерство, про бардак, про паршивую шамовку, про приезд «гетмана» Щербицкого, перед которым шесть раз дорогу мыли, про радиационную пораженную одежду, которую жмоты-снабженцы повезли в Тюмень. Ужас! Теперь он мечтал направиться туда, где уже спокойно можно сложить свою голову, потому что такой никудышный человек только даром хлеб станет переводить. Где б такую работенку, вроде аварии на АЭС?.. С этой мечтой, похудевший, отощавший, синеватый Хаханов сел в вагон «СВ» и направился в Москву, в Совет Министров. Но это я вам докладываю устно, ибо история течет и продолжается, а писать ее бесконечно смысла нет. Единственно, что тревожит — когда у нас наконец-то окончится этот идиотский героизм? Когда наконец-то разберутся с теми, кто его организовывает то атомной станцией, то кораблекрушением, то какими-то дурацкими симеонами... (Может, не переписывают «Святое письмо»? Может, публиковать его каждые 36 дней в 72-х экземплярах и все пойдет на лад?) Ничего. Скоро будете дома, а нам — писать — не переписать, как говорится в древней байке. А я где буду? Видимо, где и был. По крайней мере, на это хотя бы надеяться. Ничего о себе не могу сказать. То, что потеряно из жизни двадцать пустопорожних лет? Так это не один я их потерял. Можно сказать, многие их потеряли, и если все потерянные годы сложить вместе, то можно же получить, небось, несколько световых лет. Но, думаю, грянет время, когда виновников и организаторов вакуума советской истории будут судить Большим Процессом, показательным. И так же, как когда-то на портрете Лаврентия Берии, будут плясать мальчишки на других портретах и плевать на них, и срывать таблички с названиями улиц. Все будет. Вынесли же труп Сталина из Мавзолея? Вынесли. Русский народ таков. Еще Некрасов сказал о нем: «Вынесет все, и широкую ясную грудью дорогу проложит себе...». Вынесет, да. Но пока... пока, братцы, парадная-то стена Кремля все еще опирается на кладбище.

Где я все-таки буду? Ничего о себе сказать не могу.

Покуда моя родина в нищете и разрухе, покуда на моей родине бесчинствуют сволочи разных рангов, обижая наших матерей и братьев, честно ли пребывать в эмиграции, в этом относительно сытом городе? Может, стоит поехать и голодать вместе со всеми? И хлебать, что дают, и стоять километровые очереди за свиными хвостами, и ждать привоза нелимитированной ливерной колбасы, втихомолку поругивая местных урядников, и ждать вместе со всеми, когда то, что творится в столице, дойдет хоть слабым отголоском до всей страны. Что делать? Давайте вместе решать. Решать-то надо самим. А то так и останемся нулями навсегда. Или, что уж там, давайте привычно ждать пятой Конституции, четвертой, пятой, шестой программ партии?

А может, в этом есть своя диалектика, а?

А может, удалиться в тихие мечты — уйти куда-то, на бережок речушки и сделать себе там пещерку, травки настелить и спрятаться в свой уют? Или лежать на чужой подушке возле сдобных коленок, ощущая запахи топкой парфюмерии и слушать «веселые напевы из ванны фирмы „Хэгфорс“»? Нет. Нет. Торопиться надо, братья. Нам не по два века намеряно. Торопиться — что-то предпринимать. Жить-то осталось не так уж и много. Я же продолжаю думать, что все впереди, что я только начинаю, что все поправить можно и вычеркнуть нехорошее, забыть, забыться...

Разрешите мне забыть все плохое? Давайте проголосуем. Кто «за»? Да кончайте вы — чего руки тянете! По привычке же, а если по-честному? Ну, три, четыре: кто «за»? Опять — все! Да что уж вы какие! Хоть один воздержитесь, для реализму. Ну, опять — кто «за»? Эх — единогласно, японский городовой!!!

Нечего мне вам, в таком случае, больше показать. Да и с собой я, видать, вас напрасно таскал. Расходитесь по квартирам, товарищи. Кто по своим, а кто — по чужим. Извините, если что не так. Ну, давайте мне в морду, кого я завлек и обещаний своих не выполнил. Не стесняйтесь, без китайских церемоний!

42

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ — ДИВАН

Входит она. Долго и пристально смотрит на меня, скребет подбородок, хмыкает, бормоча сама себе «м-да» и «ничего не выйдет и из этого варианта». Ходит туда-сюда по комнате, затем, решив окончательно что-то, останавливается возле дивана, на котором привычно лежу я.

ОНА: Вставай, миленький. Вставай! *(Решительнее.)* Неизвестно, какого рожна еще надо. Вставай! *(Помогает силой подняться.)* Встал?

Я: *(Встав.)* Встал.

ОНА: А теперь — паааашел на хрен! Пашел на хрен!.. Кыш-кыш с моего дивана!.. Брысь!..

Я: *(Суетливо обуваясь.)* Сейчас. Сейчас уйду, миленькая...

ОНА: Проваливай!.. Надоело уж... Сколько можно терпеть...

Я: *(Обувшись, торопливо натягиваю пиджак.)* Ты не сделаешь мне чайку на дорожку?..

ОНА: Я тебе покажу «чайку»!.. Пашел на хрен! Попьешь чайку в вокзальном буфете!.. Грузинский, второй сорт!..

Я: Попью...

ОНА: *(Сует в руки авоську.)* Держи твое дерьмо!

Я: Что это?

ОНА: Домашние тапочки, бритва и помазок. Да еще старые носки.

Я: Они же дырявые! И не мои.

ОНА: Все равно — забирай! Не хочу, чтобы твоего духу оставалось в моем доме!

Я: *(Глядя виновато в сторону.)* Я, может, загляну как-нибудь?..

ОНА: Не сметь! Забудь и адрес, и телефон. Давай *(устало подталкивает меня к выходу)*, проваливай.

Я: *(Выйдя на лестничную клетку, сев в лифт.)* М-да-а-а... Все правильно...

ОНА: *(Оставшись одна, судорожно рыдает.)* О! О-о-о!!! Одна-одна-одна...

Занавес

Нет, товарищи, не занавес еще... Нет. Я выходил на кухню — попить воды из-под крана (вместо чайку). И остановился там у окна. Раньше моему взору открывался обширный вид на пустырь, на улицу, я видел вдалеке детский садик, остановку автобуса, бочку на колесах с надписью «молоко», газетный киоск. Все время пробегала вдали рыжая собака. Утром — слева направо, вече-

ром — справа налево. Потом перед окнами каменщики стали строить дом, и я предчувствовал, что скоро я буду видеть все меньше и меньше. Мне хотелось протестовать: «По какому такому праву меня закладывают?!». Но каменщики неумолимо делали свое дело... Еще недавно было всего два этажа, которые прикрыли лишь рыжую собаку и часть киоска. Потом я думал: «Вчера же вроде был второй этаж, а сегодня уже седьмой! Как быстро время течет». И вздрагивал в сладостном ужасе: «Ведь скоро уже все!». Вот она — жизнь. Еще недавно шел в школу, а не успел оглянуться — вот он, седьмой-то, и уже вижу край улицы, край автобусной остановки, тент бочки с молоком. Скрылся навсегда детский садик и ушла в неизвестное рыжая собака. А каменщики в парусиновых фартуках бодро шуровали кельмами, живо. Они шутили, посмеивались, и им дела не было до меня. Дела им не было до меня нисколечко! И нет... Я пил холодную воду мелконькими глотками, и смотрел, и ничего не понимал. Дом возвышался, закрыв глухой красной стеной все. «Все!» — ужас охватил меня. И скованного, словно парализованного этим закономерным ужасом, она выталкивала меня за порог, что-то приговаривая, и совала полиэтиленовую сумку с затертым морщинистым портретом Чебурашки на боку, и со слегка порванной правой ручкой. Я почему-то размышлял — какого пола Чебурашка, и как далеко зашли их отношения с Крокодилом?

А каменщики пьют портвейн в голубом вагончике. Они завершили свое дело, и теперь им весело с грудастыми лимитчицами. И им нет дела до меня. Дела им до меня нету-у!

Вначале был обширный, с мраморным полом, зал ожидания.

Люди плотно сидели на лавках. Они так плотно их занимали, что, казалось, объяви посадку на нужный им поезд — они с места не сойдут, с места не тронутся из боязни потерять место на лавке.

Боже мой! Найти б чего! Шалашик, уголочек, чердак, подвал, ванну в Ленинграде на туалет в Москве... Можно без удобств. Гарантирую... А туда идти — еще противнее! Сюда — и вовсе невозможно! Боже-боже, сколько за спиной вериг совершенного, содеянного, и кажется, что не в зале ожидания я нахожусь (во, освободилось местечко, сел), а в чистилище, в преисподней сортировке, и сейчас явятся подземные чиновники с весами, с безменом, взвешивать мои черные и белые дела. Как это мучительно, как мучительно! Надо убежать, скорее туда, на Рогожскую заставу, или на Батрацкую — там я знал в лопухах уютный уголочек, может, и шалаш целехонек, бежать, пока они не пришли. И не кары страшусь, а самого процесса суда. И люди будут стоять за их спинами, за чиновничьими спинами, и смотреть осуждающе, и смотреть внимательно, а за моей спиной — всего лишь старуха-родина. Она-то что может поделать, бессильная, что она скажет слабым голосом, что прошепелявит, чтобы унять, усовестить людей во время суда... Бежать! Бежать, а все остальное — потом. Я стану, я сделаю. Я исправлюсь. Я больше так не буду! Честное...

В общий вагон едва влез, втиснулся. Все тащили ковры, чемоданы. Один приятель пер в вагон холодильник. Другой вошел с хрустальной люстрой. Он нес ее перед собой и люстра почему-то горела. В вагоне было темно и сыро. Я спешил занять третью, багажную полку, ведь ехать два дня, правда без еды, но зато... Внизу будут сидеть, а я — лежать... И, кинув пальто туда, я ловко вскарабкался наверх, положив голову на трубу парового отопления и прикрыл глаза, ожидая, когда поезд тронется, и втайне радовался, что я убежал из зала ожидания, и теперь меня, может, ищут, но где уж меня найти — фигушки.

Вагон долго и томительно стоял на рельсах. Казалось, подгоняли паровоз. Но тяги не нашлось. Потом мне показалось, что вагон запыхтел сам, и сам тронулся с места и покатил ме-е-едленно-медленно по рельсам...

По перрону торопился за тронувшимся вагоном мальчишка на обрезанных костылях, и матерился, и требовал остановиться. За ним неуклюже бежал мой брат Колька, после операции. У него отрезали легкое. За ним другой брат — Володька...

— Куда вы, дураки! Вагон-то все одно не туда, куда вы торопитесь! — хотелось крикнуть мне. Но я затаился на трубе парового отопления — я вспомнил, что забрался в вагон без билета. «О, дурак! — подумал.— Деньги-то есть! Не мог купить билета в вагон!». Торопилась следом за ними женщина с двумя детьми и с диабазовым булыжником в тонкой изящной руке. За ней униженно семенил лысый старший сержант — он помогал ей тащить узлы и чемоданы. Шкандыбала на костыле моя бывшая теща (тещи) — все они опоздали в вагон, который почему-то двигался без состава. Я проводил их всех взглядом, немного еще полежал — мне было хорошо-хорошо, и почувствовал я себя семнадцатилетним пареньком, молоденьким шахтером, едущим в отпуск к маме, и было радостно на душе, и светло, и я был влюблен в неизвестно кого. Влюблен в неизвестного... И чувство легкого полета, и не мешала мне труба парового отопления, и не грелась моя светлая легкая голова, и я улыбался сам себе, и впереди было много-много лет жизни, и мне казалось, что я буду вечно, и со временем научусь даже летать над миром...

Вагон набирал скорость. Я осторожно выглянул в краешек окна, что достался мне, моему взору с третьей полки. Там мелькали перелески, поселки и все знакомые. Куда мы едем? Куда? Ай — не важно. Я убежал, и я теперь снова молод и влюблен, а куда ехать в таком состоянии — какое это имеет значение?! Вон, батюшки, проезжаем наш поселок шахты номер десять, вон магазин, вон копер, вон сбойка, вон — ба-а-а! — ребята со смены на-гора выехали и идут, чумазые, к бане. Нарубили, родимые, уголька. Жаль, не знают, что я мимо еду. Помнят меня, небось, помнят, как же! Странно, что шахту проехали — ведь до нее от Ленинграда двое суток, не меньше. Чертовщина!

Осень на дворе, поздняя осень, а впереди — весна, правда, после зимы, но «вынесет все и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе. Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе!» Жаль, жаль, конечно... Вот те на! Завьюжило-запуржило. Север ты мой, Север, плато Надежды, мое плато, и пурга моя родная, убаюкивала она меня однажды, такая пурга была, что совсем, было, усыпила...

«Хейро, солнышко мое, где ты прячешься за тучки? Или в марте снова выйдешь из-за хмурых Путоран? Хейро!»... И дышится легко! Как легко! Странно, почему это мне так легко и влюблен я снова!.. Ба-а, Москва! В доме восемь дробь один, на заставе Ильича. Только пуст наш дом. Нет в нем никого. Говорят, все уехали в предыдущих вагонах в предыдущих поездах...

Вон, Казань начинается. Вижу уже башню Сююмбике, а за ней почему-то Елабуга с Чертовым городищем, и коптит на горизонте то ли пароход, то ли завод, или что-то горит. Вон и Борька идет Скандибобер. Откуда это он тащится, да еще и пиво несет в полиэтиленовом пакете. Он же помер в семьдесят четвертом году, в сердечном приступе. Двадцать семь лет было... А идет.

Мерещится всякая чертовщина, Господи! Да что же это такое! В четвертый раз проезжаем поселок шахты номер десять и опять смена коногонов чумазых прется в баню. Или это уже другая смена? Не знаю, нет, не знаю! Опять запуржило, опять. Что же? Снова плато Надежды, снова? Эй, куда мы едем? Проводник! Где ты, проводник? Кто проводник-то у нас?

Высовываю голову и вижу, как по проходу, держа камышовый веник, в железнодорожной шинели, невзирая на жару, идет и помахивает совком — Жорка!

— Жорка! — говорю я.— Обалдел ты, что ли?! Куда мы едем-то?!

— Я зна-а-аю куда...— многозначительно говорит Жорка

— Кстати, ты ж помер!

— Ну и что? Это еще не повод для различных подозрений,— и скрылся в служебном купе.

Я свесил голову вниз. За столиком сидел мой отец и пил чай. Я вздрогнул — рядом с ним сидела тетка Гутя, на углышке же — отцова мама, бабушка Дуня.

«Бред!» — определил я, развернулся и заглянул в соседнее купе. Там резались в карты Руслан, Капранов, слепой Батрашов и Майданов. «Госпо-

ди — одни покойники!» Но почему-то на этот раз не ужаснулся, а даже подумал: хорошо. Все родные, знакомые... На боковых местах ехал какой-то грустный бородатый мужик с двустволкой. На коленях он держал аккуратную клеточку с хитроватым зайцем. «А этот почему не знаком мне? Откуда он?» — подумал я. И вспомнил, что мужик — из Петиного рассказа, и заяц тоже Петин. Напротив мужика сидела моя старая учительница Мария Семеновна. Она покашливала и жадно курила папиросу «Беломор». Вдали, возле самого выхода, пили чай из китайского термоса великие люди: Сталин, Берия, Калинин и Хрущев. К ним то и дело пытался примкнуть Шепилов. Брежнев никак не мог повесить на плечики свой парадный пиджак — от навешанных наград (даже на спине) он был тяжел, и падая, издавал металлический звук... Леонид Ильич сердито хмурил брови и бормотал: «У нас еще имеются отдельные недостатки...». Я опять закрыл глаза и почувствовал себя влюбленным. Мне внезапно показалось, что у меня пропали двадцать лет. Так же, как пропадает кошелек. Украли, или посеял — какая разница. Нет их, не было... И надо бы идти в милицию, чтобы написать заявление о пропаже моих кровных двадцати лет жизни, но что-то не хочется... Почудилось, что вагонный проводник Жора заметает мои двадцать лет камышовым веником в грязный совок и несет их выкидывать... Хочу крикнуть, мол, постой, но никак не могу. Я опять закрыл глаза, опять. Я уже не глядел в окно, а просто чувствовал, что опять мы проезжаем Москву, за ней Казань, потом метет пурга — плато Надежды — и снова поселок шахты номер десять, десять, десять, десять, десять, десять...

«Куда же это они все едут? А я куда? Нет, я точно знаю — куда. Я еду искать людей, людей искать я еду — и выбиваться в них, в эти люди».

— Эй, ты что здесь делаешь? — строго окликнули меня снизу.

— А что такое? Что такое?.. А если я заплачу на любой станции?.. Сами безобразия устраиваете!.. Почему у вас один вагон ездит, без поезда, без паровоза, да еще и нигде не останавливается!..

— Дурак! Ты ж еще живой — и в этом вагоне...

— Почему бы и нельзя?

— Нет, ты скажи откровенно народу: живой ты или нет?

— Если честно — то сам, мужики, не знаю точно. Заблудился, кажется...

— Ну, смотри... Как хочешь...

«Но где же люди, которые живут как люди, где? Доедем ли мы до них когда-нибудь?» — я принялся беспокоиться...

Стоп! Что это?! Куда пропал вагон? Почему я на диване, и вокруг казенная мебель, и руку в сгибе ломит, и иголка из вены торчит толстая, и ватка туда тыкается... А что это за товарищи в белом? Куда они удаляются от меня? Что они со мной творили? Ведь я же совсем уже было уехал в вагоне. Ну и что, что по кругу. Главное не это!.. И люди в белом удаляются. И все — закрыл снова глаза. Руку только больно. Снова открываю глаза — перед диваном стоят мои дети. Петя стоит. Маша. Какие у них одинаковые глаза. Какие они похожие. И Паша — опять с двумя револьверами за поясом.

— Папа, пойдем потом домой, ладно? — говорит Петя.

— Ну тебя! Дай отцу очухаться,— одергивает его Маша.

— Не могу, ребятки, домой. Мне надо людей найти, людей. Я хочу найти их и вам хотя бы показать, рассказать...

А Паша, молчавший все время и поигрывающий курками пистолетов, вдруг заявляет:

— Я, пап, людь. И Петька — людь. Ну и Машка — тоже людь.

— А я?

— И ты.

43

«Администрация повести благодарит поэтессу Лялю Володимерову за предоставленную ею пишущую машинку на завершающем этапе строительства данной повести».

Комарово, 1987 г.

Елена УШАКОВА

◆◆◆

Закрытых век под солнцем внутренняя сторона —
Как бы души таинственный экран,
Изнанки световой загадочная жизнь полна
Клубящимися кольцами и контурами мнимых стран.

Куда так чудно, так взволнованно кипя, летят,
Дымясь, вздымаясь, розово-коричневые облака?
На что, на что так сладко намекает пятен ряд,
Перемещенье их, движенье — мысли правая рука?

Не кругосветное подержанное путешествие, нет-нет,
Не то я вижу в вихре точек, расходящихся кругов,
В миганье их, подмигиванье,— мне вручен билет
На праздник праздников, и сказку сказок, и сон снов!

Другого пропуска не надо, не ищу, не жду,
На доски облупившейся скамьи облокотясь;
И может быть, не только в море, но и в маленьком пруду
Заросшем, и не обязательно любовь, а лишь приязнь...

И если даже — страшно вымолвить — ты к креслу пригвожден
И удается изредка быть спущенным в дворовый сад,
Увидеть близко растопыривший все пальцы клен,
Как с тенью мягко бьется он, к земле лучом прижат,—

Заводится преступное такое подозренье: ты —
Ты счастлив, счастлив столько же, как если б мог
Объехать, обойти, обнять... все, все осуществить мечты:
С тобою вместе смотрит, дышит Бог!

◆◆◆

Мне, городскому жителю, сегодня, в августовский выходной,
Смеясь, пришлось, нет, довелось, покинув почву, соступить
На воду, под ногой заволновалось лодочное дно,
Мир двинулся, толкнул меня... какое счастье жить!

На привязи чужая лодка, но владельца нет, и мы вдвоем,
Ты на корме, откинувшись, устроился, и на тебя смотрю
Сквозь ветви ели, что свисают с берега, и в их проем
Мне видно небо. Помнишь фетовские строки про зарю?

А ты напомнил мне про ель,— как занавесила тропинку рукавом.
Я ветки колкие ловлю, отталкиваю и плывет
Скамья, зажатая двумя бортами, в гладком и густом
Колеблющемся темном зеркале, баюкающем небосвод.

Как молодой щенок, крутясь и прыгая, спасается от пчел,
Под нами пляшут в клочья расплескавшиеся облака.
И твой рассказ, как жил и страшно пил Фадеев,— ты прочел —
Признаться? — кажется обыденней, привычней, чем река.

Я прежде думала, что жизнь — лишь отраженье, лишь тень
Горячих, обжигающих, счастливых строк.
Но нет, я не права, теперь, когда так быстро день,
Едва начавшись, тут же и кончается, я знаю: впрок

Набрать, остановить, составить, удержать
Коллекцию из лютиков, крапивы, бузины, ольхи,
Малины, клевера и ряби на воде — всего, в чем благодать
Является,— вот для чего нужны волшебные стихи!

◆◆◆

И прожить ее вадо так, чтобы.
Саша Соколов

Сударь, сударь, отчего вы молчите...
Вы же знаете, что вышла кошка за кота, за Кота Котовича,
А также вас учили же Рио-Рите
В детстве, когда уже тогда вы получали свои девидовичи,
Ах, нет, детименты, простите,

В виде кусочков вечной тьмы тихо-темных,
Они нам бесплатно выдаются,
Рабам спецшколы, узникам тапочной системы незаемной,
Отечественной, рано утром, на блюдце
Вместе с номерками вы их получите у водоема.

Будьте внимательны и осторожны:
С каплей росы из ржавого крана
По слизистым трубам канализации ненадежной
В горечь реки Леты, в воды ее рукава или кармана
Соскользнуть ненароком можно.

И через секунду, если это слово — бессмысленная мука! —
Для вас что-то значит, вполне вероятно, окажетесь, к примеру,
В горловине только что выстроенного Римского акведука.
О Савл! Учитель, похожий на сенатора, легионера,
Сейчас-сейчас я протяну тебе памяти руку!

И гляди на проходящие поезда и трамваи,
Трам-ваи, ваи, сваи, не смотри, но глядя,
Аи, золотого, как небо, ай, доски, сваи,
Надписей на товарных вагонах ради
Признайся себе, в душе своей беспомощно прозревая,

Что без весла мандолинообразного в челноке по кругу,
По кругу в безумном челноке безутешное плавание
Вдогонку ненасытной любви и напрасному испугу
Так близко тебе, знакомо, так дорого, будто в родной гавани
Всю жизнь подарил праздному детскому досугу.

◆◆◆

М. Л. Гаспарову

Ветвистая речь поэта и служителя науки речь-машина,
Воздушная звуков толчея, потасовка, драка
И раскручиваемая устами докладчика стальная пружина,
Пристегнутая странным образом к стихам Пастернака.

Вот стоит за кафедрой главный участник Чтений,
Цифра к цифре пригнана и сопровождаема взмахом кисти,
Словно скандирует жестом свою диаграмму робот-гений,
В математическом сюжете есть что-то от Агаты Кристи.

Умное число передает, передает все смысла оттенки!
Будто нехотя под нажимом строгим дознания
Тайная тайных открывается, припертая к стенке,
Учтено и вычислено даже обманутое ожидание.

Мне процентное отношение улыбается сквозь цитату
И стих щебечет счастливо, я захлебываюсь от восторга,
То левое, то правое полушарие им объято,
Так и буду метаться меж ними «по гроб, до морга»!

Руслан ДЕРИГЛАЗОВ

Натюрморт

...Небо в припадке — вблизи и все ближе
негодованье... Но вот — пронесло...
Солнце шальное паркетины лижет,
в зеркале пляшет, рискуя стекло
выгнуть — и выбить — и трещинка мелко
затрепетала, змеясь и смеясь
над абажуром, столом и тарелкой,
чья упоительна зыбкая связь!..

Безысходная давит забота:
на себя, на себя оглянись!

Руки-ноги на месте как будто,
жив-здоров — на судьбу не греши.
Только саднит и жжет почему-то
в месте пусте на месте души.

◆◆◆

Жизнь прошла, словно с воза упала.
Пуст возок, и дорога к концу.
Жито много, да нажито мало.
Но — слеза молодцу не к лицу.

А потеряно важное что-то —
что-то больше, чем горькая жизнь.

Жизнь на ветру

Нервозность березовой рощи,
подветренной страсти толчки,
и по ветру душу полощет,
и кормится ветер с руки.

А город клубится картинно,
как будто бкваки в дыму,
и жалкого счастья пластинка
заиграна в каждом дому.

Межсезонье

1

Напыщен август, слог его витиеват —
глаголы медленны, эпитеты обильны:
так бронзовеет лист, и льстит ему трава,
и — к горлу ком — так подступают ливни
к глазам небес — не зная ни аза
из вечной прописи, так молнией мгновенной
вдруг ослепляет бренные глаза
геенны образом — как отворенной веной,
заворожив,— так двери отворив,
так — окна настежь, ветер в сердце бросив
одной пригоршней,— вынести прилив
и вод, и бед, поняв, что в мире — осень.

2

Бульвары медленны, заласканы листвой,
листвой залузганы, и лужицы заплата
беспечно весела, и все вокруг с тобой
по-детски запросто, почти запанибрата.
Зарплата далека — недалека расплата
за полдень солнечный, за воздух голубой;
дожди, колокола — взахлеб, наперебой —
все об одном твердят — что жизнь не виновата.
Всего-то — облаков одышливая вата,
примочка мятная да сквознячок рябой...

Михаил
ЛЕМХИН

«ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО У НАС С ТОБОЙ...»

Рассказ

Мой дорогой,
пока с тобой
мы живы,
все будет хорошо
у нас с тобой...
Булат Окуджава

Андрей выбежал на лестничную площадку, пиджак и галстук он держал в руке. Свободной рукой он сильно толкнул дверь — она захлопнулась с грохотом и лязгом замка.

Он надел пиджак, тщательно завязал галстук и похлопал себя по карманам — бумажник, записная книжка, авторучка, ключи — все на месте.

Площадка была освещена грязной и вместе с тем яркой лампочкой; от ведра с пищевыми отходами исходил теплый смрад. Андрей шагнул к окну и, распахнув его толчком, глотнул сырой вечерний воздух.

Под окном, на набережной, стоил пивной ларек — с очередью, с пьяными громкими разговорами; на булыжной мостовой, как обычно, лежал перебравший гегемон. В Крюковом канале неспешно циркулировали темные воды.

Грохотали машины, вспыхивали и тускнели папиросные огоньки у ларька; Андрей опять похлопал себя по карманам — курить было нечего — и через две ступеньки побежал вниз.

Дверь парадной грохнула, и, пробежав два лестничных марша, Андрей увидел человека, не спеша поднимавшегося ему навстречу. Еще не поравнявшись с Андреем, человек поднял голову и улыбнулся — очень странно и именно ему, Андрею.

Андрей вдруг снова ощутил помойный смрад, услышал уличные голоса и грохот заворачивающих по булыжнику грузовиков. Лампочка над головой была такая же яркая и грязная, как и двумя этажами выше. Все это, резко нахлынувшее, наверное, и породило страх. Андрей сжал в кармане ключ, хоть и не чувствовал себя способным ударить, если потребуется.

Человек был невысокий, скуластый, лет тридцати, из тех, кто ценит превыше всего мужскую силу и крепкий кулак. Такой под настроение может и дать с легкостью по морде — просто, для удовольствия. Тем более — явному негегемону, тщедушному интеллигенту.

С ухмыляющейся самоуверенной рожей, этакий первый парень на деревне, переселившийся в город,— в мелкую клеточку серая шляпа, черный, советского покроя, короткий пиджачок и коротковатые брючки, блестящие черные ботинки, белая нейлоновая рубашка с коротко повязанным галстуком,— он остановился, с улыбкой разглядывая Андрея.

— Андрей Семенович?

Андрею показалось, а может, так оно и было, что сердце перестало биться.

— Как удачно, Андрей Семенович, что мы не разошлись,— сказал человек, улыбаясь уже почти лучезарно.— А я ведь к вам.

Он вытянул из нагрудного кармана книжечку и, раскрыв ее, чуть протянул вперед. Андрей покорно спустился на три ступеньки, разделявшие их, чтобы заглянуть в книжечку, но человек, уже убирая ее, представился сам:

— Юрий Алексеевич Тузиков. Из Комитета государственной безопасности.

Он протянул руку, и Андрей пожал ее.

— Хотелось бы побеседовать с вами, Андрей Семенович,— сказал Тузиков вполне дружелюбно.— Никуда не спешите?

М. А. Лемхин родился в 1949 г. В 1973 г. закончил факультет журналистики Ленинградского университета. С 1989 г. живет в США, выступает в зарубежных русских журналах как прозаик, критик и публицист.

Как ни странно, Андрей почувствовал облегчение — оттого ли, что бить его не собираются, или оттого, что происходящее показалось ему знакомым. Хотя ничего такого с ним никогда не случалось, но думал уже он об этом, слышал рассказы; как бы из области современных мифов. Все оказалось обыденным и, в конце концов, законным, перед ним не стихия какая-нибудь, а представитель государственного учреждения.

Но отпустило его только на миг. Уже в следующую секунду панический страх охватил его, страх, сковывающий язык; все тело, казалось, окаменело, в висках возникли, пульсируя, оранжевые огни, а глаза, словно вывернутые внутрь, наблюдали их.

По-видимому, Тузиков прекрасно понимал, что происходит с Андреем. Во всяком случае, лицо его приняло выражение снисходительного сострадания.

Очень спешу. Понимаете, мой отец нездоров. А мне еще надо зайти к приятелю за конспектами. Я не могу поздно возвращаться. И мне завтра в Москву уезжать.

Все это — и еще многое другое — вертелось на языке, но Андрей подумал, что Тузиков наверняка слышал уже десятки подобных бессвязных объяснений. Все это ерунда, и от предстоящего никуда не уйти.

— Может быть, у вас дома? — спросил Тузиков.— Или это не совсем удобно?

— Понимаете, у нас одна комната, и отец не совсем здоров. И я с ним в ссоре...

— Ну, хорошо,— сказал Тузиков и, повернувшись, так же неспешно, как и поднимался, направился вниз.

Андрей поплелся за ним.

— Что же вы с отцом не поделили? — спросил Тузиков, не оборачиваясь.— Если не секрет, конечно.

— Понимаете, я хочу учиться в литературном институте. Уже творческий конкурс прошел. Через четыре дня у меня первый экзамен...

Они вышли на улицу. У ворот стояла светлая «Волга».

— Я думаю, удобнее всего нам будет побеседовать у меня,— полуобернувшись, сказал Тузиков без нажима. И открыл Андрею заднюю дверцу.

Сам он уселся рядом с шофером.

Андрей похлопал себя по карманам — сигарет не было.

— Угощайтесь,— сказал Тузиков, протягивая пачку «Антарктиды». Он и сам закурил и, повернувшись, дал прикурить Андрею от «зиповской» зажигалки.

— Да,— продолжил Андрей.— Народу ведь много. Это же, в общем-то, лотерея — экзамены. Я понимаю, он хочет, как лучше, но меня это коробит... Нужно мне было както помягче с ним, он больной человек.

— Вот именно,— сказал Тузиков.— Вот будут у тебя дети — сам узнаешь.

Разговор затеялся веселенький, подумал Андрей. Но дрожь не прошла. Неподвластное ему возбуждение металось в нем, сердце стучало, и хотелось говорить не умолкая...

Машина остановилась. Четвертый подъезд, увидел Андрей. Много раз он проходил мимо этого подъезда по улице Воинова — в доме напротив снимали комнату друзья — и каждый раз, проходя, он повторял строфу Бродского: «И по Гороховой троллейбус не привезет уже к судьбе. Литейный. Бежевая крепость. Подъезд четыре. КГБ».

Сердце вдруг точно споткнулось, и Андрей на миг ощутил в груди бесформенный, как мокрая вата, ком. Новая волна страха накатила на Андрея, и он, пройдя в двери с Тузиковым, не расслышал, что сказал тот дежурному за столом, не ощутил, как прошли к лифту, на какой этаж поднялись.

Потом они шли по длинному коридору, и Тузиков заглядывал то в одну, то в другую дверь, бормоча: «здесь неудобно», «куда бы нам с вами деться?».

Страх мягко отхлынул, сознание потихоньку прояснялось. Андрей, как со стороны, наблюдал шагающего Тузикова и себя, плетущегося сзади. Словно чужая жизнь на незнакомой улице, которую разглядываешь через замерзшее стекло трамвая.

— Минуточку,— сказал Тузиков и скрылся за дверью, неплотно прикрыв ее за собой.

Слышен был ленивый стук машинки, женский голос сказал что-то, Тузиков в ответ засмеялся и вышел, поигрывая французским ключиком на колечке.

Андрей шел за ним, пытаясь взять себя в руки. Остановились у двери с номером «386». Тузиков отпер ее, широко распахнул и, глядя на Андрея прозрачными своими глазами, пригласил:

— Заходите.

В большом кабинете стояли два стола — буквой «Т» — и стулья вокруг них. Оба окна были наглухо зашторены.

— Садитесь, Андрей Семенович,— сказал Тузиков, сам устраиваясь на начальственном месте.

Чей же это кабинет такой, подумал Андрей, усаживаясь в углу «Т», не лейтенантский же. Андрей почему-то решил, что Тузиков — лейтенант, ну, может быть, старший лейтенант.

Кабинет был безличен и не давал пищи воображению. Чисто, убрано и расставлено. Вот только шляпа, которую Тузиков положил на край пустого стола, была явно не к месту. Не вписывалась.

— Так вот, Андрей Семенович, хочу с вами серьезно поговорить,— начал Тузиков, не глядя на Андрея.— Вы ведь взрослый человек. А как себя ведете? Дружбу водите Бог знает с какими...

Он не договорил, явно ожидая ответа. Вероятно, это был следовательский прием. Во всяком случае надо молчать, решил Андрей, но, не выдержав, заговорил:

— Юрий...

— Алексеевич,— подсказал Тузиков.

— Юрий Алексеевич, я не совсем вас понимаю,— сказал Андрей с отвращением к себе.— С кем я вожу дружбу? Мои друзья или знакомые, люди...— на языке вертелось слово «лояльные», но Андрею оно показалось почему-то рискованным,— ...люди порядочные.

— Н-да,— Тузиков помедлил.— Значит, вы не понимаете, зачем вас сюда пригласили?

— Нет. Честное слово, нет.

Тузиков улыбнулся.

— И ничего за вами нет?

— Что вы имеете в виду?

— Нет ничего противозаконного? И вы даже не знаете, что такое «самиздат»?

— Ну, это все знают,— Андрей принужденно хихикнул.— У Кочетова, в романе «Что же ты хочешь?», это слово получило даже права литературные.

— Так что объяснять вам не нужно,— Тузиков тоже усмехнулся.

Только бы не ляпнуть ничего, подумал Андрей. Главное, спокойно.

— Значит, вы «самиздата» никогда не видели, не читали, никому читать не давали, не брали ни у кого. Так?

Согласиться — глупо. Не видел, не читал — ведь это бред, кто же поверит. А если читал, тогда — что именно, где, у кого?..

Андрей никак не мог собраться, мысли скользили, как рыба в руках. Надо было закурить и подумать. Он полез в карман пиджака. Да нет же сигарет. Черт! Как все скверно.

Тузиков выложил на стол свою «Антарктиду» и зажигалку.

— Угощайтесь, Андрей Семенович.

Андрей закурил и принялся рассматривать зажигалку, прекрасно сознавая, какая все это дилетантская игра. Да и не выигрывал он ничего своим затянувшимся молчанием. Говорить, говорить надо. Где же искренность, черт подери!

— Да нет, конечно. Нету у меня... «самиздата» и не давал я никому.

— И не видели никогда, и не читали ни разу?

Глупо, подумал Андрей, хоть что-то бы надо ему сказать.

— Слышал кое-что по «Голосу Америки»...

— И часто вы его слушаете, «Голос Америки»? — подхватил Тузиков.

— Слушаю иногда.— «Ведь про это же можно»,— подумал Андрей.— То есть, раньше слушал. Иногда. Теперь приемника нет.

— Ну, и что же вы слушали?

— Письмо Солженицына съезду писателей. Какие-то куски из «Ракового корпуса».

— А читать — не читали?

Все-таки надо что-то назвать. То, что читали все. Для достоверности. Простенькое что-нибудь... Безобидное...

— Ну, Бродского, например, читал, он сам мне давал, я с ним немного знаком. Булгакова — «Собачье сердце». Что еще?.. Письмо Эрнста Генри — Эренбургу... Может, еще что-то, я просто не помню.

Ненормально было бы, если бы я вообще ничего не читал, думал Андрей. Ну, пожалуйста, вот вам списочек. Все ведь это — ерунда. И про Бродского хорошо ввернул. Бродский их интересует. Можно будет поговорить вообще — про поэзию. Мол, непечатная эстетика, непривычная. А поэт — великий. Вон и два стихотворения в «Молодом Ленинграде» опубликовали. Значит, ГБ не против.

Игра началась, и он выбросил пару мелких козырей — пусть Тузиков за это схватится.

— И где же вы все это достаете? — Вид у Тузикова был безразличный и голос безразличный, как будто он и не ждал ответа. Или ответ не интересовал его.

Вполне нормальный дядька. Самому ему, наверное, скучно. Казенное место. Служба.

Держа сигарету в правой руке, Тузиков левой приоткрыл ящик стола и зашуршал там.

Андрей почувствовал, как лоб у него делается влажным.

Боже мой, что у него там, в столе?

— Вот честное слово,— начал Андрей и остановился, чувствуя, что голос дрожит. Он сделал глубокий вдох и прижал руку с сигаретой к груди.— Честное слово, не могу вспомнить...

Тузиков прервал его:

— Ну, ладно, а Валерия Петрова вы знаете? А Алексея Гамалила?

Валерий Петров, Гамалил... Андрей лихорадочно соображал, что это за люди.

— Нет. Их я не знаю,— он достал носовой платок и вытер лоб и липкие ладони.

— То есть, как — не знаете? — Тузиков пристально и, кажется, впервые серьезно посмотрел на Андрея.— Как это — не знаете?

— Да нет же. Я их не знаю.

— А они утверждают, что знают вас,— в глазах Тузикова появилось даже беспокойство.— Что ж это, в самом деле?..

Он выдвинул ящик и извлек оттуда несколько листков, сколотых углами.

— Вот,— сказал он со значением и помахал в воздухе этими листками.— Вы настаиваете, что не знакомы с Петровым и Гамалилом? Вы не давали Алексею Гамалилу письмо Солженицына?..— Тузиков как бы оборвал себя на полуфразе, собираясь сказать еще что-то, но не сказал.

Да, Гамалил его фамилия, черт его подери. Точно — Гамалил. Просто фамилию эту Андрей слышал лишь однажды. Вспомнились их прогулки по Литейному — от Дома писателей до Невского,— было это недавно, весной... и летом тоже. О чем же тогда говорили? Черт знает. О том же, о чем и с другими знакомыми.

Гамалил этот сказал, что у него есть «Эрика», и он сам перепечатает и письмо Солженицына, и Мандельштама, и Авторханова. Что-то еще, кажется, я ему давал... И о Чехословакии говорили...

Дурак, дурак, думал он. Но за что — меня одного? Почему — меня?

Он даже зажмурился на минуту. Хотелось сделаться крошечным, свернуться, поджав колени к груди. Стучало в висках, и от ушей к бровям расходились горячие волны.

Тузиков молча перелистывал бумаги, что-то подбирая и откладывая на край стола.

Что они теперь со мной сделают? — думал Андрей.

Он представил себе и камеру в этом доме — где-нибудь, наверное, в подвале, этакий сумеречный погреб,— и лагерь, опять же сумрачный — то ли вечер, то ли ночь,— похожий почему-то на барахолку: толпа мужиков в рваных ватниках, в кепках, в сапогах. Чья-то озверелая харя — и его, Андрея, бьют... Все это — от кого-то слышанное, где-то читанное,— оставляло хоть и бессвязную, но вполне определенную картину.

Но и поверить нельзя было, что все это будет. Будет с ним.

Это было невозможно. Поверить в то, что с ним так случится, было невозможно. Не может этого быть, не должно быть. Обойдется как-нибудь. Зачем я им — там?

Обойдется, обойдется, думал Андрей, улавливая какое-то новое чувство — сострадания, жалости к себе. Я ведь не самый для них зловредный. Они же это понимают. Надо их убедить, что я не такой. Говорить что-то, чтобы поверили.

Андрей привстал, вытянул из пачки сигарету и закурил. Он вдруг понял, что все в его руках, но руки у него дрожат, как у игрока, который может проиграть партию. Он не хотел поверить в самое худшее, и сознание услужливо подбрасывало что-то успокаивающее. Выиграть. Я должен выиграть, вот что. Может быть, повезет. Должно повезти.

Не глядя на Тузикова, Андрей, наконец, произнес:

— Да... Теперь я их вспомнил: и Гамалила этого, и его друга. Я и не знал, как его зовут, друга то есть. А Алексея этого я фамилию только раз слышал.

Андрей затянулся и принялся разглядывать свои руки — заметно ли они дрожат.

— И Солженицына я ему давал.

— И Авторханова?

Андрей сжался. Какая-то несуразная надежда все еще тлела. Губы у него затряслись, он чуть не заплакал. Хотелось просить пощады, и Андрей, содрогнувшись, невольно представил себе, как бы он при этом выглядел.

— И Авторханова тоже,— услышал он собственный голос.

— Что же вы, простите за выражение, дурака валяете! Ведь взрослый человек, должны отвечать за свои слова. Что вы говорили двадцать минут назад?

— Испугался,— вполголоса произнес Андрей, вспомнив советы Сергея Григорьевича Володина.

Тузиков опять зашуршал у себя в столе, и на этот раз Андрей увидел, чем он там шуршит. Собственно, теперь Тузиков этого и не скрывал. Он извлек из обертки шоколадную конфету, почти демонстративно покрутил ее в пальцах и положил в рот.

Андрея передернуло — Тузиков мало того, что кушал с удовольствием, но и как бы демонстрировал это свое удовольствие ему.

Что же он, подумал Андрей, конфеткой меня пугает? Мол, не скоро теперь конфет-

ку съешь. А все может быть! Он поговорит со мной и поедет домой или к бабе, а меня — в камеру...

— Так как же все-таки? — спросил Тузиков, дожевав.— Вы можете говорить, как взрослый человек?

Он облизнул верхнюю губу и с нажимом провел по лицу ладонью.

Андрей молчал. Тузиков медленно вдвинул ящик на место.

— Где же вы все это берете? Если не секрет, конечно.

Андрей снова потянулся за сигаретой; в пачке была последняя.

— Угощайтесь, угощайтесь,— улыбаясь, сказал Тузиков. Он положил на стол другую, тоже открытую, пачку «Антарктиды».— Так где вы взяли все это: письмо Солженицына съезду писателей, «Технологию власти» Авторханова?..

Андрей подавился дымом и закашлялся. Черт, какая гадость! Да где взял? Где взял?.. Купил. Черт, ни разу не видел, чтоб продавали. Он вспомнил наставления Сергея Григорьевича: выбрать какого-нибудь реального человека и описать его — иначе собьешься. Значит, так. Высокий блондин, коротко пострижен, маленькая бородка, а усов нет. Откуда же он взялся? Кажется, с «Ленфильма».

Ну, давай, давай, командовал он себе. Ты провинился, разбил мамину любимую чашку или вроде этого. Пусть он видит, что ты боишься наказания. Он и так считает тебя дураком и трусом. И пусть. Ты боишься, хотя на самом деле не совершил ничего плохого. Ну, интеллигент. Нас вечно интересует всякая бредятина.

— Понимаете, интересно прочесть все самому. Тем более,— Андрей опять закашлялся и погасил сигарету,— тем более, я Солженицына считаю писателем замечательным, и если он даже в чем-то не прав, так ведь и это интересно. Ошибки замечательного человека не менее важны, чем его открытия... Ну вот, когда я увидел его письмо, решил купить. В садике, около книжного...

— И Авторханова? — перебил Тузиков.

— И Авторханова тоже. Я же не знал, что это такое. У того же человека. На машинке...

— И сколько заплатили?

— Два рубля за письмо и пятнадцать за «Технологию власти». Семнадцать всего. Он хотел восемнадцать — три за письмо,— но больше у меня не было денег, и он отдал за семнадцать.— Андрей похвалил себя мысленно за такую реалистическую деталь.

— Когда это было?

— Ну, года полтора назад. Вскоре после съезда писателей.

— А что за человек? Вы с ним знакомы?

— Нет. Я его не знаю. Просто продавал...

— Как выглядит? Ну опишите его. Как одет?

— Блондин, высокий...— Андрей остановился, как бы вспоминая.— Лет тридцати. Маленькая бородка, а усов нет... Это я точно запомнил. Странный такой вид... редко встречается,— Андрей робко улыбнулся.

— А после вы его встречали там? Или где-нибудь еще.

— После не встречал.

— Что же он — раз пришел, и все?

Не верит, конечно. Но могло же так быть. Что они, всех торговцев переловили?

— Я не знаю,— сказал Андрей,— может быть, он там и бывает, но я его не видел. Я-то довольно редко хожу туда.

— А что вы там делаете — в садике?

— Книги покупаю,— Андрей пожал плечами.— Книги, что же еще. Которые не достать. Или меняю. Цветаеву вот купил недавно. Ну, по искусству хорошие книги.

— А заграничные издания вы не покупаете?

Вот сука! Что же ему еще назвать? Ведь не «Цемент» же должен гнусный интеллигент читать. Но, сделав шаг, дергаться глупо, нельзя выходить из образа.

— Я бы хотел кое-что купить, конечно,— сказал Андрей,— но все очень дорого. Вот Мандельштам. У нас, к сожалению, нет пока ни одного большого издания. Много публикаций по журналам, но книги нет.— Андрей механически взял из пачки новую сигарету и раскурил, хоть минуту назад решил, что в рот их больше не возьмет.— Ну, и Пастернака. Честно говоря, хотелось бы прочесть «Доктора Живаго». Я вообще очень люблю Пастернака. Вот итальянские коммунисты эту книгу напечатали и очень высоко оценили. Я убежден — это просто недоразумение, то, что с этим романом произошло. Пастернак и не мог написать антисоветскую книгу. Это великий поэт,— Андрей помедлил.— Я даже в Милан писал два раза, там есть организация, которая занимается посредничеством в обмене книг. Посылаешь туда наши книги, а тебе взамен и художественную литературу, и альбомы хорошие присылают. Правда, я им два раза писал и бандероль с книгами послал, но почему-то они мне не ответили.

Сейчас спросит, где взял адрес, подумал Андрей. Зря высунулся.

Кажется, он нашел, наконец, правильный тон, то есть говорил правду, ничего не

придумывая. Говорить стало легче и, по-видимому, Тузиков всему верил. Так и надо. Просто огибать углы, а говорить правду. Сергей Григорьевич именно это и советовал. Вот с адресом, черт, вышла промашка. Тоже не помню, у кого взял. Все впечатление портится сразу. Ну, взял у Мишки. Что тут особенного? Мишка ведь все равно меняется, и никто его не трогает.

Копии тех писем хранились у Андрея, и он порадовался, что в случае чего, написаны они умно: «желая в меру своих сил способствовать культурному обмену между нашими странами в пропаганде советской литературы, посылаю вам книги Аксенова, Стругацких, Казакова, Белова...»

— Больше я не писал... А теперь уж и адрес потерял,— добавил Андрей.

— Есть такая организация,— сказал Тузиков.— Мы могли бы вам помочь наладить с ними связь. И адресок я вам найду. Тут нет ничего предосудительного. Ну, если, конечно, вам присылают что-нибудь не по заказу — бывают такие провокационные посылки,— то вы их нам и принесете... Сколько стоит Цветаева в вашем садике?

— Пятнадцать рублей,— быстро ответил Андрей.

— Ну вот, пятнадцать рублей. Нельзя же все у отца брать. Вот вы студент... без пяти минут студент,— прибавил он, заметив движение Андрея возразить, но, похоже, без всякой ехидцы.— Еще шесть лет будете учиться. Тем более в Москве. Ведь все отец должен купить. Вы же не на завод идете деньги зарабатывать, а в институт. Конечно, вам надо учиться. Вы себе хорошую специальность выбрали. Интересную. И поездите везде. И за границу, бывает, ездят.

Ведь он же предлагает все это, вдруг понял Андрей. Именно предлагает.

Привстав, Андрей взял новую сигарету и, затянувшись, сразу почувствовал, как кружится голова. Он даже пощупал рукой стул, не оборачиваясь, прежде чем снова опуститься на него.

Значит, все, что было,— разговоры, ерунда. Главное — сейчас и начинается, подумал Андрей.

— Ведь мы хотели к вам прийти с обыском,— продолжал тем временем Тузиков.— Но потом решили — зачем позорить? Молодой человек совершил необдуманный поступок. Решили — поговорить. Надеюсь, мы не ошиблись?

Андрей лихорадочно соображал. Сделать вид, что не понял? Подождать, что Тузиков скажет еще? Безусловно, так. А потом? Дальше-то что? Он ведь сулит и стращает, все по правилам — кнут и пряник. Что же ему ответить? Как сказать, чтоб он понял, что я... в общем, хороший; ну, сделал по молодости ошибку, но я, конечно, за... них, и не могу служить только потому, что не гожусь. Так вернее. Но как это подать?

Взглянув на Андрея, Тузиков раздавил недокуренную сигарету в пепельнице, выдвинул ящик стола и нашарил новую конфетку.

Андрей сжал зубы — на него вдруг накатил приступ бешенства. Дома в таком состоянии он ломал первое, что подворачивалось под руку, орал. Даже самому бывало страшно. И Лида видела его таким и боялась.

Играя скулами, он вытащил из кармана расческу и стал один за другим отламывать от нее зубцы. Кровь пела в висках. Ему было плевать на Тузикова вместе со всем его КГБ до Андропова включительно. Кусая губы, он медленно крошил расческу, как вдруг один острый зубец воткнулся под ноготь. Боль была неожиданно приятная. Андрей сунул обломки в карман и принялся обсасывать палец, на котором потихоньку выступала кровь. И тут он сообразил, что момент уходит. Нужно говорить. Что-то сказать нужно, иначе Тузиков передумает, примет какое-то другое решение.

Андрей разглядывал свой палец, время от времени поднимая глаза на Тузикова, но тузиковский взгляд ничего не выражал важного, нужного.

Тузиков съел конфету, облизнулся и внезапно взглянул на Андрея с необычайным вниманием, даже брови поднял; на миг они встретились глазами, и Андрей почувствовал, что и глаза его могут сказать что-то лишнее, что повредит ему, испортит все.

Но Тузиков взглянул на часы и сказал:

— Двадцать пять минут двенадцатого. Позвоните домой.— И добавил после маленькой паузы: — Чтобы не волновались.

Андрей почувствовал, что сейчас заплачет. Слезы навернулись на глаза, и он быстрым движением руки смахнул их, потерев и щеку, будто что-то счищал прилипшее. Он понимал, что Тузиков может попросту сбивать его с толку, но это понимание было из какой-то другой жизни, из детективной книжки — бред, фантазия. Да что ему еще от меня нужно? Они же и так все знают. Просто пугает. Неужели они стали бы меня сажать? Так можно пересажать пол-Ленинграда.

Тем временем Тузиков зажег настольную лампу и, неспешной, кривобокой какой-то походкой пройдясь по кабинету, выключил верхний свет.

— Позвоните отцу,— сказал он настойчиво.— Половина двенадцатого.

Действительно, надо позвонить, решил Андрей. Но вместо того, чтобы развернуть телефон к себе, он, повинуясь какому-то новому чувству легкости, обошел стол и, усевшись на место Тузикова, стал набирать номер.

Тузиков смотрел на Андрея, засунув руки в карманы брюк — при нерасстегнутом пиджаке — и чуть подавшись корпусом вперед. На лице его определенно обозначился интерес, любопытство.

В трубке отцовский голос произнес всегдашнее: «Вас слушают», и Андрей, испытав обычное легкое раздражение, сказал:

— Это я. Я задержусь у приятеля. Не закрывай на задвижку.

К удивлению Андрея, не последовало ни брюзжащей скрипучей брани, ни вопросов: где? когда явишься? Некоторое время ничего, кроме отцовского астматического дыхания с присвистом, не было слышно, потом отец произнес лишь одно слово: «Хорошо». Но трубку не положил тут же, что было совершенно на него не похоже.

Андрей подождал некоторое время. Отец молчал, и Андрей положил трубку сам. Потом он закурил уже черт знает какую сигарету и, обойдя стол, сел на свое место.

От долгой беседы с Тузиковым, от полумрака в комнате, от прошедшего страха, от утомления Андрей чувствовал какую-то расслабляющую умиротворенность. Все казалось обыденным и зеаотно скучным.

Что он находится в КГБ, что перед ним настоящий живой «чекист», что от этого ася его жизнь, которой он жил до сего дня, могла совершенно перемениться,— все это, захлестывающее его ужасом только что, представлялось сейчас просто невероятным.

Вот он сам, целый и невредимый, вот напротив него сидит вроде уже знакомый дядька: одет модником, посасывает конфетки, щурится от дыма зажатой в зубах сигареты. Ничего необычного, сверхъестественного не было, в сущности, в этом человеке, и ничего сверхъестественного не происходило.

Заторможенным своим мозгом Андрей понимал, что именно этого, верно, Тузиков и добивался. И добился, чего хотел. Ну и что? Что, собственно, он выиграл?

— Вы понимаете, Андрей Семенович,— обратился к нему Тузиков доверительно,— что вы сделали? — Он смотрел на Андрея даже с сочувствием.— На людей еще... ну, не окрепших, легкомысленных, эти ваши солженицыны могут произвести очень нехорошее действие. Надеюсь, теперь вы понимаете?

— Да-да, конечно,— сказал Андрей быстро.— Теперь, конечно, понимаю.

Каяться нужно, подумал Андрей, в грудь себя бить, душу изливать. Но сил не было подыскать необходимые осторожные слова.

— Я вас уверяю, что больше никогда ничего подобного не сделаю. Да и...

Андрей не знал, что сказать еще, фраза не продолжалась сама собою — не было в голове подходящего стереотипа. Но Тузиков, аидимо, и не ждал никакого продолжения.

— Ну, что ж,— произнес он раздумчиво.— Очень бы хотелось вам верить. Вы молодой человек, вся жизнь впереди.

Опять он за свое, вяло подумал Андрей.

— У вас впереди вся жизнь,— говорил Тузиков.— Вы думаете, *как* вы собираетесь жить? Честным человеком? Я надеюсь, то, что произошло, послужит вам хорошим уроком.

— Да, конечно,— с готовностью подтвердил Андрей.

Происходило уже нечто совсем знакомое. Как на педсовете. Самое худшее уже позади, выговор объявлен, но, по инерции, еще долдонят. Воспитывают. А большинство просто изображает деятельность. Всем надо выступить. И этому тоже надо выступить, галочку поставить в графе — есть ведь, наверно, и у них «воспитательная работа».

— Но ведь есть люди,— продолжал Тузиков с необычайной гладкостью речи,— и вы, вероятно, с такими встречались, которые стоят на грани, скажем прямо, совершения антиобщественных поступков или даже преступления. Понимаете, если человека вовремя не остановить, не помочь ему — легковерного, увлекающегося человека, в сущности, хорошего человека, но который еще не тверд в своих убеждениях, возможно, мало знает реальную жизнь,— такого человека легко ввести в заблуждение. Вы понимаете меня, Андрей Семенович? Вот мы с вами побеседовали, вы поволновались, конечно, но это заставило вас задуматься о своих поступках, да и о дальнейшей жизни. Так? Ведь людям надо помогать! Главная наша задача — не дать совершиться преступлению. И в этом вы тоже могли бы нам помочь. Как вы на это смотрите?

Вот как все просто, подумал Андрей. Такой оборот беседы уже возникал в его воображении и ответить было нетрудно.

— Конечно,— сказал Андрей,— я тоже считаю, что человеку надо помочь, если он заблуждается. И я всегда, конечно, готов помочь вам, если... смогу. Я только не знаю...— Андрей постарался улыбнуться, и Тузиков улыбнулся а ответ.— Как бы это сказать? Я не уверен, что мне представится случай. Мои знакомые, друзья — честные, советские люди...

— Верно,— остановил его Тузиков, все так же, по-приятельски, улыбаясь.— Но вот вы тоже честный молодой человек, а вели себя не лучшим образом. Распространяли «самиздат».— Андрей дернулся вставить что-нибудь в свое оправдание, но Тузиков не дал ему.— Вот об этом я и говорю, о таких случаях. Если вам что-то покажется нуждающимся в вашем вмешательстве, я не сомневаюсь, вы сами вмешаетесь. Но в трудных случаях — обратитесь за помощью к нам. Мы с вами будем иногда встречаться, и если что-то вам покажется важным, вы мне расскажйте.

Чертовски все складно, подумал Андрей, некуда слово вставить. А между тем вот он — решающий момент. И надо проявить изобретательность, как-то прилично и осторожно отказаться. Но как?.. А он думает, что я уже у него а руках. Андрей невольно взглянул на Тузикова и тут же отвел глаза. Тузиков сидел выпрямившись, держа руку с сигаретой на отлете, и смотрел на Андрея. Ну, что ж. Я у него в руках. Пусть так и считает. Вообще-то он ведь ничего и не требует — стучать на друзей, выведывать. «Ничего важного не заметил» — всегда можно так сказать. А специально с кем-то знакомиться, что-то выпытывать — «этого н не умею».

Андрей уже чувствовал себя уверенно.

— Все же боюсь, Юрий Алексеевич, мало смогу быть вам полезен,— сказал Андрей.— Я с людьми схожусь очень трудно. Ну, есть у меня знакомые, друзья. Как я уже сказал аам, все честные советские люди. А с кем-то сойтись специально, пойти куда-то — я не смогу, не умею. И потом, я же уеду в Москву. Если примут...

Он почувствоаал, что начнет сейчас повторять то же самое, но еще и многословнее. И сонливость, размягчающая мозг, обволакивала его все сильнее. Ничего страшного, подумал он. Все уже не страшно.

— Мне кажется, вы меня неправильно поняли,— Тузиков глядел на Андрея с недоумением.— Вы думаете, я предлагаю вам быть шпионом, «осведомителем»? У нас таких нет — *осведомителей*,— он почти по слогам произнес это слово.— Я прошу вас помочь вашим же друзьям, знакомым. Если, конечно, возникнет такая необходимость.

— Да-да, разумеется,— поспешно сказал Андрей.

— Так вы не отказываетесь нам помочь?

— Да нет же, нет.

— Вот и отлично. Вы, наконец, меня правильно поняли,— сказал Тузиков с придыханием, словно о чем-то интимном.— Вы запишите, пожалуйста, мой телефон. Запишите...

Андрей, как во сне, достал записную книжку и принялся ее бессмысленно листать; потом, спохватившись, открыл на букве «Т» и вытащил ручку.

Тузиков обошел стол и стоял в полуметре от Андрея. От него едко пахло потом.

— Вы запишите — на «Ю»,— сказал Тузиков.— «Юра» и все. Не забудете?

Он продиктовал телефон, и Андрей записал.

— Ну вот,— сказал Тузиков.— Теперь, пожалуйста, напишите еще вот что.

Он вернулся к столу, взял из пачки лист мелованной бумаги и протянул Андрею.

— Пишите. Я продиктую.

Вот черт. Что же надо писать, обязательство какое-нибудь? Никто не узнает, конечно. Но лучше бы — без этого...

— А что писать? — спросил Андрей.

— Я же сказал — продиктую. Текст такой: «Обязуюсь не разглашать существа беседы, имевшей со мной место в органах КГБ». Число и подпись. Пишите.

Андрей асе написал, подивившись туманной канцелярщине, и передал бумажку Тузикову. Потом взглянул на часы: без трех минут двенадцать. Кажется, он отделался без особенных потерь.

Он разглядывал циферблат довольно долго, надеясь, что Тузиков скажет: «Да-да, уже поздно». Но Тузиков, убрав бумажку в стол, закурил новую сигарету, откинулся со стулом к стене и, как-то неуклюже развалясь, покуривал.

Непонятно было, чего он еще хочет. Судя по всему, он фиксировал создавшееся положение.

Похоже, что вывернулся, думал Андрей. Хотя с обыском они теперь не придут, он решил завтра же унести из дома все, что было. Шесть книг. Или пять — Фромма можно оставить, это их не волнует. В папках нужно еще разобраться: там всякая всячина, и на моей машинке. И в дневнике.

Андрей еще раз взглянул на часы — восемь минут первого — и уже откровенно посмотрел на Тузикова.

— Ну, что же,— сказал Тузиков, гася сигарету,— время позднее. Я думаю, наша беседа будет вам полезна и поможет правильно сориентироваться. Обращайтесь, если возникнут вопросы.

— Спасибо, Юрий Алексеевич,— Андрей поднялся. Он совершенно уже пришел в себя, в голове было даже какое-то просаетление.— Если столкнусь с чем-то, требующим вашего вмешательства, обязательно обращусь... позвоню вам.— Он хлопнул по карману, в который положил записную книжку.

— Да нет. Я не об этом. Мало ли что вам понадобится — помощь, поддержка в чем-то для вас важном.

Андрей постарался изобразить самую доверчивую улыбку.

— Спасибо большое, Юрий Алексеевич. Самое важное для меня сейчас — писать. Я думаю, если есть у меня способности, напишу что-то стоящее, интересное, а если нет таланта — тут уж ничем не поможешь. Ну, это дело — внутреннее, что ли. Я еще с пятого класса мечтаю поступить в литературный институт.

— Пожелаю вам успехов,— Тузиков поднялся и протянул через стол руку.— До свидания.

— До свидания, Юрий Алексеевич,— сказал Андрей, пожимая руку.

— Сейчас я вам выпишу пропуск на выход,— сказал Тузиков и снова присел. Он почиркал что-то на бланке, пришептывая: — Александров Андрей Семенович... Так... Следователь Тузиков Ю. А. А вы печатали свои рассказы уже где-нибудь,— не отрываясь, произнес он как-то без вопросительного знака, так что Андрей не сразу понял, что Тузиков к нему обращается.— Печатали что-нибудь? — переспросил Тузиков, оторвавшись от бланка.

— Нет пока...

— У меня есть знакомый в журнале...— назвав журнал, Тузиков помолчал выразительно.— Он мог бы, ну, обратить внимание, чтобы отнеслись серьезно. Ведь это очень много значит.

И он прямо и очень откровенно поглядел на Андрея.

В журнале, о котором говорил Тузиков, лежали четыре рассказа Андрея. Неужели он знает? Конечно, знает. Андрей представил себе страницу со своей фамилией сверху и рисуночком к рассказу. Было это так желанно, что уже и перестало казаться возможным. Рассказы-то хорошие, подумал Андрей. Стоит их напечатать, и он займет свое место, станет писателем, от которого не отмахнешься. А что? Шерсти клок. Кто-нибудь узнает... А я и сам потом могу раззвонить: мол, шерсти клок. Рассказы-то — хорошие. Хрен бы их так напечатали... Да и так не напечатают, это он заливает. Просто покупка.

— Спасибо большое вам, Юрий Алексеевич. Не стоит беспокоить человека, неудобно...— Хоть в тот момент, как Андрей открыл рот, он хотел отказаться и получилось что соглашается.

Цену себе набивает, подумал Андрей со злостью. Ни черта он не может. Кто он тут такой? Ерунда.

— У меня к вам еще один вопрос,— Тузиков перебирал какие-то бумажки в папке, загнав сигарету в угол рта и щурясь от дыма. Он не глядел на Андрея, и Андрею даже показалось, что у него просто слуховая галлюцинация. Он уже чувствовал себя почти как в гостях у полузнакомого полувлиятельного человека: поговорили и неудобно сразу уйти. Он придумал и конец этой литературной беседы, оставалось только доиграть. Но вдруг возник новый голос, который не вписывался в готовый сценарий.

Андрей достал очередную сигарету из тузиковской пачки и закурил. Тузиков молчал как будто и позабыл, что он здесь не один, и все рылся не спеша в папке.

Андрей почувствовал, что второе дыхание оказалось недолгим. Опять наваливалась усталость.

Денек-то действительно выдался — и здесь он уже Бог знает сколько, и с отцом поцапался, а до его прихода работал, как зверь. И утром еще был у Лиды. Отец прекрасно вписывался в сегодняшний день, в этот ряд, а Лида уж совсем никак, неужели сегодня это было? Они боялись, вдруг услышит ее бабушка, которая гладила белье в соседней комнате. Хотя бабушка не вошла бы, да и не слышала ничего, но Лида вдруг вскрикнула, расцарапавшись о браслет, который болтался на руке у Андрея; и Андрей оцепенев, следил, как по ранке выступает темная, почти вишневая кровь, и вдруг в каком-то сумасшествии принялся слизывать ее, размазывая по губам и по лицу. И тут бабушка включила радио на полную катушку:

Не надо печалиться —
Вся жизнь впереди...
Надейся и жди.

По ступням забегали мурашки. Ноги были как не свои. Андрей неуверенно отступил на полшага, почувствовал за собой стул и сел. И в тот же миг суеверный ужас охватил его. Он уже был почти дома, уже вне этого здания, этого кабинета, вон лежит его пропуск, и снова он сидит на том же стуле, напротив Тузикова — и все начинается опять. Он хотел вскочить, выругаться, и только мысль, что это будет предельно глупо, остановила его.

Тузиков взглянул на него с удивлением, словно и не ожидал увидеть его здесь, словно бы задумался, а скрип стула оторвал от размышлений. Он закрыл папку и, вытащив из кармана китайскую ручку с золотым пером, поставил на обложке какой-то значок.

Ужас нарастал. Зашевелились шторы на окнах, в углу затрепетали тени. Андрей почувствовал тошноту, как с похмелья, и закашлялся, прикрыв рукой рот.

Он всматривался в Тузикова, подмечая безотчетно все, чего не видел раньше: оттопыренные уши, морщины на лбу, резкие, неровно выбритые скулы, маленькое родимое пятнышко на правой щеке. На столе шевелились тузиковские руки — одна, сжимавшая край стола, то напрягалась, то ослабевала, другая двигалась по листу глянцевитой бумаги, покрывая его быстрым убористым почерком.

Андрей силился понять, что же изменилось, облечь в ясные слова непонятно откуда взявшуюся уверенность, что вот пришла решающая минута, когда нужно собрать все силы. Он еще не понимал, что такая минута давно уже прошла.

— У меня к вам еще один вопрос,— сказал наконец Тузиков.— Вы ведь знакомы с Сергеем Григорьевичем Володиным. Давно вы с ним знакомы?

— Четыре года. Я у него занимаюсь в группе прозы,— Андрей ответил почти шепотом.

— Не понял,— Тузиков, видно, и в самом деле не расслышал, и Андрей повторил громче:

— Четыре года.

В каком-то болезненном озарении он разом увидел все два с половиной часа, проведенные в этом кабинете, и свое бессилие, и самоуверенность, и свой страх, и что сейчас произойдет еще.

— Вот показания Володина,— Тузиков взмахнул листком, через который просвечивался машинописный текст.— Вот, пожалуйста: он давал вам «Технологию власти» Авторханова, письмо Солженицына съезду писателей и другие письма Солженицына, «Крутой маршрут» Гинзбург, «Собачье сердце» Булгакова и так далее. Я думаю, не стоит перечислять — вы и сами прекрасно знаете. Давал и просил распространять.

Андрей кивнул. Страх вдруг ушел. Было только гадко.

Тузиков, выдержав паузу, убрал листок и снова принялся рыться в бумагах.

С удивлением Андрей отметил, что его совершенно не волнует, *почему* Сергей Володин все это им рассказал, что́ его заставило. Сергея Григорьевича он знал хорошо и считал его одним из самых близких людей. Во всяком случае он, Андрей, какой он есть, сформировался в значительной степени благодаря Сергею Григорьевичу. И не один он. Володин не только учил их элементарной писательской технике. Все они любили его, и Андрей не меньше других. Но еще он знал — и гордился этим,— что из всех ребят он был Володину самым близким.

Андрей не сомневался в своем таланте, своих знаниях, и ему бы в голову не пришло допустить, что кто-то думал и решал за него — что́ для него лучше, что хуже. Он понимал, что Сергей Григорьевич не решал за него. Давая свои показания, он решал только за себя. Но если так, еще важнее было понять, почему он это сделал, что заставило его заложить себя и других. Но нет, мысли Андрея проскакивали этот маленький узелок, как бы и не замечая, без остановки. Безразлично — вот точное слово. Он был удивлен этим безразличием, но думать об этом он не мог себя заставить.

— Двадцатого мая Володин в своем кабинете, в редакции, дал вам прочесть написанную им статью. Злобную антисоветскую статью... Давал ли Володин при вас эту статью еще кому-нибудь? Может быть, он рассказывал вам, что кто-то еще читал...

— При мне никто не читал,— ответил Андрей.

— Ну, а не при вас?

— Не знаю.

— Хорошо. Вот вам бумага. Напишите, пожалуйста, как, при каких обстоятельствах вам давал Володин свою статью, что он говорил о ней. Постарайтесь вспомнить.

* * *

На следующий день Андрей уехал в Москву. Экзамены сдал он нормально и при одной четверке прошел. Проходили по конкурсу даже и с двумя четверками.

Через месяц, вернувшись в Ленинград, он узнал, что Сергей Григорьевич работает, как и работал, и ничего с ним не произошло.

Андрей осторожно расспрашивал, но никто ничего не знал, ничего и не происходило. Андрей разговаривал даже с самыми близкими к Сергею Григорьевичу ребятами из секции, кого-то из них наверняка должны были вызвать, потому что и они — Андрей не сомневался — тоже читали статью. И, конечно, Сергей Григорьевич давал им «самиздат». Но никто не рассказывал — ни о себе, ни о других. А зайти к Сергею Григорьевичу не хватало сил.

Так прошел еще месяц, и пора было возвращаться в Москву.

Уже в Москве он узнал, что журнал принял все четыре его рассказа. Он позвонил Володе. Володька, добродетельная душа, расписывал, как он толкал эти рассказы и как все отлично получилось: и сам Андрей мило говорил с главным и понравился ему, и тут как раз совещание молодых писателей, а у журнала нет свежего кадра — вот Андрея и пошлют.

Хотелось думать, что все сложилось само, обошлось без Тузикова, хотя в глубине души Андрей в это не верил.

Володька, кстати, помянул между делом, что зам главного сейчас в Италии. Именно

зам главного, в представлении Андрея, должен был быть тем, тузиковским, человеком. Само собой, конечно, и главный как-то связан с КГБ — Андрей был в этом убежден — по должности положено. Но не сам же главный вдруг запросил у Володьки рассказы. Даже если через Тузикова, главный же не мог затребовать рассказы, о которых и не знал ничего, запомнить автора — мальчишку, с которым разговаривал две минуты в коридоре, ожидая машину. Скорее всего — зам.

А может, сам Володька у них служит? Дико, но не так уж невероятно.

Андрей думал и об отце: очень странно он вел себя в тот день. И на следующий день не сказал ни слова о своей помощи в поступлении. Вечером спокойно проводил на вокзал: как будто и сомнений не было, что сына в институт примут...

* * *

Учась в институте, Андрей выпустил первую книжку и вскоре вступил в Союз писателей.

Он был уверен, что пишет честно. Если о чем-то нельзя было сказать, он предпочитал вообще не писать, но не лгал.

Он довольно много писал, благополучно печатался, много ездил.

Иногда он встречал ребят из володинской секции, встречал и самого Сергея Григорьевича. Сталкивались они, как правило, в начале Невского — Андрей жил там, а Сергей Григорьевич ходил из Герценовского института, где он теперь читал лекции. Чаще всего они направлялись в «Кавказский», там обедали, говорили о литературе, о литературных сплетнях, о книгах Андрея, раза два Сергей Григорьевич приглашал его выступить перед студентами.

Андрею не так уж приятны были эти встречи: ни он Сергею Григорьевичу, ни тот ему ни слова не сказали о том, что произошло. Впрочем, Андрей вовсе не был уверен, что Сергей Григорьевич что-либо знает о нем, о беседе с Тузиковым.

Андрея никто не вызывал, не требовал информировать, помогать. И хотя временами Андрею казалось, что *ему* помогают, он не хотел думать об этом. Он убедил себя, что свои дела делает сам.

Постепенно какая-то таинственная часть его существа сделала свое дело, да и сталкивались они с Сергеем Григорьевичем не так уж часто, а жизнь текла своим чередом, и Андрей стал относиться к Володину, в сущности, как и ко всем прочим.

Иногда, после встречи с Володиным, выпив коньяку за обедом, он направлялся в «Советский писатель» и, пройдя по мраморным ступеням лестничный марш, останавливался у огромного зеркала, висящего в Доме книги на таком неподходящем месте. В зеркале можно было увидеть себя во весь рост; Андрей смотрелся в него с детства, и теперь, подойдя к нему вплотную и видя не только свое лицо, но и десяток других лиц, десяток людей, спускающихся и поднимающихся, он спрашивал себя: «Изменился ли я? Чего они добились?»

И решал каждый раз — ничего.

1977

Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ

Ул. Рубинштейна, 36

Дом рождения Мандельштама
Я топила четыре года
И не видела там таблички
«Дом рождения Мандельштама».
Ох, не зря эта рифма — «яма»...
Но смягчается и погода
Даже в Пасмурном Ленинграде.
Будет, будет у Вас табличка,
Не горюйте же, Бога ради,
Потерпите, Осип Эмильевич.

Терпеливей русских поэтов
Никого, верно, в мире нету,
Что особенно верно,— к трупам
Применительно.
К ржавым трубам
Здесь склонялась я, крыла вентиль,
Рисовала в блокноте вензель...
Поколение кочегаров
Уважало вас за желёзки,
Не «Икарусов», а Икаров
Современника.
Здесь железки
На помойке.— Остов ракеты?
Не припомню, моей ли? Вашей?
Будем рядом висеть,— поэты
Над кошачьей мерзлой парашей.

Только мне еще ждать кончины,
А потом уж — доски на двери...
Ничего, мы женомужчины
(Род — советский...) умеем верить.
Будут, будут наш дом с котельной
Словно крестик беречь нательный...

А пока он известен тем, что
Из окна здесь выпал ребенок,
И родителей не утешить:
Пьют, как пили... Только спросонок
Часто спрашивают прохожих
(И ко мне обращались тоже),
Кто ж там помер: Старшой ли? Вовка?..
Вот и все... Продолжать неловко.

Обмен

Буду жить здесь, глаза отводя,
Незастроенной высью проветрив,
За гранитной спиною вождя
У пузатого Дома Советов.
Даже урна в дебелом снегу —
Как пилястра...
Гигантствует рядом
Все, чего никогда не смогу
Полюбить неприкаянным взглядом.
Но привыкну, что это — «домой»,
Спотыкаясь на преодоленьи;
И как Пушкин в крылатке зимой,
Аникушинский сталинский Ленин —
Вдруг замечу. Придумаю вдруг.
Потому что не выжить иначе.
Потому что светящийся круг
Нашей жизни до нас обозначен.
И вздохнув (И о чем разговор,
И поди перестрой мирозданье...),
Буду жить здесь окошком во двор —
Утешение и оправданье...
1976

Г. С. Семенову по случаю капитального ремонта дома 13/13

Хмурая помесь асфальта и неба.
Жактовский замок Согбенного Глеба.
Мимо — плащи по делам.
Кустики вместо готических сосен.
Что там, весна или поздняя осень,
В снеге с дождем пополам?

Впрочем, без нас по законам сезона,
Не вылезая за рамки газона,
Сбудутся все чудеса.
Сникнет, и снова воспрянет трава, и
Голые заросли веток трамвайных
Зашелестят, как леса.

Мне ли туманной надеждой прельщаться...
Что и умею — так только прощаться
С горьким смешком на губе...
Бродим, как бредим, ущельями улиц,
Ландыш болезненный светит, сутулясь,
Офонареть — на столбе!

Благодарю за букеты иллюзий
Эту судьбу, где растенья и люди
Тянутся к небу, поправ
Несоответствие разума с чувством,
Зелени — с осенью, быта — с искусством,
Роста деревьев и трав.

Несоответствие пальцев органных
С дрожью вспотевших граненых стаканов —
Видимость или закон?
Я же отчаянно не отличаю
Дома — от храма, и водки — от чаю,
Окон друзей — от икон.

Благодарю это смутное время
Даже за рифму унылую — бремя,
Не говоря об ином...
Что мы уже без трамвайной толкучки,
Побоку — Музы, и по небу — тучки,
Или «хвоста» в гастроном...

Нам же действительно замки пожалуй —
И ни строки не напишем, пожалуй,
Будем вздыхать в потолок...
Здесь-то и можем, поежась брезгливо,
Где Афродиты выходят из пива,
С Богом вести диалог...

Участь свою принимая как почесть,
Подвиг вершить, над столбом скособочась,
Ночь окрылив плечом:
Жить, совладая с душою соборной,
В доме 13, напротив уборной,
Зная зане: обречен...

1977

***

О, времена — нужник, наждак
Небритых щек и вин смешенье...
Кто спросит, можно ль снять пиджак,—
Штаны — и то без разрешенья...
О, слог: «Привет, салют, виват»,
О, рок... И век не виноват
В своем блистательном уродстве.
И мы вступаем с ним в родство,
Как погружаемся в раствор,—
Существовать, а не бороться...

Что проку в ханжеской ворчбе,—
Поэта требует народ
К священной жертве, к ворожбе,
Что орошает огород...

Нам не дождаться перемен,
Нам шестеренкою — лимон.
И вянет, морщась, цикламен,
И процветает гегемон.

Мы удобрения земли,
Ростков, грядущих через грядки.
Хоть это мы еще смогли,
Когда захлопнулись тетрадки...

Что проку плакать над собой
И земляничною поляной,
Когда тебя сантехник пьяный
Прижмет под фановой трубой...

Люби его, как этот мир,
Раскрой ответные объятья...
(Куда как трогательно мил
Ком с кожей содранного платья...)

Хоть это мы еще смогли:
Сплатить последние рубли
С могучеплечим авангардом,
Пожечь стихи. Похерить страх.
И проигравши судьбы впрах
Не удавиться над огарком...

1985

***

От великой души до банальной судьбы
Только жизнь,— и не больше того...
Забивается пылью дыханье трубы
Под бульдожьим замком кладовой.
Так высокую ноту впотьмах берегут —
Спился сторож и пафос осип...
И не траурный марш у обветренных губ,
А досадная мелкая сыпь.
Да и что было ждать на промозглом ветру,
На унылом летейском дожде,
Где березы, как палочки Коха, к утру
Колыхались в подробной воде...
Просвещенных невежд возгордившийся век
Не допустит линейных потерь:
На бесславную твердь обречен человек,
Тщетный труд и слепую постель.
Наглотайся вестей и звезду потуши,
Акварельные сны позабудь...
До безвестной судьбы от пропащей души
По России — укатанный путь...

1985

Светлана РОЗЕНФЕЛЬД

***

Он говорит: я твой отец,
Смотри — я стар почти.
Он говорит: я не подлец...
Был молод... Ты прости...

По комнате, наискосок,
С цигаркою в руке,
И шлепанцы теряет с ног,
И дырка на носке.

...Его судьба, его беда.
Я думаю о том,
Как горько вольным быть, когда
Ты потерял свой дом.

А мне черты его лица
Не виделись во сне.
На белом свете
Без отца
Любви хватало мне.

И не было во мне ни зла,
Ни боли, наконец.
Я очень счастливо жила.—
Прости меня, отец.

Иллюзионисты

Иллюзия.
Ни смысла в ней, ни прока,
Искусства невысокого образчик,
Похожий на бумажные цветы.
Иллюзия.
Я знаю — это фокус,
А этот, в черном,— маленький обманщик,
А эта, в белом,— так, для красоты.

Он к ней подходит с вежливым поклоном
И руку к ней протягивает властно,
И говорит ей что-то между тем.
Вот взмах рукой: она уже в зеленом,
Вот взмах другой: она в прозрачном красном,
И снова взмах — и нет ее совсем.

Иллюзия.
О, ты в руках умелых,
Сколь осторожных, столько и проворных,
И каждый зрячий — временно слепец.
Вот взмах рукой: и я невеста в белом,
Вот взмах другой: я королева в черном,
И снова взмах — и номеру конец.

Паромщик

Нетрезвый паромщик в «кроссовках»
И свитере цвета желтка
Из пристани выдернет ловко
Два ржавых железных крюка.

Поехали! Точно по тросу,
С прямого пути не свернем!
А ветер и дождь, как матросы,
До блеска надраят паром.

Река лишь подразнит теченьем,
Сверкнет, убегая, вода.
О, вечное это движенье
По тросу — туда и сюда!

Паромщик — воспетая должность.
Ты что ж спозаранку «косой»? —
Меж двух берегов безнадежность
Широкой легла полосой.

Прилипшие к взгляду приметы:
Дома и гнилые мостки...
Паромщик нам выдаст билеты
И плюнет за борт — от тоски.

♦♦♦

Повалится снег в феврале,
То прямо, то косо.
Потянется след по земле —
Полозья, колеса,
И переплетенье путей
Людей и животных.
Но снова их смоет метель
Волной беззаботной.

Ты видишь, как это легко:
Случайным порывом
Смыть призрачный след облаков
На глянце залива.
Повалится снег, наклонясь,
Завьюжит, закрутит.
Как будто и не было нас.
Как будто не будет...

Роберт
КОНКВЕСТ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Колыма

Самый обширный лагерный район находился в ведении Дальстроя — Дальневосточного строительного управления. Точные границы тогдашних владений Дальстроя еще полностью не определены, но известно, что они охватывали весь район к востоку от Лены и к северу от Алдана, простирающийся на восток по крайней мере до Олойского хребта — а эта территория вчетверо больше Франции.

Население лагерей Дальстроя никогда не достигало численности заключенных во втором (европейском) крупном комплексе. Равнялось оно приблизительно полумиллиону. Но смертность была так высока, что с ее учетом количество заключенных, прошедших через лагеря Дальстроя, оказывается наивысшим. Поскольку доставка заключенных в Магадан шла морем, а количество кораблей, их вместимость и частота рейсов известны с достаточной точностью, мы можем несложным подсчетом определить минимальное число погибших в «империи» Дальстроя за 1937—1941 годы. Этот минимум — один миллион.

Лагеря в основном концентрировались вокруг колымских месторождений золота, базирующихся на Магадан и бухту Нагаево. В широких масштабах добыча золота развернулась там в начале тридцатых годов. В 1935 году были торжественно объявлены правительственные награды за успехи в этой области, опубликованы хвалебные статьи о награжденных. Большинство награжденных, как было сказано, работали на Колыме под руководством Е. П. Берзина[1]. Среди указов о награждении орденами был один и несколько иного сорта — об освобождении пяти инженеров от наказания и восстановлении их во всех правах за заслуги в организации золотодобычи.

Говорят, что Берзин более или менее терпимо относился к жалобам заключенных [1]. Но он вместе с женой и ближайшим помощником Филипповым (по слухам, покончившим с собой в магаданской тюрьме) были арестованы в 1937 году во время ежовской чистки органов НКВД. Разумеется, с ними арестовали и великое множество других сотрудников Дальстроя. Передают также, что центральное руководство НКВД боялось сопротивления аресту Берзина и потому арест был обставлен так: в Магадан прибыла многочисленная делегация НКВД якобы для награждения и чествования Берзина, которая и арестовала его в момент, когда он провожал «гостей» на аэродром [2].

Берзина сменил Гаранин, который открыл на Колыме кампанию террора, маниакальную даже по масштабам НКВД. Гаранинщина ознаменовалась пытками и казнями. Только в спецлагере Серпантинка Гаранин расстрелял в 1938 году около двадцати шести тысяч человек. Через несколько месяцев такого правления он был отозван и приговорен то ли к пятнадцати годам заключения, то ли, по другим сведениям, к расстрелу. Сменивший его Вишневецкий тоже продержался очень короткое время и в свою очередь получил пятнадцать лет за катастрофически неудачную экспедицию по разведке новых месторождений.

Новый начальник Иван Никишов — человек, по многим свидетельствам, холодно и беспощадно жестокий — правил Дальстроем дольше. Он женился на сотруднице НКВД Гридасовой, которая была назначена начальницей женского лагеря в Магадане. Жили они в комфортабельном загородном доме в семидесяти километрах к северо-западу от Магадана и имели даже собственные охотничьи угодья.

Путь зеков на Колыму включал морское путешествие в задраенных трюмах кораблей от бухты Ванино до Магадана. В трюмы набивали тысячи людей, переход длился восемь-девять дней и был страшен. Была также сделана попытка переправлять заключенных Северным морским путем в бухту Амбарчик, лежащую в устье реки Колымы, в Северном Ледовитом океане. Протяженность этого трудного полярного маршрута составляла больше шести тысяч километров, плавание должно было занимать два месяца. Первый же корабль «Джурма», посланный этим путем, был захвачен осенним льдом, и когда после морской зимовки, в 1934 году, он прибыл в Амбарчик, на его борту не было ни одного из тысячи двухсот первоначально отправленных заключенных.

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 9—12; 1990, № 1—7.

[1] V. Kravchenko. «I Chose Justice». London, 1951, p. 269.

[2] Dallin D. J. and Nicolaevsky B. I. «Forced Labor in the Soviet Union». London, 1948, p. 130 (см. прим. [2]).

Случилось это как раз в то время, когда был затерт льдами и погиб исследовательский корабль «Челюскин». Команда «Челюскина» спустилась на лед (причем погиб лишь один человек) и устроила лагерь на льдине. Судьбой храбрых полярников был захвачен весь мир. Однако американские и другие предложения о помощи лагерю челюскинцев с воздуха были отклонены. Причина этого, как полагают, заключалась в близости зимовавшей «Джурмы»: советское руководство, очевидно, опасалось, что иностранные летчики могут наткнуться на злополучную «Джурму».

После этого «Джурма», «Индигирка» и другие суда ходили в Магадан лишь коротким дальневосточным маршрутом. На них разыгрывались наихудшие сцены воровского засилья. Как раз на борту «Джурмы» лишился сапог генерал Горбатов (см. выше). К 1939 году охранники на судах вообще перестали спускаться в трюмы к заключенным — они лишь стояли на палубе с оружием наизготовку, когда заключенных малыми группами выпускали в уборную. В результате блатные имели в трюмах бо́льшую свободу действий, чем где бы то ни было. В каждом переходе происходили убийства и изнасилования. В 1939 году на той же «Джурме» уголовники проломили стену трюма и прорвались к складу пищевых продуктов — после чего в этом складе возник пожар. Огонь стали тушить, но когда судно вошло в порт, в складском трюме что-то еще горело. При этом не было сделано ни малейшей попытки выпустить из трюмов заключенных, и когда они поняли, что в случае гибели судна их просто бросят в закрытых трюмах, началась паника.

Е. Гинзбург со своей стороны дает историю пожара «Джурмы» на море — вероятно, более детальную версию того же события. «Блатари хотели воспользоваться паникой для побега,— пишет она.— Их заперли наглухо в каком-то уголке трюма. Они бунтовали, их заливали водой из шлангов для усмирения. Потом о них забыли. И вода эта от пожара закипела. И над „Джурмой" потом долго плыл опьяняющий аромат мясного бульона».

В другом рейсе корабль имел на борту несколько сот молодых женщин, приговоренных к небольшим срокам за прогулы, совершенные на оборонных предприятиях. Женщины были в отдельном трюме, но уголовники сумели прорваться туда и стали насиловать женщин. Несколько заключенных, пытавшихся защищать женщин, были убиты. На сей раз командир охраны корабля был арестован.

По прибытии в бухту Нагаево (Магадан) «доходяг выносили по очереди на носилках. Их выносили и складывали на берег аккуратными штабелями, чтобы конвой мог отчитаться, чтобы не было путаницы с актами о смерти» [1].

Выжившие на пути в Магадан оказывались в очень странном мире.

Только бассейн реки Колымы занимает почти такую же площадь, как вся Украина. Это район страшного холода — до семидесяти градусов мороза. Заключенные выводились на наружные работы при температуре до пятидесяти градусов. Тем не менее в 1938 году во всех лагерях Дальстроя была запрещена меховая одежда — разрешались только ватники; валенки заменили парусиновыми ботинками.

Лед на реках этого района держался восемь-девять месяцев в году. Недаром пелось по лагерям:

«Колыма-Колыма, дивная планета —
Двенадцать месяцев зима, остальные — лето!

Примерно два зимних месяца солнце не всходило вообще. В английском издании очень сдержанных воспоминаний Элиноры Липпер, бывшей колымской заключенной, находим главу, деловито названную: «Болезни. Членовредительство. Самоубийства».

Конечно, все это происходило не только на Колыме. Но на Колыме смертность была особенно высока — так же, как и степень отчаяния. Цитированный выше генерал Горбатов был человеком сильной воли, он сумел даже выстоять на следствии, ничего не подписав. Но пробыв меньше года в золотопромышленных колымских лагерях, он выжил лишь чудом. Среди заключенных, работавших в шахтах, смертность оценивается в тридцать процентов всего состава в год — хотя эта цифра до известной степени варьировалась в зависимости от расположения шахты, вида работ и характера коменданта лагеря.

На колымском рационе питания было вообще трудно выжить больше двух лет. Самое позднее к четвертому году заключенный был уже не способен ни к какой работе, а к пятому году не мог остаться в живых. В одном из штрафных лагерей Колымы поселили три тысячи заключенных. К концу первого года существования лагеря из этих трех тысяч тысяча семьсот умерли, а еще восемьсот человек лежали в госпитале с дизентерией. В другом — не штрафном — лагере умирало по две тысячи заключенных в год при наполнении лагеря в десять тысяч человек. Через пятнадцать месяцев пребывания в колымских лагерях умерло шестьдесят процентов из доставленных туда трех тысяч поляков.

В своих «Колымских записях» Г. Шелест рассказывает, что на Колыме в день «за сто процентов добычи давали 800 граммов [хлеба], три раза затируху и раз овсяную кашу» и что на открытых приисках у заключенных существовало строгое разделение труда: два человека разжигают костер, высекая огонь древним способом, без спичек; другие двое привозят на санках с реки воду со льдом, остальные разогревают, размягчают огнем участок мерзлой земли — «парят грунт», раскапывают его и начинают мыть «старательское золото» [1].

[1] Е. Гинзбург. Крутой маршрут...

В этот лагерь привезли трех юношей лет семнадцати. Они выглядели моложе своих лет, потому что были так худы, что остались только кожа да кости. Один из них нашел дома после смерти отца «Завещание Ленина» в конверте, вложенном в один из томов Собрания сочинений Ленина. Мальчик показал находку друзьям — и вот все друзья, которые видели текст «Завещания», а также, конечно, сам нашедший, были арестованы по обвинению в терроре и контрреволюции. Все получили по пятнадцать лет. Трое ребят и еще две девочки из группы угодили на Колыму, остальные затерялись в разных лагерях страны [2].

На Колыме было несколько женских лагерей. В лагере Мульга женщины работали в гипсовом карьере. Еще хуже была штрафная командировка Эльген. Работавшая там Евгения Гинзбург — мать писателя Василия Аксенова,— спасшаяся только тем, что ее неожиданно сделали медсестрой, рассказывает об Эльгене так, что становится ясно: лагерь мало чем отличался от лагерей уничтожения. Нормы на лесоповале были невыполнимы; женщины готовы были торговать своим телом, лишь бы спастись; освобожденне от работы по болезни давалось «в пределах лимита», и этот лимит неизменно заполняли уголовные преступницы; способы выжить были только угрозы, интриги и подкуп. Среди тех, кого посылали в Эльген, были женщины, забеременевшие в других лагерях: общение с мужчинами запрещалось, и беременность означала «нарушение». Тем, кто рожал, разрешалось несколько раз в день пытаться кормить младенцев. Но из-за непосильной работы и голодного рациона молоко почти не появлялось, и через несколько недель врачи констатировали «прекращение лактации». «Младенцу предлагается отстаивать свое право на жизнь при помощи бутылочек „Бе-риса" и „Це-риса". Так что состав мамок страшно текуч» [3]. Горбатов и другие отмечают, что сотрудники НКВД порой спасали прежних коллег по работе, попавших в лагеря, или бывших партийных начальников, направляя их на сравнительно легкую работу. Старые связи помогали всем тем заключенным, у кого они были. Шелест описывает, как начальник управления лагерей встретил однажды среди заключенных своего бывшего комкора и сразу же закрепил его устройство на вещевом складе.

Лагерная администрация на Колыме была более жестокой и допускала больше произвола, чем в других лагерных комплексах. У одного колымского заключенного в 1937 году кончился срок. Он даже расписался в документе о своем освобождении. Но положенной справки об освобождении — единственного документа, на основании которого освобождаемому выдавался паспорт,— этому человеку не выписали. Без справки об освобождении было бессмысленно куда-либо уезжать, и бедняга продолжал выходить на работу в лагере в весьма двусмысленном качестве «освобожденного зека». Он благоразумно не протестовал, ибо опасался какого-нибудь худшего оборота дела, а так его положение было все-таки несколько лучше, чем у остальных. В конце концов, на исходе 1939 года он получил справку об освобождении, и ему разрешили поселиться в европейской части страны, хотя и не в той области, откуда он был родом.

В 1944 году произошел уникальный случай во всей истории концлагерей: Магадан посетил вице-президент Соединенных Штатов Америки Генри Уоллес. В качестве представителя Управления военной информации США вице-президента сопровождал профессор Оуэн Латтимор. Отчет о том, что они видели, сильно отличается от информации, которую мы имеем от бывших заключенных [1].

Уоллес нашел, что Магадан — место идиллическое. Об ужасающем Никишове он с одобрением писал, что тот «весело кружился вокруг нас, явно наслаждаясь прекрасным воздухом». Уоллес отметил материнскую заботу Гридасовой и восхищался вышивками, которые она ему показывала. (Об этих вышивках упоминается, между прочим, в книге Липпер: женщины-заключенные, умевшие красиво вышивать, делали художественные вещи для жен лагерной аристократии — высших сотрудников НКВД — за ничтожные хлебные подачки. Делали в свободное время, то есть после десяти—двенадцатичасового рабочего дня, в условиях лагерных бараков. Подобную ситуацию упоминает и Солженицын: «художников в лагере трое, пишут для начальства картины бесплатные».)

Профессор Латтимор сурово осудил жестокости царизма в Сибири. К счастью,

[1] «Знамя», 1964, № 9, статья Георгия Шелеста «Колымские записки», с. 162—180.
[2] Там же.
[3] Е. Гинзбург. Крутой маршрут...

[1] Henry A. Wallace. «Soviet Asia Mission». New York, 1946, p. 33 ff (в частности, см. с. 35 и 127).

писал он, те времена миновали. Освоение Севера ведется в СССР планомерно, под руководством «замечательного объединения Дальстрой, которое можно лишь приблизительно сравнить с американской Компанией Гудзонова залива».

На него также произвели большое впечатление мистер Никишов и его супруга. «Мистер Никишов, начальник Дальстроя, был только что удостоен звания Героя Социалистического Труда за свои исключительные достижения. Он и его жена проявляют интерес к искусству и музыке, свойственный образованным и чувствительным людям. У них отмечается также глубокое чувство гражданской ответственности».

Латтимор с одобрением цитирует еще одного участника поездки, восхищавшегося балетным спектаклем местного театра. По словам этого человека, то было высокое наслаждение, естественно сочетавшееся там с главным предметом добычи — золотом. Столь же высоко этот ценитель балета ставил высокие способности руководства. Латтимор замечает даже, что обстановка в Дальстрое выгодно отличалась от атмосферы американских приисков времен золотой лихорадки, где процветали «водка, грех и драки». В Дальстрое, писал профессор, озабочены главным образом состоянием оранжерей, где выращиваются помидоры, огурцы и даже дыни, чтобы у шахтеров было достаточно витаминов.

Помидоры, о которых Латтимор упоминал с таким лиризмом, действительно выращивались. У той же колымчанки Элиноры Липпер есть описание помидорных теплиц, которые были под надзором грубой, но деятельной женщины-врача в тюремной больнице северного участка. Бо́льшая часть помидоров шла начальству, но кое-что доставалось и тяжелобольным, о чем автор пишет как о явлении совершенно необычайном [1].

Надо сказать, что Никишов действительно проявил «высокие способности руководства», приписанные ему Латтимором. Ибо прием американской делегации был организован поистине великолепно. Всех заключенных района заперли в бараках. Сторожевые вышки на время визита быстро сняли. Были приняты и другие меры, чтобы обмануть гостей. Например, Уоллесу показали образцовую свиноферму, где роли свинарок играли упитанные сотрудницы ГУЛАГа. В витрины магаданских магазинов поставили все промтовары, какие только имелись на складах. И так далее.

Американским посетителям показали и золотую шахту в Колымской долине. На опубликованной Латтимором фотографии видна группа крепких мужчин, ничем не похожих на заключенных, о которых мы знаем из советских и других источников. Подпись под снимком гласила: «Им нужно быть сильными, чтобы противостоять суровой зиме». Сама по себе фраза правильна, однако применительно к реальным заключенным ее, пожалуй, надо понимать в другом смысле: поскольку им все равно не выдержать суровой зимы, нет необходимости поддерживать их силы [3)].

Печора

Ни один лагерный комплекс в СССР не имел такой репутации, как Колыма, в смысле холодов, изоляции и смертности. Но были районы с условиями, приближавшимися к колымским,— особенно обширный северо-восточный угол европейской части СССР вдоль бассейна реки Печоры. Бассейн Печоры занимает территорию, более крупную, чем Британские острова или Новая Англия, штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси в США вместе взятые. Здесь, между Котласом, представлявшим собой «ворота» в район, и угольными месторождениями Воркуты, была самая густая в стране концентрация лагерей — больше миллиона заключенных.

Две трети года температура на Воркуте держится ниже нуля. Более ста дней в году тундру продувает «ветер всех ветров». Тех, кто попадал на Воркуту с юга России, местный климат убивал: очень немногие из них выдерживали больше года-двух. Большинство свидетельских показаний заключенных относится как раз к этому району.

В 1936 году начальником Печорских лагерей был майор Мороз. Об этом майоре из НКВД вспоминают по-разному: иногда как об особенно жестоком человеке, иногда как о начальнике, достаточно разумном, чтобы в обмен на хорошую работу давать приличную еду и сносные условия. Его заместитель Богаров, человек жуткого и жестокого вида, по-видимому, был на самом деле гуманен, по крайней мере, настолько, насколько позволял его пост, и именно благодаря ему во времена Мороза условия были несколько лучше. Мороз сам короткое время был заключенным — между двумя высокими назначениями в системе НКВД. Потом он исчез.

Мороза сменил закоренелый садист Кашкетин, про которого говорили, что от него спасаются только те, о чьем существовании он не знает. Через несколько месяцев правления Кашкетина лишь в одной группе лагерей в изоляторы попали две тысячи заключенных, из коих в живых осталось семьдесят шесть человек. Жестокость Кашкетина помогла ему не больше, чем Морозу его «мягкость»: он тоже исчез вместе со своими ближайшими подчиненными в конце ежовщины.

Аналогичные условия царили в меньшем, но все же немалом масштабе во всей системе ГУЛАГа: от Белого моря до Сахалина, от огромных Карагандинских лагерей до до сих пор не описанных «лагерей смерти» на Таймырском полуострове и Новой Земле, или, по словам Солженицына, «от полюса холода Ой-Мякон до медных копей Джезказгана».

[1] L i p p e r E l i n o r. «Elf Jahre in sowjetischen Gefängnissen und Lagern». Zurich, 1950, s. 223.

Рабовладельческое хозяйство

Миллионы рабов-заключенных в распоряжении ГУЛАГа играли важную экономическую роль и воспринимались как нормальный компонент советского народного хозяйства.

Специальный комитет, назначенный Организацией Объединенных Наций по резолюции ЮНЕСКО и Международной организации юристов, расследовал этот вопрос. В комитет входили известный индийский адвокат, бывший председатель Верховного суда Норвегии и бывший министр иностранных дел Перу. В 1953 году комитет представил ООН сдержанный и обоснованный документ, не оставлявший сомнений в том, что в советской экономике принудительный труд занимает «значительное место».

В древнем мире государственные рабы считались обычной категорией. Древние Афины разрабатывали серебряные рудники в Лаврионе именно с помощью своих государственных рабов. В древнем Риме тоже были общественные рабы, так называемые servi publici.

Однажды, когда начальник одного из промышленных главков РСФСР запросил несколько сот заключенных на срочные работы военного значения, сотрудник НКВД заявил ему, что их не хватает: «Маленкову и Вознесенскому нужны рабочие руки, Ворошилов требует строителей дорог... Что нам делать? Факт тот, что мы пока недовыполняем планы по арестам. Спрос на рабсилу превышает предложение» [1].

Обычно считают, что типичными советскими лагерями были лесозаготовительные. Однако, по самым надежным оценкам, в 1941 году (когда население лагерей было, кстати сказать, не очень большим) лишь 400 тысяч заключенных были заняты лесоповалом. Остальные распределялись по следующим главным категориям:

горношахтные работы — 1 миллион;
сельское хозяйство — 200 тысяч;
поставка заключенных предприятиям по договорам — 1 миллион;
сооружение и обслуживание лагерей — 600 тысяч;
изготовление лагерного инвентаря — 600 тысяч;
строительные работы — 3 миллиона 500 тысяч.

Даже в северо-восточном лесном массиве большой процент заключенных был занят строительством железной дороги Котлас — Воркута. Многие другие, подобно герою Солженицына, возводили различные промышленные или шахтные сооружения.

Часто указывалось на то, что рабский труд экономически неэффективен. Любопытно, что, публикуя впервые некоторые рукописи Маркса к «Капиталу», сталинская партия в 1932 году, когда ГУЛАГ уже становился своего рода «государством в государстве», довела до сведения читателя следующие слова основателя своей экономической теории: «У раба минимум заработной платы представляется независимой от его труда постоянной величиной. У свободного рабочего эта стоимость его способности к труду и соответствующая ей средняя заработная плата представляются не в таких предопределенных, независимых от его собственного труда, определяемых только его физическими потребностями границах».

Таким образом, по Марксу, неэффективность рабского труда, очевидно, объясняется отсутствием стимулов.

Того же мнения придерживаются и супруги Сидней и Беатриса Вебб. Стоит, кстати, процитировать соответствующее место из их книги «Советский коммунизм — новая цивилизация», хорошо отражающее определенный взгляд на советские дела, характерный для тридцатых годов. Критикуя свидетельство профессора Чернявина о его пребывании в советских лагерях, супруги Вебб пишут следующее:

«Приходится пожалеть, что это свидетельство — конечно, сильно тенденциозное — смешивает личный опыт и наблюдения над обстановкой, по совести говоря, достаточно скверной, со всякими неподтвержденными сплетнями и явно преувеличенными статистическими домыслами, не поддающимися проверке. Этот рассказ имел бы больший вес, если бы он основывался на достаточно серьезных фактах, непосредственно знакомых автору. Его наивная вера, будто те или иные места ссылки содержатся и непрерывно пополняются тысячами ссыльных рабочих и технических специалистов с явной целью извлечь из их принудительного труда добавочный доход для государства, покажутся невероятными для каждого, кто знаком с экономическими результатами работы каторжан или тюремных заключенных в любой стране мира».

Что ж, массовые аресты действитель-

[1] V. K r a v c h e n k o. «I Chose Freedom», p. 405—406.

но, остаются в основном явлением политическим. Желание получить даровую рабочую силу могло быть лишь вторичным мотивом. Ведь инженеры и ученые, врачи и адвокаты не потому арестовывались, что кому-то хотелось превратить их в плохих лесорубов. Как пишет Вайсберг:

«После двадцати лет бесчисленных трудностей и громадных расходов советскому правительству удалось наконец собрать трудоспособный коллектив действительно талантливых физиков. И что же случилось? Шубников, один из ведущих специалистов по низким температурам в стране, помогает строить канал на Севере. Там же и наш первый директор, профессор Обремов, тоже один из ведущих советских физиков и специалист по кристаллографии. Можете сами вообразить, сколько стоят землекопы вроде Шубникова и Обремова!».

Все это так. Но когда масса людей уже была под арестом, их возможная эксплуатация представлялась экономически целесообразной. Не упуская из виду некую иррациональность сталинского террора, надо признать, что в решении влить труд заключенных в хозяйство страны нет ничего противоречащего здравому смыслу. В этом вопросе Сидней и Беатриса Вебб просто не разобрались в мотивах Сталина.

Больше того, Сталин прекрасно знал об экономических возражениях Маркса против рабства. И, как обычно, не принимая во внимание исторические прецеденты, он решил преодолеть неблагоприятный прогноз. Сталин применил простой, но никем еще не испытанный способ: не давать рабу заранее отмеренных средств к существованию, а связать его рацион с выработкой. Предполагалось, что отсутствие стимулов, указанное Марксом, будет таким путем преодолено.

Разумеется, проекты, построенные на использовании принудительного труда, как и многое другое в сталинских хозяйственных расчетах, часто бывали абсолютно необоснованными — даже по советским меркам. У нас есть свидетельство, что в 1947 году, во время крупной волны арестов, Сталин заявил на заседании Совета Министров, что русский народ давно мечтал иметь надежный выход в Ледовитый океан из устья Оби. Этого замечания оказалось достаточно, чтобы было принято решение строить железную дорогу на Игарку. И в течение четырех с лишним лет — зимой в глубочайшем снегу, при морозах до 55 градусов, а летом на болотах под тучами комаров — трудились на гигантской трассе заключенные. Восемьдесят лагерей, расположенные с интервалом около пятнадцати километров, строили 1300-километровый путь. Если бы эта работа была когда-нибудь завершена, то стоимость каждого километра дороги составила бы от четырех до шести миллионов рублей. В конце концов было уложено 850 километров рельсовых путей, на протяжении 450 километров поставлены телеграфные столбы. Но после смерти Сталина «стройку прекратили из-за ненадобности дороги. Увезли технику, ушли люди... Сотни километров рельсов ржавеют». «В тундре остались рельсы, поселки, паровозы, вагоны», пишет работавший на стройке инженер.

Однако здесь сказалась нерациональность самой советской политической и плановой системы. Когда дело шло об обычных работах — вроде, скажем, лесозаготовок,— то могло показаться, что действительно был найден метод обеспечения государства очень дешевой рабочей силой.

Некоторые заключенные пытались на месте определять экономическую ценность их лагерей. Один мой знакомый был заключенным на Воркуте, в лесозаготовительном лагере. Некоторое время он там находился на административной работе (1950—1952 годы). По его словам, результаты работы в значительной мере фальсифицировались, шли постоянные приписки — как на многих советских предприятиях того времени. Масса непроизводительных работ засчитывалась в выполнение нормы. И хотя заключенные получали только абсолютный минимум самого необходимого, расходы на содержание лагеря, на его охрану, администрацию и так далее значительно превосходили приносимый в виде продукции доход. В книге А. Экарта о Воркуте те же результаты получаются и по угольным шахтам — хотя, правда, шахты эти были бы, вероятно, нерентабельны и с вольнонаемной рабочей силой ввиду удаленности от районов потребления продукции и высокой стоимости производства в воркутинских условиях. Существует и более общий расчет [1], показывающий, что если и был какой-то доход от принудительного труда в масштабе всей страны, то доход этот был ничтожен.

Свидетельство советского автора подтверждает эту точку зрения. Инженер Побожий вспоминает о разговоре, в ходе которого другой инженер, сам бывший заключенный, отзывается на мнение о том, что использование рабочей силы заключенных обходится сравнительно дешево:

«Это так только кажется,— возразил он.— Ведь заключенных нужно хоть както кормить, обувать, одевать и их нужно стеречь, и стеречь хорошо, строить зоны с вышками для часовых, кондеи, да и содержание охраны дорого обходится. А потом оперче, кавече, петече и прочие „че", которых, кроме лагеря, нигде нет... В общем, штат большой. Дрова, воду им возят, полы моют, бани топят опять-таки заключенные. Да мало ли что еще нужно для живых людей?.. А сколько на колоннах и лагпунктах всяких дневальных, поваров, кухонной прислуги, водовозов, дровоколов, бухгалтеров, плотников, учетчиков и прочих „придурков", как их называют в лагере! Так что, если в среднем взять, на каждого работягу приходится полторы прислуги. А главное, охрана не может обеспечить фронт работы: то механизмы нельзя применять, а то десятникам и прорабам, тоже заключенным, просто из-за разводов, проверок и прочей кутерьмы некогда подумать об организации труда...» [1].

[1] Swaniewicz S. «Forced Labour and Economic Development». London, 1965.

Следует отметить, что необходимость охранять лагеря приносила также и чисто военный ущерб. В течение всего периода войны лагеря продолжали охраняться отборными частями НКВД в пропорции приблизительно один охранник на двадцать заключенных. Таким образом советское правительство не использовало в военных операциях по меньшей мере четверть миллиона обученных и здоровых солдат.

При всем том в определенных условиях принудительный труд был экономически целесообразен: цена на печорский и карагандинский уголь была иногда значительно ниже цены на уголь донецкий. Более того, есть области, где наемная рабочая сила обходится невероятно дорого и где принудительный труд, по-видимому, экономически предпочтителен — например, на шахтах и стратегических дорогах северо-восточной Сибири. В 1951 году в конгрессе США были объявлены невероятно высокие цифры стоимости рабочей силы на строительстве авиабазы в Гренландии. Можно быть уверенным, что эквивалентные авиабазы в советской Сибири обошлись куда дешевле с применением принудительного труда — дешевле даже по сравнению с более низкими расходами на оплату советских вольнонаемных рабочих. Иными словами, хотя система принудительного труда годится отнюдь не везде, есть определенные области, где она может быть доходной.

Но пытаться абстрактно исследовать экономику труда заключенных — явная ошибка. Ведь получается, что человек, уничтоженный одним-двумя годами безжалостной каторги, «полезнее» человека, содержащегося в тюрьме. Нет, лагеря были, прежде всего, эффективны политически. Они изолировали от народа всех потенциальных зачинщиков беспорядков,

[1] Побожий в «Новом мире», 1964, № 8, с. 155 [Противоположной точки зрения придерживается десять лет проработавший в лагерях советский экономист М. Розанов («Завоеватели белых пятен», гл. «Расчетливая подлость»)].

они служили страшнейшим пугалом против любой антисоветской деятельности или даже сомнительных разговоров. Если предположить, что политический террор был кому-то необходим, то лагеря были, так сказать, полезным конечным продуктом террора.

Как все остальное в сталинскую эпоху, система лагерей действовала по принципу давления сверху. Каждый лагерь имел свой план, каждый начальник лагеря работал с перспективой либо наград, либо наказаний. Иногда это приводило к странным результатам. Так, есть сообщения о начальниках, которые держали у себя пойманных беглецов из других лагерей. Они не хотели отдавать работников по принадлежности, как было положено. Или известен случай с группой стариков и инвалидов в пересыльной тюрьме в Котласе: они жили и жили в тюрьме, потому что ни один лагерь не желал принимать их по, так сказать, очевидным экономическим причинам. Так прожили они больше года, и в конце концов проблема разрешилась сама собой — несчастные постепенно все и умерли на пересылке [1].

Рацион и жизнь

В лагерях применялась система норм и рационов. Основной принцип состоял в том, что существовали различные «котлы» питания. Принцип этот несложен. Точные цифры варьируют довольно значительно. Элинора Липпер дает следующий типичный рацион для колымских лагерей, где она была заключенной. Мужчины в этих лагерях получали тот же рацион, что и женщины, за исключением шахтеров и других занятых очень тяжелым физическим трудом, получавших повышенный рацион.

Суточный рацион хлеба (в граммах):

	Мужчины на тяжелых работах	*Мужчины на «легких» работах и женщины*
для выполняющих и перевыполняющих нормы — до	800—900	600
для выполняющих от 70 % до 99 %	700	500
для выполняющих от 50 % до 69 %	500	400
штрафная норма	300	300

В дополнение к этому, все зеки получали похлебку, 100 г соленой рыбы и

[1] V. Kravchenko. «I Chose Justice», p. 250.

60 г крупы; 5 г муки, 15 г растительного масла, 10 г сахара, 3 г чая, 300 г кислой капусты. Заключенный поляк, находившийся на Колыме в 1940—1941 годах, вспоминает, что за половину нормы давали пайку в 500 граммов, а за меньшую выработку — 300.

В книге Далина и Николаевского приводится рацион одного из северных лагерей в ту же зиму 1941—1942 годов: за полную норму — 700 граммов хлеба плюс суп и каша; для невыполняющих — 400 г хлеба и суп.

Большинство северных лагерей имело нормы, близкие к указанным выше. Вне арктических районов хлеба давали меньше:

за перевыполнение нормы	750—1000 г
за 100 % нормы	600— 650 г
за выполнение от 50 % до 100 %	400— 475 г
штрафная норма (ниже 50 %)	300— 400 г

Любопытно сравнить эти нормы с нормами известного японского лагеря для военнопленных на реке Куай (Тха Махан). Там пленные получали на день 700 г риса, 600 г овощей, 100 г мяса, 20 г сахара, 20 г соли и 5 г растительного масла, что составляло 3400 калорий, в составе которых, как и в СССР, сильно недоставало витаминов.

Можно сделать и некоторые другие сравнения. В начале тридцатых годов, когда на Украине свирепствовал голод, нормы хлеба в украинских городах были такие: 800 граммов для рабочих тяжелой промышленности, 600 граммов для остальных рабочих, 400 граммов для служащих. Во время блокады Ленинграда в 1941—1942 годах, когда от одной трети до половины населения умирало от голода, рационы хлеба в самый худший период были следующие:

октябрь 1941 года —	400 граммов в день для работающих и 200 граммов для иждивенцев;
конец ноября 1941 —	250 граммов для работающих и 125 граммов для иждивенцев;
конец декабря 1941 —	до 350 граммов для работающих и 200 граммов для вждивенцев.

В Ленинграде выдавались еще небольшие количества мяса и сахара; занятые на тяжелых работах получали дополнительные рационы сверх нормы; а главное отличие заключалось в том, что в лагерях заключенные никогда не получали своих рационов полностью, и если где-то оказывались порченые или низкосортные продукты, то они и шли в арестантские котлы. Солженицын рассказывает:

«Паек этих тысячу не одну переполучал Шухов в тюрьмах и в лагерях, и хоть ни одной из них на весах проверить не пришлось... но всякому арестанту и Шухову давно понятно, что, честно вешая, в хлеборезке не удержишься. Недодача есть в каждой пайке — только какая, велика ли?»

Объясняется это просто:

«С утра, как из лагеря выходить, получает повар на большой лагерной кухне крупу. На брата, наверно, грамм по пятьдесят, на бригаду — кило, а на объект получается немногим меньше пуда. Сам повар того мешка с крупой три километра нести не станет, дает нести шестерке. Чем самому спину ломать, лучше тому шестерке выделить порцию лишнюю за счет работяг. Воду принести, дров, печку растопить — тоже не сам повар делает, тоже работяги да доходяги — и им он по порции, чужого не жалко. Еще положено, чтоб ели, не выходя со столовой: миски тоже из лагеря носить приходится (на объекте не оставишь, ночью вольные сопрут), так носят их полсотни, не больше, а тут моют да оборачивают побыстрей (носчику мисок — тоже порция сверх). Чтоб мисок из столовой не выносили — ставят еще нового шестерку на дверях — не выпускать мисок. Но как он ни стереги — все равно унесут, уговорят ли, глаза ли отведут. Так еще надо по всему, по всему объекту сборщика пустить: миски собирать грязные и опять их на кухню стаскивать. И тому порцию. И тому порцию.

Сам повар только вот что делает: крупу да соль в котел засыпает, жиры делит — в котел и себе (хороший жир до работяг не доходит, плохой жир — весь в котле. Так зеки больше любят, чтоб со склада отпускали жиры плохие). Еще — помешивает кашу, как доспевает. А санинструктор и этого не делает: сидит — смотрит. Дошла каша — сейчас санинструктору: ешь от пуза. И сам — от пуза. Тут дежурный бригадир приходит, меняются они ежедён — пробу снимать, проверять будто, можно ли такой кашей работяг кормить. Бригадиру дежурному — двойную порцию.

Тут и гудок. Тут приходят бригадиры в черед, и выдает повар в окошко миски, а в мисках тех дно покрыто кашицей, и сколько там твоей крупы — не спросишь и не взвесишь, только сто тебе редек в рот, если рот откроешь».

И так было во всем: «И здесь воруют, и в зоне воруют, и еще раньше, на складе, воруют».

Эффективность эксплуатации заключенных несколько поднималась, особенно в лесозаготовительных лагерях, с помощью разделения заключенных на бригады с коллективной ответственностью за плохую работу.

«Кажется, чего бы зеку десять лет в лагере горбить? Не хочу, мол, да и только. Волочи день до вечера, а ночь наша.

Да не выйдет. На то придумана — бригада... Тут так: или всем дополнительное, или все подыхайте. Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду? Нет, вкалывай, падло!

А еще подожмет такой момент, как сейчас, тем более не рассидишься. Волен не волен, а скачи да прыгай, поворачивайся. Если через два часа обогревалки себе не сделаем — пропадем тут все на́ хрен».

Бригадир-заключенный, под контролем учетчика и десятника, записывал бригадную выработку. Затем сотрудники лагеря оценивали выработку в сравнении с дневными нормами. Их решение передавалось в продстол, который и выписывал бригадам рационы в зависимости от выполнения этих норм.

«От процентовки больше зависит, чем от самой работы. Который бригадир умный — тот на процентовку налегает. С ей кормимся. Чего не сделано — докажи, что сделано; за что дешево платят — оберни так, чтоб дороже. На это большой ум у бригадира нужен. И блат с нормировщиками. Нормировщикам тоже нести надо.

А разобраться — для кого эти все проценты? Для лагеря. Лагерь через то со строительства тысячи лишние выгребает да своим лейтенантам премии выписывает. Тому же Волковому за его плетку. А тебе — хлеба двести грамм лишних в вечер. Двести грамм жизнью правят».

Бригадир Тюрин в «Одном дне Ивана Денисовича» однажды «хорошо закрыл процентовку». Это означало, что «теперь пять дней пайки хорошие будут. Пять, положим, не пять, а четыре только: из пяти дней один захалтуривает начальство, катит на гарантийке весь лагерь вровень, и лучших и худших».

Что до качества еды, то тут опять интересно привести отрывок из «Ивана Денисовича». Цезарь и Буйновский говорят о фильме Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин"». Кавторанг Буйновский сомневается в реалистичности червей на мясе, вызвавших бунт моряков. Слишком крупные, мол, «как дождевые ползают». Цезарь возражает, что более мелких «средствами кино не покажешь». И тогда следует фраза Буйновского: «Думаю, это б мясо к нам в лагерь привезли вместо нашей рыбки да, не моя, не скребя, в котел бы ухнули, так мы бы...».

А вот и более подробное описание еды:

«Баланда не менялась ото дня ко дню, зависело — какой овощ на зиму заготовят. В летошнем году заготовили одну соленую морковку — так и прошла баланда на чистой моркошке с сентября до июня. А нонче — капуста черная. Самое сытное время лагернику — июнь: всякий овощ кончается и заменяют крупой. Самое худое время — июль: крапиву в котел секут.

Из рыбки мелкой попадались все больше кости, мясо с костей сварилось, развалилось, только на голове и на хвосте держалось. На хрупкой сетке рыбкиного скелета не оставив ни чешуйки, ни мясинки, Шухов еще мял зубами, высасывал скелет — и выплевывал на стол. В любой рыбе ел он все: хоть жабры, хоть хвост, и глаза ел, когда они на месте попадались, а когда вываривались и плавали в миске отдельно — большие рыбьи глаза,— не ел. Над ним за то смеялись...

На второе была каша из магары. Она застыла в один слиток, Шухов ее отламывал кусочками. Магара не то что холодная — она и горячая ни вкуса, ни сытости не оставляет: трава и трава, только желтая, под вид пшена. Придумали давать ее вместо крупы, говорят, от китайцев. В вареном весе триста грамм тянет — и лады: каша не каша, а идет за кашу».

И рационы, и нормирование зависели от самых различных факторов. Прежде всего, от мнения начальства насчет того, какими должны быть нормы. В некоторых случаях нормы на те или иные работы далеко превышали все человеческие возможности — так было, к примеру, на строительстве дороги Котлас—Воркута. Выполнить больше тридцати процентов такой нормы было немыслимо, так что за эту самую тяжелую работу не получалось пайка больше 400 граммов. На ветке той же дороги, в направлении на Халмер-Ю, средняя жизнь лагерника длилась три месяца.

Трагедия состояла в том, что люди готовы были есть все, что угодно. Кухонные мусорные ящики становились объектами массовых налетов. Если кухонные помои в лагере выливались в выгребные ямы при уборных, то даже и там на помои немедленно бросались группы голодных. Когда показывалась свежая трава, ее рвали, кипятили в жестянках и ели. Интеллигентные заключенные ели траву чаще других, полагая ее безвредной. На самом деле конечный результат питания травой мог быть смертелен. Другие пытались утолить аппетит горячей водой с солью — столь же безуспешно.

Солженицынский Иван Денисович, даже сидя в том страшном режимном лагере, где прошел его «один день», вспоминает свои семь лет на севере как нечто еще худшее. Бывало, бригаду, не выполнившую дневного задания, оставляли на всю ночь в лесу. И гарантийная пайка была там на сто граммов ниже. На Дальнем Севере, к востоку от Урала, существовал ряд лагерей особенно сурового режима, так называемые «лагеря строгой изоляции». О том, что там творилось, известно лишь по слухам, поскольку из тех лагерей людей ни при каких обстоятельствах не выпускали живыми. Смертность, как говорят, была там непомерно

высокой. Норильск был центром группы лагерей, более страшных, чем колымские. Такую же исключительно скверную репутацию имели лагеря на островах Новая Земля — оттуда возвращались немногие, да и были ли такие?

Есть множество свидетельств о специальных штрафных лагерях. После того, как в начале сороковых годов был введен в действие режим каторги, приговоренные к ней должны были первые три года спать без матрацев и одеял, их рабочий день был дольше, работа тяжелее и условия хуже. В отдельных лагерях заключенных, нарушавших режим, заковывали в кандалы до окончания сроков [1].

Особой суровостью отличался женский лагерь в Сталиногорске (ныне Новомосковск). Заключенных женщин посылали на подземные работы в шахты. Во втором лаготделении Алексеевке в Каргопольской группе было полно заключенных-иностранцев, которые не успели совершить никаких нарушений в других лагерях, ибо были посланы прямо туда. Тем не менее этот лагерь считался особо тяжелой штрафной командировкой. В Алексеевке было немало польских евреев, сбежавших от наступавших гитлеровцев и вот теперь погибавших пачками в советском штрафном лагере. Эти люди ненавидели сталинский режим еще более сильно и страстно, чем кто бы то ни было из заключенных.

Солженицынсиому Шухову повезло в одном отношении: он не попал на лесозаготовки. Лесозаготовительные лагеря отличались низкими рационами питания и тяжелыми нормами выработки. Профессор Сваневич, в свое время переживший лагеря, пишет, что бывшие заключенные склонны преувеличивать численность людей, отправленных на лесоповал. Пропорция заключенных-лесорубов кажется выше потому, что во всех других лагерях постоянно слышалась угроза «отправить на лесоповал». Для человека, не привыкшего к тяжелой физической работе, направление на продолжительный срок на лесозаготовки было равносильно смертному приговору.

Имеются показания фельдшера одного из северных лесных лагерей. За две зимы,— говорит он,— в некоторых бригадах умерло по 50 процентов заключенных. В среднем же каждый год от смертей и истощения терялось около 30 процентов рабочей силы.

Заключенный-поляк, короткое время пробывший в лагере Алексеевка, описывает необычайную «смерть на ногах». Два человека упали мертвыми, когда бригады выходили из лагерных ворот. В его собственной бригаде в первый же день умерли на работе три человека. Очень деятельный человек мог иногда оставаться внешне здоровым в течение года или полутора, выполняя 120—150 процентов нормы. Но такого человека подстерегала, как правило, скоропостижная смерть от разрыва сердца. Этих «здоровяков» часто находили мертвыми на нарах по утрам.

Даже сравнительно мягкие лесные лагеря были лагерями смерти. Заключенные-финны — а уж они-то специалисты по лесозаготовкам — утверждают, что нормы были невыносимы даже при хорошем питании. «Выполнять» их заключенные умудрялись либо с помощью обмана — знаменитой лагерной туфты, либо давая взятки учетчикам. В качестве примера туфты приводится сдача одного и того же дерева дважды, для чего незаметно отпиливался отмеченный учетчиком конец ствола.

Герлинг пишет, что ни разу не встречал заключенного, проработавшего на лесоповале больше двух лет. После года люди становились уже неизлечимыми. Их переводили на более легкую работу, как доходяг, а оттуда дорога вела в морг.

Стадия доходяги была последней стадией лагерной жизни очень многих. Изможденный человек, доведенный до такого состояния, когда от него нельзя было получить никакой серьезной работы, переводился на голодную пайку. Ему разрешалось оставаться в лагере и выполнять случайную работу в зоне, пока умрет. Существование доходяг признано теперь как западными, так и недавними советскими публикациями. Генерал Горбатов, например, описывает обычные симптомы доходяги и подтверждает, что заболеть в лагере обычно означало умереть. Ибо, если вы ослабевали, вам снижали пайку, и обратного хода уже не было.

Сам Горбатов — до ареста командир дивизии — радовался тому, что подметал полы в помещении лагерной администрации: он «в какой-то степени стал лучше утолять свой голод... сметая со стола крошки, корочки, а иногда и кусочки хлеба в свою торбу». От смерти Горбатова спас дружественно расположенный к нему доктор, который перевел его на легкую работу.

Все источники подчеркивают: в большинстве лагерей продолжительное выживание заключенного на общих работах было редкостью. Выживали большей частью те, кто на общие работы не попадал — то есть работал в конторе, обслуге, медчасти и тому подобное.

В плохие периоды особенно наполнялись лагеря для больных и инвалидов, а самые крупные бригады из тех, кто мог еще работать, рубили лес и копали могилы. Мертвецов хоронили в больших ямах, с бирками, привязанными к ноге.

[1] D a l l i n and N i c o l a e v s k y, p. 72.

По скромной оценке, из данного количества заключенных, отправленных в лагеря, через два-три года оставалась в живых половина. По сообщению бывшего работника НКВД, на строительстве Беломорско-Балтийского канала было занято двести пятьдесят тысяч заключенных. Смертность составляла семьсот человек в день (эта цифра подтверждается и другими источниками). Однако каждый день на канал привозили полторы тысячи новых узников, так что наполнение лагерей все росло.

Из советских источников известно время выживания в лагерях многих осужденных. Так, Радек прожил два года после приговора, Раковский — три года, Сокольников — два [1].

В 1933 году смертность в советских лагерях оценивается в десять процентов всего количества заключенных. К 1938 году она поднялась до двадцати процентов [2]. Почти все, арестованные в 1936 году, исчезли с лица земли к 1940 году. Женщина, работавшая в лагерном госпитале, свидетельствует, что в 1939 и 1940 годах госпиталь заполняли главным образом пациенты, осужденные в 1937 и 1938 годах, но к 1941 году их оставалось уже очень мало [3].

Согласно одному осторожному подсчету, в период 1927—1938 годов смертность превысила нормальную на 2,3 миллиона человек — в результате действия лагерей и ссылки [4]. Конечно, после этого умерло еще большинство тех, ито попал в лагеря и тюрьмы во время ежовщины и к концу 1938 года оставался в живых. Другой весьма обоснованный расчет дает цифру умерших в лагерях с 1936 по 1939 год: два миллиона восемьсот тысяч. Согласно тому же расчету, с 1939 по 1941 год за колючей проволокой умерло еще 1,8 миллиона заключенных [5].

Во всяком случае, на волю вышла лишь малая часть из тех, кто тогда попал в лагеря. Долгое время наилучшие свидетельства о лагерной жизни мы имели лишь от немецких коммунистов, взятых из лагерей и переданных Сталиным в руки гестапо в 1939—1940 годах, от поляков, освобожденных по договору 1941 года, и от тех нескольких человек, которые освободились в силу стечения необыкновенных, исключительных обстоятельств. В целом же освобождение из лагерей было явлением редким — и так же редки выжившие в лагерях с ежовщины до послесталинских амнистий. «Зачем скрывать — их возвращалось мало»,— писала Ольга Берггольц (сама пробывшая некоторое время в заключении).

Длительность срока имела для приговоренных в годы ежовщины очень небольшое значение (тех, кого выпустили после войны, в 1947—1948 годах снова арестовали). Обычно когда срок у политического заключенного кончался, его вызывали к оперуполномоченному и сообщали, что срок продлен на столько-то лет. Были и такие случаи, когда под конец срока заключенных этапировали в тюрьмы Москвы и других городов, заново допрашивали и осуждали за «новые» преступления. Вот как об этом у Солженицына:

«Шухову и приятно, что на него все пальцами тычут: вот, он-де срок конча ет,— но сам он в это не больно верит. Вон, у кого в войну срок кончался, всех до особого распоряжения держали, до сорок шестого года. У кого и основного-то сроку три года было, так пять лет пересидки получилось. Закон — он выворотной. Кончится десятка — скажут, нá тебе еще одну. Или в ссылку».

Известны люди, пробывшие в лагерях по семнадцать лет, выжившие там и реабилитированные. Например, некий Снегов, упомянутый Хрущевым на XX съезде КПСС, или генерал-лейтенант Тодорский. Обычно такие отбывали сроки в менее тяжелых лагерях. Но большинство опубликованных в Советском Союзе свидетельств о лагерях исходят от людей типа Горбатова, который оказался в числе освобожденных в 1940 году командиров, а иначе бы не выжил. (Реабилитация даже тех немногих, кого она коснулась в те времена, проходила медленно. Как Горбатов узнал позже, за него заступился Буденный, и 20 марта 1940-го приговор был отменен с назначением дела к пересмотру. Но Горбатова привезли из Магадана в Бутырскую тюрьму лишь 25 декабря 1940 года, 1 марта 1941 года перевели на Лубянку, а 5 марта того же года освободили.)

Другие выжившие свидетели — это люди с судьбой Солженицына. Он сам пишет, что в сравнительно «хороший» период лагерной истории, то есть после войны, человек мог продержаться в лагерях десять лет «не околев», но вряд ли дольше. Самого Солженицына выпустили в ссылку через восемь, как раз после смерти Сталина. Его, к счастью, арестовали позже других. Человеку, арестованному в 1938 году, надо было выдержать не десять лет, а семнадцать—восемнадцать. Из тех, кого арестовали в 1936—1938 годах, выжило вряд ли даже десять процентов. Эту цифру подтверждает, например, советский историк Рой Медведев. По его подсчетам, в лагерях до войны погибло 90 процентов заключенных. А по подсчетам академика Сахарова процент погибших был значи-

[1] См. даты их смертей в биографических справках к стенографическому отчету XI съезда РКП(б). М., 1961, с. 844, 850.

[2] S w i a n i e w i c z, p. 17.

[3] L i p p e r, s. 204.

[4] S w i a n i e w i c z, p. 17.

[5] V. K o s y k in «Russian Opression in the Ukraine», London, 1962.

тельно выше. Он пишет: «Лишь в 1936—1939 гг. было арестовано более 1,2 миллиона членов ВКП(б) — половина всей партии. Около 50 тысяч вышло на свободу — остальные были замучены при допросах, расстреляны (600 тысяч) или погибли в лагерях» [1]. Таким образом, можно полагать, что всех выживших в лагерном заключении по всему Советскому Союзу было отнюдь не больше одного миллиона человек. А остальные семь с лишним миллионов? Из них около трех миллионов человек было либо казнено, либо умерло в лагерях только за два года пребывания у власти Ежова. В речи, произнесенной 1 августа 1951 года, член Политбюро Союза коммунистов Югославии Моше Пьяде сказал, что «в 1936, 1937 и 1938 годах в Советском Союзе было ликвидировано три миллиона человек». Остальные погибли в последующие годы, причем фактическое количество смертей было еще выше — к ним ведь добавлялись жертвы продолжавшихся арестов.

В поэме «Теркин на том свете» Александр Твардовский писал:

Там — рядами, по годам
Шли в строю незримом
Колыма и Магадан,
Воркута с Нарымом.

За черту из-за черты
С разницею малой
Область вечной мерзлоты
В вечность их списала.

Из-за проволоки той
Белой-поседелой —
С их особою статьей,
Приобщенной к делу...

Кто, за что, по воле чьей —
Разберись, наука...

Глава одиннадцатая

БОЛЬШОЙ СПЕКТАКЛЬ

Подготовку самого крупного из всех процессов вели менее опытные люди, чем режиссеры предыдущих судебных спектаклей — судилищ над Зиновьевым и Пятаковым. Ветераны НКВД к тому времени уже сошли со сцены. Заместитель наркома внутренних дел Агранов, в свое время личный друг Сталина, последовал за Ягодой и его людьми. Современная биографическая справка утверждает, что он «в 1937 году исключен из партии за систематические нарушения социалистической законности» [2], словно предлагая нам верить, будто партийное руководство в 1937 году не одобряло такую практику!

[1] А. Д. Сахаров. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. Турин, 1968, с. 49.

[2] Левин. Собр. соч., т. 53, с. 463 (Биографическая справка).

Агранов погиб (наиболее вероятно — расстрелян) в 1938 году. Его жена тоже расстреляна.

Прежних руководителей НКВД — Молчанова и Миронова, Агранова и Гая — заменила команда Ежова, в которой опытными людьми были Заковский из Ленинграда, бывший командир пограничных войск при Ягоде Михаил Фриновский и, до известной степени, бывший начальник ГУЛАГа Матвей Берман. (В январе 1938 года Берман был переведен с поста заместителя наркома внутренних дел на должность наркома связи. Его заменил Заковский.) Иностранный отдел НКВД возглавил Слуцкий. Все четверо исчезли на протяжении последующего года, но они все же успели подготовить судебный спектакль, оказавшийся ненамного хуже двух предыдущих. Заговор был более сложным и более ужасающим, и на процессе произошло больше ошибок в отдельных деталях — ошибок, привлекших внимание серьезных критиков. Но в целом процесс был достаточно успешным.

Можно думать, что к тому времени публичных процессов уже не требовалось. Ведь и оппозиция и все полунезависимые голоса в окружении Сталина были полностью подавлены. Так что третий процесс был в этом смысле не более, чем «парадом победы». На процессе были собраны воедино все виды оппозиций, а также вредительство, террор, измена и шпионаж. Эти «компоненты» были представлены публике как составные части общего громадного заговора. Готовя первый из трех процессов — суд 1936 года над Зиновьевым, Каменевым и другими,— начальник отдела НКВД Молчанов представил Сталину особую диаграмму. На ней цветными линиями было обозначено, когда и через кого Троцкий якобы связывался с заговорщиками внутри страны. Подобная диаграмма, начерченная для процесса Бухарина, Рыкова и других, была бы куда более сложной.

Судебный процесс открылся в Октябрьском зале Дома союзов 2 марта 1938 года. На его подготовку ушло больше года, но масштаб спектакля был крупнее, чем масштаб двух предыдущих зрелищ того же рода.

Ибо теперь все нити были связаны в один узел. «Правые» — Бухарин и Рыков — оказались союзниками Троцкого и прежних троцкистско-зиновьевских «заговорщиков»; «открылись» их связи с так называемыми «бывшими троцкистами», которых еще не судили, с обычным набором террористических групп и, наконец, с разведками нескольких государств. «Выяснилось», что они успели создать два «резервных» центра; что были непосредственно связаны с делом Енукидзе и, не менее тесно, с «военным заговором» Тухачевского. Больше того, «вскрылись» их организационные связи с «националистическим подпольем» полудюжины нерусских республик. В «правые» группировки были будто бы вовлечены десятки людей, считавшихся верными сталинцами. И, наконец, их крупными соучастниками были сам нарком внутренних дел Ягода со своими ближайшими помощниками.

Слабый свет зимнего пасмурного дня был недостаточен для узкого длинного зала. Все время, днем и вечером, горели электролампы. При таком неверном смешанном свете в зал ввели разношерстный набор обвиняемых.

На первом из трех процессов, в 1936 году, только Зиновьев, Каменев и, в меньшей степени, Смирнов были видными фигурами. Главные действующие лица второго процесса — Пятаков, Радек и Сокольников — были еще меньшего калибра. И в том и в другом случае «окружение» главных обвиняемых составляли третьеразрядные «террористы» и чуть более интересные инженеры-«вредители». Теперь все выглядело иначе.

На скамье подсудимых сидели три члена ленинского состава Политбюро — Бухарин, Рыков и Крестинский. Рядом с ними был легендарный Раковский — руководитель революционного движения на Балканах и на Украине. Зловещий Ягода — олицетворение тайной полиции — поглядывал направо и налево с крысиной подозрительностью. А основное ядро остальных подсудимых составляли высшие работники сталинского государственного аппарата. Розенгольц, Иванов, Чернов и Гринько были до предыдущего года наркомами; Зеленский возглавлял Центросоюз; Шарангович руководил Белорусской партийной организацией. Впервые рядом с этими «европейцами» сидели два «азиата» — узбеки Ходжаев и Икрамов, за год до того «разоблаченные» как «буржуазные националисты». К этим главным политическим обвиняемым были добавлены пять значительно более мелких работников: сотрудник советского торгпредства в Берлине Бессонов, сотрудник Наркомата земледелия Зубарев и бывшие секретари Ягоды, Куйбышева и Максима Горького. Наконец, в качестве ужасающей новинки на скамье подсудимых находились три человека, совсем далекие от общественной жизни,— врачи Плетнев, Левин и Казаков. Первые два были весьма известны в своей области, а также являлись самыми старшими среди обвиняемых (66 и 68 лет соответственно).

В обвинительном заключении перечислялось решительно все — шпионаж, вредительство, подрыв советской военной мощи, провокация нападения на СССР, заговор с целью расчленения Советского Союза, свержения общественного строя в стране и восстановления капитализма. С этими целями обвиняемые, дескать, создали широкую конспиративную организацию из троцкистов, зиновьевцев, «правых», меньшевиков, эсеров и «буржуазных националистов» на всей территории Советского Союза. Они будто бы действовали в тесном сотрудничестве с «военными заговорщиками». Многие из подсудимых, говорилось в обвинительном заключении, были немецкими, английскими, японскими или польскими шпионами с давних пор — с начала двадцатых годов. Некоторые были агентами царской охранки в революционном движении. Вредительские акты совершались в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и финансовой области.

Что касается террора, то на обвиняемых была возложена ответственность за убийство Кирова, для чего Ягода создал условия через своего ленинградского сотрудника Запорожца. Кроме того, обвинительное заключение приписывало им умерщвление Куйбышева и Максима Горького, умерших, как считалось до того, естественной смертью. Была якобы также ускорена смерть бывшего начальника ОГПУ Менжинского и сына Горького — Пешкова. Все это были, мол, «медицинские убийства», причем Ягода был обвинен также в попытке отравить Ежова. Помимо этого, в обвинительное заключение был вписан знакомый по прошлым процессам набор безуспешных попыток покушения на Сталина и других партийных руководителей.

Против главного подсудимого Бухарина было выдвинуто еще одно, совершенно новое, обвинение: он якобы пытался в 1918 году захватить власть, убив Ленина и Сталина.

Как и на двух предыдущих процессах, председательствовал Ульрих. Одним из членов суда был тоже знакомый по прошлым спектаклям Матулевич, другим — «новичок» Иевлев, более молодой по возрасту и стажу. Государственным обвинителем был опять Вышинский. Защитников имели только трое подсудимых — врачи. Левина защищал адвокат И. Брауде, а Плетнева и Казакова — Н. Коммодов. Эти два адвоката в меру сил помогали обвинителю на предыдущем процессе по делу Пятакова и других.

Признание, взятое обратно

Первая сенсация на процессе произошла почти немедленно после его начала, когда суд приступил к опросу подсудимых, признают ли они себя виновными. Все, один за другим, признавали, пока дело не дошло до Крестинского.

Крестинский (по описанию присутствовавшего на процессе журналиста

Маклина), «бледный, тусклый, потрепанного вида человечек со стальными очками на ястребином носу», твердо ответил Ульриху:

«Я не признаю себя виновным. Я не троцкист. Я никогда не был участником „право-троцкистского блока", о существовании которого я не знал. Я не совершил также ни одного из тех преступлений, которые вменяются лично мне, в частности, я не признаю себя виновным в связях с германской разведкой».

Председательствующий: Ваше признание на предварительном следствии вы не подтверждаете?

Крестинский: Да, на предварительном следствии признавал, но я никогда не был троцкистом.

Председательствующий: Повторяю вопрос, вы признаете себя виновным?

Крестинский: Я до ареста был членом Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) и по сей час остаюсь я таковым.

Председательствующий: Вы признаете себя виновным в участии в шпионской деятельности и в участии в террористической деятельности?

Крестинский: Я никогда не был троцкистом, я не участвовал в «право-троцкистском блоке» и не совершил ни одного преступления [1].

После опроса подсудимых о признании ими вины был объявлен двадцатиминутный перерыв. Делались предположения, что перерыв понадобился для оказания некоторого закулисного давления на Крестинского. Возможно, что и так, однако перерыв после опроса объявлялся и на двух предшествовавших процессах, и в тех случаях был лишь на пять минут короче.

Заседание продолжилось допросом первого из обвиняемых — Бессонова, который, занимая пост советника посольства в Берлине, поддерживал якобы контакт с Троцким и его сыном Седовым. Бессонов «мрачный, с серым лицом, напоминавший скорее робота, нежели человека» [2], был арестован 28 февраля 1937 года, через двадцать четыре часа после ареста Бухарина и Рыкова. До 30 декабря 1937 года он отрицал выдвинутые против него главные обвинения. Тем не менее 13 августа 1937 года его судила Военная Коллегия Верховного Суда СССР, «заседавшая почти в том же составе, что и на настоящем процессе» [3]. Суд был закрытым, он не приговорил Бессонова к наказанию и не оправдал его, а направил дело на доследование.

Это не может означать ничего другого, кроме «консервации» Бессонова для использования на готовившемся большом процессе. У Бессонова было эсеровское прошлое, а дипломат невысокого ранга с подобным прошлым был заведомой жертвой террора — такие люди погибли почти все. Дело просто в том, что Бессонову была уготована роль курьера на предстоящем процессе — роль связиста, к которой он, по своей работе в Берлине, очень подходил. В свое время, в 1935 году, таким же образом была отложена расправа над несколькими комсомольскими работниками в Ленинграде — их держали в живых до суда над Зиновьевым.

Теперь, когда Бессонов показал, что участвовал в троцкистском заговоре вместе с Крестинским, Вышинский ему напомнил, что Крестинский свое участие отрицает. Бессонов улыбнулся. Вышинский спросил: «Чего вы улыбаетесь?» и услышал ответ: «Я улыбаюсь, потому что я стою здесь, на этом месте, потому что Николай Николаевич Крестинский назвал меня как связиста с Троцким. И, кроме него и Пятакова, никто об этом не знал» [1]. Так проступают наружу отдельные детали механики получения признаний — когда у человека требуют назвать сообщника и в конце концов он называет первое попавшееся имя, а потом этот «сообщник» оговаривает его самого; так выявляется существование запутанной сети, в которую следователи ловили людей. Позже, в последнем слове на процессе, Бессонов опять заметил, что безнадежность сопротивлении следствию стал понимать только в октябре 1937 года, когда Крестинский его оговорил.

В целом, после того как Бессонов ответил по нескольким пунктам о своих связях с Седовым и Пятаковым, его допрос превратился главным образом в повод для нападок прокурора на Крестинского. Последний признал, что встречался с Бессоновым на Западе, но отрицал какие-либо троцкистские связи:

Вышинский: А о троцкистских делах?

Крестинский: Мы с ним не говорили. Я троцкистом не был.

Вышинский: Никогда не говорили?

Крестинский: Никогда.

Вышинский: Значит, Бессонов говорит неправду, а вы говорите правду. Вы всегда говорите правду?

Крестинский: Нет.

Вышинский: Не всегда. Подсудимый Крестинский, нам придется с вами разбираться в серьезных делах и горячиться не нужно. Следовательно, Бессонов говорит неправду?

Крестинский: Да.

Вышинский: Но вы тоже не всегда говорите правду. Верно?

Крестинский: Не всегда говорил правду во время следствия.

Вышинский: А в другое время говорите всегда правду?

Крестинский: Правду.

Вышинский: Почему же такое неуважение к следствию: когда ведут следствие, вы говорите неправду! Объясните.

Крестинский (молчит).

Несколько минут спустя Бессонов заговорил о формулировках, якобы слышанных им от Крестинского. Вышинский перебил его недовольным тоном: «Коротко, потому что я думаю, что об этих задачах будет говорить сам Крестинский позже». А когда Бессонов изложил кратко свою версию, Вышинский обратился к Крестинскому и спросил: «Подсудимый Крестинский, вы не припомните таких „дипломатических" разговоров с Бессоновым?». На что Крестинский твердо ответил: «Нет, у нас не было таких разговоров».

Еще через две минуты — такой обмен репликами:

Вышинский: Вы деталей не помните, а Бессонов помнит.

Крестинский: Не было ни одного звука о троцкистских установках.

В конце концов вопрос о показаниях Крестинского на предварительном следствии был поставлен прямо:

Вышинский: Но ваше признание?

Крестинский: На следствии я несколько раз давал неправильные показания.

Вышинский: Вы говорили, что «в состав троцкистского центра я формально не входил». Это правда или неправда?

Крестинский: Я вообще не входил.

Вышинский: Вы говорите, что формально не входили. Что здесь правда, что здесь неправда? Может быть, все правда или все неправда, или наполовину правда? На сколько процентов, на сколько граммов здесь правды?

Крестинский: Я не входил в состав троцкистского центра, потому что я не был троцкистом.

Вышинский: Вы не были троцкистом?

Крестинский: Не был.

Далее Крестинский рассказывает о своем разрыве с Троцким в 1927 году:

Крестинский: Я датирую мой разрыв с Троцким и с троцкизмом 27-м ноября 1927 года, когда я через Серебрякова, возвратившегося из Америки и находившегося в Москве, направил Троцкому резкое письмо с резкой критикой...

Вышинский: Письма этого у нас нет в деле. У нас есть другое письмо — ваше письмо на имя Троцкого.

Крестинский: Письмо, о котором я говорю, находится у судебного следователя, потому что оно изъято у меня при обыске, и я прошу о приобщении этой переписки.

Вышинский: В деле есть письмо от 11 июля 1927 года, изъятое у вас при обыске.

Крестинский: Там же есть письмо от 27 ноября.

Вышинский: Нет такого письма.

Крестинский: Не может быть...

В дальнейшем, под непрерывным нажимом в течение длительного допроса, Крестинский дал объяснение своим прежним «признаниям».

Крестинский: Я дал прежде, до вас, на предварительном следствии неправильные показания.

Вышинский: ...И потом держались?

Крестинский: ...И потом держался, потому что на опыте своем личном пришел к убеждению, что до судебного заседания, если таковое будет, мне не удастся опорочить эти мои показания.

Тут Вышинский обратился к Розенгольцу, который подтвердил, что Крестинский был троцкистом. Крестинскому стало дурно. Вышинский потребовал, чтобы он внимательно слушал. В ответ Крестинский сказал, что сейчас примет пилюлю и почувствует себя лучше, однако попросил не допрашивать его в ближайшие несколько минут.

Вслед за Розенгольцем, свидетельство о «виновности» Крестинского дал и Гринько. Придя в себя, Крестинский продолжал опровергать их показания.

Вышинский: И вот три человека с хорошим отношением к вам, подсудимый Крестинский, говорят то, чего не было?

Крестинский: Да...

После нескольких подобных отрицаний Вышинский спросил прямо: «Когда мы на предварительном следствии спрашивали у вас, как вы говорили по этому поводу?»

Крестинский: Давая показания, я не опровергал ни одного из своих прежних показаний, которые я сознательно подтверждал.

Вышинский: Сознательно подтверждали. Вы вводили прокуратуру в заблуждение. Так или нет?

Крестинский: Нет.

Вышинский: Зачем вам нужно было вводить меня в заблуждение?

Крестинский: Я просто считал, что если я расскажу то, что я сегодня говорю, что это не соответствует действительности, то это мое заявление не дойдет до руководителей партии и правительства.

Маклин пишет, что это ясное заявление Крестинского вызвало в зале «гнетущую тишину».

Допрашивая Крестинского дальше по поводу показаний, данных на предварительном следствии, Вышинский заметил: «Если спрашивают, есть ли претензии, то вам надо было бы сказать, что есть». Крестинский ответил: «Есть в том смысле, что я не добровольно говорил».

Тут Вышинский оставил эти вопросы

Сноски к с. 138:

[1] «Дело Бухарина», с. 37 — 38.

[2] F. Maclean. «Eastern Approaches». London, 1941, p. 93.

[3] См. «Дело Бухарина», с. 631.

[1] См. «Дело Бухарина», с. 49.

и вновь взялся за свою официальную жертву — Бессонова, который пространно поведал о связях с Троцким. Бессонов добавил, что Троцкий якобы намекнул на необходимость физического уничтожения Максима Горького. Заседание закончилось еще одним диалогом между прокурором и Крестинским, причем Крестинский вновь отрицал свою вину.

После двухчасового перерыва, на вечернем заседании, начал давать показания бывший нарком финансов Гринько. В свое время Гринько был украинским боротьбистом, а в начале двадцатых годов его сняли с поста наркома просвещения Украины за излишнюю торопливость в проведении украинизации. Как человек с подобным прошлым, Гринько теперь оговорил Любченко и других украинских работников меньшего масштаба — например, заместителя председателя Совнаркома Украины Порайко,— представив их членами «национал-фашистской» организации. А в связи со своей последней должностью наркома финансов в Москве Гринько показал, что высокопоставленные московские руководители — такие, как Антипов, Рудзутак, Яковлев, Варейкис — были «правыми заговорщиками». Он описал, как Якир и Гамарник поручили... начальнику Управления сберегательных касс Наркомфина Озерянскому подготовку террористического акта против Ежова и как сотрудник Главсевморпути Бергавинов получил задание убить Сталина. Сам Гринько занимался, главным образом, вредительством в области финансов, о чем в показаниях на предварительном следствии рассказывал так:

«Подрывная работа по Наркомфину преследовала основную цель: ослабить советский рубль, ослабить финансовую мощь СССР, запутать хозяйство и вызвать недовольство населения финансовой политикой Советской власти, недовольство налогами, недовольство плохим обслуживанием населения сберегательными кассами, задержками в выдаче заработной платы и др., что должно было привести к организованному широкому недовольству Советской властью и облегчить заговорщикам вербовку сторонников и разворот повстанческой деятельности».

Эта тема — взваливание ответственности за ошибки и неурядицы советской экономики на подсудимых-«вредителей» — звучала на протяжении всего процесса. На скамье подсудимых нашлись «ответственные» за недовольство советских граждан во всех областях жизни.

Подобным образом Гринько стал «виновным», вместе с Зеленским и другими, за перебои в торговле.

Гринько: В области товарооборота Зеленский и другие вредители в этой области, например, Болотин по Наркомвнуторгу, осуществляли подрывную работу, создавали товарный голод, товарные затруднения в стране... Зеленский по директивам «правотроцкистского блока» в недородные районы завозил большую массу товаров, а в урожайные районы посылал товаров меньше, что создавало затоваривание в одних районах и товарную нужду в других.

Прокурор обратился к Рыкову, и тот подтвердил виновность Крестинского. Но Крестинский еще раз ясно заявил, что ничего не анал о нелегальной деятельности, и последующее вмешательство председательствующего Ульриха не заставило Крестинского сказать что-либо иное.

В свою очередь показания Рыкова тоже не очень удовлетворили суд, хотя и в другом смысле. В последний период перед арестом Рыков сильно запил и опустился. Его состояние не улучшилось и в тюрьме, где спиртных напитков не давали, но сказывалось тяжелое напряжение от допросов. Во время перекрестных допросов Рыков временами сбивался, перемежая свои ответы бессмысленным хихиканьем [1], затем снова овладевал собой. В ходе допроса Гринько Рыков говорил сперва туманно.

Гринько: От Рыкова я узнал об участии Ягоды в этой организации, но прямой связи с Ягодой не было.

Вышинский (обращается к суду): Разрешите спросить Рыкова? Обвиняемый Рыков, вы об этом говорили с Гринько?

Рыков: Я точно вспомнить не могу, но не могу исключить этого факта.

Вышинский: Значит, вы об участии Ягоды говорили?

Рыков: Да.

Потом был поднят вопрос о вредительстве.

Вышинский: Обвиняемый Рыков, вы подтверждаете этот разговор с Гринько насчет вредительства?

Рыков: Этого не принимаю. Я это отрицаю и не только потому, что я хочу смягчить свою вину. Я сделал много вещей гораздо более тяжелых, чем это.

Позже Рыков принялся развивать ту линию, которую он и (значительно более сильно и последовательно) Бухарин вели на протяжении всего процесса. Линия Бухарина и Рыкова состояла в следующем. Они признавали формирование нелегальной организации, «сознавались», что давали террористическую «ориентацию», абстрактно принимали на себя ответственность за якобы совершенные другими лицами вредительские акты, но отрицали свою личную осведомленность о каких-либо конкретных преступлениях и свою личную причастность к преступлениям. Ведя такую линию, они могли заявлять, что добровольно признаются в своей тяжкой ответственности, так что

[1] F. Maclean, p. 98.

отрицание ими своего участия в конкретных актах не может быть сочтено за попытку избежать наказания.

Последним допрошенным 2 марта был Чернов. Бывший меньшевик, бывший семинарист (подобно Бессонову, а также Микояну и Сталину), Чернов в 1929—1930 годах руководил заготовками зерна на Украине, а позже занимал в Москве пост наркома земледелия. Во время коллективизации он был беспощадным исполнителем сталинской воли, хотя, по-видимому, и не очень убежденным исполнителем. В книге бывшего советского полковника Токаева приводятся слова Чернова, относящиеся к 1930 году, к тому периоду, когда крестьяне резали скот, чтобы не отдавать его в колхоз: «Впервые за всю свою тяжкую историю русский крестьянин по крайней мере поел мяса досыта». Чернов стал давать показания сразу же, в день ареста.

Теперь, на суде, он признался в своих сомнениях относительно коллективизации и сказал, что его сомнения разделялись широким кругом украинских руководителей, в том числе Затонским. Однако главная роль Чернова на скамье подсудимых состояла в том, чтобы принимать на себя ответственность за провалы сельского хозяйства. Он был снят с поста наркома земледелия только 30 октября 1937 года, и потому его признания звучали убедительно.

К примеру, в больших масштабах происходил падеж скота. Был арестован старший ветеринарный врач Московского военного округа. Его обвинили в том, что он погубил 25 тысяч лошадей из конного состава армии путем инъекций им токсинов, и приговорили его к расстрелу. В сентябре 1937 года в связи с эпидемией инфекционной анемии у лошадей были арестованы начальник главного ветеринарного управления Наркомзема Недачин, начальник ветеринарной службы Красной Армии Никольский и ведущий специалист-ветеринар Наркомзема Черняк. На процессе было объявлено, что предстоит суд над этими лицами, но ни о ком из них в дальнейшем не было ни слуху ни духу. Тем не менее этот эпизод дал возможность Чернову «признаться» в распространении подобных же эпидемий — при посредстве других ветеринаров.

Чернов: ...Мною были проведены следующие диверсионные акты. Для того, чтобы добиться падежа скота в Восточной Сибири, я предложил начальнику ветеринарного управления Гинзбургу, участнику организации правых, а через него начальнику ветеринарного снабжения, также участнику организации правых, не завозить противоязвенные биопрепараты в Восточную Сибирь, зная о том, что в Восточной Сибири очень опасно по части сибирской язвы. Препараты эти туда завезены не были. Подготовка эта велась в 1935 году, и когда весной 1936 года там вспыхнула сибирская язва, то оказалось, что действительно препараты туда завезены не были и тем самым было погублено — я точно не могу сказать — во всяком случае, больше 25 тысяч лошадей.

Второе. Я поручил Гинзбургу и заведующему бактериологическим отделом Бояршинову произвести искусственное заражение в Ленинградской области свиней рожей, а в Воронежской и Азово-Черноморском крае — чумой...

Трудно оценить результаты, но во всяком случае нужно считать, что благодаря этому диверсионному акту было погублено несколько десятков тысяч свиней.

Согласно Чернову, был проведен в жизнь также ряд других вредительских планов — неправильное назначение севооборотов, поставка плохого посевного материала и так далее. «Это должно было привести к уменьшению урожая в стране».

Чернов показал, что в период работы на Украине он также старался вызвать недовольство крестьян-середняков и задеть украинские национальные чувства. С этой целью он приписывал проводимую им политику приказам Москвы. Он вошел в контакт с меньшевиками за границей и стал немецким шпионом. В организации правых Чернов поддерживал основной контакт с Рыковым. Вызванный с места бывший председатель Совнаркома опять-таки признал наличие заговора в целом, но отрицал, что он когда-либо одобрял конкретные действия, указав, что «все, что он говорит, по существу и в основном правильно, но то, что я являлся сторонником перегибов, в этой части, мне кажется, он неправ».

По поводу проводившейся якобы подготовки свержения советской власти Рыков сказал: «С Черновым я не помню такого разговора, но возможность подобного разговора, конечно, не исключена». Затем Рыков отрицал, что встречался в различных местах с Черновым для обсуждения вредительских планов; а когда Чернов сказал, что если бы Рыков не давал ему подробных инструкций, то был бы плохим руководителем правых заговорщиков, Рыков саркастически ответил: «Может быть, я должен был действовать так, как он говорит. У меня вышла ошибка». На этом месте Ульрих внезапно закрыл судебное заседание.

Следующий день, 3 марта, начался допросом бывшего студента-медика Иванова, работавшего наркомом лесной промышленности. Он, разумеется, подрывал эту промышленность, следуя инструкциям Розенгольца. Говоря о лесном демпинге — то есть о продаже леса на междуна-

родном рынке по бросовым ценам для подрыва конкурентов,— о демпинге, ставшем в начале тридцатых годов зловещей чертой советской торговой политики, Иванов заявил: «Лес наиболее высококачественный продавался по сниженным ценам. На этом Советскому государству нанесен ущерб в несколько миллионов рублей в валюте. Бухарин пояснял эту меру как аванс английской буржуазии за ту поддержку, которая ею обещана. Иначе, говорил он, нас не будут считать серьезными людьми и потеряют к нам доверие».

Что касается лесозаготовок в стране, то главной целью Иванова было, как ни странно, вредительство в области культуры:

Иванов: ...Главное внимание было направлено на срыв технического перевооружения лесозаготовок, на срыв капитального строительства, особенно целлюлозно-бумажной промышленности с тем, чтобы держать страну на голодном бумажном пайке и этим самым ударить по культурной революции, сорвать снабжение страны тетрадями и этим вызвать недовольство в широких массах.

Иванов «признался» также в том, что участвовал в движении «левых коммунистов» против Ленина, что пытался организовать повстанческие отряды (частично по приказам из Великобритании) и террористические группы. В этой связи допрашивался и Бухарин. Он сказал, что давал распоряжения о формировании нелегальных организаций, но не повстанческих отрядов. Он якобы (хотя и позднее, чем говорил Иванов) предлагал «установку на повстанчество» — платформу Рютина. Он, дескать, не давал конкретных инструкций по подготовке восстаний, однако признавал себя ответственным за то, что «человек-практик» типа Иванова мог совершить на основе его установок.

Когда Вышинский обратился к Бухарину со словами: «Следовательно, эти показания о связях с английской разведкой...», Бухарин прервал его: «Относительно разведки и относительно планов я совершенно не был в курсе дела».

Согласно порядку дня, следующим должен был допрашиваться Крестинский. Однако вместо него был вызван младший сельскохозяйственный специалист Наркомзема Зубарев. Он дал обширные показания о срывах продовольственного снабжения.

Вышинский: Скажите, в чем выражается ваша вредительская деятельность?

Зубарев: ...запутывание семеноводства, ухудшение качества семян, применение недоброкачественного материала, плохая его очистка, небрежное хранение, а в результате это вызывало не только снижение урожаи, но и враждебное настроение со стороны крестьянства, недовольство этими, так называемыми, сортовыми семенами... моя преступная деятельность заключалась, прежде всего, в неправильном планировании посева овощей... Во-вторых, проводилась точно такая же работа в отношении слабого развития питомников по плодовым растениям... По линии совхозов основное вредительство заключалось в том, что до самого последнего времени не были установлены правильные севообороты, а в целом ряде совхозов вовсе не было севооборотов. Все это, естественно, снижало урожай. Целый ряд совхозов, имевших большое количество скота, вследствие неправильного построения севооборотов оставался без кормов, в результате — падеж скота, медленное развитие скотоводства.

И так далее и тому подобное. Зубарев также установил якобы связь с правыми и с осужденным на процессе 1937 года Мураловым. Он будто бы организовал в Наркомземе террористическую группу, выбравшую своей будущей жертвой Молотова. Он вел сельскохозяйственный шпионаж в пользу Германии.

Гвоздем показаний Зубарева была, однако, история о том, как в 1908 году он был завербован царской охранкой и далее работал на нее. Вышинский неожиданно вывел здесь на сцену свидетеля. Этот свидетель, Д. Васильев, был становым приставом в городе Котельниче с 1907 по 1910 год. Он якобы и завербовал Зубарева в агенты охранки.

Появление этого старого царского пристава было расценено судом и «публикой» как некая комическая интермедия. Даже Вышинский был с ним относительно добродушен, позволяя себе нападать на старика в той минимальной степени, которая на фоне общей злобности Вышинского уже граничила с хорошим расположением духа.

Этим допросом закончилось утреннее заседание.

Когда в шесть часов вечера заседание открылось вновь, Ульрих объявил сидевшим в напряжении судьям и сторонам, что сейчас начнется допрос Крестинского. Вмешался Вышинский и сказал, что хотел бы сперва задать несколько вопросов Раковскому.

Он спросил старого болгарина о письме Крестинского к Троцкому, в котором Крестинский объявлял о своем разрыве с троцкизмом. Крестинский, как мы помним, говорил об этом письме накануне. Раковский припомнил письмо и сказал, что оно было маневром, что Крестинский никогда с троцкизмом не порывал.

Тут Вышинский предъявил письмо, существования которого он сам накануне не признавал. И пустился в рассуждения о том, что само письмо, где говорилось о поражении оппозиции и необходимости работать в партии, следует понимать как призыв к тайной подрывной деятельности. Вообще говоря, такое истолкование не целиком нелепо, но оно не вяжется с «обманной» сдачей всех позиций, с «маневром».

Тут, наконец, прокурор обратился к Крестинскому. Принимает ли он такую формулу?

Крестинский, который, согласно Маклину, «более чем когда-либо напоминал маленького потрепанного воробышка», принял ее.

Вышинский спросил, означает ли это, что Крестинский прекратит теперь обманывать суд. В ответ прозвучало полное подтверждение показаний, данных Крестинским на предварительном следствии. Он признал свою вину. Если в первый день процесса Крестинский говорил, в общем, нормальным тоном и лишь иногда его голос выдавал раздражение после колкостей Вышинского, то теперь Крестинский говорил механически, без интонаций, с отчаянием в голосе.

Вышинский давил:

Вышинский: У меня один вопрос к Крестинскому: что значит в таком случае ваше вчерашнее заявление, которое нельзя иначе рассматривать, как троцкистскую провокацию на процессе?

Крестинский: Вчера под влиянием минутного острого чувства ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых и тяжелым впечатлением от оглашения обвинительного акта, усугубленным моим болезненным состоянием, я не в состоянии был сказать правду, не в состоянии был сказать, что я виновен. И вместо того, чтобы сказать — да, я виновен, я почти машинально ответил — нет, не виновен.

Вышинский: Машинально?

Крестинский: Я не в силах был перед лицом мирового общественного мнения сказать правду, что вел все время троцкистскую борьбу. Я прошу суд зафиксировать мое заявление, что я целиком и полностью признаю себя виновным по всем тягчайшим обвинениям, предъявленным лично мне, и признаю себя полностью ответственным за совершенные мною измену и предательство.

И тут, невзирая на недавнее объявление Ульриха, что предстоит допрос Крестинского, Вышинский тотчас оставил его в покое и обратился к допросу Рыкова. Было очень похоже, что обвинение решило вести осторожную игру, стараясь избежать опасности, что обвиняемый опять станет отказываться от своих показаний.

Мы не знаем, что происходило на Лубянке в ночь со второго на третье марта, но общее мнение состоит в том, что к Крестинскому были применены все виды давления, лишь бы заставить его прекратить сопротивление. Есть, во всяком случае, одно свидетельство о том, что в ту ночь Крестинского пытали. Немецкий инженер Ганс Метцгер, в то время сидевший в лагерях, а затем вернувшийся в Германию, рассказывает, что в 1939 году ехал в тюремном эшелоне с Бессоновым (которого приговорили не к смерти, а к пятнадцати годам заключения). И Бессонов под секретом сообщил, что Крестинского той ночью пытали, что ему вывихнули левое плечо, но снаружи это было незаметно [1].

Согласно другой версии, Крестинского четыре часа держали под лучами ярких ламп, бивших в глаза, и повредили ему и без того плохое зрение. Тем не менее он дал согласие на признание вины только при условии, что к делу будет приобщено письмо Троцкому, о котором он говорил накануне [2].

Можно, во всяком случае, предполагать, что Сталин не остановился бы и перед использованием дочери Крестинского для давления на отца, как было сделано в 1936 году с дочерью Ивана Смирнова.

Так или иначе, если Крестинский и надеялся поднять остальных обвиняемых на сопротивление суду, то теперь ему следовало признать поражение. Но он, быть может, вообще не надеялся и не намеревался отрицать вину дальше, а хотел лишь в первый день устроить демонстрацию в пределах собственных сил.

С другой стороны, имеются также и слухи, ходившие в кругах НКВД, о том, что вся история с отказом Крестинского признавать вину, а потом с признанием вины, была заранее срепетированным спектаклем. Дескать, Сталин хотел показать, что подсудимые не признавались сразу, как автоматы, и полагал, что единичный и временный провал придаст процессу большее правдоподобие [3].

Но есть очень веские доводы против такого толкования. Слова Крестинского, сказанные в первый день, звучат сами по себе убедительно, и некоторые его заявления были явно весьма обоснованными, с одной стороны, и приводили прокурора в замешательство — с другой. Поведение Вышинского было зловещим, и это больше походило на настоящее запугивание Крестинского, чем на обращение к его разуму и совести, что, в случае «спектакля», должно было побудить его признать вину на следующий день.

Есть, однако, и другое свидетельство, взятое из самого процесса и весьма красноречивое. В начале судебного следствия Вышинский объявил порядок допроса всех подсудимых — их было двадцать один. Ясно, что это был заранее составленный список, поскольку, за исключени-

[1] См. A. Weissberg. «Conspiracy of Silence». London, 1952, p. 425.

[2] См. Robert Payne. «The Rise and Fall of Stalin». London, 1966, p. 520.

[3] Orlov, p. 291 — 292.

ем одной перестановки второстепенных обвиняемых, объявленная очередность выдерживалась и в предоставлении подсудимым последнего слова. Однако фактический порядок допросов оказался иным. Первый день шел по расписанию — Бессонов, Гринько, Чернов. Но на второй день сразу после Иванова должен был идти главный допрос Крестинского. Вместо этого, как мы видели, на утреннем заседании 3 марта допрашивался Зубарев, а на вечернем заседании Крестинский был вызван не для полного допроса, а лишь для краткого «отречения». Но и перед этим «отречением» произошел не предусмотренный расписанием допрос Раковского, направленный на то, чтобы подорвать позицию Крестинского по его письму Троцкому, дезавуирующему троцкизм.

На этом допрос Крестинского 3 марта и закончился. Его полный допрос был отложен до следующего вечернего заседания, причем допросы Розенгольца и Раковского были переставлены таким образом, чтобы первый предшествовал Крестинскому, а второй следовал за ним. Розенгольц, как якобы ближайший сотрудник Крестинского, сообщил и о связях Крестинского с Троцким, и о своей заговорщицкой деятельности совместно с Крестинским и группой Тухачевского после процесса Пятакова и ареста Бухарина. Крестинский подтвердил и развил эти пункты, а Раковский окончательно закрепил их в свою очередь. Все это выглядело как чрезвычайный, поспешно выработанный порядок допросов.

Нетрудно также видеть, что обстоятельства предварительного следствия позволили Крестинскому взять показания обратно на суде. Крестинский был арестован в конце мая 1937 года. Из материалов самого процесса мы знаем, что свои показания он «сделал через неделю, на первом допросе». Это очень ясно свидетельствует о характере «первого допроса». Нет сомнения, что к Крестинскому применили пресловутый «конвейер» в его наиболее интенсивной форме — когда следователи меняются, а подследственного допрашивают сутки за сутками без перерывов, не давая спать. Как раз к тому времени стал давать показания Бухарин, и, возможно, возникло намерение устроить следующий крупный процесс как можно скорее — почти с таким же кратким перерывом, как между процессами Зиновьева — Каменева и Пятакова — Радека (перерыв там был в пять месяцев).

Если так, то этот план, возможно, провалился, когда Бухарин стал брать некоторые из своих показаний обратно (об этом см. ниже). Весь цикл его допросов нужно было начинать сначала. Между тем с распространением террора на партийные ряды стали возникать выгодные «добавления» к планировавшемуся процессу, и в результате он состоялся лишь через девять месяцев после описываемых событий и через тринадцать с половиной месяцев после предыдущего судебного спектакля.

Как бы то ни было, Крестинский — ведущая фигура среди будущих подсудимых — находился в руках НКВД долгое время после дачи показаний. Он успел за это время отойти. «Конвейер» годился для получения нужных признаний, но, как уже отмечалось раньше, длительный отдых после «конвейера» давал жертве возможность восстановить моральные силы до такой степени, чтобы впоследствии даже отказаться от собственных показаний. Гораздо вернее действовало длительное и постоянное психологическое давление, с долгими перерывами между допросами, с изменением их характера, с выдерживанием на голодном режиме, с холодом или жарой в камерах и так далее. Долгая психологическая обработка доводила человека до такого состояния, что на суде он уже не мог проявлять никакой воли. Такой обработке Крестинский не подвергался — он ведь сразу дал показания, и перед судом не нужно было ломать его сопротивление.

Отказ Крестинского от собственных показаний был не первым подобным случаем. На шахтинском процессе (1928) подсудимый Скорутто отказался на суде от своих признаний. На следующий день его на процесс не вывели, объявив больным. Через день он появился в зале суда и признал себя виновным, но затем опять взял это признание обратно. В конце концов, под влиянием тяжелой обстановки процесса, где один из обвиняемых сошел с ума, а другой по официальной версии «покончил самоубийством», Скорутто «признался» окончательно.

Аналогичный эпизод произошел во время суда над специалистами фирмы «Метрополитен-Виккерс» в 1933 году. Обвиняемый Макдональд отказался от показаний, данных на предварительном следствии, потом вновь подтвердил их. Эти отказы подсудимых от собственных показаний, данных под следствием, никогда не добавляли достоверности их окончательным «признаниям» (см. Приложение Е).

Таким образом теория о том, что Сталин «запланировал» весь эпизод с Крестинским, весьма слаба. И, хотя книга Орлова, откуда взята эта теория, оказалась впоследствии правдивой и надежной, сведения автора о 1938 годе, когда многие из коллег Орлова по НКВД уже исчезли, такой полной надежностью не отличаются[4]. Более правдоподобным выглядит предположение, что в кругах НКВД был специально пущен слух о «показном» поведении Крестинского, чтобы как-то оправдать очевидный провал.

Но если Сталин и не был подготовлен к провалу с Крестинским, то возможно, что на подобный случай имелись чрезвычайные планы, один из которых и был реализован. Как бы то ни было, поступок Крестинского, столь драматичный и столь убедительный по мотивам, мало подействовал на тот благосклонный прием, который оказала процессу западная публика. Сталин опять победил.

Перевод с английского
Л. ВЛАДИМИРОВА

Продолжение следует

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

1) Неточность, естественная при обратном переводе в в данном случае не принципиальная: инициалы Эдуарда Петровича Берзина указаны неверно.

2) Авторы этой книги, по-видимому, в данном случае располагали неверной информацией. Согласно утверждению писателя Револьта Ивановича Пименова (г. Сыктывкар), Берзин был арестован на пароходе, выполнившем рейс Магадан — Владивосток, в порту Александровске (Сахалин). Р. И. Пименов ссылается на рассказ своего близкого родственника, Ореста Николаевича Макарова, бывшего свидетелем ареста Берзина. Утверждение Далина и Николаевского, что в 1937 году существовало авиасообщение с Магаданом действительно представляется сомнительным.

3) Р. И. Пименов пишет: «С изумлением прочел я (в 1975 году.— *Ред.*), что вице-президент США Уоллес восхитился порядками в Магадане... Я хорошо помню его визит: я был послан приветствовать его на английском языке от имени учеников школы. Действительно, Никишов организовал ему прием по высшему потемкинскому классу: из магазинов были изъяты все американские товары, заменены русскими. В магазинах торговля велась в дни визита без карточек (по выходе за углом у сдуру купивших отбиралось). Но тем не менее случилось ЧП: Уоллес отбился от охраны в наткнулся на (на него наткнулась?) группу заключенных, которые были неотъемлемой частью магаданского пейзажа. Среди них нашелся знающий английский, и они свободно поговорили часа два. После отъезда Уоллеса нескольких человек, допустивших недосмотр, поснимали и как-то наказали; я это знаю достоверно, ибо их дети жили в том же дворе, где я. Вот образчик барьера непонимания, когда даже личное свидетельство не прошибает политиканскую шкуру. Напрасно, значит, магаданские власти тряслись из-за этого инцидента!» По мнению редакции, это очень ценное свидетельство Р. И. Пименова все-таки не может (во всяком случае, в настоящем виде) быть расценено, как решающее доказательство «политиканства» Уоллеса: поскольку правдивый рассказ заключенного повлек бы за собой немедленную расправу над ним, представляется более чем вероятным, что заключенный говорил «что положено». Требует объяснений и сам факт передвижения по городу группы заключенных без конвоя.

Редакция «Невы» выражает признательность Р. И. Пименову за предоставленные свидетельства и помощь в составлении примечаний.

4) Здесь автор дает отсылку к фрагменту одного из Приложений, «Замечания об источниках», где говорится следующее: «...работник НКВД, Александр Орлов, занимал в свое время должность заместителя начальника экономического отдела ОГПУ и поддерживал тесные сношения с определенным числом руководящих работников карательных органов — в частности, с Мироновым, одним из ближайших помощников Ягоды по подготовке процесса Зиновьева. Его книга, неудачно названная „Тайная история преступлений Сталина“, представляется нам достойным большого доверия источником, во всяком случае, примерно до конца 1937 года, т. е. до времени последнего возвращения автора в Советский Союз. Орлов покинул советскую службу 13 июля 1938 года. Правда, его ближайшие товарищи по работе в НКВД были к этому времени давно уже вычищены, а немногие пережившие чистку, во-первых, едва ли продолжали говорить с ним откровенно и, во-вторых, едва ли могли добиться полноценной информации от новых хозяев террористической машины. Помимо этих двух фактов, проявившихся в убывающей степени подробности и уверенности в сказанном, свидетельство Орлова отлично выдерживает проверку. (Мне удалось, например, с помощью одного коммуниста из Восточной Европы, незнакомого с книгой Орлова, проверить два из описанных им незначительных, по характерных фактов, касающихся знакомых моего собеседника.) А недавно целый ряд описанных у Орлова фактов, как, например, подробности самоубийств начальника Горьковского областного управления НКВД Погребянского и начальника политического отдела украинского НКВД Козельского, подтверждены в Самиздате...»

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Андрей ПОХМЕЛКИН
Виктор ПОХМЕЛКИН

ВОЙНА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И МИР НАСИЛИЯ

Очерки уголовной политики и «политической уголовщины»

Наша перестройка напоминает ребенка, родившегося в нищей, голодной, задавленной бытом семье и с первых же минут появления на свет ощутившего ее тяготы и лишения. Да и семье рождение ребенка не принесло ожидаемой радости. Как бы разжав пружину глубинных конфликтов, оно выплеснуло наружу взаимное отчуждение и озлобление многочисленных чад и домочадцев, готовых от безысходности перенести всю свою ненависть на новорожденного, вся вина которого состоит в том, что он невольно заставил их увидеть себя такими, какие они есть.

О необходимости защищать перестройку говорится и пишется с первых же ее шагов. В числе ее противников, в зависимости от точки зрения, поочередно, а то и вместе оказываются аппаратчики и неформалы, экстремисты и конформисты, националисты и «мигранты», русофобы и русофилы... Список можно множить практически бесконечно. Настало время подняться до понимания того, что перестройку нам надо защищать от самих себя, а иногда — и от наиболее ретивых попыток защитить ее.

Сейчас, как будто, никто не возражает против того, что среди факторов, объективно представляющих опасность для перестроечных процессов, вслед за межнациональными конфликтами и развалом экономики идет рост преступности. Это, казалось бы, бесспорное мнение, официально подтвержденное на II Съезде народных депутатов страны, нуждается, на наш взгляд, в существенном уточнении.

Преступность традиционно и заслуженно относится к числу наиболее острых проблем любого общества. Но что касается нашей перестройки, суть которой в демократическом обновлении страны (это, кажется, уже общепризнано), то ей серьезным образом угрожает не столько сам рост преступности, сколько реакция на него со стороны общества. Имеется в виду самая нежелательная, но, к сожалению, наиболее вероятная форма такой реакции: *война с преступностью.*

Война до победного конца?

Трудно сказать, кому первому пришло в голову, не удовлетворившись привычным словом «борьба», заменить его более эффектным и «соответствующим текущему моменту». Как бы то ни было, выражение «война с преступностью» веско прозвучало на заседании Временного комитета Верховного Совета СССР из уст его председатели и очень скоро стало тиражироваться в массовом порядке, украсив собой и название постоянной рубрики уважаемой центральной газеты.

Даже если переход от «борьбы» к «войне» означает не более чем обычную бюрократическую игру в слова, призванную имитировать решительность государства и тем самым успокоить общественное мнение, то и это далеко не безобидно. Проблема слишком серьезна, чтобы заниматься терминологической эквилибристикой, прикрывая ею отсутствие продуманной стратегии уголовной политики. Есть, однако, основания полагать, что война объявлена не только на словах. Вот только вопрос: с кем и во имя чего?

Первые боевые действия были развернуты против... судей. Именно их на страницах печати некоторые журналисты и работники следственных органов объявили чуть ли не главными виновниками роста преступности. И либеральничают они с преступниками, и к качеству следствия придираются. Мешают, в общем, бороться. Эту же мысль в своих публичных выступлениях не раз проводили министр внутренних дел СССР и его заместители. Много чего пришлось наслушаться судьям от местных руководителей.

Свое веское слово сказал и новый Верховный Совет СССР, приняв фактически антиконституционное постановление «О решительном усилении борьбы с преступностью», которым обязал суды ужесточить карательную политику и юридически закрепил зависимости судей от органов власти и управления [1]. Разбирать конкретные положения этого документа нет необходимости, хотя некоторые из них попросту несуразны с правовой точки зрения. Важнее отметить его общую политическую направленность: подготовить общество к переходу в отношении преступности на «военное положение», а также «одернуть» судебные органы, которые, согласно распространенной точке зрения, слишком увлеклись гуманизацией наказания и презумпцией невиновности. Справедливости ради стоит заметить, что народные депутаты, принимая постановление, могли руководствоваться совсем иными побуждениими. Но что толку в самых благих намерениях, если объективно именно этот смысл заложен в постановлении и именно так оно и было воспринято значительной частью работников правоохранительных органов.

[1] По грустной иронии практически одновременно был принят Закон «О статусе судей в СССР», продекларировавший их самостоятельность и независимость. Вот уж действительно: строительство правового государства по-социалистически.

Еще раньше резкой критике подвергся разработанный проект Основ уголовного законодательства за излишнюю гуманность, якобы неуместную в условиях бурного роста преступности. Все чаще раздаются голоса о необходимости принятия чрезвычайных мер. Средства массовой информации захлебываются от пересказа леденящих душу уголовных происшествий. Эти и другие «мобилизационные мероприятия» вольно или невольно подталкивают к одной мысли: какая уж там презумпция невиновности, какой гуманизм! На войне как на войне...

Не пугает ли нас, что первыми жертвами этой войны могут оказаться зачатки подлинного правосудия, разумной и человечной уголовной политики? Похоже, что не пугает. После кровавых событий в Закавказье и Средней Азии наши сердца сжались не только от боли за погубленные жизни, но и от страха перед реально обозначившейся угрозой гражданской войны. Судя по всему, война с преступностью — единственная из войн, которой мы не только не боимся, но и ждем с воодушевлением. «А как же иначе? Ведь за святое дело! Преступники обнаглели, они бросают нам вызов, и мы должны ответить на него достойно»,— такова поверхностная логика рассуждений, подвигающая народ на то, чтобы броситься в «последний и решительный» бой с преступностью.

Возьмем на себя смелость утверждать, что война с преступностью столь же разрушительна для общества, как и любая другая война. Тем более, что победу в ней одержать невозможно.

При всей относительности употребляемой терминологии война с преступностью означает, прежде всего, ставку на государственное насилие, на расширение и ужесточение уголовной репрессии. И уже только поэтому она не может быть выиграна. Попробуем разобраться, почему.

Один из наиболее прочно укоренившихся в массовом сознании стереотипов связан с представлением о том, что преступность является некоей внешней по отношению к обществу силой, а преступники образуют чуть ли не обособленную социальную группу. Отсюда кажется, что насилие в отношении преступников, их наказание (а еще лучше — физическое уничтожение) приведет к сокращению преступности.

Но в действительности преступность генетически и функционально связана с обществом, с конкретно-историческими условиями его существования. «...Подобно праву и преступление, то есть борьба изолированного индивида против господствующих отношений,— писали К. Маркс и Ф. Энгельс,— не возникает из чистого произвола. Наоборот, оно коренится в тех же условиях, что и существующее господство» [1].

Общественный организм, зараженный экономическими, социальными и нравственными недугами, воспроизводит преступность независимо от уровня уголовной репрессии. И поскольку преступность, что называется, вплетена в ткань общественных отношений, эффективная деятельность по ее преодолению предполагает использование комплекса разнообразных средств, главная роль среди которых принадлежит не реагированию на уже совершенные преступления, а «освобождению» общественных отношений от криминогенных факторов. С этой точки зрения борьба с преступностью не должна уподобляться открытой войне с противостоящей армией, победу над которой можно одержать массированной атакой. Скорее ее следует сравнить с лечением болезни, при котором необходим точный диагноз заболевания, оптимальное сочетание терапевтических и хирургических средств и их тщательная дозировка с тем, чтобы поражение больных клеток не причиняло излишнего вреда здоровым.

Карательные меры принадлежат к самому примитивному и к тому же обоюдоострому инструментарию социальной хирургии. Они не столько решают стоящие перед обществом проблемы, сколько создают опасную иллюзию их предельно простого решения, уводя в сторону от действительно насущных задач.

Отрадно, что в последнее время на самом высоком уровне заговорили о необходимости разработки комплексной программы социальной профилактики преступлений и скорейшем материально-техническом оснащении воистину нищего корпуса работников правоохранительных органов. Но все это на 90 % так и останется на уровне разговоров, если в арсенале средств противодействия преступности

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Соч., изд. 2-е, т. 3, с. 323.

уголовное принуждение, как и прежде, будет занимать ведущее место. Не нужно ни о чем думать, ломать голову, выискивать дополнительные средства в и без того скудном государственном бюджете. Достаточно лишь на полную мощь запустить карательный механизм (а этот механизм, в отличие от хозяйственного, налажен у нас прекрасно) и тем самым продемонстрировать решимость государства защитить своих граждан от преступных посягательств.

Еще один стереотип, господствующий в обыденном сознании и обильно подпитывающий «милитаризацию» борьбы с преступностью, состоит в убеждении, будто бы суровое уголовное наказание, доставляя заслуженные страдания преступнику (которому «так и надо»), приносит пользу или во всяком случае не причиняет вреда здоровой части общества.

Первый контраргумент лежит на поверхности. От применения наказания к осужденному невольно страдают его близкие, ни в чем не повинные люди. Довод, конечно, слабый. Советский человек, в сознание которого в свое время было прочно внедрено вполне определенное отношение к «членам семьи изменника родины», вряд ли и сегодня способен испытать жалость и сочувствие к родным осужденного.

Однако отрицательные последствия карательной деятельности государства проявляются и на ином уровне. Фетишизация наказания приводит рано или поздно к разъеданию общественной нравственности. Бездумно поднимающаяся и без разбора опускающаяся уголовно-правовая секира стимулирует в общественном сознании «карательно-обвинительный синдром», насаждает и культивирует печально знаменитый «образ врага», приучает людей к насильственным методам разрешения социальных и межличностных конфликтов. Разве не это мы наблюдаем сейчас в различных регионах страны? И разве не является такое следствием того, что десятилетиями деспотизм государства развивал в нас жестокость по отношению друг к другу?

Еще Монтескье, опасаясь поспешного и непродуманного ужесточения уголовного законодательства, предупреждал: «Зло исчезает, но жестокость законодателя остается: остается в государстве зло, произведенное этой жестокостью. Она извратила умы, она приучила людей к деспотизму»[1].

Людям, ратующим за гуманизацию уголовной политики, часто приходится слышать в ответ примерно следующее: «Вы трогательно заботитесь о преступнике и его близких, а кто подумает о потерпевшем и его родных? Гуманным надо быть по отношению к честным людям, а не к ворам, насильникам и убийцам! Интересно, как бы вы заговорили, если бы жертвой преступления оказался близкий вам человек?»

Если цитата из мудрого и дальновидного Монтескье не прояснила нашу позицию, добавим кое-что от себя. Авторы этой статьи — люди своего времени. Они меньше всего думают о тех, кто подвергся уголовному наказанию, пусть даже и самому суровому. Им не жаль расстрелянного убийцу. Но они понимают, что эта казнь не делает их детей более защищенными от преступных посягательств. И им жаль своих детей, которые вынуждены жить в обществе, где люди убивают друг друга, в том числе и именем закона. Зло множит зло. Государственное зло множит его многократно — если и не в данный конкретный момент, то непременно в ближайшем будущем. Об этом свидетельствует и многовековой опыт развития человеческой цивилизации, и история страны в послеоктябрьский период, и вся наша нынешняя общественная практика.

Противопоставление «гуманизма для преступников» «гуманизму для потерпевших» представляет собой не что иное, как один из вариантов перепева старых рассуждений об «абстрактном» и «классовом» гуманизме. Стоит ли в очередной раз доказывать, что гуманизм не может быть выборочным, избирательным, дозированным, что он либо есть, либо его нет. Выводя ту или иную группу людей за черту гуманного отношения, общество начинает путь к своему разложению. Для кого-то это очевидно. Кто-то продолжает жить старыми догмами, и здесь уже, наверное, ничего не поделать.

Безусловно, потерпевший имеет неотъемлемое право требовать и добиваться справедливого наказания преступника. Но в обстановке войны с преступностью тот, кто сегодня является потерпевшим от преступления, завтра очень легко может оказаться пострадавшим от государственного произвола, связанного с необоснованным обвинением. Нетрудно вывести печальную закономерность: каждый виток усиления уголовно-правового принуждения неминуемо влечет за собой ослабление гарантий прав и законных интересов личности, вовлеченной в орбиту уголовного судопроизводства. Не секрет, что обыденное (а в значительной мере и профессиональное) правосознание зачастую отождествляет обвиняемого (подсудимого) и преступника. А потому любые попытки обеспечить хотя бы элементарные гарантии права обвиняемого на защиту воспринимаются как посягательство на интересы правосудия, как препятствие раскрытию и расследованию преступлений и, следовательно, борьбе с преступностью в целом. Опаснейшее и трагическое заблуждение!

Провозглашая и гарантируя презумпцию невиновности и право обвиняемого на защиту, общество утверждает в качестве высших социальных ценностей честь, достоинство и свободу своих членов, охраняет их от возможного беззакония со стороны государственной власти. Отказ от этих принципов или даже частичное отступление от них, как показывает исторический опыт, отнюдь не способствует сокращению преступности, но развращает работников правоохранительных органов и открывает самую широкую дорогу произволу, при котором жертвами уголовной репрессии становятся честные и порядочные люди. И каждый шаг, направленный на дегуманизацию уголовной политики, добавляет обороты карательной машине, так что приостановить последнюю или хотя бы обеспечить контроль за ее функционированием оказывается все труднее и труднее.

Практика самых последних лет наглядно демонстрирует порочность попыток решить ту или иную социальную проблему методами «военной кампании». Побочные, разрушительные для общества последствия намного превышают достигнутый положительный эффект. Подняли общество в атаку на пьянство и алкоголизм, а в результате спровоцировали рост самогоноварения, наркомании, пробили еще одну брешь в государственном бюджете. Объявили войну нетрудовым доходам, толком не разобравшись, с кем надо воевать,— в итоге катком прошлись по хозяйственным руководителям, пытавшимся вырваться из цепких лап административно-командной системы, надолго отбили у многих людей склонность к экономической предприимчивости, практически не задев матерых взяточников и казнокрадов.

Стоит ли затевать еще одну кампанию с гораздо более серьезными последствиями и сеять среди людей иллюзии по поводу ее победоносного завершения? Настала пора откровенно и недвусмысленно признать, что надежда на быстрое искоренение преступности с построением «светлого будущего», как и представление о возможности его построения в исторически короткий срок «в отдельно взятой стране», оказалась утопичной. Преступность родилась не вчера и исчезнет не завтра. В обозримой перспективе она останется неизбежным спутником любого общества, независимо от формы его экономической и политической организации. Столь же неизбежно резкое обострение общественных противоречий, крутой общественный перелом будут сопровождаться осложнением криминогенной обстановки, а проще говоря — ростом преступности. И это не пораженческие настроения, а реализм, побуждающий не к лихим кавалерийским наскокам, а к долгой и кропотливой работе по экономическому, политическому и нравственному оздоровлению общества. Работе, в которой карательные меры призваны играть необходимую, но подчиненную и ограниченную демократическими принципамя роль.

Если же, вопреки здравому смыслу, общество все же будет втянуто в войну с преступностью и поведет ее «до победного конца», то конец в этой войне может быть только один — крах политики перестройки, свертывание демократических преобразований, восстановление тоталитарного политического режима в его полном объеме.

Один из вариантов термидора

В текущей публицистике не раз поднимался вопрос о том, каким образом реакционные круги могут нанести смертельный удар перестройке, вернуть себе все рычаги власти и отбросить страну во времена политического мракобесия. Чаще всего обращается внимание на угрозу военного или партийного переворота. А вот опасность «ползучей контрреволюции», постепенного и внешне незаметного скатывания общества «вправо», похоже, явно недооценивается. Между тем эта опасность на сегодняшний день представляется наиболее реальной. И одним из скрытых рычагов, который может быть использован консервативными силами на пути к реваншу, является уголовная политика.

Нужно заметить, что вопрос о связи уголовной политики с политическим режимом по вполне понятным причинам не рассматривался в советской научной литературе. Тем более важен подобного рода анализ как для оценки сегодняшней ситуации в стране, так и для прогнозирования ее развития.

Уголовнан политика представляет собой важное направление общеполитической стратегии и тактики, неотъемлемое звено системы управления государственными и общественными процессами. Характер форм, методов и средств борьбы с преступностью определяется в первую очередь типом (демократическим или антидемократическим) политического режима, а в конечном счете — фундаментальными основами данного общественного строя. В то же время уголовная политика способна оказывать (и фактически оказывает) на них заметное обратное влияние. Выше мы уже пытались показать, что проведение уголовной политики в форме войны с преступностью может привести к дегуманизации всей общественной жизни, игнорированию демок-

[1] Монтескье. О духе законов. Спб., 1900, с. 90.

ратических принципов судопроизводства. А это весьма удобный плацдарм для дальнейшего наступления на остальные демократические институты, которые только-только начинают складываться в нашем обществе. Есть смысл более подробно рассмотреть механизм обратного влияния уголовной политики на основы общественного строя и тем самым показать, как ее определенная направленность может тормозить, трансформировать и разрушать перестроечные процессы.

Прежде всего следует обратить внимание на очень существенную закономерность. Чем более демократичным, свободным и открытым является общество, тем меньше проводимая государством уголовная политика связана с борьбой за власть, насильственным насаждением той или иной идеологии. Наоборот, при тоталитарном режиме уголовное законодательство и деятельность по его применению максимально политизированы и идеологизированы. Уголовная политика здесь выступает в качестве необходимого инструмента удержания власти, обеспечения господства правящей элиты, сохранения экономических, политических и идеологических условий, поддерживающих это господство.

Наглядной иллюстрацией сказанного служит сталинский период правления, при котором уголовная политика использовалась как для расправы над подлинными и мнимыми политическими противниками и установления единоличной диктаторской власти, так и для ликвидации мешающего этому экономического уклада (раскулачивание). Характерно, что в названный период уголовная политика не столько решала задачи противодействия общеуголовной преступности, сколько практически полностью была подчинена интересам «классовой борьбы, обостряющейся по мере приближения общества к социализму». Эта идея, естественно, не допускала ни малейшего послабления «врагам народа» в виде права на защиту, презумпции невиновности и других «предрассудков буржуазного суда». Ее воплощению в жизнь служила отлаженная система «правоохранительных» органов, не допускающая сбоя ни в одном из своих звеньев: всесильная тайная полиция, обслуживающие ее следствие и прокуратура, зависимый суд (или его жалкое подобие в форме пресловутых «троек») и, наконец, ГУЛАГ, ставший символом, воплотившим в себе все зло сталинизма и трагедию народа.

Встречающиеся рассуждения о некоторой бессмысленности и даже параноидальности сталинского террора ввиду его ни с чем не сравнимой масштабности и отсутствия четкой социальной направленности не учитывают одного обстоятельства. Тоталитаризм (воплощенный в наиболее откровенном виде именно в сталинском режиме), вопреки псевдомарксистскому толкованию,— это не форма господства одного класса над другим. Ему враждебны любые классы, социальную опору он имеет лишь в деклассированной части общества — бюрократии и люмпенстве, а потому не может обойтись, особенно в период своего становления, без массового террора, социальная цель которого — приведение общества в состояние полной маргинальности, исключающей возможность проявления даже малейшего социального интереса, не совпадающего с интересом правящей верхушки. Хотелось бы сказать по адресу теоретиков, ищущих корни сталинщины в марксистском мировоззрении: между марксизмом и сталинизмом такая же разница, как между уничтожением классов по Марксу и уничтожением классов по Сталину.

Признав масштабы сталинского террора отнюдь не бессмысленными, остается признать и то, что не столько уж нелепыми были исторические тезисы о «построении социализма в основном», а затем и о «полной и окончательной победе социализма». Социализм здесь, разумеется, ни при чем. Но соответствующие программные документы довольно точно констатировали стадии формирования административно-командной системы и отсутствие в обществе сил, способных противостоять ей. Позднее, к счастью, такие силы образовались в ее руководящем ядре, но это уже тема отдельного разговора.

Переход от «культа личности» к «коллективному руководству», а точнее, от режима личной власти — к олигархическому правлению, привнес в уголовную политику определенные коррективы. В значительной степени она была переориентирована на борьбу с «обычной» преступностью. Хотя и в урезанном виде, в нее получили доступ некоторые демократические принципы и институты. Ученым-юристам позволили заниматься изучением преступности и ее причин, правда, в рамках, строго ограниченных «пережитками капиталистического строя».

К началу семидесятых годов юридическая наука получила благосклонное разрешение даже на то, чтобы ввести в свой обиход сам термин «уголовная политика», находившийся до этого под строжайшим запретом. Конечно, более-менее глубокий критический анализ ни государственной политики в целом, ни ее отдельных направлений в то время был просто невозможен. Тем более не могло идти речи об исследовании взаимозависимости практики борьбы с преступностью и политического режима.

При всех позитивных изменениях, которые во многом нивелировались по мере сползания общества в застой, уголовная политика послесталинского периода со-

хранила в неизменности важнейшее качество. Она по-прежнему продолжала служить необходимым рычагом власти административно-командной системы. Хотя ее роль в этом деле заметно уменьшилась. Прежде всего в связи с пристальным вниманием мировой общественности к соблюдению прав человека в СССР, а также по той простой причине, что особой надобности в использовании «сильнодействующих» средств уже не было. Впавшее в апатию общество держалось в повиновении при помощи идеологической обработки и эксплуатации часто не осознаваемого, но прочно осевшего в генах страха.

Тем не менее власть время от времени прибегала к уголовно-правовым «инъекциям» в отношении наиболее докучавших ей граждан, демонстрируя наличие в своем арсенале этого «предпоследнего довода короля» (последний, как известно,— пушки). Если в период сталинизма уголовная репрессия применялась для укрепления экономического и политического господства тоталитарной власти, то позднее акцент был перенесен в идеологическую сферу. «Врагов народа» уже не было, но «враждебное окружение», стремящееся отравить советское общество ядом буржуазной пропаганды, осталось. Уголовное законодательство пополнилось статьей об ответственности за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный строй, которая вместе с испытанной сталинским режимом нормой об антисоветской агитации и пропаганде составила блок уголовно-правовых средств обеспечения «морально-политического единства советского народа».

Уголовное преследование так называемых диссидентов — лишь одно из направлений работы карательно-принудительного механизма во благо тоталитарной власти в период неосталинизма. Не меньшее, если не большее значение имели регулярные репрессии в отношении хозяйственных руководителей, чья деятельность не вписывалась в казарменную экономику и посягала на экономические устои тоталитарного режима. Умышленно используемое расширительное толкование понятий «хищение» и «злоупотребление служебным положением» наложило клеймо преступника и обрекло на долгие годы незаслуженных страданий многих самостоятельных и предприимчивых деятелей, которые своими подвижническими усилиями по внедрению прогрессивных форм хозяйствования предвосхитили нынешнюю экономическую перестройку. В общем, неизменной мишенью уголовно-правового принуждения, свято охраняющего партийно-государственную монополию во всех областях общественной жизни, продолжали оставаться люди, так или иначе выдающиеся из общего ряда.

Качественные преобразования, начавшиеся в стране после апреля 1985 года, не могли не коснуться и уголовной политики. Под влиянием разоблачений масштабов преступлений тоталитарной власти, становления идейного и политического плюрализма законодатель фактически отказался от уголовного преследования инакомыслия. Экономическая реформа открыла дорогу пересмотру уголовных дел о «хищениях» и «злоупотреблениях» хозяйственных руководителей и соответствующей переориентации судебной практики. Признание необходимости создания правового государства дало импульс идеям демократизации судопроизводства, гуманизации уголовного законодательства, общесоциального предупреждения преступности.

И все же можно с полным основанием утверждать, что коренных и необратимых изменений в приоритетах и направленности уголовной политики пока не произошло. Более того, многие уголовно-политические акции периода перестройки свидетельствуют о живучести сталинских методов борьбы с преступностью. Это и уже упоминавшиеся кампании по борьбе с пьянством и нетрудовыми доходами [1]. Это и история с пресловутой статьей 11-1 Закона об уголовной ответственности за государственные преступления, которая за краткое, к счастью, время своего существования успела наделать немалый переполох в обществе. Это и активное противодействие судебно-правовой реформе, забуксовавшей буквально с первых же робких своих шагов. Это, наконец, и лозунг войны с преступностью, который, в отличие от многих других наших лозунгов, имеет все шансы для воплощения в жизнь.

Ничего удивительного здесь, разумеется, нет. Как принято говорить, в карете прошлого далеко не уедешь. Отягощенная наследством тоталитаризма, наша уголовная политика продолжает оставаться придатком административно-командной системы, ведущей отчаянную борьбу за выживание. Действующее уголовное законодательство, в полном соответствии с идеологической доктриной стоящее на страже «социалистических завоеваний», сохраняет нормы об ответственности за такие действия (например, незаконный въезд и выезд из СССР, нарушение пас-

[1] В том же ряду следует рассматривать и законодательные судороги Президиума Верховного Совета РСФСР, как по заказу принявшего в марте 1989-го и ровно через год Указы о все большем ужесточении наказания за спекуляцию и нарушения правил торговли. Как будто закономерный провал применения первого из них не подтвердил в очередной раз бесплодность попыток решать сугубо социально-экономические проблемы с помощью карательных мер.

портных правил, частнопредпринимательская деятельность, коммерческое посредничество), которые считаются преступлениями только в обществе, признающем всемогущество государственной власти и отказывающем личности в свободном самоопределении. Правоохранительная деятельность до сих пор подчинена валовым показателям, ориентирующим главным образом на то, чтобы «тащить и не пущать».

И самое страшное — карательно-обвинительная психология, замешанная на дрожжах идейной непримиримости к классовым врагам и передаваемая по эстафете от одного поколения советских людей к другому, по-прежнему живет в умах и сердцах многих из тех, кто имеет прямое отношение к формированию и реализации уголовной политики. Пережив кратковременный шок перед возникшей было необходимостью вести работу по раскрытию и расследованию преступлений в условиях строгого соблюдения законности и гарантий прав личности, правоохранительные органы приводятся в привычное для них состояние боевой готовности к использованию в войне с преступностью отработанных и проверенных методов.

Курок государственного насилия — испытанного оружия тоталитарной власти — продолжает оставаться взведенным. И это дает антиперестроечным силам реальную возможность, манипулируя общественным мнением и спекулируя цифрами уголовной статистики, нажать на спусковой крючок и добиться резкого расширения сферы применения уголовной репрессии и ужесточения карательной практики.

Такое весьма вероятное развитие событий само по себе, независимо от конкретных объектов и адресатов уголовно-правового воздействия, приведет к существенному «похолоданию» общественно-политической атмосферы. Нагнетание уголовно-правовой напряженности, сеющее в отношениях между людьми отнюдь не разумное, доброе и вечное, всегда связано с ограничением свободы граждан, ослаблением гарантий осуществления их прав и законных интересов. Логический итог организованного карательного психоза легко предсказуем — падение социальной активности, углубление процессов экономического и политического отчуждения. Таким образом, создается питательная среда для реставрации реакционного политического режима.

В борьбе за власть между политическими противниками, опыт взаимоотношений которых не обременен демократическими и гуманистическими традициями, велик соблазн воспользоваться «старым, но грозным оружием». И какие бы конечные цели при этом ни преследовались, исход предопределен. Когда в политическом споре в качестве решающего аргумента прибегают к гильотине, все непременно кончается термидором.

Во избежание этого требуется ни много ни мало как «перемена всей нашей точки зрения» на уголовную политику. Прежде всего в радикальном пересмотре нуждается почти канонизированное положение о социалистическом уголовном праве как орудии классовой борьбы. Следовать этому тезису в нынешней ситуации — значит оставлять уголовную политику в заложниках у административно-командной системы со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Но дело не только в сиюминутных политических соображениях. Признаяие безусловного приоритета общечеловеческих ценностей в социалистическом обществе заставляет по-новому взглянуть на роль уголовного закона и правоохранительных органов, призванных в этих условиях служить не цепным псом, натравленным одной социальной группой на другую, а гарантом прав и законных интересов каждой из них и поддержания гражданского мира. Не должны быть объектом уголовного-правового принуждения ни один экономический уклад, ни одно политическое движение и тем более ни одна идеология, а только конкретные лица, прибегающие к насильственным и иным общественно опасным способам отстаивания своих интересов.

Необходима последовательная деидеологизация уголовной политики, если мы всерьез хотим уберечься от возврата к тоталитаризму. Все, что ни связано с посягательством на общепризнанные социальные ценности — жизнь, здоровье, честь, достоинство, свободу личности, собственность, общественную безопасность,— не может сохранять «прописку» в обновленном уголовном законодательстве. Следует также отделить правоохранительные органы от каких-либо политических структур и подчинить их только закону [1].

Наряду с этим нужно до предела затруднить возможность изменения уголовного законодательства в сторону его

[1] При этом речь не идет о том, чтобы не допускать или приостаиавливать членство в партии работников следствия, прокуратуры и суда, как мвогие предлагают. Невозможно запретить человеку иметь политические убеждеиия, а вменно ими определяется принадлежиость к той или иной партии. Задача состоит в том, чтобы создать правовой мехаиизм, исключающий вмешательство партийно-политических органов в правоохранительную деятельность. Кроме того, качествеиной перестройки требует идеологизированное и политизированное в настоящее время юридическое образование, главной целью которого должно стать формирование у будущих юристов уважения к закону и правам человека независимо от любой политической копъюнктуры.

ужесточения. Самое время вспомнить слова Маркса о том, что «*нравственный* законодатель прежде всего будет считать самым серьезным, самым болезненным и опасным делом, когда к области преступлений относят такое действие, которое до сих пор не считалось преступным» [1]. Пока многие наши законодатели имеют на сей счет прямо противоположные нравствнные представления, нельзя, по-видимому, обойтись без специальных юридических гарантий от легковесного отношения к уголовному правотворчеству. Можно было бы, в частности, установить порядок, в соответствии с которым законодательные акты о введении или усилении уголовной ответственности принимались бы только квалифицированным парламентским большинством.

Новое мышление, принесшее столь ощутимые успехи в международных делах, должно возобладать и в уголовной политике. Но именно в этой сфере оно пробивает себе дорогу, пожалуй, с наибольшими трудностями. Исковерканное десятилетиями культивировавшегося насилия и рабства массовое сознание отторгает здравый смысл, предпочитая ему все новые и новые мифы, рождающиеся в лоне старых догм и стереотипов. Один из таких мифов в силу его типичности и расхожести заслуживает специального рассмотрения.

Теневая экономика или «теиь на плетень»

Любителей острых политических ощущений можно поздравить: найден очередной объект для праведного народного гнева. Полузадушенного с высочайшего парламентского соизволения и агонизирующего кооператора сменил «на новенького» делец теневой экономики.

Редкое публичное выступление, посвященное проблемам выхода страны из экономического кризиса, обходится без возмущенных филиппик в адрес представителей подпольного бизнеса. Последние обвиняются едва ли не во всех смертных грехах: от дефицита мыла до попытки захвата политической власти. А само словосочетание «теневая экономика» столь часто употребляется в одном ряду с «мафией», «организованной преступностью», «коррупцией», что читатели и слушатели невольно теряют грань между всеми этими понятиями.

Причем обличительным пафосом, направленным против «акул» теневой экономики, увлечены не только отдельные публицисты или народные депутаты, но и представители руководства страны. Для подтверждения сказанного достаточно обратиться к тексту докладов Председателя Совета Министров и Министра внутренних дел СССР на II Съезде народных депутатов.

Вот что, в частности, было сообщено Съезду Н. И. Рыжковым: «Завершая тему об оздоровлении финансов, не могу не остановиться на вопросе, который вызывает справедливое возмущение трудящихся и требует принятия неотложных мер. Речь идет о „теневой“ экономике, паразитирующей на бесхозяйственности, диспропорциях распределения, дефиците товаров и услуг, хронических болезнях народного хозяйства... Правительство считает необходимым потребовать от правоохранительных и других компетентных органов государства осуществить комплекс мероприятий... чтобы добиться устранения причин и условий, способствующих функционированию „теневой“ экономики».

Главе Правительства СССР вторит в своем докладе о борьбе с организованной преступностью В. В. Бакатин: «Питательной средой для организованной преступности является теневая экономика, развившаяся в стране на основе бесхозяйственности, крупных хищений и спекуляций... В нашем обществе паразитируют преступные структуры, фундаментом которых является финансовый потенциал теневой экономики, а крышей — коррумпированные сотрудники прежде всего правоохранительной системы, а также перерожденцы из партийного, советского, государственного аппарата...».

Примечательной чертой этих, как, впрочем, и многих других, выступлений является то, что в них старательно обходится само определение понятия теневой экономики. Из их содержания удается выяснить лишь то, на чем паразитирует теневая экономика и для чего она служит фундаментом (питательной средой). И этого оказывается вполне достаточным, чтобы с высокой трибуны объявить войну неопознанному противнику.

Мы уже в который раз наблюдаем характерный для нашего времени процесс. Общественность запугивается монстром, даже приблизительные очертания которого (не говоря уже о подлинной сущности) подавляющему большинству неведомы, а кое-кем сознательно маскируемы. В результате в воображении людей, уставших от житейских неурядиц, образ дельца теневой экономики рисуется в виде этакого крестного отца мафиозного клана, рвущегося к власти и стремящегося скупить все и вся.

Эмоции, как известно, плохой советчик. Особенно в тех случаях, когда мы буквально по первому зову души готовы прибегнуть к карательным мерам для решения сложнейших общественных про-

[1] Маркс К. Дебаты по поводу закона о краже леса. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 1, с. 132.

блем. Но что поделать, если многие советские люди подвержены переданной от отцов и дедов привычке отдавать предпочтение «красногвардейской атаке на капитал» перед вдумчивым и тонким регулированием социально-экономических отношений. Не принято у нас во всем доходить до самой сути. Гораздо ближе другое поэтическое изречение: «Умом Россию не понять...».

Воспользуемся все же на свой страх и риск пастернаковской формулой применительно к рассматриваемому предмету. И начнем с самого простого — с установления объема и содержания понятия «теневая экономика». В этом нам поможет статья С. Головнина и А. Шохина «Теневая экономика: за реализм оценок»[1], представляющая собой едва ли не первую попытку объективного и трезвого анализа данного феномена. «Теневая экономика,— пишут С. Головнин и А. Шохин,— представляет собой совокупность неучтенных, нерегламентированных (отличающихся от зафиксированных в нормативных документах и правилах хозяйствования) и противоправных видов экономической деятельности». В качестве структурных элементов теневой экономики авторы называют неформальную экономику, фиктивную экономику, нелегализованную часть «второй» (разгосударствленной) экономики и «черную» (преступную) экономику.

Уже из приведенного определения и классификации, которые, кстати сказать, подкреплены скрупулезным обоснованием, следуют по меньшей мере два важных вывода.

Во-первых, теневая экономика во всех своих проявлениях — это именно **экономика**, то есть деятельность по производству товаров или оказанию услуг. В связи с этим нетрудно понять, что материальную основу, источник ее существования и развития образуют общественные потребности, не удовлетворенные по тем или иным причинам в рамках официальной экономической системы. Очевидно также и то, что преступные формы безвозмездного присвоения материальных благ (хищения, взяточничество) не охватываются понятием теневой экономики и в лучшем случае могут быть лишь связаны с последней.

Во-вторых, далеко не все виды теневой экономической деятельности носят преступный характер. Таковой имеет только так называемая «черная» экономика, а говоря проще — частнопредпринимательская деятельность, осуществляемая в сферах производства и распределения. Но и одной этой констатации недостаточно. В юридической науке общепризнано, что основанием признания поступка или деятельности преступлением является их общественная опасность. Посмотрим, какую же опасность представляет для общества частное предпринимательство, для пресечения которой государство вынуждено прибегать к уголовно-правовым мерам.

Нередко нас пытаются уверить, что «черная» экономика присуща любому современному обществу и везде вызывает негативную официальную реакцию со стороны властей. Приведем еще одну выдержку из доклада В. В. Бакатина на II Съезде народных депутатов СССР: «Теневая экономика сопровождает официальную экономику любой страны. Есть дефицит на „белом“ рынке — этот товар будет на „черном“...» Однако между «черной» экономикой на Западе и в СССР есть существенные различия. В условиях развитых товарно-денежных отношений на «черный» рынок поступают лишь те товары и услуги, производство и предоставление которых запрещено государством. Поэтому в сфере теневой экономики западных стран находятся наркобизнес, порнография, азартные игры, проституция. И общественную опасность эти виды деятельности представляют отнюдь не для экономических отношений. Не случайно и советское уголовное законодательство относит подобного рода деяния не к хозяйственным преступлениям, а к посягательствам на общественную безопасность и здоровье населения.

В нашей же стране уголовно-правовой запрет распространяется на частное предпринимательство, как таковое, независимо от его конкретной продукции. Иначе говоря, уголовно-правовая борьба ведется с той формой производственной и коммерческой деятельности, которая во многих других странах составляет весьма жизнеспособное звено рыночной экономики. Точно замечает по этому поводу председатель исполкома Бауманского районного Совета народных депутатов Москвы Н. Гончар: «Во всех странах мира есть теневая экономика, где и наркотики, и валюта, но нет ни одной страны (кроме, разумеется, той, где так «вольно дышит человек».— *Авт.*), где теневая экономика производит женские кофточки»[1].

В чем же состоит опасность частнопредпринимательской деятельности для общества, которое мы привыкли называть социалистическим? Если обобщить имеющуюся на сей счет научную литературу и публикации в прессе, то можно выявить три основных компонента частной формы хозяйствования, якобы несовместимых с социалистическим образом жизни: 1) эксплуатация наемного труда; 2) извлечение нетрудовых доходов; 3) сопряженность с хищениями и взяточничеством.

[1] «Коммунист», 1990, № 1.

[1] «Аргументы и факты», 1990, № 7.

По поводу эксплуатации и неизбежности ее существования в любом экономическом укладе немало написано и сказано ведущими экономистами. Однако в значительной части их доводы разбиваются о стойкий «этатизм» массового сознания, которое с невероятной легкостью прощает самую жуткую эксплуатацию бюрократизированному государству-паразиту, но не допускает и мысли о том, что наемный труд может быть использован частным лицом, пусть даже и с гораздо более высокой оплатой. Помимо стереотипов «казарменно-уравнительного» мышления, здесь сказывается еще и глубокое непонимание того, что коренной причиной эксплуатации является экономическая монополия одной формы собственности. В условиях же их многообразия и конкуренции размер оплаты труда по договору трудового найма уже не диктуется собственником-монополистом, а определяется на основе взаимоприемлемого соглашения сторон, поскольку работник имеет реальную возможность выбора.

Извлечение нетрудовых доходов частным предпринимателям ставят в вину главным образом те, кто страдает «болезнью красных глаз». В этих глазах любой значительный доход уже в силу своего размера выглядит нетрудовым, нарушающим принцип «социальной справедливости». Конечно, высокий размер прибыли может определяться не только количеством и качеством труда, но и рыночной конъюнктурой. Однако это — нормальное явление для общества, живущего по законам товарно-денежных отношений, крайности которого преодолеваются разумной налоговой политикой и экономическими методами регулирования рынка.

Что касается связи теневой экономики с хищениями и взяточничеством, с коррупцией, то такая связь действительно имеет место. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что она существует в основном лишь постольку, поскольку нормальная рыночная экономика загнана в подполье и сама по себе объявлена преступной.

Анализ судебной практики показывает, что в подавляющем большинстве случаев в качестве предмета хищений, совершаемых «цеховиками», выступают государственные материалы и сырье, сэкономленные или скрытые от учета на основном производстве. Но разве не ясно, что такого рода преступления возможны только в условиях «карточной» системы материально-технического обеспечения и отсутствия нормальной оптовой торговли производственными ресурсами. К тому же нельзя не учитывать, что похищаемые сырье и материалы не сами по себе обогащают предприимчивых деятелей, а расходуются для производства продукции, пользующейся спросом на потребительском рынке.

В силу своего положения частные предприниматели крайне редко получают, но, как правило, дают взятки. На этом обстоятельстве, по всей видимости, основано утверждение министра внутренних дел СССР о том, что теневая экономика служит финансовой базой коррупции. Верно здесь лишь то, что «теневики» вынуждены платить власть имущим для того, чтобы развивать свою деятельность. Но в таком положении вещей они заинтересованы лишь до тех пор, пока их деятельность находится под запретом. Взятка для них — это теневая, извращенная ипостась налогообложения, направляющаяся не в государственный бюджет, а в карман паразитирующей бюрократии. Поэтому легализация частного бизнеса лишила бы их необходимости подкармливать чиновников и клерков, кровно заинтересованных в существовании экономического подполья.

Совсем не теневая экономика является причиной коррупции. Последняя — закономерный продукт государственно-монополистической, административно-командной системы на стадии ее разложения. Во взаимоотношениях бюрократического аппарата с дельцами теневой экономики, вопреки известной поговорке, музыку заказывает не тот, кто имеет деньги, а тот, кому принадлежит политическая и экономическая власть.

Может быть, однако, правы те, кто обвиняет представителей теневой экономики в стремлении любыми путями захватить власть в стране? Разберемся, насколько реальны эти опасения. Если верить министру внутренних дел СССР, сославшемуся в уже цитированном докладе на мнение большинства ученых, объем теневой экономики составляет 70—90 млрд. рублей, а в ближайшие годы должен достигнуть 100—130 млрд. рублей. Судя по этим цифрам, объем подпольной предпринимательской деятельности занимает почти пятую часть народного хозяйства и захватывает многие миллионы советских граждан, что намного больше, чем в кооперативном секторе. Но вот парадокс: если кооперативное движение очень быстро приобрело организационные формы, завоевало представительство в парламенте и активно отстаивает свои интересы, то теневая экономика при всей своей массовости остается без публичной защиты, без всякого видимого сопротивления своих участников.

Даже если считать названные В. В. Бакатиным цифры намного завышенными, то все равно нельзя не отметить удивительной политической пассивности частных предпринимателей, смирившихся, очевидно, с ролью общественных изгоев. Какая уж тут борьба за власть!

Ну и слава богу, скажут нам. И нечего потакать дельцам, а то не ровен час пробудится в них политическая активность, и тогда мы непременно попадем под иго частного капитала. А в самом деле, что же произойдет в случае полной легализации теневой экономики, когда ее уже законные представители получат возможность влиять на принятие политико-правовых решений? Смеем вас уверить: ничего страшного.

Прежде всего заметим, что частные предприниматели, как ни парадоксально, представляют собой одну из наименее политизированных социальных групп. Главный их политический интерес состоит в создании обстановки социально-экономической и политической стабильности, при которой можно спокойно, без страха перед завтрашним «раскулачиванием», заниматься своим делом. Людям, посвятившим себя свободной экономической деятельности, не нужны социальная напряженность и тем более гражданская война, им есть что терять. Разве это не совпадает с целями перестройки?!

Напрасны и опасения, что частная собственность способна вытеснить другие экономические уклады и локализовать основные средства производства в руках немногочисленной финансовой олигархии. Во-первых, существуют и будут существовать соответствующие законодательные барьеры. Во-вторых, практика развитых капиталистических стран давно показала преимущества коллективной собственности на крупные и даже средние предприятия. В-третьих, мы настолько преуспели в истреблении экономической предприимчивости, что впору объявлять всесоюзный розыск лиц, готовых заняться частным бизнесом.

Но если представить, что такой отчаянный человек все же найдется и решит создать частное предприятие, то последующие события нетрудно спрогнозировать. Это предприятие, работающее на свободный рынок, «обречено» на то, чтобы выпускать товары, нужные потребителю и притом высокого качества. Нанимая рабочих и служащих, собственник вынужден платить им больше, чем на государственных предприятиях аналогичного профиля (иначе он рискует остаться в одиночестве). Наконец, он будет платить налоги и пополнять скудный на сегодня государственный бюджет.

Что же получается? Легализация частного бизнеса оказывается выгодной всем заинтересованным сторонам: самому предпринимателю, работникам частного предприятия, потребителю, государственному бюджету. Кто же в итоге остается внакладе? Ответ однозначен: тот, кому выгодно наводить тень на плетень и держать рыночную экономику на коротком поводке.

Не ждите от нас, читатель, конструирования очередного «образа врага». Поступив так, авторы изменили бы подходу, положенному в основу статьи. Есть, конечно, люди (и их немало), злонамеренно организующие кампанию против теневой (читай: рыночной) экономики, преследуя при этом свои корыстные цели. Но дело не только и не столько в них, сколько в самой системе, которая их взрастила.

Тезис о несовместимости государственно-монополистического хозяйства с теневой экономикой вызван к жизни серьезным заблуждением, искусно подогреваемым консервативными кругами. На самом деле «черный» рынок (пока он остается «черным») нисколько не противопоказан административно-командной системе. Напротив, она остро нуждается в нем в силу следующих обстоятельств.

Теневую экономику очень удобно использовать в качестве жупела, которым можно стращать население и к тому же периодически списывать на него провалы в экономике, управляемой планово-абсурдным образом. Кроме того, постоянные заклинания о борьбе с дельцами подпольного бизнеса создают питательную психологическую почву для возникновения все новых и новых контролирующих и карательных структур и тем самым для укрепления административно-командной системы и ужесточения политического режима.

Названные обстоятельства важны, но не специфичны именно для теневой экономики, поскольку роль громоотвода могут играть и другие факторы: происки вредителей, империалистического окружения. Самое главное состоит в том, что теневая экономика служит смазкой громоздкого, неуклюжего, подверженного коррозии административного механизма.

Мировой исторический опыт убедительно свидетельствует, что без развитых товарно-денежных отношений цивилизованное общество существовать не в состоянии. И там, где борьба с рыночной экономикой не имитируется властями, а действительно ведется на истребление, наступает подлинное обезвоживание общественного организма. Ярчайший пример тому — итоги политики военного коммунизма, приведшей экономику к полному развалу, а страну в целом — к пику социальной напряженности. В этих условиях становится неизбежным крах административно-командной системы и переход к новой экономической политике, основанной на здравом смысле и естественных законах рынка.

Не желая подобного исхода, административно-командная система оказывается вынужденной допустить ограниченное, подпольное существование рыночной экономики, которая, хотя бы частично, латает дыры и затыкает бреши планового ведения народного хозяйства и на время спасает его от полного социально-политического банкротства. В то же время, как уже отмечалось, теневая экономика создает дополнительный канал перераспределения материальных благ в пользу номенклатурной элиты.

Мы видим, таким образом, что административно-командная система, создающая вокруг себя экономический вакуум, нуждается в рыночной экономике, как в глотке кислорода. Но последняя необходима ей именно в качестве теневой, подпольной, «черной». Диалектика тоталитаризма и многоукладной, рыночной экономики такова, что они представляют собой непримиримые противоположности. Свободное развитие товарно-денежных отношений означает конец для государственного монополизма. Но и полное их уничтожение приводит к тому же исходу, правда, ценой колоссальных общественных потрясений. Единственно, что остается административно-командной системе для пролонгации своего существования — превратить рыночную экономику в теневую, пользуясь приносимыми ею плодами и сваливая на нее собственные безобразия.

Так что те, кто всерьез готов связать наши беды с происками дельцов теневой экономики, должны осознать, что они находятся по одну сторону баррикад с самыми рьяными ревнителями тоталитарных порядков, ибо для наших консерваторов сейчас нет ничего желаннее, чем отвлечь внимание общественности от основной причины экономических неурядиц и переключить его на одно из ее следствий. Их сердцу так мило объявить и возглавить «крестовый поход» против теневой экономики, тогда как наилучший способ покончить с теневой экономикой очевиден — вывести ее, наконец, на свет божий и поставить на службу не отдельным лицам, а всему обществу.

Принцип деидеологизации уголовной политики, о котором уже говорилось, особенно важно распространить на экономическую сферу. Следует раз и навсегда отказаться от уголовного преследования людей, обогащающихся за счет личных усилий в условиях конъюнктуры рынка. Коль уж нам почему-то более симпатичен спекулянт в лице государственной организации, то нужно не карать спекулянта-частника, а создавать такие экономические условия, при которых он окажется неконкурентоспособным.

Однако от формулирования столь простой и ясной мысли до ее практической реализации — дистанция огромного размера. Дело в том, что развенчанию мифа о дельце теневой экономики как исчадия ада мешает не только противодействие явных и скрытых апологетов административно-командной системы. Этот и другие вымыслы, органично вписывающиеся в платформу войны с преступностью, берут свои истоки в массовой психологии, воспитанной длительным господством тоталитаризма.

«Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса...»

...Советский человек верит в насилие. Верит свято, неистово и одновременно как-то простодушно. Одному из авторов этой статьи частенько приходилось иметь дело с письмами, ежедневной лавиной обрушивающихся на центральный аппарат Прокуратуры СССР. В этой лавине среди многочисленных жалоб по конкретным вопросам ощутим поток с требованиями немедленно прекратить «церемониться с преступниками», «разводить сопливый гуманизм» и железной рукой навести порядок в стране. Встречаются и «конструктивные» предложения. Так, член Союза писателей с удивлением спрашивает, почему нам не хватает решимости одновременно физически уничтожить всех имеющихся в стране преступников и таким образом утвердить законность и дисциплину. Другой корреспондент — женщина, возмущаясь западными видеофильмами со сценами насилия и жестокости, вполне серьезно ратует за публичную смертную казнь, лицезрение которой, надо полагать, удержит юную неокрепшую душу от подражания западным киноидолам и укрепит в ней любовь к ближнему своему.

Далеко не святая простота подобных рецептов — наглядная иллюстрация культа насилия, сложившегося в нашей стране отнюдь не под влиянием зарубежной видеопродукции. Рассмотрение его глубинных корней не входит в нашу задачу. В большей степени он интересует нас как психологическая и идеологическая база соответствующей уголовной политики, а еще в большей — как фактор, способный оказать существенное влияние на процессы, происходящие в политической жизни общества.

Но вначале одно уточнение. Говоря о культе насилия, мы имеем в виду не проявившуюся в последнее время склонность наших сограждан решать те или иные (чаще национальные) проблемы при помощи холодного и огнестрельного оружия, а более глубокие чувства, которые, с нашей точки зрения, питают все существующие и еще возможные очаги насилия. Речь идет о культе **государственного насилия.**

Сформировавшийся под воздействием тоталитарного режима, он является как бы очищенным ядром культа государства, результатом закономерной для нашей истории трансформации идеи русской государственности. Не беремся судить, как

и почему наше общество проделало путь от воззрений, воодушевлявших самые прогрессивные умы своего времени, до холопского смирения и восторга перед могучей державной десницей. Сейчас важен итог. Соединение светлой, выстраданной идеи с кровавой практикой ее воплощения привело сознание миллионов людей к отождествлению государства и насилия. Насилие, освященное государственной волей, воспринимается как благо. Государство, основанное на насилии, считается «настоящим», «сильным» государством. Самые робкие попытки воспрепятствовать государственному насилию рассматриваются как покушение на устои государства, а отказ властей от применения насилия — как их слабость и беспомощность.

Культ государственного насилия наложил весомый отпечаток на понимание и реализацию идей равенства и справедливости. В социально-экономической сфере — это равенство нищих, а в политико-юридической — равенство бесправных [1]. Пусть государство подавляет и угнетает, но пусть оно, во-первых, подавляет и угнетает одинаково всех, а во-вторых, не позволяет это делать никому другому. От родного государства претерпеть не грех. А потому мы всей душой ненавидим спекулянтов и не замечаем, что самым крупным и изощренным спекулянтом является государство. Мы гневаемся, когда нас безнаказанно оскорбляют в автобусе, и не отдаем себе отчета в том, что государство унижает нас ежедневно на каждом шагу. Мы ни за что не пойдем в услужение капиталисту-эксплуататору, какие бы райские условия он нам ни предлагал, и терпеливо сносим самые варварские способы эксплуатации со стороны государства. Мы негодуем, когда узнаем об убийстве одного человека другим, и готовы забыть десятки миллионов человеческих жизней, принесенных на алтарь государственного строительства.

Культ государственного насилия — не единственный в нашем насквозь мифологизированном сознании. Но, пожалуй, именно он служит самым серьезным препятствием на пути формирования правового государства и соответствующего уровня политико-правовой культуры общества. В области уголовной политики это проявляется особенно ярко.

Вряд ли кто-то возьмется оспаривать тот факт, что ни одно государство современного мира не может обойтись без насилия, понимаемого в широком смысле — начиная от запретов и ограничений на ту или иную деятельность и кончая непосредственным применением физической силы для поддержания порядка и общественной безопасности. Чаще всего государственное насилие выражается в форме уголовной репресии, то есть в наказании лиц, виновных в совершении запрещенных уголовным законом деяний. В развитых демократических странах законодательство, определяющее основания, порядок привлечения к уголовной ответственности и условия отбывания наказания, служит не только средством борьбы с преступностью, но и формой защиты гражданского общества от государственного произвола. Закон санкционирует государственное принуждение, но одновременно ограничивает его разумными, цивилизованными пределами.

В корне иная ситуация сложилась в нашей стране, где законы писаны отнюдь не для государства. Когда государственной власти становится тесно в рамках закона, она произвольно раздвигает их или попросту игнорирует. Для того, чтобы убедиться в этом, не обязательно обращаться к кровавому сталинскому прошлому. Достаточно заглянуть в более близкое для нас время: введение смертной казни за нарушение правил о валютных операциях и придание этому закону обратной силы; применение смертной казни к несовершеннолетним по специальным постановлениям Президиума Верховного Совета СССР; произвольное, в зависимости от политической ситуации, толкование уголовного закона высшей судебной инстанцией страны, фактическое игнорирование презумпции невиновности и еще многое другое?

Самое страшное, что весь этот произвол не просто считался нормой в массовом сознании, но и горячо приветствовался. Недаром все реакционные повороты в уголовной политике обосновывались ссылкой на общественное мнение: «по многочисленным просьбам трудящихся, народ возмущен, народ требует...». Еще и сегодня эти слова нередко звучат на сессиях Верховного Совета и партийных форумах. Явственно ощущаемый в них привкус социальной демагогии тем не менее не позволяет усомниться в том, что любые отступления от демократических принципов, проводимые под флагом борьбы с преступностью, укрепления порядка и дисциплины, будут встречены массовым одобрением, в гуле которого потонут робкие протесты юридической общественности.

Лишнее доказательство тому — участившиеся напоминания о незапамятном времени, когда под руководством Ю. В. Андропова мы один раз уже взялись наводить порядок в своем доме, но привычными методами и с ясной для всех целью. Этот очень короткий и практически не исследованный период нашей истории вызывает неоднозначные оценки. Его рассматривают и как своеобразную прелюдию нынешних реформ, оборвавшуюся в связи со смертью Ю. В. Андропова, и, наоборот, противопоставляют «андроповский» вариант перестройки «горбачевскому». Примечательно, что Андропов — единственный после Ленина руководитель государства, о котором в массовом сознании сохранилось в целом положительное мнение, не очень, похоже, поколебленное официальным сообщением о его причастности к развязыванию афганской войны.

[1] Как тут вновь не вспомнить Монтескье: «Все люди равны в государствах республиканских, ови равны и в государствах деспотических: в первом случае — потому, что они всё, во втором — потому что все овв — ничто». (Монтескье. О духе законов. — Спб., 1900; с. 80). Эти бы слова да в уши иным поборникам казарменного равевства!

С нашей стороны было бы исключительно самонадеянным претендовать на всестороннюю оценку и личности Андропова, и проводившейся им политики. Но высказать свое субъективное мнение все же рискнем. Тем более, что внутренняя политика Андропова, по крайней мере видимая ее часть, была направлена на борьбу с хищениями, взяточничеством, коррупцией, на укрепление законности и дисциплины, что непосредственно связано с темой настоящей статьи.

«Андроповский» период — золотое время для работников правоохранительных органов, вспоминаемое сегодня многими из них с ностальгической грустью. Впервые за долгие годы застоя у них оказались развязанными руки. Появилась, наконец, возможность добраться до «обнаглевших торгашей», подпольных нуворишей, мздоимцев из партийно-государственного аппарата. Прокурор уже мог, не заискивая, как бывало, а твердо смотреть в глаза партийного секретаря, когда речь заходила о привлечеиии к ответственности номенклатурного вора или лихоимца. Нет, конечно, все делалось, как и полагается, под руководством партии, ею контролировалось, направлялось, дозировалось, а то и умело использовалось в борьбе за власть между партийными функционерами. Встречалось и открытое сопротивление со стороны местных руководителей. Но авторитет генсека, настойчиво проводившего свою линию, придавал ее исполнителям силы и уверенность. За сравнительно короткое время были разоблачены крупные организованные группы расхитителей и взяточников в Москве, Краснодаре, Ставрополе, Ростове. Оттуда же берет свое начало знаменитое (теперь уже печально знаменитое) «узбекское дело». Немалое рвение было проявлено и в борьбе с приписками, бесхозяйственностью, разгильдяйством.

Вроде бы все это можно занести в актив андроповской политики. Что же мешает однозначно положительно оценить этот период? Доходившее до идиотизма бюрократическое стремление отчитаться за укрепление порядка и дисциплины «по валу»? Форменные облавы на прогульщиков в кинотеатрах и магазинах Москвы? Стремительно раскручивающаяся пружина репрессий, поражавших отнюдь не только взяточников и расхитителей? [1]. Суть не в этом. Все перечисленное — лишь внешнее проявление очевидной сегодня бесплодности, обреченности проводимого тогда курса.

По нашей версии, «андроповский вариант перестройки» представлял собой попытку (хочется надеяться, последнюю) субъективно честных людей, преданных административно-командной системе, добиться ее стерильности. Очистить ее от коррупции, протекционизма, казнокрадства, за счет чего вдохнуть в нее новую жизнь. Но беда в том, что стерильно чистая административно-командная система может существовать только в воображении ее апологетов. В действительности же она способна функционировать либо при тотальном терроре, либо за счет тех же коррумпированных связей.

Возникает вопрос: как поступил бы Андропов, убедившись в том, что инъекция насилия (других действенных средств административно-командная система не имеет) лишь встряхнула общество, но не вернула ему жизнеспособность? Сумел бы он, отбросив идеологические догмы, осознать необходимость кардинальных реформ? Уверены, что нет. Человек, сформировавшийся как политик в условиях сталинского режима, непосредственно причастный к событиям в Венгрии, Чехословакии, Афганистане, возглавлявший нашу тайную полицию, короче говоря, всю жизнь верой и правдой служивший системе, не смог бы ей изменить. Поэтому возможны были только два варианта: дальнейшее «закручивание гаек» до полного «срыва резьбы», то есть террор, не исключено, что бунт и снова террор, либо отступление и продолжение мирного загнивания.

Осуществляемая при Андропове политика не получила логического завершения и была свернута после его смерти. Однако бесперспективность избранного им пути получила бесспорное подтверждение уже после апреля восемьдесят пятого года. Правомерно предположить,

[1] На II Съезде народвых депутатов СССР в выступлении народного депутата, следователя по профессии, мелькнула фраза, что-де только при Андропове судьи были по-настоящему независимы. Точка зрения очень характерная для работника следственного аппарата. Так сказать, судебная независимость глазами следователя. Не знаем, от чего уж судьи были независимы в это время, но только не от выводов предварительного следствия. Поставить их под сомнение, да еще по так называемым актуальным делам, было в период правления Андропова почти немыслимо.

что кампания по борьбе с пьянством и нетрудовыми доходами, с которых так неудачно началась нынешняя перестройка, планировались еще при Андропове. В любом случае они были логическим продолжением его политики. Во что это вылилось и чем закончилось, нет смысла напоминать.

Однако «вариант Андропова» и сегодня имеет немало сторонников в партийном и государственном аппарате, особенно в системе правоохранительных органов. Причем важно подчеркнуть, что речь идет не о коррумпированной части аппарата, с которой обычно связываются основные причины торможения перестройки, а как раз о последовательных борцах с коррупцией, идейных сторонниках тоталитарной системы. Парадокс в том, что именно эти люди, возможно, не нарушившие ни одной из десяти заповедей, являются самыми решительными противниками радикальных демократических реформ, поскольку искренне убеждены в справедливости и незыблемости существующего порядка.

Вместе с тем было бы грубой ошибкой полагать, что тоска по «андроповскому времени» мучает только управленческую элиту. Этой тоской, к сожалению, заражены самые широкие социальные слои. Причин здесь несколько.

Во-первых, Андропов действовал более решительно и последовательно, чем нынешнее руководство страны. Во-вторых, его политика не посягала на основы общественной системы, не нарушала привычного жизненного уклада и не задевала интересов многочисленных социальных групп. Наконец, в-третьих, в социально-психологическом плане эта политика не разрушала стереотипы массового сознания, а опиралась на них. Вольно или невольно Андропов сделал немало для того, чтобы укрепить культ государственного насилия, поддержать иллюзию о том, что только государство и только железной рукой способно обеспечить справедливую жизнь. Ход перестройки показывает, что массовое сознание оказалось гораздо более подготовленным к усилению давления на общество со стороны государства, чем к демократизации общественной жизни.

И все же под влиянием происходящих перемен культ государственного насилия не мог не дать трещины. Постепенное освобождение от него массового сознания — процесс сложный и болезненный. Он чреват выбросами экстремизма и насилия (в чем мы уже не раз успели убедиться). Очевидно, этим же процессом обусловлено появление у многих людей чувства социальной незащищенности. Ведь пресловутая социальная защищенность советского человека, которой мы гордились долгие годы, теснейшим образом связана с культом государственного насилия. Тоталитарное государство лишает человека практической возможности самому позаботиться о себе и своих близких. Получаемые от государства крохи воспринимаются как трогательная забота. Страх перед государством вытесняет все другие страхи. Страх, перешедший в преклонение перед силой государства, создает иллюзию причастности к этой силе. Когда тоталитаризм рушится, не подготовленный к свободе человек чувствует себя беспомощным и беззащитным.

«...Не бог, не царь и не герой...»

Меньше всего эти строки пролетарского гимна отвечают нашему душевному строю. О боге за последние семьдесят лет мы действительно забыли. Зато царей и героев обожествляли с удвоенным рвением, разочаровываясь в одних, искали и находили других.

Человеческое сознание, как и природа, не терпит пустоты. Культовое сознание с разрушением одного идола заменяет его новым. Сознание, зараженное ядом тоталитаризма, поклоняется только одному идолу — насилию, меняющему лишь свое внешнее обличие. От государственного насилия — к насилию против государства, а затем опять — к насилию со стороны государства уже нового, «справедливого». Неужели по этому порочному кругу и дальше будет двигаться вся наша история?

Тоталитарное сознание плоско и однолинейно. Оно различает только два цвета: черный и белый, рисует только два образа: «врага» и «героя» и представляет только один путь к цели: уничтожение «врага».

Поговорим о «героях» и «врагах» перестройки.

Не характерно ли, что всенародными «героями нашего времени» стали не интеллектуалы, вознамерившиеся сломать рабскую психологию своих соотечественников, а прямолинейные прагматики, сознательно или бессознательно эксплуатирующие ее: бывший партийный руководитель, возглавивший поход против номенклатурных привилегий, и бывший следователь, объявивший о намерении пересажать всех «кремлевских взяточников». Официальная политическая платформа опального руководителя и опального следователя, естественно, только к этому не сводится — там и о власти Советам, и о многопартийности, и о правовом государстве. Однако воспринимается весь этот «джентльменский набор» революционных фраз как красивый, но вовсе не обязательный гарнир к основному лакомому блюду. Правовое государство — конечно, хорошо, хотя и не совсем понятно. А главное все же — отобрать и посадить! Это нам знакомо! Сколько лет только тем и занимались!

Примечательно, что к тому самому лакомому блюду с вожделением тянутся и те, что с отвращением отвергают гарнир из демократических лозунгов. Так называемый «правый популизм» играет на тех же струнах, что и «левый».

Похоже, для многих наших сограждан самый желаемый результат перестройки состоит в том, чтобы увидеть членов Политбюро на скамье подсудимых, а членов их семей — в общих магазинных очередях.

Понимаем, что грешно иронизировать над чувствами людей, измученных несправедливостью, неравенством, возмущенных безнаказанностью сановных преступников. Но нагнетаемая по этому поводу истерия невольно вызывает в памяти замечательную мысль, высказанную Ф. Искандером словами своего персонажа (передаем смысл): раб мечтает не о свободе, раб мечтает только о том, чтобы отомстить.

А кто у нас сегодня числится во врагах? Помните: коррумпированные чиновники, дельцы теневой экономики, боевики... В общем, мафия. Мафия у нас везде. На митингах утверждается, что она засела в руководстве страны. Руководство в свою очередь намекает, что как раз наоборот: это мафия выводит людей на площади и разжигает экстремистские настроения. Мафия поддерживает и сионистов, и антисемитов, и армян, и азербайджанцев, и «правых», и «левых»...

Господи, как недалеко мы ушли от того проклятого времени и как мы, сами того не желая, делаем все, чтобы оно вернулось! Тогда на политических противников смотрели как на преступников, сегодня снова политических противников стремимся обвинить в преступной деятельности. Тогда кругом кишмя кишели шпионы и троцкисты-контрреволюционеры, сегодня прохода нет от «теневиков» и гангстеров. Тогда не церемонились с «классовыми врагами», поскольку они преступники, сегодня предлагаем не церемониться с преступниками, потому что они «классовые враги». Тогда политическая борьба велась репрессивными методами, и сейчас к этому же рычагу тянутся и сверху и снизу, дело лишь за тем, кто раньше успеет.

В свое время «большая» политика полностью подчинила себе уголовную. Сегодня мы пожинаем плоды этого, но уже с обратным знаком: криминальная тема стала доминирующей в «политической симфонии». Спекуляция на этой теме — крупный козырь, который разыгрывают и «левые» и «правые», и руководство и оппозиция. Дело здесь не только в политическом карьеризме одних и стремлении отвести от себя ответственность других. И даже не во взаимной тяге к шельмованию оппонента.

Причина, на наш взгляд, глубже. Она в естественной склонности тоталитарного мышления к упрощению, «спрямлению» любого сложного явления или процесса и соответственно к простым и примитивным решениям. Почему мы так легко соглашаемся с тем, что «кругом мафия»? Почему никак не можем успокоиться, пока нам не назовут конкретного виновника того или иного нашего несчастья и так легко готовы искать и непременно найти чей-нибудь злой умысел? Не потому ли, что это отвечает десятилетиями формировавшимся представлениям? А может быть, все дело в страхе? Не в привычном страхе перед внешним или внутренним «врагом», на котором и держится тоталитарное сознание, а в страхе перед разрушением стереотипов, перед неспособностью сознания вместить в себя многообразие, многомерность и полифоничность жизни.

Когда мы пугаем себя мафией и коррупцией, мы вытесняем привычным страхом страх перед сложностью и масштабом обрушившихся на общество проблем. Гораздо проще и спокойнее признать, что кровавые события в Закавказье и Средней Азии — исключительно происки преступных кланов и коррумпированных чиновников вкупе с экстремистами, чем попытаться заглянуть в бездну социальных, этнических и религиозных противоречий, раздирающих эти многострадальные регионы. И куда легче обвинить в «продажности» весь партийно-государственный аппарат, нежели переключить механизм его работы на «демократический режим». Не пора ли понять, что сегодняшняя политическая жизнь гораздо сложнее трагифарсовой истории о том, как поссорились Тельман Хоренович с Егором Кузьмичем? [1]. Пошлые попытки свести социальные и политические противоречия к борьбе новых «героев» с новыми «врагами» в интересах только административно-командной системы, до демонтажа которой в азарте этой борьбы могут просто не дойти руки. Да и взяточничество, коррупция, организованная преступность — все то, что не совсем точно называется у нас мафией, мало от этого пострадают.

Настало время остановиться и пере-

---

[1] И тот, и другой — «птенцы гнезда Авдропова». При нем начали свой валет, каждый на своем месте «чистил» партийные ряды, считая этот путь единственно правильным. оба — сторонники силовых методов. Что оказались по разные стороны — игра судьбы, результат сложившейся политической конъюнктуры. Крикливая революционность одного только маскирует те же догматизм в нетерпимость к инакомыслию, что наличествуют у другого.

стать творить кумиров и охотиться на ведьм. Истоки наших бед — в нас самих, в образе нашего мышления и в образе жизни, сформировавшем это мышление. Если мы не изменимся сами, радикальным образом изменив коренные условия своего существования, исторический тупик неизбежен. Пусть слова пролетарского гимна, вынесенные в название этого раздела, кому-то кажутся излишне самонадеянными. В них заключен смысл, до понимания которого искалеченному тоталитаризмом сознанию еще предстоит подняться.

Переживаемая перестройкой историческая драма вызвана тем, что подлинно революционные преобразования начались в обществе, бурное рождение которого свыше семидесяти лет тому назад было освящено тезисом о насилии как о повивальной бабке революции. В дальнейшем, приобретя государственный статус, насилие оказалось и нормилицей новорожденного, и главным лекарем его детских и взрослых болезней. Ослепленные долгими годами господства административно-командной системы, мы проглядели, что за это время человечество выработало гораздо менее болезненные методы социального акушерства и социальной терапии.

Но невольная слепота — еще полбеды. Куда страшнее нежелание прозреть, упорное стремление держаться за поводыря, уже подведшего к краю пропасти. Приверженность к старым рецептам и невосприимчивость к рекомендациям консилиума носителей нового мышления губительны для перестройки, призванной вернуть страну в общий поток человеческой цивилизации.

Больно и трудно открывать глаза после длительной спячки. Но это единственный путь к исцелению от культа насилия и других вирусов тоталитаризма, а вместе с тем — к выходу общества из кризисного состояния.

Незашоренный взгляд на общественные проблемы очень скоро позволит обнаружить, что мы до сих пор путали причины и следствия. Не наши беды от преступности, а преступность от наших бед. Не дефицит от спекуляции, а спекуляция от дефицита. Не развал хозяйства от теневой экономики, а теневая экономика от развала хозяйства. Не кризис управления от коррупции, а коррупция от кризиса управления.

И, может быть, тогда прозревшее массовое сознание постепенно вернется к здравому смыслу и к системе ценностей, в которой человек выше государства, свобода выше власти, право выше политики и идеологии, а насилие, от кого бы оно ни исходило, вызывает всеобщее нравственное отвращение и считается безусловным злом. Злом, временно допустимым в качестве крайней и вынужденной меры только в отношении насильников и в строго ограниченных пределах, но навсегда исключенным из арсенала средств управления социально-экономическими и политическими процессами.

Может быть, тогда мы научимся не вздрагивать от каждой статистической сводки уголовной хроники и не хвататься по старой привычке за карательную дубину, понимая, что она может опуститься не на ту голову. И всякий раз, когда возникнет искушение прибегнуть к ужесточению уголовной политики, вспомним: объективная логика эскалации государственного насилия может привести к гибели едва появившихся на свет ростков подлинно человеческих отношений между людьми.

Хочется верить, что многострадальное общество вырвется в конце концов из оков тоталитарного сознания и остановит начатую в мазохистском раже безумную войну с преступностью. Пусть эта, надеемся, вовремя прерванная война станет действительно последней из всех, какие знала история.

Зоя КРАХМАЛЬНИКОВА

РУСОФОБИЯ, ХРИСТИАНСТВО, АНТИСЕМИТИЗМ

Заметки об антирусской идее

Прежде, чем читатель «Невы» познакомится с этой статьей, мне бы хотелось коротко рассказать о ее авторе. С Зоей Крахмальниковой мы учились на одном курсе в Литературном институте. Хорошо помню, как зимой 1954 года, уже после окончания института, она вместе с другими двумя или тремя моими бывшими однокурсниками прибежала на Ярославский вокзал, откуда я, уже остриженный наголо, вместе с командой новобранцев отбывал в далекое Забайкалье, к месту своей солдатской службы... Потом, уже позже, до меня через общих знакомых доходили сведения, что Зоя работала в журнале «Молодая гвардия», в «Литературной газете», окончила аспирантуру института Мировой литературы АН СССР, защитила диссертацию, выпустила литературоведческую книгу... Казалось бы, обыкновенная, вполне благополучная судьба... И вдруг уже в начале восьмидесятых я узнал, что Зоя арестована. Ей вменялось в вину нелегальное издание и распространение христианской литературы. Это известие было полной неожиданностью для меня. Теперь-то я знаю, какая долгая и непростая внутренняя душевная работа предшествовала подобному повороту в Зоиной жизни.

Впрочем, вот что она сама говорит об этом:

«Когда в 1975 году я начала составлять Христианское Чтение „Надежда“, я, конечно, не могла предположить, что мне удастся собрать своеобразную краткую энциклопедию Христианского Чтения в десяти книгах, вместивших в себя около 3000 страниц уникальных текстов, свидетельствующих о духовной жизни человека, о жажде Истины и пути к ней. Малоизвестная, казалось бы, навеки погубленная и утраченная словесность православной духовной культуры собиралась мной несколько лет. Десятая книга „Надежды“ была завершена в 1982 году.

Жизнь „Надежды“, составляемой в то время, которое мы сегодня называем „застоем“, оказалась крайне драматичной. Ее пытались уничтожить, забирали на обысках, за нее преследовали. В 1982 году, когда я была арестована, книги „Надежды“ легли в тюремные папки, они стали доказательством моего „преступления“. Меня присудили к шести годам лишения свободы. И освободили за год до истечения „срока наказания“ вместе с другими политзаключенными, которых досрочно стали освобождать в 1987 году...»

К сказанному стоит добавить, что статья, которую печатает «Нева»,— первая крупная публикация З. Крахмальниковой в литературной периодике после ее возвращения в Москву.

Борис НИКОЛЬСКИЙ

1. Еще один апокалипсис? «Сам я — христианин, и следовательно — не марксист» [1],— заявил читателям «Московских новостей» И. Р. Шафаревич, автор книги «Русофобия», опубликованной журналом «Наш современник» и Мюнхенским Российским Национальным Объединением в 1989 году. Книга эта, хотел того или нет христианин Шафаревич, выражает антихристианскую идеологию антисемитизма и русского шовинизма.

И. Р Шафаревич, принадлежащий к «научному истаблишменту» (он член-корреспондент Академии наук и ленинский лауреат), бесспорно, оказал немалую услугу своим единомышленникам: членам общества «Память» и писателям так называемого «правого блока», считающим себя «истинными сынами России» [2]. Всем известно, как важна идеология для программы действий.

[1] «Московские новости», № 24, 12. 06. 88.
[2] «Огонек», 1989, № 48.

Эта услуга оказалась особенно ценной для единомышленников И. Р. Шафаревича потому, что *реставрация* идеологии антисемитизма, на которую опирался германский нацизм после его поражения во второй мировой войне, стала почти невозможной. В этом признается и сам И. Р. Шафаревич, излагая свою, по его убеждению, «четкую концепцию», которую он смог осознать после того, как «судьба,— как он пишет,— как будто приоткрыла крышку кастрюли, в которой варится наше будущее» и дала автору заглянуть в него [1].

Пророчество, извлеченное И. Р. Шафаревичем из кастрюли, сообщает нам, что нашу Родину, находящуюся на краю катастрофы, погубили и продолжают губить евреи, составившие ядро «Малого народа».

«Малый народ», как пиявка, присо-

[1] И. Р. Шафаревич. Русофобия. Мюнхен, 1989, стр. 9.

сался к «Большому народу» и всеми силами стремился и стремится победить его, навязав «Большому народу» свою концепцию его истории, приведшую его к катаклизмам, а сейчас навязывающий ему демократию такого типа, которая погубит его окончательно. «Большой» представляется нашему пророку немощным и жалким, загипнотизированным злой волей «Малого народа», дошедшего до такой наглости, что позволяет себе в кастрюле варить будущее «Большого народа»!

Гулливер не только связан злобными лилипутами, как свифтовский герой, его практически нет в этом сочинении.

Как могла возникнуть в сознании человека, пытающегося защитить свой народ от клеветы, эта *концепция пустоты*, откуда она? По-видимому, автору легче заявить о своей миссии защитника России в этой безбожной пустоте, в пустыне, где лежит поверженный Гулливер.

Там, где народ бездействует и безмолвствует, пророкам легче говорить *свою* правду.

В конце книги И. Р. Шафаревич сообщает, что, не сказав правды, он не смог бы спокойно умереть (стр. 113). Прошли те времена, когда русские люди стыдились говорить о себе красиво, когда они не осмеливались предполагать, что у них есть право умереть спокойно, зная верою, что только Бог, обладающий живыми и мертвыми, владеет правом даровать возможность «спокойно умереть».

Эта фраза в конце книги «стреляет», как всякое ружье, повешенное на стене, в нужное для выстрела время. Уже в начале своей работы автор сообщает читателям, что неизбежно должен будет «столкнуться с одним вопросом, находящимся под абсолютным запретом во всем современном человечестве» (стр. 10). И. Р. Шафаревич ставит перед собой задачу, конечно, пророческую, ибо кому же из простых людей может прийти в голову нарушить *абсолютный* запрет, лежащий «на всем современном человечестве»?!

Нам сообщают далее, вероятнее всего для того, чтобы мы острее осознали величие замысла, что запрет не записан ни в каких законах, однако *каждый* знает о нем. И все «*покорно* останавливают свою мысль перед запретной чертой» (там же).

Все. Но не автор «Русофобии». Он без ложной скромности сообщает, что намерен переступить «запретную черту». Для чего? — рискнет спросить читатель. И получит ответ: «не вечно же ходить человечеству в таком духовном хомуте» (так и сказано!). О том, как будет И. Р. Шафаревич снимать с человечества «духовный хомут», читатель должен узнать по ходу действия...

2. Забытые подробности. Надо думать, что в математике, которая является специальностью И. Р. Шафаревича, дилетантизм невозможен, но среди ученых, преданных «строгим наукам», порой бытует мнение, что философия культуры, философия религии или истории есть деятельность «второго сорта», и здесь можно позволить себе то, чего не позволишь в математике.

И. Р. Шафаревич разрешает себе некорректность в произвольном обращении с фактами, но не только потому, что он — дилетант в той области мышления и знания, к которой обращается, и видимо, не потому, что его математический ум хочет отдохнуть от строгой логики и поразвлечься на пажитях философии истории или культуры. Всякий раз, когда его ум резвится на этих пажитях, он нарушает не только логику исследования, но и намеренно прибегает к искажениям реалий, что должно — по-видимому, так считает автор — помочь успеху его книги.

Обратимся к фактам. Для доказательства правоты своего пророчества автор «Русофобии» подбирает перечень цитат из сочинений литераторов, философов и журналистов, которые составляют так называемое «ядро Малого народа», движимого злодейским намерением привести «Большой народ» к «последней катастрофе, после которой от нашего народа, вероятно, уже ничего не останется» (стр. 108).

Для знакомства читателей с отдельными биографическими подробностями сочинителей враждебных теорий И. Р. Шафаревич пользуется сносками, в которых сообщает данные о своих оппонентах. Однако здесь мы наблюдаем одну странность: автор, сообщая нам различные биографические подробности о сочинителях приводимых им цитат, когда дело касается людей, уже умерших, *скрывает* факт их смерти. Так, приводя цитаты из сочинений Андрея Амальрика, Александра Галича, Надежды Мандельштам, автор «Русофобии» не сообщает в биографических сносках, относящихся к ним, что эти люди умерли несколько лет назад. Зачем И. Р. Шафаревичу понадобилось скрывать факт смерти своего оппонента? Зачем приводить цитаты из работ пятнадцатилетней или десятилетней давности, подписанных порой псевдонимами? Ведь «Русофобия» предложена читателям как пророчество в 1989 году!

Это — характерная черта *метода* нашего пророка. Мертвые оппоненты, так же, как устаревшие цитаты из сочинений псевдонимов, *нужны* И. Р. Шафаревичу по тем же причинам, по которым нужны были Чичикову мертвые души. «Малый народ» должен иметь *число*. Мертвых надо выдать за живых. Но об этом речь пойдет далее.

Сейчас нам следует продолжить разговор о дисциплине «математического ума».

И потому мы вынуждены будем обратиться к любимой теме И. Р. Шафаревича, изложенной им недавно в статье под названием «Феномен эмиграции».

И в «Русофобии», и в «Феномене эмиграции» есть одни и те же идеи об эмиграции, и здесь нет ничего удивительного, автор волен повторять свои концепции в различных работах. Волен повторять и волен не повторять. Так, скажем, в «Русофобии», которая опубликована в 1989 году в Мюнхене стараниями Российского Национального Объединения (так же, как и «Феномен эмиграции», напечатанный «Литературной Россией» в том же году — 05. 09. 1989), есть упоминание о том, как И. Р. Шафаревич на одной из пресс-конференций сформулировал сущность эмиграции 70-х годов. Речь идет о пресс-конференции по поводу выхода в свет сборника «Из-под глыб» (1974), одним из авторов которого являлся И. Р. Шафаревич. Именно на той пресс-конференции были высказаны главные положения об эмиграции как о поражении. Деятели русской культуры «просто не выдержали давления... у них не оказалось достаточно духовных ценностей, которые могли бы перевесить угрозу испытаний, конечно, тяжелых, но вполне доступных человеческим силам, как показали многочисленные примеры. А если так, то о каком же значительном их вкладе в культуру может идти речь?» (см. «Литературную Россию» от 05. 09. 1989).

В «Русофобии» эта цитата укрыта в отточиях, автор намеренно обрывает ее как раз в той части, где он отказывает эмигрантам в возможности обладания «духовными ценностями». Почему же Шафаревич отказался процитировать свои «основополагающие принципы» в мюнхенском издании?

Здесь нет никакой загадки, цитата впрямую относится к его издателям: «Русофобию» издали русские эмигранты. Можно ли в их издании утверждать, что они «не способны внести», по словам И. Р. Шафаревича, «вклада в культуру...»

Однако, есть более существенный аспект в этой «феноменальной теме». Автор не только занимается «самоцитированием» в «Феномене эмиграции», он решается на «самомифологизацию».

В том самом интервью, данном по поводу выхода в свет сборника «Из-под глыб», И. Р. Шафаревич сообщает (как мы узнаем все из той же статьи, опубликованной «Литературной Россией»), что «среди смело заявивших о себе в период, когда послышались первые голоса протеста против лжи и жестокости 60—70-х годов», оказались те, кто решил эмигрировать. «И я помню,— продолжает автор статьи,— ощущение шока, когда выяснилось, что наши товарищи, о которых мы думали, что до *последнего* будем вместе *переносить все гонения*, вдруг складывают чемоданы и внезапно исчезают из нашей среды и нашей страны». (Выделено мною.— *З. К.*)

Читатель этих строк, проживший в информационном «вакууме» долгие годы, конечно, возмутится вместе с Шафаревичем теми, кто сложил чемоданы и исчез, оставив И. Р. Шафаревича «переносить все гонения до последнего». Но гласность для того и существует, чтобы разоблачать мифы. К сожалению, слова И. Р. Шафаревича о «всех гонениях» принадлежат к тому же типу признаний, в которых автором «Русофобии» высказывалась надежда, что ему принадлежит право «умереть спокойно», сняв «духовный хомут» с человечества. Читатель статьи «Феномен эмиграции» был введен в заблуждение: И. Р. Шафаревичу не удалось пока осуществить свою надежду на «гонения до последнего», так же, как не удалось пока осуществить свою мечту спасти Россию жертвоприношением, к чему он призывал в своей статье «Есть ли будущее у России», опубликованной в сборнике «Из-под глыб».

«Вот к какому выводу мы приходим,— писал И. Р. Шафаревич в этой статье,— судьба России находится в наших руках, зависит от индивидуальных усилий каждого из нас. Но самое существенное может быть сделано на единственном пути — через *жертву*... Жертва дает такое же чувство высокого подъема, радости, осмысленности жизни. Если до готовности к жертве подымутся не только единицы, это очистит души, взрыхлит почву, на которой может вырасти религия» [1].

Цитируя эти слова И. Р. Шафаревича, мы чувствуем некоторую неловкость. Упрекать автора этих строк в том, что у него не хватило нравственной силы последовать за теми, кто внял его призыву к жертвенности и заплатил за это тюремными, лагерными сроками и изгнанием, или вспоминать о том, что И. Р. Шафаревич не осмелился даже выступить в их защиту, как делали это другие, было бы жестоко. И потому мы ни в коем случае не станем упрекать автора. Бог ему судья, как знать, может быть, настанет время, и И. Р. Шафаревич осуществит свою мечту о жертве. Но думается, что для автора «Русофобии» было бы важно вспомнить слова Христа: «Пойдите научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы»? (Мф. 9. 13).

Однако, вернемся к «Феномену эмиграции». Автор статьи подробно разбирает тот тип эмиграции, которая, как я уже цитировала, не захотела вместе с автором «Русофобии» переносить «все гонения» и, сложив чемоданы, «внезапно исчезла»;

[1] «Из-под глыб». Сборник статей. ИМКА-ПРЕСС, стр. 273—274.

но феномен эмиграции не может быть, по моему убеждению, достаточно полно исследован, если исследователь пренебрегает еще одной вполне «феноменальной» чертой. Речь идет об осуществившейся в нашей стране возможности, сложив чемоданы, не увозить их, а *сидеть* на *них*, оставаясь на месте, сидеть, словно *тебя нет*.

Вряд ли сидеть на чемоданах, дабы их не забрали, *достойнее*, чем собирать чемоданы, чтобы их увезти...

Но есть третий путь.

Он завершился в декабрьской полутьме недавно ушедшего года, когда академика А. Д. Сахарова провожала в последний путь покаянная и смиренная Москва. Почти сутки она прощалась с человеком, который был бессменным и неустанным защитником всех гонимых. Он не успел собрать чемоданы, когда его отправили мучиться в горьковскую ссылку за то, что он поднял голос в защиту тех, кого посылали на смерть в Афганистан. Его жизнь была примером покаяния и искупления, он знал, что милость превосходит жертву, и потому в неисчислимых букетах цветов, которые несли ему миллионы людей, лежали записки: «Прости нас». Потому на богослужениях во многих храмах нашего Отечества его отпевали и оплакивали те, кто знал цену его милости.

Он не проповедовал жертвы и не проповедовал ненависти. И уставшие от ненависти народы России, так же, как миллионы людей во всем мире, оплакивали его уход...

Когда узники совести возвращались в 1987 году из тюрем, лагерей и ссылок, в Самиздате уже распространялась «Русофобия». Не исключено, что автор именно эту работу решил предложить нашему Отечеству в качестве спасительной жертвы. И это тоже входит в «Феномен эмиграции»: обостренное чувство вины перед покинутой родиной рождает дерзновенные планы ее спасения и жажду пророчества. Тем более тогда, когда твои соотечественники находятся в смертельной опасности.

Возможно, эта книга писалась именно в годы мрачного «застоя» тьмы, когда на ненависти, страхе и предательстве укреплялась брежневско-андроповская власть, разрушающая страну и порабощающая ее народы со все нарастающей скоростью. В Афганистан гнали на смерть ту самую молодежь, о которой так заботится в своей «Русофобии» И. Р. Шафаревич, а тюрьмы, лагеря и психушки наполнялись теми, кто не призывал к жертве, но не хотел приносить в жертву свою совесть. Возможно, именно тогда, когда страшно было назвать истинных виновников близящейся катастрофы, и для того, чтобы заглушить чувство своей вины, был назван виновный...

Этот уголовный сюжет очень популярен в тюрьме.

Мне не удалось, когда я вернулась из ссылки, «выловить» из Самиздата уже «модную» в то время «Русофобию». И только попав на Запад, я с легкостью обрела эту книгу с портретом автора на обложке. Мои знакомые с облегчением расстались с ней — они принадлежат к тем русским православным людям, которые брезгуют антисемитизмом.

3. Неужели *один* Померанц?! Теперь нам пришла пора вернуться к Гулливеру. Мы оставили его посреди пустыни поверженным в прах. Грозные лилипуты, входящие в презренный «Малый народ», терзали немощного, связанного Гулливера, и автор «Русофобии» решил, что пришла пора его освобождать.

Мы вернулись к истоку этой трагедии и начали внимательно следить за маневрами «Малого народа», описанными в книге И. Р. Шафаревича. И нам открылась фантастическая картина, оказалось, что брошенный в пустыне Гулливер — «Большой народ» — не только, по мысли его певца, беспомощен и бездейственен, хотя давно уже понуждаем именно евреями совершать революции, террор, ГУЛАГ и прочее. Оказалось, что в этом историческом детективе нет не только защитников порабощенного «Большого народа» (а сам он, конечно же, без автора защитить себя не может!). Но выяснилось, что нет и самого «Малого народа».

Все поработители, все его идеологи, вожди, на которых обрушился гнев нашего автора, находятся в недосягаемых пределах и от них нас защищают мощные пограничные заставы и славные пограничники. Все они, давным-давно собрав чемоданы, покинули нас, уж не говоря о тех, кто давным-давно скончался, но нужен И. Р. Шафаревичу, как нужны были Чичикову «мертвые души». Для числа.

Оказалось, что числа-то нет, и «Малого народа», естественно, нет. Из восемнадцати литераторов, философов и публицистов, представляющих в книге Шафаревича не только ядро «Малого народа», но его, так сказать, «мозг», «концептуалистов», «генераторов идей», занятых, как уверяет нас И. Р. Шафаревич, разрушением всего того, что поддерживает существование «Большого народа», остался по эту сторону границы *один* Григорий Померанц.

Неужто ему *одному* И. Р. Шафаревич в своем фантастическом повествовании предназначил столь зловещую роль: варить в кастрюле наше будущее?

Нам могут сказать, что дело не в числе, а в сути. Но именно число нужно И. Р. Шафаревичу, иначе бы он не приводил столько цитат, похожих друг на друга, а привел бы в три раза меньше и занялся бы сутью. Но, увы, суть его концепции столь же уязвима, как число придуманного им народа.

Суть обнажается в методе, которым пользуется И. Р. Шафаревич, именно метод и обнажает отсутствие сути. Все примеры, цитаты, фамилии, биографические сноски, вся так называемая «фактура» сочинения И. Р. Шафаревича является выразительным примером советского обличительного документа, где до сути дело не доходит, ибо составители этой документации сутью не интересовались и не интересуются. Вся фактическая часть работы И. Р. Шафаревича напоминает нам не только сталинские и ждановские работы, заложившие фундамент этой партийной «документации», но и так называемые «протоколы осмотра вещественных доказательств преступления», которые составлялись следователями КГБ и МВД, когда нужно было давать сроки за цитаты. За книги, статьи, рукописи. Этот полицейский метод давно разработан и суть его выражена кратко в одном печальном каламбуре: «Я ему цитату, а он мне — ссылку». Осуждение за цитату, вырванную из контекста и квалифицированную как «средство подрыва» — типичная практика тех, кто «давал» за «подрыв» 70-ю статью, лагеря, ссылки, смерть...

Красота математики в ее верности своим законам. Но есть иная сфера бытия, превосходящая красоту всех строгих наук. Это — жизнь совести, жизнь человеческого духа. В ней действуют строжайшие законы и, согласно им, чувство ненависти и мщения разрушает эту сферу бытия. Одна мысль может низвести в ад,— учат святые Отцы Православной Церкви.

Перед нами, конечно, религиозный феномен, куда более значительный, чем «феномен эмиграции», занимающий математический ум нашего исследователя. Читая книгу «Русофобия» и статью «Феномен эмиграции», мы попадаем в «воспаленный круг жизни», по словам ап. Иакова (Иак. 3, 5—6). В этом «воспаленном круге жизни», созданном И. Р. Шафаревичем, пылает огонь ненависти, пробуждающий жажду *расправы*. Даже когда речь идет всего лишь об Андрее Синявском, авторе книги «Прогулки с Пушкиным», шокировавшей развязностью тона и суждений любителей отечественной словесности, И. Р. Шафаревич перед тем, как высказать угрозу А. Синявскому («Мы еще дадим свой ответ!») [1], восхищается силой мусульманского мира, приговорившего к смерти писателя, оскорбившего религиозные чувства.

И это мы читаем в работе человека, который называет себя христианином!

[1] См. «Литературная Россия» от 05.09.1989.

4. Христианство и антисемитизм Шафаревича. Я вынуждена попросить прощения у читателя за столь длинную преамбулу к главной теме моих заметок, а именно к анализу концепции И. Р. Шафаревича с точки зрения христианского учения. Не будь столь широковещательного заявления автора «Русофобии» о том, что он — христианин, не будь столь явного восхищения безымянного автора предисловия к «Русофобии» по поводу признания Шафаревича в том, что он — христианин, вряд ли стоило бы разбирать еще один вариант идеологии антисемитизма, даже в том случае, когда она заявляет о себе как о пророчестве.

История человечества знает разнообразные типы антисемитизма: от пошлого, бытового до «высокого» расистского, бросающего представителей «Малого народа» в газовые камеры. Но история человечества не знает христианского антисемитизма, если считать христианством исповедание веры во Христа, того исповедания, основы которого открыты человечеству в Евангелии.

Истинное христианство и антисемитизм несовместимы.

И тем не менее человечеству известны случаи антисемитизма среди тех, кто называет себя христианами: идеологические концепции погромов, распространение «Протоколов сионских мудрецов», теорий «расового ничтожества», «лилипутства» евреев и их преступлений против «Больших народов», которые зачастую являются не полемикой между представителями различных исповеданий и миропониманий, а, как правило, идеологией расправы. Еврейские погромы так же, как и массовое уничтожение евреев нацизмом, есть историческая реальность, подготавливаемая с помощью доктрин, концепций, теорий и пророчеств, в которых принимают участие и люди, объявляющие себя христианами.

Но ведь и Антихрист выдает себя за Христа, и сатана «принимает вид Ангела света» (2 Кор. 11, 14), о чем мы извещены Апостолом Павлом. Христос неоднократно предостерегает нас от лжехристов, лжепророков: «Многие придут под именем Моим»,— сообщает Он нам (Мф. 24, 5); «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь» (Мф. 24, 11—12).

Зачем же сатане принимать «вид Ангела света», а Антихристу выдавать себя за Христа?

Христос отвечает на этот вопрос. Сатана — человекоубийца, «он лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44). Для того, чтобы подвергнуть *поруганию* Христианство как Благую весть о надежде на преодоление смерти подвигом любви и *отвратить* от него человечество, он *пользуется* теми,

кто, не ведая, что такое христианство, объявляют себя христианами. *Через* них сатана и сеет семена лжи и ненависти.

Христианство — не идеология, а бытие во Христе, единение с безначальным и неистощимым Светом жизни, вечным Благом. В отличие от других религий, в которых постулируется возможность презирать, ненавидеть врага, убить врага, в Откровении Бога человеку, данном в Евангелии, исключается возможность не только отомстить врагу, осудив его на смерть, но исключается возможность *мыслить* о расправе, *желать* мщения.

Христиане призваны обличать «бесплодные дела тьмы» (Еф. 5, 11), сатанинскую ложь и насилие, ереси и измены Богу, но только для того, чтобы *возвращать* человеческие души Богу. Христиане призваны не проклинать, а благословлять ненавидящих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию» (Рим. 12, 14—21). Христианин верует, что *никто* не может принести ни ему, ни народу, к которому он принадлежит, *вреда* без воли Божией.

Первомученик Христианства Стефан, пророчествуя перед иудеями и пытаясь обратить их к спасительной вере, сказал им: «Жестоковыйные люди с необрезанными сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». А когда они убивали его, он «преклонив колена, воскликнул громким голосом: „Господи! не вмени им греха сего“» (Деян. 7, 51—60).

Так действует вера в безначальное и бесконечное бытие, в котором содеянное нами будет оцениваться Создателем всего сущего.

Это бытие разрушается, как только ум человеческий, поддавшись дьявольскому искушению ненависти, суда, расправы, допускает возможность совершить одно из этих действий. Душа отторгает себя от Христа, погружается в «воспаленный круг жизни», и в нем невозможно Христианство как служение Богу любви.

5. «Партия всегда права...» [1]. Так выразился еще один деятель «патриотического фронта». Художник Илья Глазунов.

Его можно считать «отцом идеи русофобии». Еще в 1978 году, когда у его единомышленника И. Р. Шафаревича (портрет которого Глазунов писал примерно в то самое время) только созревал замысел «снять духовный хомут с человечества», Глазунов своей кистью пытался прикоснуться к этому ненавистному хомуту.

Первая выставка Ильи Глазунова в Манеже. Время торжествующего застоя. 1978 год.

По подсчетам доброхотов, пятьсот тысяч человек пришли смотреть полотна Глазунова. Они опутали цепями Манежную площадь, милиция охраняла эти живые цепи, дабы не произошло среди любителей живописи непорядков и распрей, в залах выставки невозможно было подойти к холстам, кино- и фотоаппараты непрестанно трещали в уши, сам художник, по его свидетельствам, гонимый всеми и во все времена, целовался под щелканье фото- и киноаппаратов с крупными государственными чиновниками от идеологии.

А. Софронов, бывший в ту пору редактором «Огонька», отличавшегося особой рьяностью в разоблачении христианства, обласканный героем вернисажа, стремительно шествует мимо холстов художника. Толпа, стоящая у стен, теснит редактора, фоторепортеры пытаются снять его лицо, но никак не могут уловить его. В их объективы лезут объективы частных обладателей кинокамер и фотоаппаратов, все торопятся отснять шедевры художника. Пройдет несколько дней, и модный в ту пору священник Дм. Дудко в своей статье объявит о триумфе Христианства в Манеже...

«Массовое искусство, поп-арт»,— пытались объяснить успех Глазунова искусствоведы. «Религиозный голод»,— утверждали одни верующие, другие не соглашались: «Торговля. Спекуляция на Христе». «Русь»,— уверяли неославянофилы...

Илья Глазунов — сегодня за ним утвердилось название «короля китча» — в те годы был известен как салонный художник. Он стяжал себе славу в различных кругах своими портретами дипломатов и членов их семей и портретами видных деятелей партии и государства.

Глазунов пишет глаза в псевдоиконописном стиле, что, конечно же, импонирует его моделям. На портретах его можно увидеть на заднем плане храм, что тоже импонирует его моделям, иногда художник оснащает свои полотна побрякушками, украшает кокошники русских красавиц поддельными жемчугами и каменьями.

Сюжеты глазуновских холстов, представленных на той первой выставке в Манеже, были четко определены: русская история и русская современность. И русская религиозность. Убиенный царевич. Князья, витязи, богатыри, русские красавицы «ню», храмы. Автопортрет, портреты членов семьи в псевдоиконописном стиле (не лица — лики!).

Но главная картина выставки — «Возвращение». Иллюстрация к евангельской притче о возвращении блудного сына на русский сюжет.

Здесь есть все: и кровью залитый стол, за которым пировал блудный сын, и отрезанная голова на блюде (по-видимому, св. Иоанна Предтечи), и блудница, и сатана, как было замечено в восторженном отклике священника Дм. Дудко, «с нерусским лицом» («уж не *еврей* ли»,— шепчут зрители друг другу, всматриваясь в нерусское лицо, в того, кто предлагает блудному сыну бокал с кровью, источенной, по-видимому, из мертвеца, расстеленного на кровавом столе,— Глазунов любит писать трупы, растекающиеся по плоскости), и жирные мерзкие свиньи, и колючая проволока по кровавому столу, и блудный сын, и отец (как сказано в аннотации к картине, написанной, конечно же, с согласия художника: «русский крестьянин»), не то благословляющий сына, не то просто встречающий его... А за отцом святые и деятели русской культуры: Толстого нет, Достоевский есть, Мусоргский есть, Бородина нет... По определенному списку? В аннотации к картине указывается, что картина написана на сюжет легенды (так названа евангельская притча о блудном сыне) о том, как некий сын, уйдя от некоего отца, потом вернулся к нему, и что здесь, на картине Глазунова, речь идет о возвращении «в лоно национальной культуры» (!). Эта аннотация, по-видимому, и должна разъяснить значение национальной религиозности искусства Глазунова.

Я не оговорилась, употребив это словосочетание — «национальная религиозность», оно имеет свой смысл, и к анализу его я обращусь чуть далее.

Не случайно возвращаюсь я и к той первой выставке в Манеже, именно там столь отчетливо показались впервые те самые ростки русского религиозного псевдопатриотизма (его называют еще национал-большевизмом), которые сегодня, обогащенные «пророческой теорией» И. Р. Шафаревича, пугают мир новым фашизмом.

Пятьсот тысяч пришли смотреть на поруганные в России кресты и на возрождающуюся русскую идею, которой дано было на холстах Глазунова соседствовать с идеей советской! Стоило томиться по пять-шесть часов в очереди, дабы наконец увидеть это *чудо*, этот праздник: у стен Кремля, у закрытых и превращенных в музеи соборов *разрешены* кресты и храмы на холстах!

«Чудо в Манеже» произошло свыше десяти лет назад, сегодня такое «чудо» стало повседневностью, нам охотно демонстрируют по телевидению, в газетах и других средствах массовой информации *разрешенное* христианство: кресты, храмы, священнослужителей и так далее.

В чем же смысл этого разрешенного атеистическими властями христианства и зачем оно властям мира сего?

Дьявол, как известно, однообразен. В одном из своих писем Св. Праведный Иоанн Кронштадтский заметил, что грех монотонен. Однообразен и монотонен, а «почерк» у дьявола один и тот же. Бог не дал ему дара творить, поэтому все искушения его однообразны и монотонны. И всегда памятуя об этом, мы сможем увидеть эту повторяемость и монотонность.

И сможем понять, сколь *стар* — как мир — смысл «разрешенного» христианства, если вспомним легенду Ивана Карамазова о Великом инквизиторе, описавшую подобное чудо. Главным смыслом легенды Карамазова стала ложь о Христе и Христианстве. Для того она и была сочинена отцеубийцей Иваном. Для того, чтобы оправдать себя.

Чтобы оправдать убийство, нужно «выплеснуть» из Христианства то, с чего началась Благая весть, нужно подвергнуть ревизии Евангелие, «отменить» покаяние, предложить «свое» христианство, удобное миродержителям, где будет назван виновным «чужой» и оправдан виновный. В этом «новом христианстве» слава будет принадлежать тем, кто его *позволил*. И потому каждый Великий инквизитор предлагает *свое* учение о Боге и человеке. Для того, чтобы, повторю еще раз, совершить инквизицию над человеческой душой.

Человек подл и слаб, внушает Великий инквизитор. «Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует?.. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек, он будет дорого стоить им. Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются наконец глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие».

Что же может спасти бедное стадо «слабых бунтовщиков»? Ложь. И подмена. Чтобы «спасти» стадо, нужно Бога заменить дьяволом. «Мы исправили подвиг Твой,— говорит инквизитор Христу,—...мы не с Тобой, а с *ним*, вот наша тайна!».

«*Мы с ним*»,— это тайна *каждого* инквизитора, в каком бы обличье и облачении он ни являлся, тайна, которую неизбежно раскрывает и посрамляет Творец всего сущего.

«Мы убедим их,— продолжает раскрывать свою тайну инквизитор,— что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся»... Дальше идет описание дьявольской идиллии: «Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке... Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по

[1] Жур. «Русское Возрождение», 1989, № 1 (45) В. Осипов. Глазунов в ЦДЛ, с. 174.

нашему мановению к веселью и смеху, светлой радости и счастливой детской песенке» и так далее.

Кончается эта «идиллия», как известно, все тем же — убийством Бога. «...Ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру Твоему, на котором я сожгу Тебя за то, что пришел нам мешать».

Эта пошлая и страшная в своей пошлости ложь на Бога и на человека могла возникнуть только в сознании отцеубийцы и братоубийцы. И конечно же, она явилась в этом сознании не самостоятельно, ибо ложь не самостоятельна и не имеет сущности. Она есть порождение «духа самоуничтожения и небытия», как называет дьявола инквизитор. Ложь — антиистина, антиправда, она *вместо* правды. И потому не имеет сущности и самостоятельной жизни при всей своей однообразности и повторяемости. Но обнаружить однообразие и монотонность лжи непросто, для этого надо знать об Истине. Собственно, на этом строится вся цепь обманов Великого инквизитора, на расчете, что стадо *не знает* о существовании Истины. И поэтому главное для инквизитора: не допустить стадо до Истины, не допустить до Христа, *подменить* Христа, «исправить Его подвиг», выдать за другого, разрешить *свое* христианство...

История Церкви знала различные типы инквизиции, совершаемые врагами Церкви, выступающими подчас от ее имени. Костры сменялись духовным насилием, порождаемым ложью, ересями, предательством.

«Мы с ним». Сатана не только однообразен, он пошл и циничен, и это не удалось скрыть ни одному из инквизиторов, которые посылаются Церкви для духовной победы над ними.

Но для победы над ложью нужно извещать об Истине, для разоблачения подмен и фальшивок необходимо знать, *что* стало поводом подмены и в чем *смысл* этого насилия над правдой.

«Мир возвращается к язычеству»,— заметил в своих заметках «У стен Церкви»[1] один из церковных писателей нашего времени С. И. Фудель. Конечно, мир, уходя от Христианства, возвращается к язычеству, пытаясь выдать язычество за христианство. Возвращается к язычеству и Россия. Революция и все, что она принесла, была *бунтом* против Христа, отречением от Православия и возвратом к языческому порядку бытия.

Сказать о том, что наше Отечество было ввергнуто в катастрофу библейского значения, связанную с возмездием за отречение от веры Отцов, с изменой Богу — мало. Это может показаться поверхностной аналогией, несмотря на явную приближенность библейских пророчеств, к России сегодняшнего времени. То, что обещал Бог изменившему Ему народу, свершилось с нами. Некогда плодоносная земля превращается на наших глазах в пустыню. Человечество не поверило словам пророков и пророчествам Бога, и Бог показал человечеству, как это бывает.

Через опыт России Божественный Промысл вводит историю человечества в новое русло; к концу времен, как мы знаем от Откровения Бога человеку, обостряются и вычищаются все альтернативы, стоящие перед личностью и человечеством, выбор рая или ада обретает особую определенность.

Наше Отечество стремительно в первые же годы его послеоктябрьской истории формируется в новое государство, его идеология заявляет о себе как о единственной в человеческой истории доктрине, способной принести личности и народам необходимое им благо, а именно *рай на земле*.

Это была не новая доктрина. Человечество всегда хотело вернуть утраченный рай. Обрести его сначала на земле, а потом, если это возможно, то, конечно, и на небе. Но главное — на земле, она близко, а небо далеко.

Однако советская «доктрина рая» должна была в корне отличаться от всех известных человечеству возможностей построить «рай» на земле и от наиболее распространенной среди народов мира «практики земного рая», связанной с демократическим устройством жизни и экономическим расцветом.

Советская «доктрина рая» является преимущественно *религиозной* доктриной, она декларирует, что рай человечество получит только через *веру* в те идеалы, которые ему предлагают основоположники доктрины. Основоположники и продолжатели.

Понятно, что идеологов нового мира, нового рая, который должен возникнуть среди миллионов крестов и океана крови, не удовлетворяет успех в борьбе за землю, за имущество. Они понимают, что эта добыча, присвоение и распределение материальных благ тесно зависимы от процесса «присвоения душ». Отрицая наличие души, но признавая наличие сознания — общественного и личного, создатели «доктрины рая» борются за присвоение сознания путем «внесения сознания» (ленинский термин).

Наступает время, когда насильственные методы «внесения сознания» становятся преимущественными. «Внесенное сознание» неизбежно становится сознанием раба, который для того, чтобы остаться в живых, должен любить предложенных душе идолов и богов взамен распятого Бога. Душа же человеческая не может существовать в пустоте, в отрыве от корней и сущностей бытия и требует от ума создания суррогатов Бога.

Так самый агрессивный в истории человечества атеизм вырождается в человеконенавистническую религию, жрецы которой для присвоения человеческой души предлагают ей *идолов* для поклонения.

Это новое язычество создает политических идолов, словесных идолов, поклонение которым призвана обеспечить *вся* система: от воспитания в детском саду до воспитания в концлагере.

Боги и идолы стареют и надоедают, а вожди умирают, но инквизиция защищает с такой же ревностью новых идолов, взамен ушедших, даже если новые противоречат старым.

Неоязычество довольно быстро превращается в псевдоязычество. В ложь. Идеологизация нереальных богов становится игрой, театром, циничным маскарадом. Человек должен участвовать в этом маскараде, если он хочет уцелеть, за ним пристально следят те, кто заинтересован в его лжи, он должен пройти адской дорогой по лестнице страха, ожидая новых, более реальных богов и идолов и, в конце концов, в нем гибнет самое драгоценное свойство его души: жажда Бога. Вместе с ней погибает и душа.

Особая роль в этом тотальном религиозном воспитании принадлежит культуре: литературе, искусству. И науке.

Культура, в частности, литература и искусство на протяжении десятилетий формируют особый тип сознания, особый тип личности. При помощи изобразительных средств, стиля, символики, образов и прочего она утверждает единственно возможные религиозные идеалы, веру в них и поведение, которое диктуется этими идеалами. В эту «систему идеалов» стало возможным постепенно (после того, как «устроители земного рая» добились определенного успеха в деле «внесения сознания») вносить и элементы христианского культа: символы, кресты, имена и прочее, трактуя их как феномены национального сознания или как приметы «русской старины». В идеологии инквизитора четко разработана и эта часть программы: «В свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками».

И с картинами Глазунова, с культурой, которая поможет поверить в то, что «они только тогда,— объясняет инквизитор,— станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся».

Для этого может вполне пригодиться «разрешенное христианство»...

Новая социалистическая культура должна стать культурным оправданием антихристианского, неоязыческого бытия, бытия, атакуемого агрессией «внешних обстоятельств» окружающего мира, принуждающих во что бы то ни стало строить земной рай по предложенному образцу. Духовная агрессия согласно сатанинскому замыслу уничтожения человеческой души должна *истребить* тот план бытия, который наиболее действен в творческом сопричастии человека к Божественной любви как причине всего сотворенного.

Смысл гонений на Христианство и смысл духовной агрессии инквизиторов всех мастей во все времена христианской истории человечества был одинаков: разрушить эту жажду сопричастности человеческой души к Божественной любви, породив бунт против Бога и ненависть к Его творению. Инквизитор, однако, не может ничего добиться от человека без желания самого человека. Поэтому вся деятельность человека и прежде всего его культура как вместилище идей во всем многообразии ее видов пристально контролируется силами, ненавидящими Христианство. Здесь всегда действует жесткий регламент дозволенного.

И всегда, во все периоды христианской истории, сатанинский план начинает осуществляться с убийства Церкви через предательство, измену, насилие лжи. И подмену. Культура всегда в этом процессе играет решающую роль: ей предназначено в этом замысле служить подменой культу.

Таков замысел инквизитора, знающего, что путь к гибели начинается с «внесения» в сознание веры в *ничто*, которое неизбежно должно превратить тебя в ничто.

Ничто, воцарившееся на обломках христианской культуры, на развалинах христианского гуманизма, на руинах оскверненных храмов, создает свой псевдогуманизм и демонстрирует его во всех видах своей культуры: в литературных сочинениях, философии, партийных документах. Что же стоит за этим «ничто», что наполняет его безбожную пустоту?

Лагерные зоны, психушки и тюрьмы создали *свою* культуру, свой язык, свою мораль, свой кодекс чести. Эта культура «малых зон» формировала культуру «большой зоны» парадоксальным образом: чем безрадостней была культура «малых зон», тем все более жизнеутверждающей была культура «большой зоны». И тем изощренней становился ее «художественный арсенал», включающий в себя различные типы намеков, подтекстов, иллюзий и аллюзий, всех средств «эзопова языка». Техника этой полуживой полукультуры усовершенствовалась для того, что лучше служить идее инквизитора: «Мы устроим им жизнь, как детскую игру»...

Наверное, в каждой пятой, а, может

---

[1] Надежда, вып. 2, стр. 287.

быть, и в каждой третьей семье в нашем Отечестве (за исключением коррумпированных сообществ различных видов «элиты» — партийной, культурной, научной и прочих) кто-то был выброшен в эту тюремную тьму. Значит, были выброшены миллионы, живая плоть общества, часть его души, израненная, погруженная в смертельную беду. Разве не знали о том наши «властители дум», помощники партии, инженеры человеческих душ, нынешние борцы за демократию и нынешние патриоты и ревнители России, не знали, что каждый читатель их книг, зритель их фильмов и спектаклей, посетитель их выставок — потенциальный уголовный преступник? Так было: каждый виновен, если того пожелает закон, воцарившийся на беззаконии!

Конечно, бороться с «русофобией Малого народа» куда легче и *безопасней*, чем с человекофобией, обращенной против всех народов!

«Партия всегда права...»

6. Маски инквизитора. Антихристианская культура — это культура масок. Заключив контракт с инквизитором, ее создатели вынуждены учитывать регламент разрешенных им тем, проблем и средств их выражения. Она задыхается в напяленных на нее масках и пытается примерять все новые, дабы удержать своего «потребителя». Сегодня, получив разрешение на гласность, мы обрели возможность увидеть плоды девальвации культуры, порабощенной ложью, общей девальвации слова, которое принуждаемо было выражать антиистину, стали очевидцами того диалектического закона, который нам вдалбливали в институтах: количество лжи в нашей жизни, превратившись в качество, поразило *качество* жизни. Ложь отравила естество жизни и обессилила нашу культуру.

Но вернемся к выставке в Манеже, вернемся в христианству Глазунова.

«Христианская экзотика» выражается не только в художественной трактовке креста как экзотического и запретного «предмета», украшающего или детализирующего русский сюжет. Глазунов предложил посетителям его выставки свой психологизм, особенно отчетливо проявившийся в его портретах. Себя самого и членов своей семьи Глазунов пишет уже почти в *славе*, не хватает только нимбов. Это стилизация «под святость», естественно, никакого отношения к Христианству не имеет. Я уже упоминала о «самомифологизации» И. Р. Шафаревича. Христианское сознание исключает возможность прославления самого себя, в каких бы целях это ни делалось.

Это — азбука, и, может быть, не стоило ловить художника и его единомышленника по борьбе с русофобией на такой слабости и мелкости, если бы это не свидетельствовало об их принципиальном отношении к человеку вообще. И к Христианству.

И. Глазунов, по-видимому, не столько озабочен тем, чтобы бросить вызов своим «гонителям», сколько тем, чтобы прославить русского человека в *своем* лице. Не зря автопортрет содержит определенный антураж: задумчивый лик художника устремлен в русский пейзаж, березки, столь милые нашему сердцу, помогут еще более облагородить лик художника.

«Плакатный психологизм» почти всегда выглядит пошлостью именно за счет «перемены знака», за счет «передачи языка», насилия над символом при помощи подмены.

Публицистичность, плакатность полотен художника ничего общего не имеет с библейским знанием человека, христианской антропологией.

«Плакатный психологизм», служащий, как правило, целям политической публицистики, не может выразить трагическую сложность главной идеи человеческой жизни — выбора между добром и злом, Истиной и ложью. Недавно опубликованные репродукции картин Глазунова в «Огоньке», рядом с его интервью (№ 51, 1989) свидетельствуют об усиливающемся стремлении художника к политизации и плакатности. «Синтез политики и христианства» и ранее был присущ полотнам Глазунова, но, иллюстрируя евангельские притчи или символы, Глазунов не столь явно высказывал свое утилитарное отношение к христианству, как в той работе, которую он назвал «Воскрешение Лазаря». Мы видим М. С. Горбачева, лицо которого *светлее* всех других лиц, составляющих толпу, наблюдающую за воскресением Лазаря (и сусальный облик Христа и безумное лицо Лазаря — маски, выражающие презрение к первообразам!). Видим лозунги «Гласность и перестройка», «За мирный диалог!», лицо все того же «*чужого*», за спиной которого нарисованы храмы на фоне пылающих огненных языков и прочее...

Однообразное многословие, пустая одномерность политического плаката, в котором художник решил польстить М. С. Горбачеву, воскрешающему Россию гласностью и перестройкой...

7. Русская идея или кто виноват? У деятелей так называемого «патриотического блока», вооруженных пророчеством И. Р. Шафаревича, есть *своя* русская идея.

«Что поделать,— сказал еще во времена брежневско-андроповского застоя один из идеологов новой русской идеи,— если антисемитизм единственное средство, способное объединить русских?». Тогда еще не возникло это словечко — «заединство», но необходимость в нем созревала.

В сетовании «идеолога» на то, что «антисемитизм — единственное средство» для «заединства», звучала не столько уверенность в необходимости ненавидеть евреев, сколько некая печальная данность: раз больше *нечем* объединять, будем объединять хоть этим. Сегодня — дело другое, гласность и перестройка дает возможность патриотам объединяться, требуя для РСФСР всего того, что есть в других республиках — «свою компартию, свое КГБ, все свое...»

Однако соединять можно, как известно, при помощи любви или ненависти. Любовь пребывает всегда и ведет к бессмертию, ненависть соединяет палачей общей жаждой расправы и общей жаждой наживы. После казни своих жертв палачи неизменно будут разделены на палачей и новые жертвы. Это разделение — неизбежность, все, что порождается ненавистью, обречено на гибель. Ненависть приносит иллюзию единомыслия. Возненавидь и спасешься. Убей и воцаришься. Продай другого и оправдаешься...

Так снова кому-то понадобилось построить на крови и ненависти русскую национальную идею, и без того пропитанную братоубийственной кровью.

Взрастить хлеб ненависти и рабства на кладбищах.

И еще раз плюнуть в страдальческий лик России.

Вглядитесь в «кровавую эстетику» картины «Возвращение», где все еще царствует, хоть и сидит в сторонке, сатана с «нерусским лицом», с таким же лицом, как *некто*, изображенный на картине «Воскрешение Лазаря». По-видимому, этот «дежурный злодей», этот Каин (есть у Глазунова картина «Авель и Каин», она была представлена на первой выставке в Манеже), перекочевывающий с одного глазуновского полотна на другое, не то хочет помешать воскрешению Лазаря (а значит, и воскрешению России), не то ждет его воскресения, чтобы убить.

Обе картины, написанные в разные периоды нашей общественной жизни, являются вариациями все той же идеи, выражаемой в той же банальной плакатной стилистике: евангельский текст профанируется ради псевдопатриотической идеи. В «Возвращении» мы видим храм, словно бы срезанный ракетой, взмывшей в небо, в «Воскрешении Лазаря» за храмами пылают огненные языки. Одна и та же примета православной России, пребывающей на «заднем плане», является всего лишь дежурной деталью национального «антуража». Так же, как «фонд восстановления храма Христа Спасителя», который учредили деятели «патриотического блока», дабы засвидетельствовать о своей религиозности. Чего стоят подобные «религиозные фонды», выяснилось, когда еженедельник «Литературная Россия», имеющий непосредственно отношение к этому «фонду», прикрываясь именем Христа Спасителя, пытался в ряде статей защитить боевиков общества «Память», выкрикивающих антисемитские лозунги и угрозы учинить погром в Прощенное Воскресенье. В этот день Православная Церковь совершает чин прощения и призывает всех к покаянию перед Великим Постом. Храм Христа Спасителя — не языческое капище. «Берегитесь лжепророков,— предупреждает нас Христос,— которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные». «По плодам их узнаете их». (Мф. 7, 15, 16). Плоды, увы, налицо.

Ну, а что же *блудный* сын Глазунова? Разве не он пролил кровь, не он танцевал с блудницей, не он протянул колючую проволоку? Где же был тот, кто теперь возвращается в «лоно национальной культуры»? И кто же *за него* все это сделал? Ответ на этот роковой вопрос дает, как мы знаем, И. Р. Шафаревич в книге «Русофобия».

Очевидно, что состояние ума, зафиксированное в сочинениях И. Р. Шафаревича, не только не принадлежит христианскому мирочувствию, но находится в явном противоречии с ним. Такое состояние ближе к ветхозаветному, иудейскому сознанию, воспитанному на древней заповеди: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего» (Мф. 5, 43). «Нельзя не заметить поразительного сходства национальной узости наших патриотов,— писал Лев Тихомиров в статье «Что значит жить и думать по-русски»,— с тою еврейскою национальной психологией, которую обличали пророки. В узких понятиях патриотизма и у нас понятия о вере ныне смешиваются с понятием о племени, и русский народ представляется живущим верою только для самого себя, в эгоистической замкнутости...» [1].

И. Р. Шафаревич не отступает в своих тенденциозных обличениях и гневных пророчествах от ментальности тех, кого он обвиняет в «подрыве основ существования» «Большого народа». Он так же пытается оскорбить и унизить своих оппонентов, сравнивая их с лилипутами, называя уничижительно «Малым народом», возомнившим себя «избранным». Перед нами любопытное явление: презрев евангельские заповеди, И. Р. Шафаревич оказался не защищенным принципами христианского мирочувствия, где страх Божий есть начало премудрости и основа бытия. Отказавшись духовно от Христианства, наш автор усвоил себе мышление представителей антихристианской идеологии, ведомой не умом, а чувством, не

[1] Лев Тихомиров. Что значит жить и думать по-русски. Моск. Ведомости, 1911, 179.

познаниями, а эмоциями. Замечу кстати, что не могу согласиться ни с одним из тех высказываний, которые цитирует И. Р. Шафаревич в «Русофобии», мне чужда мысленная агрессия против России и ее народов, которая была присуща некоторым явлениям эмигрантской культуры. Но я не вижу никакой разницы между антихристианским сознанием обвиняющих русский народ в своих бедах и И. Р. Шафаревичем, считающим виновными в бедах России «выходцев из еврейской среды». Кровь, пролитая в XX столетии теми и другими на нашей земле, не может ничем и никем быть измерена, кроме Бога...

В Христианстве же *нет* понятия *чужой* вины, есть только понятие *своей* вины. Эта роковая тема Библии началась в Едеме, именно там человек, только что сотворенный, ослушавшись своего Творца, не пожелал признать *свою* вину, а выдал ее за *чужую*. За это он и человечество заплатили смертью.

И. Р. Шафаревич не раз употребляет понятие «религиозные корни» в применении к национальной жизни. Но ни разу не дает никакого представления о том, что такое эти «корни». Мы можем только догадываться, что применительно к русскому народу речь должна идти или о язычестве, которое было широко распространено среди народов России до Крещения, или о Православии.

По учению Православной Церкви Христианство и национализм так же несовместимы, как Христианство и антисемитизм. В Евангелии, в той части его, где дано Откровение о Церкви — в Деяниях Апостолов и в их посланиях к церковному народу, а также в пророчествах о Церкви, которые получил Св. Иоанн Богослов в Апокалипсисе, нет никаких указаний на то, что Церковь есть «национальный коллектив».

Язычество, в отличие от Христианства, более связано с национальным сознанием; многобожию, порождающему «смену богов» и «измену богам», присуща динамичность религиозного символизма, заимствованного зачастую из фольклора и в свою очередь насыщающего фольклор и другие виды культуры языческим символизмом.

Православие же, исповедуя правую веру во Единого Бога, исповедует и веру в Церковь, единство в которой не зависит от национальной общности. Во Христе «нет уже ни иудея, ни язычника» (Гал. 3, 28) — так апостол Павел объясняет вненациональный аспект Церкви, вернее сказать, *сверхнациональное* единство ее членов.

Мы знаем из «Деяний Апостолов», что в Пятидесятницу, когда Дух Святой сошел на тех, кто ждал Его и основал Церковь, в тот именно час в Иерусалиме «находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами», как повествуется в Деяниях (2, 5 — 11). Все, говорящие на разных и непонятных друг другу наречиях, при нисхождении Святого Духа стали понимать друг друга. Так была создана Церковь христиан из разных народов, иудеев и прозелитов, которые оказались способны понимать чуждые им языки, получив в дар церковное сознание. Важно отметить, что это сознание ничего общего не имеет с интернациональным сознанием.

Христианство — новое человечество, новое творение Бога, и потому в Церкви оно получает иную жизнь, жизнь не национального, а Богочеловеческого организма. Это вовсе не значит, что национальное сознание нивелируется в Церкви, напротив, оно получает такую глубину, которой не может принести ни одна из сфер человеческой жизни. Это связано с духовным опытом личности, обогащаемой единством не только со Христом, но и единством во Христе неповторимых личностей, приносящим Богу и ближним свою любовь и свою жизнь.

Бесспорно, национальный аспект бытия человека получает в Церкви наибольшую полноту. Но только в том случае, когда национальное чувство не пытается *использовать* Церковь и Христианство как *фрагмент* своей национальной культуры.

Национальную жизнь строить легче, чем церковную, и потому национальное сознание куда чаще становится доминантой культурного и общественного бытия.

Национальное принадлежит земному видимому бытию, церковная жизнь — это устремленность к небесному, это жизнь на «переломе» двух миров. Национальное, земное бытие есть приумножение земного, видимого. Оно связано с устроением «земного рая» для нации, церковное бытие связано с неизбежной утратой земных интересов и устремлений ради приобщения к высшим духовным реальностям. И оттого, что это разные порядки бытия, они так трудно, так противоречиво усваиваются человеком и народом. Многие религиозные русские мыслители славянофильского направления пытались «разрешить» это противоречие. Константин Леонтьев так высказался по этому поводу: «Вера во Христа не означает непременно веры в Россию» [1]. Я думаю, что вера в Россию без веры во Христа невозможна. «Миссия России,— писал в упоминаемой уже статье Лев Тихомиров,— это Православие... Если Россия откажется работать на пользу всеобщую (которая есть Православие), она теряет все свои права мировой нации».

[1] См. Юрий Давыдов. Соломенная сторожка. Роман. М.: Советский писатель, 1986, стр. 350.

Однако же национализм всегда пытается *применить* религию к своим целям, «присвоить» религию, воспользоваться ею как особым элементом национального сознания, как неким национальным орнаментом. Так, члены общества «Память», угрожающие погромами и выкрикивающие человеконенавистнические лозунги, прикрепляя к своим рубашкам изображения образа Великомученика и Победоносца Георгия, позволяют себе богохульство. По учению Православной Церкви, Бог почивает во Своих Святых, Церковь поет на своих богослужениях: «Дивен Бог во Святых Своих, Бог Израилев». Те, кто носят образ Св. Великомученика на своей одежде и призывают к убийству, оскверняют этот образ. Печально, что наше духовенство, забыв о своем пастырском долге, не потрудилось объяснить, что человеконенавистнические лозунги и угрозы оскорбляют память Св. Великомученика Георгия, который побеждал своих мучителей *кротостью* и перед мученической кончиной молился о своих палачах: «Не поставь во грех согрешившим против меня по неведению, но подай им прощение и любовь...» [1].

Национальное сознание, не обогащенное церковным опытом и приобщением к духовному, высшему порядку бытия, неизменно *деградирует* и *вырождается* в национализм или нацизм. Его идеологи пытаются «собрать нацию» и обогатить национальную культуру не в опыте христианской всечеловеческой отзывчивости, а в изоляции от сущности евангельских принципов, заложивших фундамент мировой и русской, конечно же, культуры. Современные русские шовинисты трактуют Христианство утилитарно, придавая подчас ему языческую интерпретацию. Но Христос — не русский национальный идол, а Православие и язычество ничего общего меж собой не имеют и никоим образом не могут быть соединены.

В Православии созидалось национальное бытие русского народа, его культура, его нравственные устои. Сокровища православной духовности формировали национальное сознание, особый тип русской святости, неповторимый дивный облик Святой Руси.

Русская идея со времен Крещения Руси — идея чисто православная, и была она глубоко разработана славянофилами более ста лет назад — Хомяковым, Киреевским, Аксаковым, Достоевским.

Славянофилы видели спасение России только в Церкви. А потому понимали, что свою полную и *естественную* жизнь Россия и русская идея могут обрести только в постоянном труде покаяния и искупления. Спор с западниками был спором о роли Церкви в жизни и судьбе России.

«Бездомный скиталец», искатель мировой гармонии, воспетый Пушкиным и выразивший в своей судьбе русскую идею, ушел со сцены русской культуры. На его место взошли другие. Советский номенклатурный буржуа, кем бы он ни был: ученым, писателем, епископом, художником или партийным функционером — и советский узник. И та русская «коммюнитарность», которую отмечал Н. Бердяев в своей книге «Русская идея», раскололась: есть коммюнитарность номенклатуры, партаппарата и тех, кто поддерживает их, и коммюнитарность узников и тех, кто готов стать узниками, борясь за Истину против лжи. А странничество, связанное с эсхатологическим русским сознанием, изменилось, теперь странник — это блудный сын. Не глазуновский, нет! — слепой в стране слепых, глухой в стране глухих, к которому, надо надеяться, будут возвращаться память, зрение и слух. Но стать всечеловеком, по Достоевскому, русский страдалец сможет, видно, тогда, когда он откажется видеть виновника своих бед в *чужом*, а значит, тогда, когда он осознает себя блудным сыном, возвращающимся к Отцу.

Прав Г. Федотов, сказавший, что «наш век сделал наивным все, что писал о России XIX век». Трагически упростилась и высветлилась русская идея.

Но в чем же причина этого *духовного* невежества сегодняшних патриотов? Почему, защищая Россию, борясь за возрождение нашей поруганной Отчизны, они искажают смысл ее тысячелетнего пути? Неужели все еще не пришла пора прекратить этот бунт против Христа и Христианства, которое хотят изменить и приспособить к своим целям, к идеологии, поддерживающей сталинизм, в надежде оставить за собой привычные блага? Неужели все еще не пришла пора оставить «послушание инквизитору»?

Национализм как идеология развивается особенно интенсивно в глухих исторических тупиках, когда порабощенное богоборческой властью Христианство устает от многолетней религиозной войны, от физических и духовных гонений.

Трагический путь Русской Православной Церкви в двадцатом веке и последствия тяжелейших гонений, бесспорно, являются причиной этого антихристианского неоязыческого патриотизма нынешних «славянофилов».

Создатели религиозно-идеологической «доктрины рая» не сразу поняли, что для их победы им понадобится Православная Церковь. Вначале они решили ее *упразднить*. Церковь была ввергнута в беспощадную войну. Длится она и поныне, принимая различные формы.

Многие ревнители Православия, свя-

[1] Жития Святых. Св. Димитрия Ростовского, М: Синодальная типография, 1904, Апрель, стр. 375.

тые и подвижники, предвидели эту кровопролитную войну и сетовали на вялость, на обмирщенность христианства. Свидетельствовали о крестах, залитых кровью, духовные провидцы, но размеры бедствия никто из них не мог предвидеть.

Безумный план «упразднения Церкви» мог созреть только в богоненавистническом демоническом уме. Издевался ли над основоположниками «доктрины рая» сатана, глумился ли над их гордыней, порожденной им самим, внушившим жажду Богоубийства тем, кого он намерен был погубить? Как бы то ни было, но сегодня уже многие, а завтра и послезавтра почти все будут знать, чем обернулось для России, а затем для всего мира, это первое наступление, эта первая религиозная битва, продолжавшаяся до тех пор, пока вся наша земля не была пропитана кровью мучеников и исповедников за веру!

Этот бой был остановлен тогда, когда устроители рая решили, что пора менять стратегию. Решили, что во всех отношениях выгодней не убивать, а *ломать*. Эта стратегия достаточно определенно и многократно выражалась в следующей формуле: партия должна воспитывать священников (не говоря об архиереях, это само собой разумеется) *нового типа*.

Декларация митрополита Сергия (Старгородского) 1927 года, ставшего впоследствии, по распоряжению Сталина, первым *номенклатурным* патриархом всея Руси, открыла новую эру в истории Русской Православной Церкви. С тех пор епископат и патриархи, а вслед — все духовенство, должны были получать *санкцию* на обретение священного сана от атеистических властей. Ситуация беспримерная в истории Русской Православной Церкви. Светская власть влияла на церковную жизнь и в дореволюционный период истории России, но «селекционный отбор» епископата и духовенства со стороны богоборческой власти — такого насилия Русская Церковь не знала!

Сергиева декларация узаконила возможность симфонии с богоборческой властью, симфонии со сталинизмом.

Но для того, чтобы симфония была оправдана, необходимо было начать «богословское творчество», подвергающее ревизии Евангелие и ставшее фундаментом ересей: сергианского «богословия революции», «никодимовской мирологии», «питиримовской суперэйкумены» и прочего.

Так называемому здравому смыслу, воздвигнутому на фундаменте логики, может показаться выдумкой утверждение о том, что в человеческом уме способна возникнуть столь безумная мысль: поработить Бога и Его служителей, предоставив возможность совершать служение порабощенному, а значит, несуществующему Богу в разрешенных для этого храмах и в разрешенных для этого формах, назвав их «отправлением культа».

Нам может показаться безумием наше согласие на это, наше *сознательное* принятие *регламента*, понуждающего не только «урезать» наше служение, но и сознательно согласиться с тем, что страдающий с нами Бог позволяет нам отныне *изменить* завещанное Им в связи с теми новыми условиями, которые Он Сам нам послал — иначе же мы мыслить не можем, если мы и в самом деле веруем в Него! Конечно же, такой абсурд может быть допущен, но не может быть осуществлен, он может стать игрой духовных мертвецов, объявляющих себя с разрешения властей патриархами и митрополитами, управляющими пленным войском, загнанным в казармы, посреди только что отгремевшего боя, войском, которое кричит «ура!», «ваши радости — наши радости!» поработившим его благодетелям.

Нам говорят, сергианство спасло Церковь. Когда хотят спасти реликвию, ее укрывают, прячут от людей, так старинный дом прячут под специальным куполом, для реликтового дерева ставят специальную ограду. Митрополит Сергий со своими соратниками и последователями решили спасти нашу Церковь, надев на нее сергианский колпак. Но Церковь — не реликвия, не музейный дом, и потому сергианский колпак стал тут же разрушать ее, а не сохранять.

Нам говорят, они сохранили Церковь симфонией с богоборческой властью и тем самым дали возможность народу посещать оставшиеся храмы. Но жизнь в Православии не исчерпывается присутствием в храме и храмовой молитвой. Мы не дикари и не язычники, приходящие в храм, чтобы поклониться неведомому Богу, мы не верим ни в шаманство, ни в магизм обрядов.

Православие — сознательная жизнь в духе и истине. Нет двух православий — Православия Отцов и сергианства, которое сохраняет для нас Церковь ценой потери Церкви. Именно этой угрозой потери Русской Церкви как *духовной* силы для России и мира (что привело бы к мировой катастрофе!) объясняется столь быстро растущий на нашей родине процесс неприятия сергианства как ереси, как искажения духа Православия, разрыва с ним.

Если бы не было этой очевидной угрозы, если бы церковный народ, воспитанный в духе обрядоверия, не был лишен долгие годы проповеди, учительства, милосердия и любви со стороны его пастырей, если бы сами архиереи не явили пример малодушия, лицемерия и не лжесвидетельствовали, наше Отечество было бы избавлено от столь долгого «застоя тьмы» и не стояло бы на грани катастрофы! А русская идея в том виде, в каком

она предстает сегодня в идеологии антисемитизма, в лозунгах и угрозах ее глашатаев, не выглядела бы антихристианской и антирусской.

8. Оцепенение сердца. Новая история человечества начинается с надежды на преодоление смерти, на Воскресение, и потому она начинается с призыва к покаянию. Однако ветхозаветная вера отказывается от покаяния. Христа распинает гордыня человеческого ума, не пожелавшего в смиренном Муже Скорбей узнать Спасителя мира.

Бог через Своих пророков предсказывает задолго до Своего воплощения тот антагонизм, который будет сопровождать Его народ на протяжении всей истории человечества, если он будет отрекаться от своего Бога и Его повелений. «Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя... Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим; одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них; и будешь рассеян по всем царствам земли... Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит впотьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих... И будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, к которым отведет тебя Господь» (Второзак. 28, 15 — 37).

Я вынуждена прервать перечень тех страшных проклятий, которые поразят народ, отступивший от Бога.

И. Р. Шафаревич, вмешиваясь в Божественное Домостроительство, высказывает недовольство заветами Бога с человечеством — Ветхим и Новым — которые входят в Библию и являются для христиан богодухновенными текстами (2 Тим. 3, 16). Наш пророк недоволен Богом: в главе «Прошлое и настоящее», где автор пытается рассмотреть причины, по которым «выходцы из еврейской среды» сыграли «роковую роль в кризисную эпоху нашей истории», он вопрошает: «Какой другой народ воспитывался из поколения в поколение на таких заветах?» (стр. 96 — 97).

Вырывая из Священного Писания цитаты для того, чтобы доказать вину Бога, воспитавшего еврейский народ так скверно, что он привел Россию к катастрофе, И. Р. Шафаревич искажает смысл приводимых им цитат. Наш автор и здесь пользуется приемом «выдергивания нужных цитат» для обвинения, приемом, напоминающим все те же «протоколы осмотра вещественных доказательств преступления». На сей раз он намерен доказать преступление Бога.

Что это — «христианский нигилизм», хула на Священное Писание или невежество дилетанта, осмелившегося критиковать сакральные тексты, в которых идет речь о Промысле Божием?

Здесь нам придется вернуть нашего автора и читателей к началу книги «Русофобия». Как мы помним, автор решил преступить черту, перед которой все покорно останавливают свою мысль, и нарушить абсолютный запрет. Печально, однако, что автор, прежде, чем решиться на подобное действие, не попытался осмыслить причину *наложенного* на человечество *Самим Богом* абсолютного запрета на антисемитизм. Если бы наш пророк внимательно познакомился с Евангелием, с посланиями Апостолов Церкви к мировому христианству, он, возможно, был бы избавлен от намерения во что бы то ни стало преступить черту, которую переступать чрезвычайно опасно.

Именно Христианство и евангельские принципы, заложенные в основу христианской цивилизации, и налагают столь нежеланный для И. Р. Шафаревича абсолютный запрет, который не дает и *не даст* всему человечеству, пережившему фашизм, переступить черту, которую переступил автор «Русофобии». Именно Христианство призвано Богом к тому, чтобы, вместе с Ним, избавлять *каждый* народ от «сумасшествия, слепоты, оцепенения сердца», от всех тех ужасов, которые посылает Господь за измену Ему. Поэтому Православная Церковь, в лице ее истинных пастырей, убежденных в том, что Христианство есть «свет миру» и «соль земли», сохраняющая человечество от распада и гниения, всегда выражало свое неприятие антисемитизма в любых его проявлениях. Вот как оценивал участие тех, кто называл себя христианами, в Кишиневском погроме 1903 года выдающийся пастырь, митрополит Киевский и Галицкий Антоний (Храповицкий), ставший первоиерархом Русской Церкви за границей после революции 1917 года: «Страшись же, христианин, обижать хотя и отвергнутое племя. Страшная казнь Божия постигает тех злодеев, которые проливают кровь, родственную Богочеловеку, Его Пречистой Матери, апостолам и пророкам. Не говори, что эта кровь священная только в прошедшем, а знай, что и в будущем их ожидает приобщение Божескому естеству (2 Петра 1, 4)... Верующие в Бога и во Христа Его! Бойтесь мести Господней за народ Свой. Страшитесь обижать наследников обетования, хотя и отвергнутых. За неверие будет их судить Господь, а не мы» [1].

[1] Архиепископ Никон (Рклицкий), Жизнеописание блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого. Нью-Йорк, том X, стр. 165, 167.

История сохранила множество фактов верности евангельскому мирочувствию православных христиан, мирян и духовенства, которые считали антисемитизм *позором* для христиан. До тех пор, пока Бог будет сохранять наш земной дом, до тех пор, пока Православная Церковь будет странствовать по этому миру, истинные христиане будут сохранять верность и бескомпромиссность в неприятии любой национальной вражды, будь то русофобия или юдофобия. И для того, чтобы мы не сокрушались и не впадали в печаль, видя, как Христианство подвергается поруганию теми, кто называет себя христианами, история сохранила для нас пример высокого достоинства и мужества двух представителей разных народов: священномученика митрополита Петроградского Вениамина и его защитника на судебном процессе присяжного поверенного Я. С. Гуровича.

Протопресвитер М. Польский в книге «Новые мученики Российские» рассказывает о процессе над мучеником митрополитом Вениамином, приговоренным к расстрелу в 1922 году. Митрополит обратился из своего заточения к Гуровичу с просьбой взять в свои руки его защиту. Гурович сомневался в целесообразности его участия в этом процессе, опасаясь, что может сделаться «мишенью для нападок со стороны групп и лиц, антисемитически настроенными». Выиграть этот процесс в 1922-м году было, конечно же, невозможно, и защитник понимал: «в такой обстановке возможны со стороны защиты промахи и неудачи... Но если они постигнут чисто русского человека, никто его в них не упрекнет...»,— пишет М. Польский. Однако митрополит Вениамин, выслушав эти опасения, сказал, что «безусловно доверяет» Гуровичу.

Я. С. Гурович защищал не только священномученика митрополита Вениамина, но и русское православное духовенство, когда последнее пытались в этом процессе обвинить в участии в «деле Бейлиса». Только мужественное стояние за Истину представителей Православной Церкви спасло Россию от позора, и она не запятнала себя обвинительным приговором в процессе по делу Бейлиса, рассказывает М. Польский и приводит слова Я. С. Гуровича из его защитительной речи: «Я счастлив, что в этот исторический, глубоко скорбный для русского духовенства момент, я, еврей, могу засвидетельствовать перед всем миром то чувство искренней благодарности, которую питает — я уверен в этом — весь еврейский народ к русскому православному духовенству за проявленное им в свое время отношение к делу Бейлиса» [1].

Идеология погромов и сами погромы, расистские теории и газовые камеры возникают тогда, когда в тоталитарных режимах слабеет церковный народ и становится «обуявшей солью», утратившей свою силу, а церковная иерархия поражается духовным бессилием за измены и ереси. Тогда безмолвствуют амвоны, а лжепророки сеют ложь и ненависть...

Ненависть, как мы увидели в книге И. Р. Шафаревича, искажает реальность. И человек попадает во власть фантомов, бесовщины, перевертышей...

Посмотрите, каким униженным и жалким предстает в книге И. Р. Шафаревича великий народ! Зачем автору понадобилось так искажать характер и судьбу народа, одарившего мир своими святыми, сокровищами своей духовности, великими творениями культуры? Неужели для того, чтобы предстать защитником России, пророком и идеологом русского шовинизма, нужно было искажать ее трагический опыт и решиться на отрицание искупительного смысла совершенных ошибок и перенесенных страданий? Разве не «самомифологизация» нашего пророка могла породить эту антирусскую идею, странный вид русофобии, выдаваемой за любовь, русофобии, которая презрела высоту российского духа, явившего свою святость в страданиях за Христа, в любви ко Христу и давшего миру сонм новомучеников и исповедников XX столетия?

Неужели автор «Русофобии» не сумел распознать провокационный смысл внушенной ему вражды?!

И может ли любовь позволить себе призывать гнев и проклятия на голову своего народа и Отечества в эту *страшную пору*, когда в судьбах его принимает участие «все современное человечество», которое, конечно же, не позволит автору «Русофобии» снять с него «духовный хомут»!

Завершая этот сюжет с христианством и антисемитизмом И. Р. Шафаревича и его единомышленников, мы можем с горечью отметить, что стали свидетелями религиозной драмы, и она не может не вызвать в нас сочувствия.

1990 г., январь

[1] Новые мученики Российские. Первое собрание материалов. Составил прот. М. Польский, 1949, Джорданвилль, стр. 36 — 37, 48 — 49.

Игорь
ЕФИМОВ

МОЖНО ЛИ НАКОРМИТЬ РОССИЮ?

В июне в Москве состоялась пресс-конференция экономистов — депутатов Верховного Совета. Выступивший на ней Геннадий Лисичкин заявил, что страна находится в глубочайшем кризисе и погружается в него все глубже. Профессор Леонид Абалкин предсказал, что, если в течение двух лет положение не улучшится, можно ожидать политического переворота. Владимир Тихонов утверждал, что на страну надвигается голод.

Рассказы тех, кто ездит повидать родных в Союзе, кто приезжает в гости на Запад, подтверждают: положение катастрофическое и становится хуже с каждым днем. Все осознают его, все полны тревоги, все с жадностью вслушиваются и вчитываются в предлагаемые проекты реформ. Однако реформы эти, столь убедительные и логичные на бумаге, почему-то буксуют, не срабатывают, тихо саботируются. Тот же Абалкин признал, что темп их придется замедлить, так что положительных результатов следует ожидать не ранее, чем в 1995 году. Страстный сторонник рыночной экономики Николай Шмелев призывает к выравниванию нелепых перекосов в ценах на потребительские товары, но допускает при этом, что некоторые слои населения могут пострадать из-за неизбежного повышения цен на продукты питания («Знамя», 1989, № 1, стр. 138).

Как же должны откладываться в сознании простого советского обывателя призывы реформаторов? «Трудись тяжелее, за мясо и хлеб плати больше, терпи богатеющего за твой счет соседа-кооператора, будь готов к потере работы и тогда — может быть — лет через пять твое положение начнет улучшаться»,— вот единственно возможный перевод всех этих лозунгов на доступный для рядового труженика язык. «Да как же я могу дожить до этого улучшения,— думает он,— если уже и мыло, и сахар дают по карточкам, а порой и карточки нельзя отоварить?»

Конечно, нужна самоуверенность вечного русского школьника, описанного Достоевским, чтобы вылезать с советами из безопасного западного комфорта, давать рекомендации великой державе, как ей спасти себя от голода. Но угроза так близка и реальна, что приходится отставить в сторону соображения деликатности, такта, хорошего тона. Если бы я видел, что экономическая схема, представляющаяся мне единственно возможным выходом из кризиса (не спасением, но временной передышкой) уже обсуждается в России среди прочих проектов реформ, я бы не стал писать эту статью. Но, прочитав за последние два года десятки заметок и исследований о сегодняшнем состоянии советской экономики, я нигде не натолкнулся на предложения, хотя бы отдаленно напоминающие то, что я имею в виду. Возможно, дело тут в том, что все реформаторы стремятся предлагать только хорошие схемы и планы. Я же собираюсь предложить схему заведомо плохую. Но она, по крайней мере, будет работать — в этом я уверен.

Представим себе потерпевших кораблекрушение на необитаемом острове. Они хотят построить корабль, чтобы доплыть на нем до обитаемой земли. Они призывают профессиональных кораблестроителей, оказавшихся среди них, просят их совета. И кораблестроители начинают проектировать яхты, бриги, шхуны, рассчитывают необходимое водоизмещение, спорят об оснастке, о парусах, о гидродинамических характеристиках будущего корабля. Постепенно они вовлекают в свои кораблестроительные мечты всех выброшенных на берег пассажиров. Так что никто уже не замечает простой истины: из обломков, имеющихся в их распоряжении, можно построить только плот.

Идею такого несовершенного, грубого, тихоходного — но спасительного — экономического плота я и хочу представить для общественного обсуждения.

СОВЕТСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Еще десять лет назад, когда я работал над своей книгой «Без буржуев» (в Самиздате — «Бедность народов»), я постоянно натыкался в советской прессе на критические статьи, разоблачавшие тенденцию многих заводов строить у себя подсобные производства: инструментальные, литейные, кузнечные и прочие цеха. Экономисты из ЦСУ подсчитали, что производство чугунных отливок организовано на каждом втором машиностроитель-

ном заводе, на каждом третьем — стальных. «Более 60 % предприятий имеют собственные кузнечные цехи и участки. Надо ли удивляться, что производительность труда в этих цехах и на участках в 2 — 2,5 раза ниже, а себестоимость продукции в 2 раза выше, чем на специализированных участках... Прямо-таки пошла мода на „натуральное хозяйство"... В то время как специализация позволила бы высвободить 700 тысяч рабочих» («Ленинградская правда», 2. 10. 76).

Экономисты громко проклинали нерациональные тенденции, писали свои диссертации, а заводы и фабрики тихо строили на своих территориях, где только могли, подсобные производства. Потому что знали: если не будет своего инструмента, своих отливок, своих поковок, нигде они их не достанут и завалят план. Ибо централизованное, через министерства идущее снабжение не срабатывало нигде.

У нас в Центральном Котлотурбинном институте был выстроен целый завод, производивший экспериментальное оборудование, но также выпускавший и всевозможные технические узлы, которые во всем индустриальном мире давно делают только специализированные заводы: подшипники, вентили, краны. Гидротормоз, необходимый для нашей экспериментальной турбины, мы тоже проектировали сами и потом мучились, доводя его чуть не год, потому что нашему заводику он был в диковинку. Если подсчитать себестоимость этого гидротормоза, он оказался бы — даже имея в виду реальное соотношение рубля и фунта — раза в три дороже тех английских красавцев, на которые мы только облизывались, рассматривая цветные каталоги в отделе снабжения. Но попробуй-ка заполучи иностранную игрушку! Надо было подавать заявки за три года в министерство и потом ждать — дадут ли валюту. А тут хоть и топорно, и втридорога, но все же за год сделали, и работа худо-бедно пошла.

Этот процесс «натурализации» шел, идет и будет идти неумолимо. Потому что он — единственно возможный выход из положения, когда индустриальное хозяйство лишено нормального рыночного товарооборота. («Вот-вот,— слышу я возгласы сторонников рыночной перестройки.— Рынок надо вводить — и дело с концом!». «Эх,— скажу я,— быстро носятся по волнам яхты и бриги. Да не из картона же их строить»). Другая сторона натурализации: накапливание ненужных товаров, материалов, инструментов, приборов — впрок, на всякий случай. Мне рассказали, что, при всех разговорах о нехватке бумаги в Советском Союзе, недавно предприимчивая группа издателей-кооператоров объездила несколько заводов и обнаружила на складах огромные запасы бумажных рулонов, которые им с удовольствием продали за наличные. Да и я, в бытность мою инженером, был вынужден делать плюшкинские запасы манометров, электромоторов, термопар, потенциометров, потому что — пойди-ка достань, когда понадобится.

Крупные предприятия не ограничивались чисто производственными нуждами. Многие выделяли средства на строительство домов для своих сотрудников, на устройство яслей, на дома культуры, на дома отдыха. Помню, на Кировском заводе в Ленинграде была даже своя поликлиника. Почти каждое предприятие имеет свою столовую или буфет. Почти всюду летний отдых детей — пионерские лагеря — изъят из ведения центральных организаций и передан заводским и фабричным месткомам. Думаю, это большое благо, ибо директор лагеря, назначаемый из своих же, заводских, знает, что в случае серьезных безобразий разгневанные мамаши не побоятся ворваться к нему прямо в кабинет.

Таким образом мы видим, что в хозяйственной структуре страны за последние десятилетия под давлением обстоятельств необычайно выросло значение производственной единицы, возросла роль администрации предприятий. Конечно, министерства по-прежнему дают им задания и отпускают средства, конечно, райкомы и обкомы партии могут смещать и назначать руководителей. И тем не менее огромное количество важных решений принимается на уровне заводского парткома или месткома. Все чаще директор завода, института, фабрики — важная фигура, реальный хозяин, заинтересованный в успехе своего предприятия и обладающий возможностями достигать результатов.

Конечно, он исподволь будет стремиться к расширению своей власти, к росту подведомственной производственной единицы. Он уже построил себе свой кузнечный, свой литейный, свой инструментальный цеха. У него уже есть подведомственные завкому жилые дома, ясли, пионерские лагеря, дома отдыха. Но вот беда — его рабочие получают неплохую зарплату, да только им нечего купить в магазинах на эти деньги. Им, попросту говоря, нечего есть. Попробуем же пофантазировать и представить себе, что произойдет, если такому директору выделят пригородный колхоз и скажут: «Вот тебе землица, дорогой товарищ, вот тебе работнички, какие на ней остались; возьми-ка ты ее, добавь, если надо, своих работничков да и корми свой завод сам. Пусть это будет приписанный к твоему заводу агроцех. Сам назначай там руководителей, сам следи за выполнением. Ну, а если вырастишь там столько, что самим не съесть, продай остальное государству или в магазины вот по таким-то ценам».

ИЗБЫТОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РОССИИ

Нет, это не пропагандистская утка, не мечта о далеком будущем, а реальный факт. В стране производится достаточно сельскохозяйственной продукции, чтобы удовлетворить продовольственные нужды населения. Об этом догадывались и в эпоху волюнтаризма, об этом писали и в эпоху застоя, об этом говорит и Николай Шмелев в уже упоминавшейся статье («Знамя», 1989, № 1, стр. 134). Не нужно улучшать урожайность, не нужно повышать надои, не надо осваивать целинные земли, не надо сеять кукурузу. Нужно сделать только одно — добиться, чтобы продукты не гибли на пути от поля, грядки, птичника до кастрюли хозяйки.

Недавно мне довелось слышать выступление одного из лидеров польской «Солидарности». По его оценке, в Польше на этом крестном пути гибнет примерно 30 % продуктов. Никто не может подсчитать реальную сумму потерь в Советском Союзе. Но те, кому доводилось работать на целине, на мелиорации, на уборке картофеля, на овощных базах, считают, что потери должны равняться примерно 50 %. Иными словами, половина урожая гибнет, не достигая потребителя.

За счет чего это происходит?

Главным образом за счет катастрофического состояния путей сообщения и складского хозяйства. Больше половины зерна, выращенного на целине, так и не достигало элеваторов, потому что в осеннюю распутицу дороги делались непролазными. Молоко везут порой в города два—три дня, в неохлажденных грузовиках и вагонах,— конечно, оно скисает еще до того, как попадет на молокозавод. Минеральную воду отправляют зимой в неутепленных вагонах за тысячи километров, так что заказчик получает только осколки взорвавшихся бутылок.

Когда читаешь в газетах печальную летопись погибших при перевозке продуктов, поражает страсть овощей к дальним путешествиям. Неужели соленые огурцы нельзя было доставить в Москву ни из какого другого места, кроме как из Одессы? (1350 километров, рассол вытек, огурцы сгнили по дороге.) А капуста, покрывшая на пути от Ленкорани до Смоленска около 2500 километров? (В Смоленске своей капусты полно, а ленкоранскую грузили так безграмотно, что верхний слой раздавил нижний и началось гниение.)

Секрет, оказывается, прост. Там, где нет рынка, где все подчинено централизованному планированию, у железнодорожников тоже должен быть свой план. И измеряется он в тонно-километрах. Если вагоны стоят под загрузкой или разгрузкой, это означает простой оборудования, чреватый недовыполнением плана. А если загрузить вагоны капустой под самую крышу и возить ее хоть во Владивосток и обратно, план наливается жирными нулями. То, что капуста при этом погибнет, уже никого не волнует — железная дорога за нее не отвечает.

Можно писать гневные статьи, можно проклинать нерадивых работников, можно выпускать постановления об улучшении того-то и о поднятии того-то, но изменить существующее положение невозможно. Даже если выделить большие средства на улучшение складского хозяйства и расширение сети дорог (хотя откуда их взять?), и тогда продукты будут гибнуть в огромных количествах. Потому что нерыночная экономика имеет какие-то рычаги контроля в сфере производства продукции, но не в сфере услуг.

Можно сосчитать число выпущенных заводом лампочек, автомобилей, пылесосов. Но чем можно измерить выполнение плана овощебазой? Сохранностью завезенных овощей? Но она изначально должна быть стопроцентной! Поэтому требуемое от всякого предприятия улучшение показателей здесь возможно только за счет снижения расходов: меньше работников, меньше затрат электроэнергии, меньше техники. А то, что овощи, при всей этой замечательной экономии, дружно гниют — кто ж в этом виноват?

Само собой разумеется, что житель Кавказа, везущий виноград в Мурманск, не допустит, чтобы его товар подмерз или подгнил. Пройдешь по частным рынкам в больших городах — залюбуешься. Но ни система, ни ментальность населения сегодня не готовы примириться с господством частника. Опыт последних лет показал, что он остается объектом подозрения и ненависти, что на него смотрят как на грабителя, наживающегося на народном бедствии. Что же делать?

Я вижу единственный путь спасения этих миллиардов тонн ежегодно гибнущих продуктов: там, где это возможно, до предела спрямить и сократить их путь от поля до стола семьи. Сделать же это можно только в том случае, если у мешка картошки, у яйца, у помидора, у молочного бидона будет один хозяин на протяжении всего пути. И коль скоро социально-исторические условия не позволяют поставить на роль такого хозяина индивидуального владельца, посмотрим, что может сделать владелец коллективный — тот, которого система согласна терпеть.

АГРОЦЕХ — ЗА И ПРОТИВ

Итак, смысл предлагаемой реформы заключается в следующем.

За каждым крупным заводом, фабрикой, институтом закрепляется колхоз или

совхоз, находящийся в радиусе, скажем, шестидесяти километров от города.

В его задачу входит снабжать продуктами питания непосредственно работников данного предприятия (не продавать, а прямо раздавать в пакетах, как это уже делают, скажем, в городских партийных комитетах, в творческих союзах), которые, таким образом, часть заработной платы будут получать натурой.

В административном отношении такой колхоз изымается из-под власти районного начальства и поступает в полное подчинение заводской дирекции и парткома.

Продукция, произведенная агроцехом сверх необходимой, поступает в систему централизованного государственного распределения по твердым ценам.

Рассмотрим преимущества и недостатки подобной схемы.

Главное препятствие, которое встанет на пути внедрения агроцехов: сопротивление бюрократического аппарата в пригородных зонах. Лишиться привычной власти и связанных с нею привилегий этим людям будет нелегко. Не для всех найдется работа в городе на таком же уровне. Но все же по масштабу перемен такое перераспределение власти между городским и сельским партийным руководством ни в какое сравнение не идет с ломкой, которая необходима для осуществления других обсуждаемых реформ. Кроме того, агроцеха можно вводить постепенно, давая время на необходимые перестановки руководящих кадров.

Далеко не все население страны будет охвачено реформой непосредственно. Но если общий приток доброкачественного продовольствия возрастет хотя бы на 30 — 40 %, то и централизованная система распределения сможет улучшить качество своей работы.

Конечно, разница климатических условий поставит города в неравное положение. Население умеренного пояса получит значительные преимущества, а в северные и отдаленные районы страны заманивать людей на работу станет еще труднее.

В невыгодном положении окажутся и работники малых предприятий, которым не по силам будет получить в свое распоряжение агроцех. (Вернее было бы сказать, что их положение улучшится лишь постольку, поскольку увеличится суммарный приток доброкачественных продуктов в города.)

Но преимущества предлагаемой схемы должны перевесить ее недостатки.

Во-первых, огромное количество овощей, фруктов, яиц, мясных и молочных продуктов, даже некоторых видов зерновых будет спасено от гибели во время транспортировки и хранения.

Во-вторых, сельскохозяйственное производство впервые за многие годы получит хозяина, кровно заинтересованного не в показателях, а в реальном продукте. Это должно привести к заметному повышению урожаев.

В-третьих, сельское производство получит в лице завода или института мощную техническую базу, сможет залечить множество своих мелких и крупных ран, улучшит положение со строительством, ремонтом, транспортом.

В-четвертых, засылка отрядов горожан в деревню на время уборочной наконец-то станет эффективной: на своем поле эти люди будут трудиться совсем не так, как трудятся сейчас на колхозных.

В-пятых, будет решена проблема частичной безработицы сельских жителей в зимнее время: завод сможет использовать их на подсобных работах или даже обучить рабочим профессиям. Оставаясь формально работниками большого завода, многие предпочтут жить на селе, возвращая жизнь обезлюдевшим деревням.

Главное же, что система, которая ненавидит частного владельца и душит его в зародыше, права коллективного собственника — завода, института, фабрики — признает. Поэтому, с точки зрения системы, здесь речь идет не о радикальных изменениях, а о привычном «укрупнении» отдельных предприятий.

И еще одно, может быть, важнейшее обстоятельство: реформа не требует никаких капиталовложений. Она может быть проведена чисто административным путем за один год. Осуществляться она будет целиком за счет внутренних ресурсов. Дело в том, что каждое предприятие в Союзе имеет огромные резервы производственных мощностей и трудовой энергии, которое оно сейчас не может и не хочет использовать. Находясь под постоянным давлением министерств, требующих улучшения плановых показателей, администрация знает, что улучшать их надо крохами, на два-три процента в год. А попробуешь выдать рекордные показатели — тебе вручат премию, но на следующий год поднимут план до нынешнего рекордного результата. Попробуй-ка тогда выполни его. Введение же агроцеха, продукция которого не контролируется центральными планирующими организациями (как не контролируется продукция других подсобных цехов — инструментального, литейного и так далее), позволит реализовать эти огромные экономические ресурсы на пользу людям.

Предложенная здесь схема нуждается еще в детальной разработке и всестороннем обсуждении. Она не может решить ни главных экономических проблем индустриальной державы, ни сегодняшних социально-политических проблем. Но покончить с продовольственным кризисом, дать стране необходимую передышку она сможет уже в первый год — в этом я уверен.

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА

Елена
РУСАК

МЫСЛЬ, ОТСТАВШАЯ ОТ ВРЕМЕНИ

Раздумья о литературном провинциализме

Погуливает по огромному городу седой старик. Захаживает в редакции, в литобъединения. Прежде был он начальником чуть ли не отдела кадров, но теперь его именуют с мрачноватым смешком: «Катренист!..». «Да, здесь есть рифмы — значит, это поэзия,— с театральным жаром рассуждает он.— Только что ж ты такое написал тут?! Размер не получился, нужно доработать». А то вдруг извиняется, возвращая одолженный на минутку томик Блока: «я тут почеркал, но вы потом сотрете, я карандашиком»,— а там помечены ритмические «ошибки» в поэме «Двенадцать»...

Не назвать ли его духом провинциализма? Литературного, литературного,— и мысли не допускаю проявить бестактность по отношению к мудрой и наивной, темной и светлой, трудовой моей провинции. Но сейчас не времена «Ионыча», когда не искушенные в словесности провинциалы стыдливо прятали написанное в шкаф. Теперь местные литературные речки с кисельными берегами питают счастливого читателя, даже если он того и не ведает.

В выступлении на научной конференции «Сибирь: ее сегодня и завтра в современной русской литературе» в Ленинграде (октябрь 1987 года, опубликовано в иркутском альманахе «Сибирь» № 3 за 1988 год) профессор Л. Ершов заявил: пророчество Ломоносова о российском могуществе, долженствующем прирастать Сибирью, и сегодня дает нам «заряд осторожного оптимизма». Исторически привычная надежда на сибирские ресурсы и сибирский характер подкреплена в этом выступлении безоговорочно лестной оценкой состояния сибирской культуры и литературы — а том числе литературы о Сибири. Более того — «тема Сибири дает возможность связать воедино судьбы русской земли, русской культуры, человека России». Впрочем, вспомнив, какие «душ алмазных россыпи в Сибири» были в годы войны, Л. Ершов немного позже вспомнил и о «Печальном детективе» В. Астафьева — «...перед читателем развернулась картина нравственного одичания», и о «Пожаре» В. Распутина — «больной оказалась душа народа».

Между этими полярными оценками состояния души народа мы найдем пространное обличение футуристов во главе с Казимиром Малевичем — они «духовно и эстетически разоружали народ перед лицом всевозможных, как показал опыт 20—30-х годов, оторванных от социально-исторических основ экспериментов». Эксперименты — и только-то! И если б не футуристы 20-х, на диво известные и влиятельные в полуграмотной тогда стране, никакая отрава не затронула бы душу народа... Однако этот логический сбой компенсируется параллелью между «комфутами» 20-х и О. Сулейменовым — «Ведь, по мнению О. Сулейменова, Ермак ничем не отличается от конкистадоров и монгольских завоевателей». Этой иронией доказательства абсолютного отличия «великого патриотического подвига освоения Россией Сибири» от чужеземных, вполне патриотических освоений и ограничиваются...

Подобным же образом обличается наследник «леваков и вульгарных социологов 20-х годов» А. Вознесенский: «Он предает анафеме само понятие человеческой души». Так интерпретируется фраза «субстанция с пошлым названьем „душа“». А почему критик упускает возможность объединить с вульгарными социологами и Марину Цветаеву, вспомнив строки из «Поэмы конца»: «Пресловутая ересь вздорная, именуемая: душа»?

Попытаемся понять систему взглядов, предполагающих, что наивная доверчивость может служить гарантом душевной незамутненности и что литературный провинциализм, пестующий эту наивность, создает — сегодня или вчера — возможность какого-то завтра. И вернемся для этого к выступлению Л. Ершова.

«Многие писатели успешно трудятся на просторах громадного сибирского региона, в таких городах, как Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Омск, Томск, Барнаул и других. Выходят литературно-художественные журналы и альманахи, сформировались свои „школы“, определились прочные реалистические традиции».

Тут Л. Ершов несколько забежал вперед, но определенные традиции и впрямь начинают формироваться. Так, Новосибирское телевидение в цикле литературных передач продемонстрировало отношения местных писателей и читателей — от членов общества книголюбов до ин-

тервьюируемых рядовых книгопокупателей. Сходной темы, а именно — низкого культурного уровня и просто элементарного невежества иных писателей — касались областная печать и радио... Оказалось, что интересы местных писателей и читателей совпадают примерно в той же степени, как, скажем, интересы плановика обуаной фабрики и непокупателя продукции этой фабрики. Обидно, что и говорить! Обида застааляет искать новые рычаги воздействия на зарвавшегося читателя. Вероятно, отчасти из-за нее аозникают запугиаающе-проповеднические нотки, вырастающие в мощные аккорды единого оркестра немузыкальных инструментов. Один из регулярнейших — бурные статьи о рок-музыке, однотипные повсюду, от «Нашего современника» до «Сибирских огней», но с непоаторимыми перлами из области культуры и реализма.

Тот же иркутский альманах «Сибирь» (1988, № 2). Н. Витовцеа, автор из поколения тридцатилетних, раскаиваясь в былом преклонении перед группой «Битлз» и иже с нею, ссылается на горький опыт своего друга — у того сын уже бунтует против взрослых. «Можно ли любить музыку, которая рвет семейные связи, раскалывает поколения?» — задает Н. Витовцев риторический вопрос.

Конечно, можно бы задать и другой вопрос — чего стоят семейные связи, не выдерживающие музыкального вмешательства, но автор предпочитает вопросы теологии. В частности, он сообщает: «Мало кто знает, что настоящее имя Элиса Купера — Винсент Фурньер. Он стал знаменитым после того, как посвятил себя сатане, а прямом смысле продав душу дьяволу (! — *Е. Р.*), принял имя ведьмы Элис Купер, умершей сто лет назад. Его „специализация“ в расхааливании асех форм извращений».

Пережив первый жутковатый холодок, озадачиваешься: неужели Элис Купер, будь он даже и Винсент Фурньер, в состоянии охватить формы *всех* извращений? Неужто он перехвалил, предположим, бронзовые прижизненные бюсты и сопутствующие им литературные труды? Может ли он знать нашу систему мытарста при добыче бесполезного ископаемого, например, справки из ЖЭКа? Впрочем, на семейные связи и на умонастроения молодежи влияют ведь только «тамошние» извращения... Но бог с ним, с сатанизмом, все же наш разговор преимущественно о культуре.

Здесь, пожалуй, будет уместно заявить: ни в коем случае не хотелось бы уязвить кого-то лично,— как-никак, между личностью автора и выбранной им ролевой писательской личностью, сходной с актерским амплуа, дистанция не всегда одинаковая. В доказательстао саоего личного уважения к писателям напомню эпизод из аоспоминаний М. Соболя («Новый мир», 1987, № 11). Кемеровское зональное совещание молодых писателей, 1966 год. Я. Смеляков заглядыаает к подопечным М. Соболя: «Развел, черт бы тебя азял, детский сад! Говорим по-крупному о поэзии, а здесь колибри чирикают! У меня один Вятя Крещик — поглядишь в глаза: ведь убьет кого-нибудь».

Ныне крестник Я. Смелякова — автор многих стихотворных сборников, отаетстаенный секретарь старейшего сибирского журнала и в семинарах молодых литераторов участвует уже по другую сторону барьера. Недавно В. Крещиком опубликованы воспоминания об изаестной сибирской поэтессе Елизааете Стюарт («Сибирские огни», 1988, № 7). Рассказывая о своем выступлении на одном из вечеров памяти Е. К. Стюарт, В. Крещик приводит примеры строк, «у многих поэтов» служащих «своеобразным „магическим кристаллом“».

«Есть, на мой взгляд, такие строки и у Тютчева:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.

Простим классику банальную рифму „себя — тебя“. На мой взглнд...»

Простим, раз все-таки рифма есть, да и размер тоже,— значит, как мы помним, это поэзия. Простим и уступку возаышенному катренисту с его невежеством, почему-то традиционно признаваемым истинно народной чертой, особенно применительно к провинции, а наипаче — к Сибири. Но, при всем уважении к В. А. Крещику, вынуждена все же процитировать до конца, что именно обнаруживает его взгляд: «На мой взгляд, в этих строках Тютчева, кроме беспокойства художника о том, чтобы его верно услышали, *впервые в поэзии* (курсив наш — *Е. Р.*) выражена сложная диалектика челоаека во времени, в окружающем мире: поэт обнаружил, что зафиксировать мгновенье (мысль) почти невозможно. Наступает новое мгновенье, а „мысль изреченная“ не соответствует ему, не поспевает за ним, становится ложью».

Нынче всем уже известно, как нехорошо вырывать цитаты из контекста. «Взрывая, возмутишь ключи,— питайся ими — и молчи»,— стоит в той же строфе у Тютчева после выхваченных В. Крещиком строк. Но и этот способ цитирования можно простить за его классическую простоту: что поделаешь, если пришло время открыть шкаф, извлечь приостановленную мысль и осветить ею бедный провинциальный город, культурный, научный и так далее центр Сибири, разъясняя «Фауста» применительно к Тютчеву? Так позволю же и себе с удовольствием процитировать — совсем даже некстати — два небольших фрагмента из статьи Н. И. Бухарина «Гете и его историческое значение» («Избранные труды», Л.: Наука, 1988): «Германия, которая на историческом перевале конца XVIII и начала XIX века, едва выкарабкиваясь, под пинками истории, из захолустного и провинциального европейского болота ⟨...⟩ дала почти одновременно трех замечательнейших идеологических вождей, настоящих титанов человеческого творчества. Это — Бетховен, Гете, Гегель»; «На грани XVIII—XIX веков Германия представляла собой медвежий угол Европы ⟨...⟩ В Германии царило настоящее средневековье».

Долгонько же шел краткий курс истории одного чернокнижника, истощаясь по пути, до «Сибирских огней»... Из самых средних аеков — до времен издания Бухарина! Средневековье и его власть над нашими умами займут а этих раздумьнх немало места; но, «на мой взгляд», на пути к этому весьма примечателен анализ В. Крещиком стихотворения Е. Стюарт:

Я пью на всех земных пирах
Лишь оттого неполным кубком,
Что нет безумия в стихах,
Благоразумия в поступках.

Казалось бы, трудно не уловить переклички с лермонтовским «Мы пьем из чаши бытия». Но В. Крещик отказывает Е. Стюарт — по-видимому, не убедив себя параллелью с Тютчевым, при всей снисходительности к нему,— а какой-либо связи ее поэтики с классикой. Луне, которая делается в Гамбурге, и прескверно, В. Крещик обстоятельно противопоставляет образ «стихотворения-планеты», некоего идеала стихов (так сказать, планета — это мы), причем «в центре, или в полюсе этого стихотворения, а той его части (в какой именно? — *Е. Р.*), через которую оно пуповиной связано с реальным местом на земле, находится сама поэтесса». Неудивительно, что для анализа избирается путь самобытности:

«Первая строка — ⟨...⟩ это темпераментный, веселящийся среди тепла и света Юг... Вторая строка — ⟨...⟩ указывает нам в сторону сдержанного Севера... Третья строка — ⟨...⟩ а кому асегда было присуще безумие, безоглядность? Ну конечно же, карнавальному Западу. Строка эта обращена в сторону Запада, строка-сожаление, что каких-то качеств творчество Е. Стюарт лишено, и она знает об этом». Ну, а четвертая — Восток...

Мы все читали понемногу и символистов, и эссеистику Ю. Кузнецова,— образованьем, слава богу, у нас не мудрено... Итак, на этой планете все-таки чего-то недостает; не приходится возражать против перенесения литературно-южноамериканских качеств на аесь безоглядный Запад, в своем безумии не испугавшийся нашего былого намерения догнать и перегнать, но и после этого ухитрившийся прикопить интеллектуальный потенциал. Но не первая ли оттепель с ее фестивалями, не ностальгия ли по ней дают о себе знать тем, что в сознании питомцев эпохи за карнавальным Западом рисуются и какие-то положительные черты? Хотя, конечно, луну в Гамбурге делают гораздо хуже, чем у нас.

Очевидно, В. Крещик, как и большинство современников, отдает себе отчет, насколько раздроблено наше общественное сознание по возрастным группам милостью — если и не учитывать социально-культурных факторов — множества переломов. Характернейшая черта литературного провинциализма — обращение квазиобщественного, вставшего на ходули обыденного сознания к сознанию бытовому, апатичному, но пробуждаемому к праздничной монолитности карнавальным величием. Эта черта с предельной откровенностью воспета в стихотаорении члена редколлегии «Сибирских огней», поэта и переводчика, чье творчество весьма высоко оценено в одной из статей Ю. Суровцева,— А. Плитченко. Озаглавлено оно «Кекчемет. Музей наиаиого искусства»:

Как вы — сумеем мы едва ли,
Мы жили, в вечность ие стучась,
А вы картины выдавали
За нашу жизнь, за нашу страсть.

Но случай выпадет, не хуже
Про то, как видим и живем,
Косноязычно, неуклюже,
Но сами скажем о своем.

Мы дотолкуемся с холстиной,
Ее раскрасим вкривь и всласть!
Гляди —
Прикинулась картиной
И иаша жизнь, и наша страсть!

Прикинулась картиной, книгой, жизнью... Сейсмостойким зданием, врачебной помощью, первосортной продукцией... Но что касается признания «в вечность не стучась» — это больше для красоты слога. И сам автор ныне немало пишет о категориях «аечное» и «великое», и рассматриваемое здесь литературное направление очень не прочь усматривать вечность в себе. Раздумья об этом волей-неволей заставляют бросить еще один печальный взгляд на аыступление Л. Ершова, на ту его часть, где рассматривается сибирский характер. И тут необходимо согласиться, что тема Сибири действительно дает возможность связать воедино судьбы русской земли и русской культуры. В качестве пояснения или нелирического отступления — блистательная формулировка сути наших проблем, включая проблему невежества, сделанная полтора века назад.

М. С. Лунин «Общественное движение в России в нынешнее царствование» — «Письма из Сибири», М.: Наука, 1988:

«На моральном состоянии нации неизбежно должно было отразиться попятное движение, которое эта партия (правительственная — *Е. Р.*) сумела придать делам. Общественная мысль, остановленная в своем развитии давлением грубой силы, ушла в себя ⟨...⟩ Эта работа мысли не останется бесплодной, но она потребует много времени и может разжечь страсти, разгул которых компрометирует самые благородные дела. Между тем пороки политического устройства отражаются на нравах, обычаях, наклонностях и привычках. Рабство, утвержденное законами, является обильным источником безнравственности для всех классов населения; отсутствие гласности поощряет и развивает всевозможные беспорядки, обеспечивая им безнаказанность ⟨...⟩ Воспитанием нового поколения всюду пренебрегают; молодежь следует своим личным склонностям за неимением цели, достаточно важной, чтобы стоило посвятить ей жизнь ⟨...⟩ периодические издания выражают лишь ложь или лесть, столь же вредную для власти, которая ее терпит. Министерство народного просвещения, теряя из виду подлинную свою цель, состоящую в распространении положительных знаний, стремится насаждать народность, поддерживать учения, не нуждающиеся в людской поддержке, и самые науки обратить в столпы самодержавия. Отсюда — невежество, составляющее отличительную черту нынешнего времени».

Если бы не слово «самодержавие» — словно из сегодняшних публицистических статей! Итак, мы заново открываем порох, хотя он полтора века дожидался нас в том самом необъятном шкафчике,— пока общественная мысль не доросла до уровня этой полки. Так радоваться ли тому, что Лунин издан,— или скорбеть о судьбах русской земли и русской культуры?

Упоминание Лунина о насаждаемой народности в наши дни вполне прозрачно. Но еще цитата для корректности: «Начало народности требует пояснения. Если под оною разумеют выражение обычаев, нравов, законов всего состава общественного, то она будет изменяться с каждым периодом нашей истории. Баснословные времена Рюрика, господство моиголов, владычество царей, эпохи императоров представляют столько же разных народностей. Которую хотят развить? Если последнюю, то она более иностранная, чем русская» (М. С. Лунин. «Письма из Сибири»).

На этом фоне суждения Л. Ершова о сибирском характере потрясают:

«Сибирский характер — особая своеобразная ветвь русского национального характера. Выковывали его на протяжении столетий два противоположных начала: каторга и воля. Колебания векового маятника национальной истории отчетливо прослеживаются на русско-сибирском примере. Вначале коренная Россия посылала лучших своих сынов на освоение Сибири, усложняя и затрудняя решение внутренних проблем в европейской части страны. Затем благодарная Сибирь сторицей оплачивала долг матери-Родине.

Сибирские дивизии защитили Москву зимой сурового 1941 года. Они спасли Отечество, ибо в переломной Сталинградской битве сыграли решающую роль».

Выходит, слава, купленная кровью, подвиг сибирских дивизий, реальные, конкретные жизни сибиряков-гвардейцев, жизни их вдов и сирот — всего лишь оплата кредитов? Но отчего же, простите, не признать и сибиряков полноправными — наряду с другими россиянами — детьми Родины? Почему же потомки каторжников, бродяг, беглых казаков, неудачников, обманом или в подпитии завербованных в ряды покорителей Сибири,— должны оплачивать невесть как образовавшиеся долги своих весьма отдаленных предков, в сердце своем отделяя себя от остальной России? И окончательно ли уже ревизовано у нас представление о колониальном положении окраин Российской империи? Да и где, когда, чем именно успешный захват новых территорий осложнял внутренние дела страны? Да, все это — наша история, наше прошлое, будь оно белым или черным; но все же с прирастанием могущества на основе вечной благодарности сибиряков «что-то нескладное придумали. Оно, может, и умно, но больно непонятно»,— говоря словами М. А. Булгакова.

Сейчас в подобных случаях с готовностью используется определенный ряд терминов: «догматизм», «религиозно-бюрократическое сознание», «разорванное общественное сознание» и тому подобное. Да ведь нет здесь разрыва — он зарос за счет разрастания прославленного средневековья! Эта разновидность общественного сознания — отчетливое наследие того отрицания отрицания, коим выброшена, затабуирована для мышления целая эпоха («фашисты Бухарин, Рыков и другие хотели сделать нашу счастливую страну снова капиталистической»). «Вечное», «великое» бытовое сознание в таких условиях непременно обязано скатиться к жестокому средневековому провинциализму, благо облачко иллюзий всегда над нами... Хочу ли я всем этим сказать, что застойный фарс, продолжая и тут чудовищную эпоху сталинизма, объективно превращал страну в отсталую провинцию? Да, именно. От Москвы до самых до окраин. В провинцию того рода, где малое называют великим и куют крамолу брат на брата. Где однородность и одинаковость ведут ко все большей раздробленности, преодолеть же эту раздробленность и по сей день пытаются заклинаниями.

Первая книжка стихов, изданная в зрелом авторском возрасте и непомерно залежавшаяся на магазинных полках. Автор — Виктор Дзюба, рецензент — Г. Ф. Карпунин, главный редактор «Сибирских огней». Рифмованное творение озаглавлено «Я — солдат»:

Для того, чтобы нивы цвели,
Нам пока что нужны полигоны.
Мне Отчизна, как руки свои,
Положила на плечи погоны...

Разумеется, едва ли стоит подозревать Г. Карпунина или редакторов О. Мухину и А. Шалина в полном неумении отличить стихи от рифмованного циркуляра со штампом «гражданская лирика». Но ведь лирика такого рода сплошь и рядом рассчитана на уснувшее воображение читателя, а не на логическое и эстетическое *постижение* им прочитанного.

Другой пример — иллюстрация примерки величия к собственному лирическому герою:

А я опять о БАМе, о друзьях,
и о мечтах,
больших и дерзновенных.
И снова кто-то говорит — нельзя,
нельзя писать
так слишком откровенно.
Не нужен нам высоких слов накал,
метафору, сравнение добавьте...
И вдруг такая
захлестнет тоска —
от скептиков всезнающих избавьте!
До душ сидячих
не добраться мне,
хоть сапогами по стихам протопай.
...Поймет ли не бывавший на войне
всю боль того, кто замерзал в окопах?

Допустимо ли сравнивать БАМ с войной, подменять литературное мастерство заслугами биографическими? Вероятно, настолько же, как и намерение протопать сапогами по стихам — что небезуспешно проделывалось не одно десятилетие. По стихам Ахматовой, Мандельштама, Бродского... Между прочим, в первой своей книжке, появившейся почти одновременно с публикацией этого стихотворения, Н. Пузыревская писала о БАМе противоположное: «Ущерб, что мы несли невольно, теперь столетиям лечить. Вот отчего сегодня больно, и память прежняя горчит». Увы, намерение протопать сапогами способно уничтожить не одни только едва зазеленевшие травинки в стихе Н. Пузыревской...

Откуда идет это намерение? В. Дзюба (уже как переводчик) обрушивается на пресловутого новоявленного беса: «Ищите цензора в себе... иконки поснимает все, и точка. И незаметно вынет вас — из вас. Останется одна лишь оболочка». Позвольте усомниться: очень уж хорошо это существо знает внешний мир. Какой же он цензор? Обычный расчетливый торговец индульгенциями! Для сельчан — одни индульгенции, для бамовцев — другие, для гидростроителей — третьи... Оглянуться назад — все святы, все блаженны! Все нищи духом... Потому что ведь индульгенции не столько порождаются страхом — сегодня нет наказания господня, а завтра? А ну как снова глад и мор многомиллионный? — сколько порождают этот страх...

Хочешь — не хочешь, а приходится обратиться к стихам того рода, к коему и подступаться боязно. Стихи фронтовика И. Г. Краснова (его упоминал в своем выступлении Л. Ершов) обращены преимущественно к той терпеливой доброте, которую мы привыкли сознавать исконной чертой русского характера. Вот отрывок из стихотворения о бабушках, работающих в совхозе на зернопогрузчике:

И завтра
Не затеять им оладушки.
Опять пенсионерок
Ждет зерно.
Опять торопятся
И шутят бабушки:
— Нет, никакие
Нынче мы не бабушки,
Мы нынче —
Молодежное звено!

(Из книжки, выпущенной в 1988 году. Редактором, кстати, обозначен В. Крещяк.)

Позиция лирического героя заметно основывается на пристрастии к рекламным роликам типа «Светлый путь». Он неоспоримо имеет право на свою позицию. Но как мне, читателю, недостает авторской тревоги за тех же бабушек, жизнеутверждающе обрекаемых героем и сегодня на, извините, барщину! За их внуков. Одним словом, остро недостает *современной* гражданственности в этой преисполненной терпеливой гордости гражданственной лирике, прочно сжившейся с необходимостью шагать семимильными шагами на месте. Недостает импульса, способного выплеснуть реально познанный автором трагизм судеб старших поколений. По-человечески-то вполне понятны причины этой терпеливой гордости... Но не присоединяется ли я и она к облачку иллюзий?

Новосибирская поэтесса Нинель Созинова, словно полемизируя с И. Красновым, в стихотворении «Дети» размышляет о попытках примеривать вчерашние заботы к дню сегодняшнему как о «гордыне ползучей» — «нет, нет, не много дали мы, а многого недодали...» — и относит эту гордыню к попыткам «держаться на плаву еще» в противовес детям. Но, как ни печально,— при том, например, что

объединенным пленумом творческих союзоа в конце 1988 года состояние культурной сферы в Новосибирске было признано плачевным,— разделить надежду Н. Созиновой на детей не так уж легко. Пока мастера местной культуры придерживаются мнения, что — говоря словами того же стихотворения Н. Созиновой — «и в смене нашей,— видимо, в семье не без урода — найдутся отклонения, но выстоит костяк»,— тем временем уехали из Новосибирска Николай Шипилов, Владимир Курносенко, Татьяна Набатникова, Нина Садур...

Ну, а что растет не как отклонения, пробиваясь с мучениями и срывами, а как упрочение костяка стройной антропоцентристской системы, взрастившей такие совершенные плоды, как мифологизированное и догматическое сознание? С великолепием, не требующим никакой пародии, результаты такого культурного роста изображены в повести Аглаиды Лой «Город и Художник» (в журнальном варианте жанр обозначался «роман-мечта»).

Герой повести, Константин, выпускник Академии художеств, возвращается из Ленинграда в Город с узнаваемыми чертами Новосибирска. Вскоре он попадает под покровительство прогрессивного секретаря обкома комсомола и уверенно движется к осуществлению своей мечты. В финале повести в Городе появляется Дворец Искусств, возведенный методом народной стройки — посредством субботников, воскресников и добровольных пожертвований в Фонд строительства (похоже, что этот способ сбора денежных средств скоро сделает излишним само понятие национального дохода). Константин, почти академик, лауреат соответствующей премии и крупный босс от искусства, возвращается из загранкомандировки и отправляется на свидание со своим детищем, Дворцом. Там он слышит диалог шестнадцатилетних влюбленных:

«У художника была возлюбленная. Поэтому эта изящная арка, которая соединяет башню со сферой, называется аркой Аглаи. Она погибла совсем молодой, и художник на всю жизнь остался один. Это было давно-предавно. Лет сто назад! — Уж и сто...— Когда художник расписывал залы Дворца фресками, он страдал о своей возлюбленной и, в память о любви, добавлял в алую краску свою кровь: тогда краска становится вечной и ослепительной, как пламя».

Казалось бы, к этой картине, скажем так, эстетической невинности подростков, пребывающих в средневековье, уже ни мазка не прибавить. Однако Дворец воплощает идею, подчинившую себе жизнь Константина: познать Дух Города и увековечить его. Дух познается в изображении — «Освещенные окна создают ритмический рисунок, который привносит в картину чувство напряженности и ожидания. Беловатая дымка, сгущаясь над зданиями, вырастает в призрачную фигуру, которая плывет над Городом, оберегая его сон и покой». Как тут не вспомнить Гойю с его «Сном разума»! Незыблемость распада зачарованной дымчатым Духом человеческой цивилизации удостоверяется безупречно страшной концовкой — а контексте повести, впрочем, она означает счастливый конец:

«Привольно и широко раскинулся по берегам реки Город. Твердо и неколебимо стоит его здания, врастая в гранит корнями фундаментов. Легкая дымка затеняет его чело — Город дышит. Глубоко. Покойно. Мощно».

По-видимому, личная честность, даже помимо воли автора, объективизирует изображение: жертвы, принесенные усыпляющему жизнь Духу честолюбия,— отнюдь не та красота, что спасет мир... Кстати заметить,— и повесть А. Лой весьма долго лежит по магазинам. И наивно было бы полагать, что новинки, подготавливаемые не одним только Новосибирским издательством, будут свободны от честолюбивых самопожертвований, соразмеряющих эти новинки с прокрустовым ложем серости.

Но разве в том дело, чтобы остановить поток публикаций? Останавливать стоит игру на понижение, прочно живущую в умах — как напомнил Булгаков, именно там помещается любая разруха. В этой игре прикрепленность пуповиной к родным местам, стойко воспеваемая местной литературой, оборачивается признанием второсортности родных мест, оборачивается труднопостижимой связью между признанием любви к этим местам и сходных человеческих качеств духовными ценностями — и одновременным ниспровержением этих ценностей... В славной игре на понижение местной литературе отведена роль корректировщика, вычисляющего поправки на дозволенность уровня мышления по часовым поясам и географическим координатам — далеко ли от Центра? — с оглядкой на бедного возвышенного катрениста: хорошо ли ему, покойно ли? Все ли промахи Блока и Тютчева видит он, понял ли он свое превосходство над ними, плоть от плоти Ермака или другого героя?

Но тут приходится повиниться. Всякий волен избирать для себя тех или иных героев как предмет поклонения. Прекрасно, если выбор диктуется не общественным мнением, а мерой художественной достоверности изображения этих героев. Жаль, что о покорителях Сибири практически не существует не только художественно, но и фактографически достоверных произведений,— потому и не берусь быть судьей Ермаку Тимофеевичу!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Иван Бунин. Окаянные дни. «Даугава», 1989, № 3—5; «Литературный Киргизстан», 1989, № 6, 7.

Хвала обширности империи Российской — книга великого русского писателя пришла к нам из Латвии и Киргизии. Коечто, правда, опущено «по этическим соображениям» — такая вот этика: нам еще рано читать то, что давно прочел весь мир. Зато каноническое предисловие-нотация (художники неизменно виновны в том, что верили собственным глазам — уж эта загадочная тупость гениев!) смягчено: Бунин был субъективно честен, поэтому его творение оказалось «сложнейшим документом эпохи», а симпатии автора «характеризуют главным образом его самого». Как будто возможны более точные измерители правды и добра, чем душа гениального художника.

Мне кажется, Бунин не возвысился до соцреализма, то есть не сумел совместить правдивость с историческим оптимизмом, еще и потому, что во время «исторической эпохи» продолжал видеть мир прежними глазами и писать о нем прежними словами. Попробуйте описать обычным человеческим языком, как красноармейцы справляют нужду, оборотясь к женщинам, как мечутся окровавленные, заживо ощипанные павлины,— и вы увидите, что вам не удастся «возвыситься» над бессмысленным хамством и бессмысленной жестокостью, не прибегая к высокопарным общим словам, внезапно нахлынувшее обилие которых так бесило Бунина. Он не желал — об одном и том же — вчера писать: «босяк схватил прохожего за горло», а сегодня: «он осуществляет социальный протест» — ведь это же самое, по его мнению, босяк мог сказать и вчера.

Из «Окаянных дней» мы узнаем, что жажда исторического оптимизма не умирала и в 19-м году — жажда позади зримого и безобразного непременно разглядеть незримое и светлое, жажда, из учения о благости Господней перешедшая в учение о Прогрессе, о разумности всего действительного. Кажется, учение о Прогрессе есть одна из самых бесчеловечных и бессовестных выдумок: оно заставляет искать оправданий каждой жестокости, оно наделяет людей атрибутами Божества — знанием будущего, «исторических перспектив» и правом решать, чьими жизнями дозволено платить за приближение этого гипотетического, но непременно «светлого» будущего, неким чудесным попечением долженствующего возникнуть из убийств, лжи и унижений.

Но художник нужен лишь до тех пор, пока он хранит верность собственным глазам, собственному языку и собственной совести. Искать же оправданий всему, что неотвратимо,— пусть для этого будут другие профессии.

А. МЕЛИХОВ

А. Приставкин. Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения сердца. «Юность», 1989, № 11, 12.

Эта повесть на сегодняшний день литературному суду не подлежит. Элементарное нравственное чувство восстает против него. Ибо *впервые* нам открылись страницы настолько жуткой жизни сирот из спецрежимного детдома, что привычный инструментарий критика этой тяжести не выдерживает.

Ребятам, которыми командует лагерный надзиратель, не понять, почему бунтовали матросы против мяса с червями. Они-то сами и червей без мяса съели бы... Они давно свыклись с тем, что они «ничьи», что ни отцов, ни матерей у них никогда не было, а «зона» за колючей проволокой — их родина. Они стреляют в тире по портретам «врагов народа» — быть может, собственных отцов. И верят, что единственная их защита от озверелых надзирателей, от «ментов», от злобных и тупых учителей — Сталин. Тот, что наказал выращивать людей бережно, как «садовник выращивает облюбованное им дерево».

К нему в Москву, «за правдой», и сбежали «кукушата» — не братья, не родня, а сбившиеся в стайку ребятишки. Да уж больно, оказалось, крепко сторожат их верного друга охранники — еле вырвались ограбленные теми кукушата из цепких лап. Не видать теперь Сергею Егорову, бывшему Кукушкину, оставленных арестованным отцом-конструктором ста тысяч... Да и к чему ему деньги, если впереди у него — «спецремеслуха» да спецлагерь, разве что разок поест с ребятами досыта. Не спасет и добрая «тетя» — вторая жена отца, приоткрывшая тайну происхождения парнишки и отдавшая ему злосчастную сберкнижку. Ведь расстреляли-то по одному взбунтовавшихся «кукушат» из-за этой проклятой книжки...

Мне просто жаль, что автор поддался привычному литературному искушению и решил эффектно закончить свою пронзительную повесть. Не нужна здесь полумистическая концовка с посылкой неизвестно какими ребятами телеграммы давнему убийце от погибших «кукушат». Да и не верю я, что а постаревших преступниках на склоне лет заговорила совесть. Не было ее у них и никогда не будет.

Пусть наказанием им станет общее наше проклятие.

Е. ЩЕГЛОВА

И. С. Шмелев. Сочинения в двух томах. Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания О. Н. Михайлова. М.: Художественная литература, 1989.

Повести и рассказы Ивана Шмелева (1873—1950) издаются у нас уже тридцать лет (однотомники 1960, 1966, 1983). Но до сих пор нам преподносился почти исключительно Шмелев дореволюционный. Новейший же двухтомник (по декларации составителя) представляет также творчество писателя в изгнании. Однако переломная (революционная) и эмигрантская часть его пути подана здесь чрезвычайно тенденциозно. Всемирную известность Шмелеву принес роман «Солнце мертвых» (1923) — эпопея из жизни послереволюционного Крыма, произведение апокалиптическое, написанное на накале страстей. Книгу перевели на двенадцать языков, благодаря ей творчество Шмелева было вскоре введено в курсы некоторых университетов, а ее автор выдвинут на Нобелевскую премию. Роман был не только создан художником, но и пережит человеком: в 1920 году по приказу революционного садиста Бела Куна был расстрелян любимый сын Шмелева. Горе писателя выразилось не только в произведениях первых лет изгнания (как представляет дело О. Михайлов), но и в цикле «Крымских рассказов» (1936), идеологически и тематически примыкающих к «Солнцу мертвых». Но большая, сложная и ранящая тема полностью опущена О. Михайловым, в результате чего переход Шмелева к «успокоительной» православной тематике («Лето Господне», «Богомолье») оказался ничем внутренне не мотивированным. Между тем, этот переход к сказу, к поэтике «Древнего благочестия» как раз и олицетворял писательскую драму реалиста. О. Михайлов же, изъяв революционную тему не только из своего предисловия, но и из корпуса текстов, лишил путь Шмелева драматизма и, следовательно, примет судьбы.

Ив. ТОЛСТОЙ

Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910—1930-е годы. Предисловие М. И. Горбунова-Посадова, составление А. Б. Рогинского, примечания Д. И. Зубарева, А. Б. Рогинского. М.: Книга, 1989.

«Теория без практики мертва». А что если толстовская *теория* казалась мертвой именно потому, что долгие годы у нас ничего не было слышно о ее *практике?* Ознакомившись с публикациями участников и создателей толстовских коммун — особенно в советский период — начинаешь понимать, что даже наиболее уязвимое, почти скандальное положение этой теории — «непротивление злу насилием» — на самом деле оборачивается школой мужественного этому злу противостояния и его преодоления. Дух антитоталитаризма дышит, где хочет. Именно он заставлял толстовца Сергея Попова, когда его очередной раз арестовывали, ложиться на пол и объяснять: «Дорогие братья, я не хочу развращать вас своим повиновением».

Примеры этого мудрого противостояния злу при непротивлении ему находишь едва ли не на каждой странице книги.

Мы все еще боимся сказать вслух: свободный человек выше законопослушного. Толстовцы не отказывались от свободы ни ради «высших целей», ни ради счастья всего (прогрессивного) человечества.

Все толстовские коммуны были уничтожены за два первых послереволюционных десятилетия. Потому что несвободные люди всегда кончают тем, что становятся ненавистниками свободных. И это — трагедия бóльшая, чем трагедия вседозволенности или толстовской асоциальности.

Нравственность, если она и в природе вещей, то отнюдь не в природе административно навязываемых обществу доктрин. Даже самых передовых, таких, как советская, или американская, или французская. Подрастающему поколению сначала нужно прививать добрые чувства, любовь и уважение к труду, как это делали крестьяне-толстовцы, а уже потом предлагать ему выбирать идеологическую программу и ориентацию.

А. АРЬЕВ



Дело прошлое

Этот дневник буквально свалился на редакционный стол. Не откладывая дела в долгий ящик, мы решили его опубликовать, хотя он пока считается анонимным. Вел его, как видно по тексту, высокопоставленный чиновник министерства финансов, убежденный монархист с шовинистическими взглядами. Время записей: сентябрь 1917 — сентябрь 1918.

В «Неву» дневник попал из Осло. Там он долгие годы пролежал в архиве Славяно-балтийского института, затем был передан в библиотеку университета. Но каким образом дневник русского чиновника оказался в Норвегии? Нам известно лишь то, что автор, сделав последнюю запись, отдал рукопись сотруднику английского посольства в Петрограде, а тот, в свою очередь,— норвежскому инженеру Христиану Христиансену. В его бумагах рукопись хранилась до 1971 года. Затем ее хранилищем стал Славяно-балтийский институт, ну, а дальнейшее мы в общих чертах уже знаем.

Публикуя первую часть дневника, рассчитываем на специалистов, к которым мы обратились с просьбой установить авторство и развернуть перед читателем историю документа. Очень надеемся, что произойдет это прежде, чем публикация будет завершена. Кроме того, завесу над тайной рукописи могли бы приподнять скандинавские ученые Енс Петтер Нильсен и Борис Вайль, переславшие рукопись в Ленинград.

Дневник публикуется с разрешения Славяно-балтийского института.

ГЛАЗАМИ ПЕТРОГРАДСКОГО ЧИНОВНИКА

К ГОДОВЩИНЕ РЕВОЛЮЦИИ

Монарха Русского сменили,
Сместили с трона в краткий миг,
И воцарилась в полной силе
Ля Репюблик, ля Репюблик.
Повержен в прах орел двуглавый,
Режим старинный с ним поник,
И на Европу смотрит павой
Ля Репюблик, ля Репюблик.
И там, где прежде красовался
В златеной раме Царский лик,
Кровавый стяг заколебался
Ля Репюблик, ля Репюблик.
Из тюрем выпущена снова
Орда убийц; и слышен крик:
«Свобода дел, свобода слова
Ля Репюблик, ля Репюблик».
Солдат! Глумись над генералом,
Плевать на то, что он старик,
Не то сочтет тебя отсталым
Ля Репюблик, ля Репюблик.
Давненько воли мы хотели:
Ура! Пришел желанный миг,
Как только немцы бы не съели
Ля Репюблик, ля Репюблик.

(Запись автора 9 марта 1918 г.— к годовщине Февральской революции 1917 г.)

16 сентября 1917 г. *(старого стиля).*

На Демократическом Совещании Керенский заявил, что германский флот у Финского залива. Не плод ли это его фантазии? Временное Правительство ведет переговоры с московскими промышленниками о привлечении их в состав коалиционного министерства. Главное политическое событие — открытие Демократического Совещания. Зиновьев и Ленин на Демократическое Совещание не явились. Большевики представлены на Совещании товарищами Троцким (Бронштейном) и Каменевым.

Вероятно, уже в ближайшие дни произойдут крупные события: взятие Двинска, десант в Финляндии, захват Ревеля и линии Ревель-Псков. Немцы будут угрожать Бологому, а в Петроград посылать цеппелины: вот-то будет у нас оживление! Большевики собираются сорвать Демократическое Совещание. По выражению Керенского, «анархия захлестывает страну».

17 сентября

Вопреки ожиданиям все спокойно, никаких большевистских выступлений не предполагается. Обыватели успокоились и ожили. С фронта новых тревожных известий не поступает.

Опубликованы правила охраны, на случай налета цеппелинов на Петроград. Об эвакуации Петрограда еще ничего официально неизвестно: эта неопределенность очень неприятна. Фонари затемнены. Вечером блуждают лучи прожектора. На улицах тьма кромешная.

18 сентября, понедельник

Нового ничего. Как-то странно не иметь за сутки никаких неприятных впечатлений. Ко всему привыкает человек, даже к неприятностям. Все офицеры Кавалергардского, Конного и Уланского полков уходят, нет мочи оставаться с «товарищами».

Свадьба Вел. Княгини Марии Павловны с Путятиным состоялась на днях. Венчались они в Павловске, в Госпитальной церкви. За несколько дней до своей свадьбы, Мария Павловна поехала в Зимний Дворец к Керенскому с просьбой разрешить Вел. Князю Павлу Александровичу и княгине Палей, содержащимся под домашним арестом в Царском Селе, присутствовать на свадьбе. Керенский приняв Марию Павловну, даже сесть не предложил, но разрешение дал. Но солдаты, несущие охрану, объявили в последнюю минуту, что они не разрешают, и не пустили.

19 сентября 1917 г., вторник

Положение безнадежное. Анархия по всей России ежедневно разрастается. Единственное спасение, ввиду бессилия Временного Правительства, вмешательство иностранцев во внутреннюю нашу жизнь и присылка нескольких дивизий. Довольно расширили и углубили революцию! Несомненно наши природные богатства будут разрабатываться иностранцами и послужат к их обогащению.

Был вчера у графини Клейнмихель; играли в бридж. Было довольно много народа. Брендстрем[1] думает, что немцев в Петрограде не будет даже весной. Они не захотят перед концом войны слишком раздражать и восстанавливать против себя русских, с которыми в скором времени им придется заводить мирные торговые отношения. Комитеты Спасения революции (охранки нового периода русской истории) продолжают действовать. Они во всем и всюду видят «корниловщину», точно при Царях, когда всюду искали «крамолу», а при императорах — «бунтовщиков и революционеров».

Четверг, 21 сент. 1917 г.

Демократическое Совещание село в лужу. На пространстве нескольких минут оно вынесло два противоположных решения по вопросу об образовании коалиционного министерства. «Коалиция, но без кадетов». Как это понять? Внутреннее положение с каждым днем становится трагичнее — всюду анархия, всюду угроза забастовок. В Петрограде несомненно предстоит безработица из-за сокращения промышленных предприятий по двум причинам: недостатка подвоза топлива и возможной эвакуации. Проектируется введение страхования от безработицы.

[1] Брендстрём — шведский генерал, посол в Петрограде (1906—1920, фактически до осени 1918 г.)

Выпущены новые денежные знаки в 20 и 40 рублей. Новые казначейские деньги российской республики обеспечиваются всем имуществом, всем достоянием республики (получили впоследствии название «керенки»)[1].

Возникает новый вопрос — о сокращении труда военнопленных. Военнопленные необходимы в сельском хозяйстве, в лесорубочных работах, но не в промышленных предприятиях, где начинается уже безработица. Коалиционное Министерство, по-видимому, наладится.

22 сентября, пятница

Фирма Зингер решила ликвидировать свои дела в России. Elle en allez des Tovaristchy![2]

Суббота, 23 сентября 1917 года

В Зимнем Дворце все еще пытаются сорганизовать власть. Благодаря потоку слов, по словам Терещенки[2], из 197 дней революционного периода, 56 дней правительство провело в кризисе.

Воскресенье, 24 сентября 1917 г.

В ночь на сегодня началась всеобщая железнодорожная забастовка. Ходят поезда только местного сообщения, а из дальних — воинские и продовольственные. Исполнительный Комитет Московского Центрального Железно-Дорожного Союза большинством 19 голосов против 16 объявил забастовку. От трех голосов ставится на карту, быть может, судьба России!

На каждом шагу в «Известиях» такие выражения — «Революционный порядок», «спасение революции», «демократический мир». Мне были понятны и доступны ранние слова: спасение родины, мир победный, а не позорный, а эти «перлы» я отказываюсь понимать, вернее, они недоступны моему пониманию.

Вторник, 26 сентября 1917 г.

Опубликован новый состав коалиционного Министерства. Железнодорожная забастовка продолжается. В Петрограде в настоящее время разыскивается свыше 18000 скрывшихся преступников. Вот-то весело! Предполагается ввести «специально-натуральную» повинность по несению ночной охраны: все жильцы дома обязаны будут определенный срок ночью дежурить на улице. Тоже недурно.

В газетах много объявлений о скупке старинных вещей. Тяжелое впечатление производит описание убийства матросами «Петропавловска» своих четырех офицеров. До какого озверения могут дойти русские люди!

Понедельник, 2 октября

Уехал с мамой в Москву. На вокзале спокойно, паники никакой. Приехали в Москву с опозданием на три часа — потеряно было все утро. С продовольствием в Москве тоже плохо. Всюду тройные хвосты, в особенности, на чай, табак и молоко. Трамваи переполнены «товарищами». В ресторанах масса жидов. На трамваях висит раненые из лазаретов: в туфлях и больничных халатах. Живописная картина.

[1] Позднейшая приписка автора дневника.
[2] Она уходит от товарищей!
[3] М. И. Терещенко — министр иностранных дел Временного Правительства.

Четверг, 5 октября

Вернулся из Москвы.

Суббота, 7 октября

Сегодня открытие Предпарламента.

Воскресенье, 8 октября 1917 г.

Вчера был опубликован Указ о роспуске Государственной Думы, о чем Родзянко[1] узнал только из газет. Началась разгрузка Москвы и «уплотнение» в ней квартир. Если маме и папе удастся получить разрешение на проживание в Москве — они туда переедут.

Умерла баронесса Крузенштерн. Мне очень жаль: она была всегда чрезвычайно приветлива и гостеприимна. Вчера открылся Предпарламент — Временный Совет Российской республики.

15 октября 1917 г., воскресенье

Опять масса слухов о готовящемся выступлении большевиков. Скверные вести о настроении «революционной армии», которая, по словам Керенского в закрытом заседании Комиссии по Обороне, походит на «разбойничью банду». Недурное определение русского христолюбивого и победоносного воинства.

Если бы Россия продолжала бы войну — враг был бы уже сломлен, теперь же, как бы война ни кончилась, Россия выйдет обессиленной и истощенной, а главное, **надолго деморализованной**[2]. Россия захлебнулась в потоке слов всяких союзов, комитетов, совещаний, заседаний и пр. Всюду происходят самосуды, что, впрочем, вполне естественно, когда нет настоящего правосудия.

Керенский изволил отбыть в Ставку: быть опять беспорядкам и чехарде назначений. Раньше у нас была Александра Федоровна, а теперь Александр Федорович! Острота не моя. Когда Керенский уезжает из Петрограда, на Зимнем Дворце спускается заменивший Императорский Штандарт красный флаг. Это факт, а не анекдот. Какой мерзавец Керенский! Неужели он избегнет виселицы или самосуда?

16 октября 1917 г., понедельник

По понедельникам у меня бывает хорошее настроение — нет газет, но к вечеру газеты выходят, и настроение совсем падает. Сегодня все известия печальны и тревожны. Немцы разгромили итальянцев. Голод надвигается. В провинции усиливается анархия. Все большевики постепенно выпущены на свободу.

19 октября, четверг

Совещание армии Северного фронта требует вывода петроградского гарнизона. Большевики, с Троцким во главе, натравливают гарнизон на Временное Правительство, приписывая ему инициативу вывода войск. Троцкий старается во славу Германии. Только и разговоров, что о готовящемся завтра или в ночь на воскресенье выступлении большевиков. Будут арестованы члены Временного Правительства, начнется избиение буржуев, обыски, грабежи и прочее. «Красная Гвардия», т. е. вооруженные рабочие, будут творить насилия во имя свободы и ради «углубления революции».

На вокзалах наплыв дезертиров, на окраинах бродят толпы пьяных матросов. Милиция блещет своим отсутствием. Главнокомандующий Петроградским Военным Округом издает приказы, которых все равно исполнять не будут. Приказ говорит о пресечении вооруженных выступлений и погромов и недопущении самочинных обысков. Исполнительный комитет 1-й армии говорит: **«Солдаты в тылу обратили свободу в бесчинства, а революцию в погромы»**. Керенский удрал в Ставку в предвидении беспорядков и большевистского выступления.

Во время Японской войны говорили про японцев: «Они нас минами да минами, а мы их молебнами». Теперь же можно сказать про большевиков: «Они нас пулями да пулями, а мы их воззваниями, воззваниями». Как мне осточертели все эти лозунги, и прочая «революционная» ересь.

20 октября 1917 г.

Назначенное на сегодня большевистское выступление, как и следовало ожидать, еще не состоялось.

Остроумное замечание одного простого вагоновожатого про обесценивание денег: «Скоро придется кредитки носить в корзине, а провизию — в портмоне».

21 октября 1917 г., суббота

Настроение тяжелое. Работоспособность равняется нулю. Трудно сосредоточиваться на каком-либо деле, когда ежедневно может начаться новая катавасия.

22 октября, воскресенье

Генерал Алексеев хорошо характеризует положение: армия дезорганизована, тыл бездействует, промышленность умирает, железные дороги останавливаются, одна часть населения голодает, а другая зарывает хлеб в землю или перегоняет его на водку. Корень зла не в анархии, а **в безвластии**.

23 октября, понедельник

Большевистская гроза, по-видимому, приближается, и не сегодня-завтра разразится. **Каша заваривается:** Петроградский Совет Солдатских и Рабочих Депутатов образовал Военно-Революционный Комитет и настаивает на передаче этому Комитету всей власти.

24 октября 1917 г., вторник

Начало нового переворота. Учрежденный Военно-Революционный Комитет захватил в свои руки право распоряжения войсковыми нарядами. Распоряжения Главнокомандующего требуют санкционирования Комитетом. Временное Правительство постановило привлечь

[1] М. В. Родзянко — председатель Государственной думы.
[2] Здесь и далее подчеркнуто автором.

[1] Подчеркнуто автором — здесь и далее.

Военно-Революционный Комитет к ответственности. Руки коротки.

Обедал в Английском офицерском собрании. Англичане, как всегда, спокойны, но злы. В четверг посол собирался ехать в отпуск в Англию, теперь, конечно, не уедет.

25 октября 1917 г., среда

Ночью из Кронштадта пришли «Аврора» и миноносец и стали в Неве у Николаевского моста. С утра очень тревожно. Каждые полчаса все новые и новые известия. Большевиками занят ночью почтамт и Телеграфное Агентство, а утром Мариинский Дворец и Государственный Банк. Предпарламент (или Предбанник, как его называли) разогнан. Захвачены типографии «Биржевых Ведомостей» и «Русской воли». К вечеру войска стянуты к Дворцовой площади. Стоит броневики, войска все на стороне Военно-революционного Комитета. Керенский утром бежал в действующую армию, покинув женщин (батальон) и детей (юнкеров) на произвол судьбы. Вечером Зимний Дворец обстреливался из орудий из Крепости и с «Авроры» и ночью занят. По слухам члены Временного Правительства арестованы, исправно исколочены и отвезены в Петропавловскую крепость. Дворец разгромлен и разграблен. Над беззащитными юнкерами творят зверства. При мне дали по шее безоружному юнкеру ни за что ни про что.

В 3 часа в Министерстве финансов появился комиссар Военно-Революционного Комитета некий Менжинский [1]. В министерский кабинет были приглашены товарищи министра и начальники отдельных частей, которым Комиссар заявил об аресте Бернацкого [2], обратился от имени Военно-революционного Комитета с просьбой продолжать спокойно работать и выразил при этом надежду, что чиновничество будет аполитично. «Я знаю,— прибавил он,— что между вами нет пролетариев и бедных крестьян, тем не менее, чиновники могут работать на общее дело».

Все присутствовавшие молча выслушали это обращение и хотели покинуть кабинет, когда И. П. Шипов [3] обратился к Менжинскому «за указанием» по какому-то делу. Далее последовали выступления Кузьминского, Дементьева и других.

Между тем, товарищ министра Хрущев узнал по телефону, что Бернацкий вовсе не арестован, а заседает в Зимнем Дворце; Хрущев извелся: вернулся в кабинет и сказал Менжинскому: «Вы лжете и не имеете никакого права здесь находиться!». Менжинский несколько смутился, но, тем не менее, остался и имел в министерстве пребывание до двух часов ночи.

Временное Правительство не унывает и обратилось к фронту с особым воззванием о происходящих событиях, указывая на необходимость прекратить восстание в Петрограде, являющееся ударом в спину армии. Временное Правительство возложило на Кишкина особые полномочия по восстановлению порядка в Петрограде. Воззвание заместителя Министра-Председателя Коновалова взывает: «Граждане! Спасайте родину, республику и свободу! Вы должны помочь Временному Правительству». На этот раз, но уже слишком поздно, забыли упомянуть о революции и ее спасении и углублении.

Дотанцевались!

25 октября 1917 г., среда [1].

Осада Зимнего Дворца началась в 9 вечера. Тогда же начали обстрел. «Аврора» дала несколько боевых и холостых выстрелов. Один снаряд попал в дом № 13 по Демидову переулку в родильный приют. Со стороны Морской обстрел Зимнего Дворца начался в первом часу ночи. В Кредитной Канцелярии полопались стекла [2]. У Мариинского Дворца, на Гороховой у Красного моста и на Полицейском мосту баррикады. Сегодня в нашей Канцелярии и в канцелярии министра большая агитация, в какой форме реагировать на переворот.

Четверг, 26 октября 1917 г.

В ночь на сегодня Временное Правительство приказало долго жить! Керенский удрал из Зимнего Дворца на фронт еще вчера утром, остальные министры арестованы ночью в Зимнем Дворце и, говорят, порядком взбиты. Так им и надо, достаточно натворили глупостей, пускай теперь расплачиваются. Жаль, что Керенский удрал, а не повешен.

Видел утром результаты ночного боя и взятия Зимнего Дворца: окна Дворца пробиты пулями, карниз сорван снарядом с «Авроры» или из крепости. Перед Дворцом со стороны площади блиндаж из штабелей дров. Окна в Главном Штабе пробиты, отчасти полопались. На Невском стоят захваченные трофеи — учебные орудия Михайловского артиллерийского училища. Банки и большинство магазинов по-прежнему, как вчера, закрыты; окна заколочены ставнями. Пережил тревожную ночь, т. к. мне дали знать, что с 12 часов «Аврора» начнет бомбардировать Зимний Дворец. Т. к. Временное Правительство сдалось, бомбардировка не состоялась.

Так временно окончилась вторая революция. Странно читать сегодня в утренних газетах посмертные воззвания Временного Правительства. Троцкий заявил вчера в Петроградском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов: «Власть, возглавляемая Керенским была мертва и ждала лишь удара метлы истории, которая должна была ее смести!» (очень остроумно сказано). В заседании участвовали Ленин, Зиновьев...[3] Совет Республики (Предпарламент) был очень вежливо разогнан. Вообще большевики пока ведут себя очень приветливо.

В 2 часа ночи с 25 на 26 октября Зимний Дворец был занят большевиками, разграблен и изгажен. Дворцовая церковь превращена в аборт [4], а церковная завеса украдена.

Всероссийский Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов открылся вчера, в среду, в 11 часов вечера в составе 560 делегатов, из коих 250 большевиков. На заседании меньшевики протестовали против захвата власти большевиками накануне съезда Советов. Ночью же происходило пленарное заседание Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих и солдатских депутатов и Исполнительного Комитета Крестьянских Депутатов. Председательствовал Гоц [1]. Дан [2] в докладе своем назвал предпринятое большевиками выступление — преступлением перед народом, армией и революцией. Вполне с этим согласен.

В противоположность этому ночное заседание Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов носило явно большевистский характер. Председательствовал Троцкий (Бронштейн), объявивший Совету о победе большевиков, низложении Временного Правительства, аресте министров, роспуске Предпарламента. Собрание бурно приветствовало Ленина, Луначарского, Зиновьева и прочих столпов большевизма.

Образовался «Всероссийский Комитет Спасения Родины и Революции» из представителей Временного Совета Республики, Петроградской Городской Думы, ЦИК Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, ЦИК Совета Крестьянских Депутатов и других, призывающий не признавать власти насильников. Выясняется, что кладовые Зимнего Дворца разгромлены, серебро расхищено, ценный фарфор перебит. Женский батальон затащен в казармы Павловского полка и изнасилован. Юнкера посажены в Петропавловку. Терещенко сильно избит. Поделом.

Опубликован **декрет о мире.** Министр Внутренних дел Никитин обратился по телеграфу к губернским, областным и городским комиссарам, призывая их поддержать Временное Правительство. Обращение это — лишь судороги предсмертной агонии.

Продолжение следует

[1] В. Р. Менжинский (1874—1934), первый нарком финансов; с 1926 — председатель ОГПУ.
[2] М. В. Бернацкий — министр финансов Временного Правительства.
[3] И. П. Шипов — управляющий Госбанком.

[1] Автор иногда датирует свои записи тем же самым числом.
[2] Кредитная канцелярия находилась вблизи Зимнего дворца.
[3] Предложение не закончено.
[4] Отхожее место.

[1] А. Р. Гоц (1882—1940) — один из лидеров партии С.-Р.
[2] Ф. И. Дан (1871—1947) — один из лидеров меньшевиков.

Вернисаж «Седьмой тетради»

Алла КОРОБЦОВА

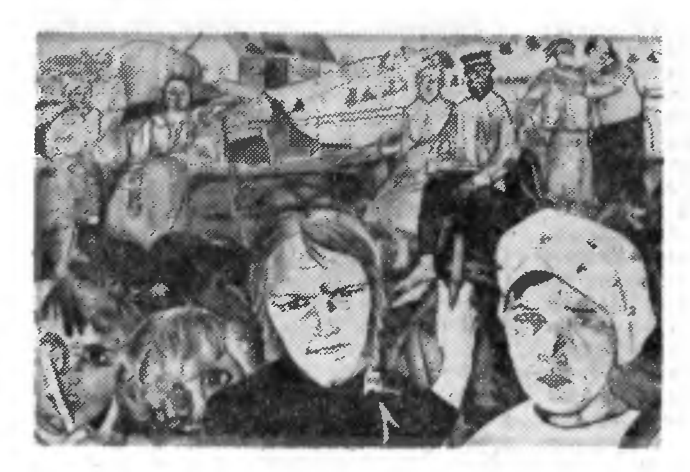
«РАСЕЯ» БОРИСА ГРИГОРЬЕВА

В России революция — дрогнула мати сыра земля,
замутился белый свет...

Артем Веселый

Пятьдесят лет назад в Ницце, вдали от родины, в возрасте пятидесяти двух лет, умер русский живописец и график Борис Дмитриевич Григорьев. Он мнил себя когда-то первым художником на свете и очень хотел, чтобы так же думали о нем и в России. «Я, брат, полубог, и это понял, наконец, мир. Пора бы и на родине об этом узнать. Я требую к себе внимания и любви, я права все приобрел на это»,— так писал он, несколько наивно и самонадеянно, другу в 1926 г. Но таким он был, художник Борис Григорьев. Вот свидетельства о нем двух его современников, людей одного круга, схожих вкусов, друзей еще со знаменитой петербургской гимназии К. Мая. Константин Сомов о Григорьеве: «Дешевый порнограф с лицом полотера». Александр Бенуа: «О, это лицо Григорьева! Сколько было в нем внутренней неусыпной встревоженности и, в то же время, сколько детскости и нежного напряженного внимания». Отношение, как видим, разное, но оба художника сходились в одном: в признании бесспорного дарования Бориса Григорьева.

Почему в дневнике изысканного и ироничного Сомова появилось такое определение? Порнографом Григорьев никогда не был. Но художника часто привлекали образы людей, представляющих как бы иную, как бы оборотную сторону жизни. Бродяги, проститутки, гуляки становятся излюбленными его героями. Беспощадную правду он стремится сочетать с эстетизированной стилизованной формой. Уродливые проявления жизни силой его искусства преображаются и даже становятся а какой-то мере привлекательными. Но не только эти сюжеты занимают его. Среди работ Григорьева фрески артистического подвала «Привал комедиантов», городские сценки, портреты. В. Мейерхольд и М. Добужинский, фотограф М. Шерлинг и коллекционер А. Коровин — характеристика образов острая и подчас неожиданная. Ф. Шаляпин — тревожный, сложный ритм драпировок, пристальный, напряженный взгляд, во всем облике гениального певца недоверчивость сочетается с властной жесткостью. «Что мне кажется правдою,— то и есть правда, я в это верю очень и никого не слушаюсь, не подсахариваю и не



Земля народная

льщу — в этом весь я»,— это строчки из письма художника Шаляпину. Ироничное, гротесковое видение, виртуозное мастерство рисовальщика, ощущение драматизма времени — характерные особенности искусства Григорьева. Основа его художественного языка — гибкая, точная линия, то тонкая и изысканная, то переходящая в пятно. В живописи ему удается сохранить силу и остроту карандашных набросков, обогатив их выразительностью цвета.

Осенью 1917 г. на выставке в Академии художеств были показаны первые работы из серии «Расея», созданные Григорьевым сразу после февральской революции. Они висели в большом светлом зале под гигантскими копиями фресок Рафаэля и производили, по словам А. Бенуа, впечатление «головы Горгоны», «...многих охватил одновременно с восторгом от явной талантливости и род ужаса». Не святая Русь Васнецова и Нестерова, не ядевл духовной чистоты крестьянских образов Венецианова, не страдающая и вызывающая сострадание забитая Россия передвижников,— совсем иная Расея глядит с рисунков и холстов Григорьева. Девочка, с тревожным и злым взглядом исподлобья, обнимающиеся девки, дремучий бородатый старик, опирающийся на плетень молодуха с равнодушными, какими-то оловянными глазами... Дремлющая огромная внутренняя сила в тяжелых недоверчивых взглядах, неподвижных, словно окаменелых лицах. Что-то звериное а глазах людей и почти человеческие глаза животных. Зритель забывает об эстетизации, главное здесь — страстное желание понять и выразить происходящее. «Реально не до иллюзии. Реально до жути».

Б. Григорьев ни своим происхождением, ни образом жизни, ни мировоззрением не был связан с деревней. К этому должно прибавить, что и социальная активность была ему чужда. «Я не люблю политику и считаю это дельцем панельным»,— слова одного из писем Григорьева. Но при всем этом чуткий глаз большого художника и послушная ему рука помогли запечатлеть образ эпохи. Вот как писал об этом времени в романе «Голый год» Борис Пильняк: «Революцию творит народ; революция началась как сказка. Разве не сказочен голод и не сказочна смерть? Разве не сказочно умирают города, уходя в XVII век и не сказочно возрождаются заводы... Пахнет полынью — потому что сказка...» Даже описание одного из героев Пильняка можно соотнести с персонажем картины Григорьева «Олонецкий дед»: «Лицо старика походило на избу, как соломенная крыша падали волосы, подслеповатые глаза смотрели на запад, как тысячи лет. И в этих глазах было безмерное безразличие,— или быть может мудрость веков, которую нельзя понять... вот — подлинный русский народ...».

В работах серии постепенно нарастают черты гротеска. Деформация лиц, раньше имевшая даже своеобразную красоту, становится отталкивающей. Но и в этих работах есть нечто завораживающее, какая-то внутренняя притягательная сила. «Проклятие прошлого он почувствовал, проклятие войны, голода, грязной, отвратительной жизни он почувствовал, а заветы будущего остались ему невнятны. Тем, кто не жил вместе с нами, кто придет ЗА НАМИ, этот памятник скажет больше, чем любая книга»,— писал критик Павел Щеголев.

Рисунки и холсты «Расеи» были частично показаны на выставках «Мира искусства» в 1917 и 1918 годах и на Первой государственной свободной выставке произведений искусства 1919 года. Они были изданы отдельным альбомом в Петрограде (1918) и в Берлине (1921, 1922). Работа над серией продолжалась...

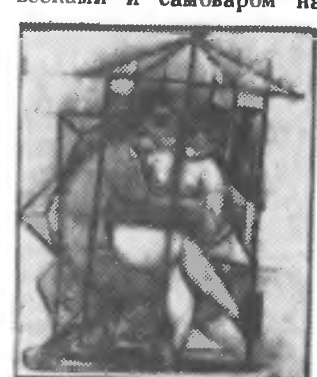
Россия отошла, как пароход
От берега, от пристани
отходит.
Печаль, как расстояние,
растет...

Арсений Несмелов

В 1919 г. Борис Григорьев навсегда покидает родину. Он не мыслит своей жизни без карандаша, бумаги, холста и красок и мечтает о нормальных условиях для работы. Все остальное тогда казалось ему не столь уж важным.

В течение последующих двадцатя лет Григорьев будет подолгу жить во Франции и в США. Он будет преподавать в Академии изящных искусств в Чили и объездит почти всю Южную и Центральную Америку. Побывает в Аргентине, Перу, Бразилии, Уругвае. Но художник не забудет Россию и еще вернется к своей «Расее».

Осенью 1922 г. на гастроли за границу приехали актеры Московского художественного театра. Они привезли спектакли по пьесам М. Горького «На дне», А. Чехова «Вишневый сад», А. Толстого «Царь Федор Иоаннович» и инсценировку по роману Ф. Достоевского «Братья Карамазовы». В 1923 г. в Париже выйдет книга «Лики России». Она будет посвящена МХАТу и Борису Григорьеву, работы которого помещены в ней. В. Качалов, К. Станиславский, И. Москвин, В. Лужский, О. Книппер-Чехова и другие известные актеры театра позировали художнику в гриме своих персонажей. Художника интересуют в первую очередь не они сами, а скорее образ роли в представлении каждого. Связующим звеном между портретами служат лаконичные зарисовки деревенского пейзажа и незатейливого сельского интерьера с цветастыми занавесками и самоваром на



Этюд



Ф. И. Шаляпин

лавке. Эти легкие, зафиксированные на бумаге воспоминания художника дополняют общее впечатление и делают портреты актеров неразрывно связанными с Россией.

Своеобразным продолжением цикла «Расея» можно считать и карандашный портрет А. Керенского. Рисунок выполнен в схожем художественном ключе в Париже в 1924 году.

Эта работа хранится в настоящее время в частном собрании. Привез ее в Ленинград реэмигрант, бывший актер петербургского театра «Кривое зеркало», выступавший под псевдонимом Икар. Портрет А. Керенского в трактовке Б. Григорьева лишен романтического ореола, но он и не карикатурен. Отношение художника к модели сочувственно-ироническое. И в этой работе мастера главенствующая роль отводится линии, изысканной, подчеркнуто артистичной. Фон листа — легко намеченный русский городской пейзаж с церковью, деревом и классическим портиком. По коротко стриженной голове Керенского бодро шествует с винтовками несколькими штрихами намеченный рабочий отряд.

Своеобразным завершением серии можно считать портрет М. Горького (1926 г.). Григорьев считал его одной из лучших своих работ. Для него Горький всегда был связан с Россией.

«Расея» Бориса Григорьева стала своеобразной художественной летописью времени. Мысленно собранная воедино, она дает более сложное и возможно более полное представление о революционной эпохе.



А. Ф. Керенский

В поисках истины

В № 3 и № 4 «Невы» за 1988 год был опубликован «Апокрифический диалог» доктора исторических наук Л. Н. Гумилева. С того времени в редакцию идут отклики. В № 12 за тот же год мы напечатали один из таких откликов (его автор А. М. Чехет), прочие направили Л. Н. Гумилеву с тем, чтобы он после их изучения ответил своим оппонентам на страницах журнала. Этого пока не произошло. А читатели весьма настойчиво, некоторые даже в сериях писем требуют разъяснения «темных», с их точки зрения, мест «Апокрифического диалога». Все множество их вопросов сводится в конечном итоге к одному, сформулированному А. Быковым (Казань): «Л. Н. Гумилев так ярко расписал прелести золотоордынского ига, что хочется спросить: для чего же Русь с оружием в руках сбросила это „братское“ иго?»

Число писем на темы «Апокрифического диалога» достигло критической величины. В ожидании всеобъемлющего ответа Л. Н. Гумилева на мучительные для читателей вопросы мы решились опубликовать одну из интерпретаций тех событий, о которых шла речь в материале Л. Н. Гумилева. Ее автор Светлана Бондаренко обосновала появление еще одного «Диалога» так: «Сейчас открылось много горькой правды о последних семидесяти годах нашей истории, и не удивительно, что люди готовы поверить любой версии, готовы принять любые разоблачения. Добрый десяток лет занимаясь изучением истории средневековой Руси, прихожу в ужас от мысли, что хотя бы часть из полумиллиона читателей «Невы» думает: «Учебники врут, не было ига!»

Светлана БОНДАРЕНКО

ДИАЛОГ С ДОКТОРОМ НАУК

Доктор наук. — В Древней Руси отрицательное отношение летописцев к татарам появилось не в XIII веке, а столетие спустя.

Автор. — В 70-х годах XIII в. была написана «Повесть об убиении в Орде князя Михаила Черниговского»: «Мнози грады попленены быша, иже и доныне их места стоят пуста, и многы монастыри и села от того нечестивого Батыева пленения запустеша и ныне лесом зарастоша». А вот что писал в 1274 г. Серапион Владимирский: «Кровь, аки вода многа, землю напои, множайша же братия и чада наша в плен ведени быша, красота наша погыбе, труд наш погании наследоваша, земля наша иноплеменникомъ в достояние бысть». Да, это звучит сдержанно, но отнюдь не положительно.

Чтобы лучше разобраться в истории монгольского ига и того, что оно принесло Руси, давайте обратимся к образованию Монгольской империи, к великому завоевателю Чингису.

Д. н. — Чингис защищал свой народ от могучих и беспощадных соседей, которых ему удалось временно разбить.

А. — Темучин был сыном известного багатура, слава отца и собственная удаль сплотили вокруг него воинов. В союзе с ханом забайкальского племени кераитов Темучин разгромил своих родовых врагов — татар и вел успешные войны с соседними народами. После ожесточенной борьбы за власть съезд монгольской знати в 1206 г. провозгласил его великим ханом. По обычаю, он принял новое имя — Чингис. Ведя беспрерывные захватнические войны, Темучин создал империю, включавшую собственно Монголию, Северный Китай, Южную Сибирь, Среднюю Азию и Закавказье. Разросшееся государство не было монолитно, оно делилось на улусы, армия же всецело подчинялась самому властителю.

Своей жестокостью завоеватели наводили ужас на народы. Историк Ибн Аль-Асир, современник Чингиса, свидетельствует: «Они ни над кем не сжалились, а избивали женщин, мужчин, младенцев, распарывали утробы беременных и умерщвляли зародыши».

Д. н. — А Вы обратите внимание на то, с кем воевал Чингис, его дети и внуки. Кроме захватчиков чжурчженей, только с кочевниками.

А. — Получается, что к кочевникам Вы относите даже русских! Предки тувинцев, имевшие благоустроенные дороги, горные выработки и оросительную систему; енисейские кыргызы, народ талантливых кузнецов и литейщиков, обладавший собственной письменностью; тангуты, печатавшие книги с резных деревянных досок — можно ли называть их кочевниками? Монголы обрушились на Северный Китай и в 1215 г. взяли Пекин. Китайцы были оседлым народом, не так ли?

Д. н. — Долгую войну с Китаем вызвала сама династия Сун, пытавшаяся отнять у монголов земли, завоеванные ими у чжурчженей.

А. — Допустим, что хотя бы формальная причина для нападения на Китай была. Но как Вы объясните завоевание монголами Кореи?

Д. н. — В Корею они действительно вошли и обложили ее данью. Вошли и в Индию, преследуя отступивших хорезмийцев, и тут же ушли.

А. — Какое удачное словцо — «вошли». Итак, в 1219 г. почти 200-тысячная армия «вошла» в Среднюю Азию. Цветущие *земледельческие* районы Семиречья были превращены в пастбище, ирригационная система разрушена.

Д. н. — Средняя Азия и Иран были разорены сначала сельджуками, а потом хорезмшахами, опиравшимися на племя канглы (печенеги). С ними-то монголы и воевали.

А. — Население Бухары было перебито почти поголовно, а город разграблен. 30 тысяч ремесленников и искусных мастеров Самарканда были обращены в рабство, молодые девушки розданы воинам. Отрар, Ходжент, Балх, Мерв, Ургенч... Не стоит и пытаться изобразить опустошение этого края как войну кочевников с кочевниками. К тому же, Чингис этим не удовлетворился — отдельная армия под начальством Джебе и Субедея вдоль южного берега Каспия вышла в Закавказье.

Д. н. — В 1223 г. монголы, воюя с половцами, послали им в тыл 30 тысяч воинов. Они прошли через Кавказ с боями, подвергаясь нападениям грузин и осетин.

А. — Ваши «скромники», вынужденные с боями прорываться к половцам, опустошив Северный Иран, вторглись в Азербайджан, разрушая селения и города. Разбив объединенное грузино-армянское войско, монголы все же были вынуждены покинуть пределы Грузии. Тут, просто-таки поперек дороги у них оказалась столица Ширвана — Шемаха, которую они (само собой) взяли штурмом. (До конца XIV в. Азербайджан, Восточная Грузия и Армения платили дань и должны были давать в монгольские войска до 20 % мужского населения.)

Выйдя в Предкавказье, монголы не смогли сломить соединенные силы алан (осетин) и половцев. Тогда они отправили половцам дары с напоминанием о единоплеменности и упреками за поддержку чужого народа. Однако как только монголы расправились с аланами, мирный договор был нарушен. Покорив семь народов в окрестностях Азовского моря, монголы вторглись в Крым и взяли Сурож. Остатки разгромленной половецкой орды ушли тем временем за Днепр; кочевавшие там половцы, почувствовав опасность, обратились за помощью к русским князьям.

Д. н. — Тогда все южнорусские князья выступили на их защиту.

А. — Да, и это вполне понятно, ведь, к примеру, князь Галицкий был женат на дочери хана Котяна, а князь Смоленский был сыном половчанки. Хотя дело не только в этом — половцы, не получив поддержки, могли навести монголов на Русь, чтобы обезопасить себя.

Начало битвы было неудачным для монголов, 8 дней они отступали. Но переправа через Калку обернулась катастрофой для русских, и едва 1/10 часть войска вернулась домой.

В последующие годы монголы захватили низовья Волги с крупнейшим торговым центром Саксином, овладели Волжской Болгарией, разрушив ее ремесленные города, покорили мордву, буртасов, башкир. Осуществлялось принятое курултаем в 1235 г. решение об общемонгольском походе на запад. И вот в ноябре 1237 г. на восточной границе Руси появилась хорошо вооруженная, легко передвигающаяся, невиданно многочисленная конная армия.

Д. н. — Батый с войском в 30 тысяч всадников, выступив против половцев, действительно прошел через княжества Рязанское, Владимирское и Черниговское. При этом была разрушена Рязань и 14 городов во Владимирском княжестве. Полагаю, что «нашествие» Батыя было на самом деле большим набегом, кавалерийским рейдом.

А. — Батый выставил против Руси минимум 120 тысяч воинов, из них 40 тысяч собственно монголов. Замечу, что спасшиеся половцы осели в основном под Киевом, и воевать с ними на территории северо-восточной Руси не было никакой необходимости.

Рассмотрим повнимательнее то, что представляется Вам простым набегом. Разорив до основания Пронск, Бел, Ижеславец, монголы разрушили Рязань: «Несть бо ту ни стонюща, ни плачюща, но вси вкупе мертвы лежаща, ови побьени и посечены, а ины позжены, ины в реце истоплены». В начале 1238 г. в битве у Коломны погибла почти вся владимирская рать. Пали Коломна, Москва, Суздаль, стольный Владимир, Городец, Кострома, Галич Мерьский, Тверь, Торжок, Ростов, Ярославль и многие другие города. Юрий Всеволодович с остатками владимирских, ярославскими, юрьевскими и угличскими полками сделал еще одну попытку и встретил врага на р. Сить. Войско потерпело поражение, князь Юрий погиб. Не дойдя 100 верст до Новгорода, монголы, отходя на юг облавой, захватили окраины Смоленского и Черниговского княжеств. Смоленску удалось отбиться, а вот небольшой город Козельск...

Д. н. — Действительно, этот трагичный эпизод выпадает из ряда прочих, но объяснить его можно. В 1223 г. князья убили

монгольских послов. Среди инициаторов убийства был Мстислав, князь черниговский и *козельский*. По монгольскому обычаю, советчики князя, а также их родня отвечают за содеянное князем зло. Русские это знали, и за семь недель осады никто не прислал подмоги Козельску, хотя тогда на Руси было не менее 100 тысяч воинов.

А.— Во-первых, трудно предположить, что все горожане были советчиками князя или их родней. О том же, что творилось в Козельске после того как монголам удалось проломить стены, ясное представление дает тот факт, что без вести пропавшего малолетнего князя Василия сочли утонувшим в крови! Во-вторых, это отнюдь не выпадающий из ряда эпизод: о трагической судьбе Рязани я уже говорила, во Владимире жители были перебиты «до сущего младенца», по дороге к Новгороду монголы «секли всех людей как траву». В-третьих, в сражениях у Коломны и на Сити погибли основные войска северо-восточной Руси — ни о каких 100 тысячах не может быть и речи. В-четвертых, редкий из русских городов выдерживал более 1 — 2 недель обороны, так как монголы не просто осаждали, но вели непрерывные изматывающие атаки, сменяя отряды, и горожане падали от изнурения. Семь недель беспримерной обороны! Кто знал, что Козельск осажден? Кто знал, что он продержится так долго? На эти вопросы ответа нет. Кто мог помочь? Только южные города Чернигов и Новгород-Северский, но до них было более 300 километров по весенней распутице.

Д. н.— Войско Батыя в 1237—1238 годах прошло через Русь в тыл половцам, с которыми монголы вели войну.

А.— Опять Ваше замечательное «прошло»! Лето 1238 г. Батый провел в придонских степях, осенью сжег уцелевшие в первый заход рязанские города. Весной 1239 г. разгромил Переяславское княжество, осенью Чернигово-Северские земли. В 1240 г., когда половцы уже получили в Венгрии земли для селения, разрушил крепости по р. Рось, Витичев, Васильев, Белгород, Киев. В 1241 г. разгромил Галицко-Волынские земли и вторгся в Польшу, где подвергшиеся нашествию области остались почти без населения. Затем он совершил опустошительный поход в Венгрию, Чехию и Австрию. К лету 1242 г. монголы вышли к границам северной Италии, а в центре Европы, достигнув Вены и чешского города Оломоуца, оказались близ границ Германии. Когда Батый повернул на восток, Западная Европа избавилась от кошмара и облегченно вздохнула. Разгромив Хорватию и Сербию, сделав своей данницей Болгарию, подчинив междуречье Дуная и Днестра, монголы вернулись в приволжские степи. Если следовать Вашей логике, то весь этот погром был учинен исключительно в поисках половцев!

Д. н.— После похода, когда война закончилась, языческие монголы с русскими дружили.

А.— Значит, все-таки была война? Война, длившаяся 4 года.

В первой половине XIII в. Русь находилась на подъеме. Ее экономика и культура достигли значительных высот. Сельское хозяйство обладало обширным фондом старопахотных земель, окрепли города, были освоены более 100 ремесел, создавались выдающиеся литературные произведения, шедевры монументального и прикладного искусства. Русь поддерживала политические, торговые и культурные связи со многими странами Европы и Азии. И что же? Батый уничтожил и угнал в плен тысячи людей. В культурных отложениях городов, принявших на себя страшный удар, обнаружены слои сплошных пожарищ и сотни скелетов со следами ран — трупы некому было собрать и захоронить. Больше двух третей городов и укрепленных поселений были разрушены, почти треть из них так и не смогли преодолеть последствий нашествия — либо вовсе перестали существовать, либо превратились в поселки. А сколько сгинуло тогда сел и деревень, никто и не знает.

Поля были засеяны костьми, на площадях бывших городов гулял ветер. Недурное основание для самой нежной дружбы! А чтобы ни у кого не возникли сомнения в теплых отношениях, монголы до конца века обрушили на Русь еще 6 крупных походов и около десятка менее значительных.

Д. н.— Константинополь, естественный союзник Руси, был взят и разрушен крестоносцами. Без друзей жить нельзя, и тогда возник *союз* полухристианской Орды и христианской Руси, эффективный до перехода хана Узбека в ислам в 1312 году. Неужели непонятно?

А.— Непонятно. Особенно то, откуда Вы взяли полухристианскую Орду. Вот что пишет католик, побывавший у монголов в 1246 г.: «Приносят жертвы идолам, сделанным из войлока и шелковой ткани, считая их покровителями скота; обожают солнце, огонь, луну. Преклоняют колена, обращаясь лицом к югу. Славятся терпимостью и не проповедуют веры своей; однако ж принуждают иногда христиан следовать обычаям монгольским. Вельможи и богатые имеют до ста жен». Как-то это все не по-христиански, не правда ли? Самой распространенной религией в Средней Азии и Поволжье был ислам. Брат Батыя хан Берке был мусульманином, вслед за ним приверженцами этой религии стали многие. Согласитесь, что странным было бы принятие ислама в полухристианской стране.

А теперь — о «друзьях», без которых вполне можно прожить. Ярослав, брат великого князя Юрия, погибшего на Сити, занял *по праву* Владимирский стол, но был призван в ставку хана, где вынужден был признать вассальную зависимость и получил ярлык на великое княжение. В 1247 г. посол папы римского к хану Джованни ди Плано Карпини писал: «В наше время Гуюк и Батый прислали на Русь вельможу своего с тем, чтобы он брал от двух сыновей третьего; но сей человек нахватал множество людей без разбору и переписал всех жителей как данников, а не платящие должны быть рабами монголов». В 1249 г. Орда восстановила два великих княжения, дав Владимир Андрею, а Киев — Александру Ярославичам.

Князь Андрей заключил антиордынский союз с галицким и тверским князьями, но задуманное не удалось, и Андрей бежал в Швецию, сказав: «Лутчи ми есть бежати в чужюю землю, неже дружитися и служити татаром».

Князь Даниил Галицкий пытался держать себя независимо, завязал сношения с папским престолом для общего выступления против монголов. Но в 1250 г. хан призвал его к себе. Галицкая летопись свидетельствует: «О злее зла честь татарская! Ныне князь сидить на колену и холопом называется, и дани хотять». В 1254 г. Даниил пишет папе римскому: «Рать татарская не престаеть зле живущи с нами».

Эх, не понимали князья, что монголы им только добра желают! Чуть позже выяснилось, что народ тоже не понимает: 1257 г.— восстание в Новгороде, 1262 г.— восстания в Ростове, Ярославле, Суздале, Владимире, Переяславе, 1289 г.— изгнание вечем ордынцев из Ростова, 1293 г.— восстание в Твери и так далее.

Непонятно — кто же на Руси был другом Орды?

Д. н.— Великороссия, тогда именовавшаяся Залесской Украиной, добровольно объединилась с Ордой: благодаря усилиям Александра Невского. А уплата дани началась двадцать лет спустя, благодаря дипломатическим переговорам Александра Невского с ханом Берке.

А.— Зачем и почему Вы бросаете тень на Александра Ярославича? Он стал великим князем Владимирским в 1252 г. после того, как собранные его братом Андреем владимирские и тверские войска были разбиты ратью Неврюя. Гордый победитель шведов и немцев видел невозможность обескровленной Руси сражаться с монголами и, забыв самолюбие, ездил на поклон в Орду, где, пользуясь благосклонностью Батыя, сумел добиться освобождения русских от обязанности поставлять людей в войска. И до смерти Батыя северо-восточные княжества (в отличие от южных) не платили дани. Но Батый умер. В 1257 г. *по всей Монгольской империи* проводилась перепись населения с целью совершенствования системы взимания дани. Новгородцы отбились, но через два года переписали и их.

Постоянная дань дополнялась «запросами», кроме того, платили отчисления от торговых пошлин, подворную и ямскую повинности, «кормление» ханских чиновников — всего 14 видов дани, плюс необходимые «подарки» как на местах, так и при вынужденно частых поездках князей в Орду. Это ли свидетельство дружбы? Это ли Александр добровольно предложил монголам?

Его современник знал истинную цену этого князя: «Александр не остави пути отца своего за люди своя, за тыя же много пленения прият». Александр Ярославич умер в возрасте 42 лет так же, как и его отец,— на обратном пути из Орды.

Д. н.— Руси угрожал немецкий натиск, и Александру Невскому найти союзника было *жизненно необходимо*.

А.— Князь мог найти союзника в лице Литвы, яростно сражавшейся с немцами и наносившей им жестокие поражения. Да и сами русские — были ли они так уж слабы? 1234 г.— новгородско-суздальские войска разбили немцев около Юрьева, 1237 г.— Орден вторгся в юго-западную Русь, отброшен галицкими войсками, 1242 г.— Ледовое побоище, 1262 г.— сын Александра Ярославича с новгородцами взял приступом Дерпт, укрепленный тремя стенами, 1268 г.— объединенные русские войска в битве под Раквере нанесли немецким и датским рыцарям сокрушительное поражение.

Итак, Александр Невский был столь напуган этим регулярно побеждаемым врагом, что бросился в объятия прошедших по Руси огнем и мечом «друзей»? Странный князь и странный народ, прославлявший его.

Д. н.— Там, где татарской помощью пренебрегли, потеряли все. Исконная Древняя Русь — Белоруссия, Киевщина, Галиция с Волынью — почти без сопротивления подчинились Литве и Польше.

А.— Вот как? Видно, заботясь лишь о безопасности русских, монголы в 1261 г. потребовали срытия укреплений городов Галицко-Волынского княжества, несомненно повысив их обороноспособность.

Давайте обратимся к фактам. Княжество Литовское, собранное твердой рукой Миндовга, из разрозненных уделов стало единым государством. Междуусобия затихли, а значит, образовался некоторый резерв военных сил. У Литвы было два соседа — Орден и Русь. Первый был еще слишком грозен, другое дело Русь, чьи силы были подорваны монгольским хозяйничанием. Постоянные пограничные

стычки, приносившие победу и добычу то одной, то другой стороне, сменяются литовским наступлением. Впрочем, земли приобретались не только силой оружия, но и мирным путем, в том числе брачными союзами. Небезынтересно, что государственным языком Литвы в XIV в. был русский, на нем писали указы и книги.

В 1362 г. князь Ольгерд совершил удачный поход — разбив монголов на Синих Водах, захватил Киев. Тем не менее его сын Владимир, оставленный наместником, платил дань монголам. Дальнейшему расширению в восточном направлении мешало усилившееся Московское княжество, и Ольгерд отправил брата к хану с просьбой дать войско против Москвы. Предотвратить выступление литовско-монгольских объединенных сил удалось, срочно подав Чжанибеку жалобу на захват литовцами «царева улуса» — западнорусских земель.

Сын Ольгерда — Ягайло заключил союз с ханом Мамаем, надеясь увеличить свои владения к востоку. Однако силы русских на Куликовом поле оказались значительны, и литовский князь предоставил союзника его судьбе. В то же время на стороне великого князя Дмитрия, получившего за это сражение прозвище Донского, бились родные братья Ягайлы Андрей Брянский и Дмитрий Полоцкий.

Что же касается Польши, то в 1324 г. после смерти братьев, владевших Галицко-Волынским княжеством, польский король Владислав Локетка писал папе римскому: «...Кончина двух последних князей российских, бывших для нас твердою защитою от свирепости татар... Мы будем в величайшей опасности». Но уже в 1340 г. Казимир начал захват Галиции, на что ему понадобилось десять лет.

Вообще взаимоотношения Литвы и Польши с монголами вопрос особый. Пока же отметим, что литовской помощи ждал Мамай в 1380 г., в битве на Ворскле в 1399 г. войскам Тимур-Кутлука противостояли объединенные силы князя Витовта и Тохтамыша, соединения с польско-литовскими войсками ждал хан Ахмат в 1480 г.

Д. н.— Русские люди называли золотоордынского хана «царем». Вспомните летописный текст: «Скончался добрый царь Джанибек».

А.— Термин «царь» применялся по отношению к византийскому императору и монгольскому хану и соответствовал титулу «император». Ну, а «добрым» Чжанибека могли называть и по сравнению с правившим до него ханом Узбеком, который, убив в 1318 г. в Орде Михаила Тверского и его сына, продолжал истребление русских князей до своей смерти в 1341 г. По его повелению были убиты Дмитрий Грозные Очи, Александр Новосильский, Василий и Иван Рязанские, Федор Стародубский, Борис Дмитровский, Александр Тверской с сыном. Даже Иван Калита, пользовавшийся расположением хана и получивший ярлык на великое княжение, перед выездом в Сарай написал завещание: «Не зная, что Всевышний мне готовит в Орде, куда еду, оставляю сию душевную грамоту...». Не было покоя при Узбеке русским землям. Летописи того времени пестрят сообщениями «о многом зле от ордынцев»: ограбление церквей в Ростове и взятие Костромы, сожжение Ярославля, насилия в Твери и рать против Смоленска.

При Чжанибеке наступило пусть относительное, но спокойствие. Могли называть этого хана «добрым» и по сравнению с тем, кто пришел ему на смену — с его сыном Бердибеком, захватившим власть, убив отца и 12 братьев, и приславшим посла с угрозами и требованиями к русским князьям. Внутренние обстоятельства Орды не позволили тогда Бердибеку выступить в поход.

Но в 1382 г. Тохтамыш привел в исполнение его замысел.

Д. н.— Тохтамыш совершил набег на Москву, поддерживая своих союзников — суздальских князей Василия и Семена Дмитриевичей, Олега Рязанского и многих других бояр, противников разрыва русских княжеств с ханом.

А.— Во-первых, от набега пострадала не только Москва, было опустошено все великое княжество. Во-вторых, Вы напрасно объявляете названных князей противниками разрыва, тем самым приписывая им страстное желание восстановить даннические отношения с Ордой. Ведь после Куликовской битвы Русь не платила хану, и Тохтамыш пришел за данью. Да Вы только взгляните на этих князей! Олег Рязанский готов был пустить монгольское войско на Москву, с которой враждовал. К тому же горький опыт многих десятилетий показывал, что значительная часть ордынских набегов совершается либо на Рязанские земли, либо через них, что не многим лучше. Впрочем, и покорность не помогла. Отступая, Тохтамыш жег и убивал в Рязанском княжестве и заставил самого Олега скрываться.

Василий же и Семен были посланы с дарами к вторгшемуся в русские пределы хану своим отцом Дмитрием Нижегородским. Князь Дмитрий в 1367 г., защищая Нижний Новгород, одержал победу над Булат-Темиром. Но владетелю пограничного княжества приходилось быть осторожным, поэтому он не вмешивался, когда на Русь шли большие силы. Итак, Василий и Семен были задержаны Тохтамышем и должны были уйти с ним в Орду. После смерти князя Дмитрия его сыновья получили от хана Суздаль — часть отцовских земель, так как Нижний был отдан

их дяде. Но и после этого Василий оставался в Орде заложником. В 1386 г. он пытался бежать, был пойман и «принял великую истому». Через некоторое время, однако, ему удалось умилостивить хана и вернуться домой, где он с братом, презрев ханскую грамоту, отнял Нижний Новгород у дяди.

Такие вот были «союзники».

Д. н.— Россия в XV веке унаследовала высокую культуру Византии и татарскую доблесть, что поставило ее в ранг великих держав.

А.— К византийской культуре русские приобщились еще в X в., стало быть, следующие пять веков они дожидались татарского наследства? Это уж слишком! Неужели Вы ничего не знаете о взятии Цареграда, о победах над хазарами, печенегами, половцами? Напомнить ли о Невской битве и Ледовом побоище? А Киевская оборона 1240 года, когда монголы захватили город лишь на 93-й день непрерывных атак? И как быть с Куликовской битвой — русские полки тогда ведь еще не унаследовали доблести?

Разъединенность наших княжеств, а не отсутствие доблести подчинила Русь монголам. И в долгие десятилетия ига сначала восстания, а затем и прямое военное сопротивление свидетельствовали о том, что даже подвергнувшись страшному разорению, лишившись многих своих сыновей, страна не потеряла доблести.

Добавлю — в ранг великих держав Россия не встала в XV в., а вернулась, так как была вырвана оттуда татаро-монгольским игом.

Д. н.— Слово «иго» в значении «господство», «угнетение» впервые зафиксировано лишь при Петре I в 1691 году.

А.— «Не взяты ли грады наши? не истреблены ли князи? не отведены ли в плен семейства? не томимся ли ежедневно от *ига* безбожных и нечестивых врагов?» — так писал в 1275 г. митрополит Кирилл.

Д. н.— Русско-татарская дружба была благотворна.

А.— Удивительно, умные и образованные люди той эпохи никак не желали замечать эту столь очевидную для Вас дружбу. При изложении событий 1275 г. летописец сообщает: «Тогда бо бяху вси князи в воли татарской». А в 1319 г.: «И поиде в Орду к царю, яко же преже бывши его князи имеаху обычай тамо взимати княжение великое». В дружбе обе стороны равны, здесь же ничего подобного не было. Ордынские ханы получали с Руси дань, ставили и снимали князей, казнили их при желании, посылали свои отряды в набеги на наши земли. Да и чем отличалась Русь от прочих захваченных монголами государств?

Рассмотрим чуть подробнее и благотворность. О гибели городов и подрыве основ сельского хозяйства было уже сказано. Граница земледелия отодвинулась на север, южные благодатные земли получили название «Дикое поле». По описанию патриарха Пимена, даже после Куликовской битвы к югу от Рязани некогда культурные области лежали в состоянии полного запустения. Русские люди, угонявшиеся в Орду, частью оставались там в качестве слуг и рабов, частью продавались в другие страны. В работорговле Золотой Орды с Египтом, Сирией, Францией и Италией основным товаром были женщины. На западноевропейском рынке самая значительная сумма (в 15 раз выше обычной цены) была заплачена за семнадцатилетнюю русскую девушку.

Хотя такие крупные центры, как Новгород, Псков, Полоцк и Смоленск уцелели, все же в общерусских масштабах во второй половине XIII в. наблюдается упрощение и даже исчезновение многих технических приемов, известных ремесленникам до нашествия. Важным достижением было широкое производство стекла — бус, браслетов, сосудов и оконного стекла, но монгольское разорение привело в глубокий упадок и эту отрасль. Пропало мастерство резьбы по камню. На несколько десятилетий прекратилось каменное строительство.

Вновь и вновь повторялись грабительские набеги ордынцев с увозом хлеба и скота, уводом людей, уничтожением сел и разорением городов.

Они наносили серьезный ущерб и без того подорванной нашествием русской экономике. И дань, которую Русь выплачивала Орде, была отнюдь не символической.

Все это, говорите Вы, во благо...

Д. н.— Зачем называть братский народ потомками «диких грабителей»? Да, они воевали жестоко. Но эта жестокость была вполне в духе того времени. Просто татары воевали более удачно, чем их враги. Можно ли их обвинять за это?

А.— Нет, конечно. Но не надо трагические страницы нашего прошлого представлять в идиллических тонах. Русь была завоевана армиями разноязычных народов, во главе которых стояли монголы. Сумела выстоять, сохранить государственность и вернуть себе независимость. И... перешла к завоеваниям: Казанское, Астраханское, Сибирское и Крымское ханства были покорены Россией.

Мы не оскорбим никого, сказав о том, как пострадала Русь от нашествия и ига — ведь это правда.

Изыскания

С. ШОЛОМОВА

«С ВРУБЕЛЕМ Я СВЯЗАН ЖИЗНЕННО...»

Александр Блок о Врубеле

О психологической близости двух крупнейших мастеров культуры начала XX века — Блока и Врубеля — говорит многое — документы, скупые строчки писем, отдельные факты, события, даты. Но ни творческим рукописям, ни дневникам и письмам, ни признаниям современников не под силу раскрыть сложной гаммы влияний, духовных тяготений и связей мира Поэта с миром Художника, не раскрыть в их исчерпывающей полноте и сложности. Речь идет о глубинных законах духовного родства в творчестве. К постижению этих законов можно лишь приближаться...

4 апреля 1910 года. Из письма Александра Блока к матери: «Ты знаешь из газет, что 1-го апреля умер Врубель. Я видел его в гробу в первый раз...». По стечению обстоятельств на похоронах с прощальной речью выступил только Блок. Отчего так? Частичный ответ — все в том же письме: «Приходил перед одной из панихид Ге и просил меня от имени своей матери говорить речь на могиле. Я и сказал единственную речь...». В письме упоминается приятель поэта по университету Николай Петрович Ге, племянник Врубеля. Мать Ге — Екатерина Ивановна — родная сестра жены художника. Фрагменты ее воспоминаний о Врубеле были опубликованы уже летом 1910 года и в них о выступлении поэта можно прочитать: «...стал говорить Блок. Его речь — длинная, красивая, похожа, может быть, на картины Врубеля».

Слово поэта было вдохновенно и произвело сильное эмоциональное впечатление на присутствующих, особенно на близких художника. В архиве М. А. Врубеля (рукописный отдел Русского музея) сохранились листы с текстом надгробного слова Блока, переписанные чьей-то неизвестной рукой. Там же среди многочисленных некрологов, газетных вырезок хранится фотография, где у свежей могилы видно строгое и печальное лицо поэта. Оно выделяется из общего круга, и это объяснимо. Кончина художника воспринималась поэтом как огромное личное горе: в духовной жизни Александра Блока Врубель занимал заветное место, и место это очень значительно.

Похороны Врубеля в сознании многих современников не отделимы от имени поэта, от его выступления. Так, дочь П. В. Третьякова писала художнику И. С. Остроухову: «Вообще было очень хорошо. И на кладбище, и на краю поля — гора венков. Блок говорил, а прямо над головами жаворонки заливаются». Жизнь угасла, но жизнь и продолжалась. Художественный обозреватель газеты «Речь» Ростиславов отмечал: «Не помню таких прекрасных и благородных похорон, как похороны Врубеля. Не было и тени грандиозности... но не было и привкуса улицы, толпы, общей дешевой популярности, которая является уделом общепризнанных любимцев... шли только избранные и прикосновенные, т. е. для которых покойный был драгоценен непосредственно по внутреннему восприятию изумительной красоты и трогательности всего облика художника-страдальца». Выступление Блока он назвал «звучным стихотворением в прозе». Спустя четыре года в сборнике «Аргонавты», изданном в Киеве, можно было прочитать еще одно признание современника: «О „Демоне“ рассказывал над могилой Врубеля Александр Блок, рассказывал нежно и убедительно — как истый поэт».

В библиотеке Блока сохранился один из поэтических сборников Игоря Северянина с необычным текстом дарственной надписи. Читаем: «Поэт! Я слышал Вас на похоронах Врубеля. Незабвенна фраза Ваша о гении, понимающем слова ветра. Пришлите мне Ваши книги, я должен познать их». И Блок послал Северянину свой последний сборник.

С 8 апреля 1910 года поэт приступает к редактированию текста речи о Врубеле, считая, что слово, произнесенное на похоронах, нужно «совершенно переделать». Почти два месяца он отдает этой важной для него работе, заново переосмысливая и судьбу художника, и те категории, над которыми задумался впервые (что есть «гений»? какова природа «вдохновения»?). 3 июня работа Блока «Памяти Врубеля» окончательно завершена и отправлена по предложению художника Степана Яремича в киевский журнал «Искусство и печатное дело». Уже в августе того же года статья появилась в печати.

Яремич был убежден, что любой, кто посвящает свою жизнь беззаветному служению искусству, кто, как он писал, «взял на себя подвиг искусства, тот найдет в жизни Врубеля великий образец, опору и утешение». Этим убеждением пронизана каждая строка книги Яремича о Врубеле, вышедшей к первой годовщине со дня смерти художника. Книга написана страстно и увлеченно.

Одним из тех, для кого Врубель являл собой «великий образец» и пробуждал мысли о таинстве и природе творчества, о сложных путях развития таланта, кто одним из первых прочитал книгу Яремича с карандашом в руках, был Александр Блок.

Его общение с Яремичем было непродолжительным, но творчески взаимообогащающим. После первой их беседы Блок написал матери 8 апреля 1910 года: «С Врубелем я связан жизненно и, оказывается, похож на него лицом — вчера Яремич приносил много рисунков и автопортретов его...».

Яремич высказывал мысль о том, что острому и проницательному уму Врубеля удалось постичь мужественную в своей простоте истину, что «все земное и есть самое прекрасное наше достояние, со всеми его праздничными и мрачными сторонами, со всеми радостями, болями и противоречиями. Из противоречий сплетается жизнь и в неизбежном конце получается наивысшее гармоническое разрешение проблемы бытия». Но разве это мудрое прозрение можно отнести только к одному Врубелю? Этим пронизаны многие дневниковые записи Александра Блока.



4 апреля 1910 года поэт Борис Садовский написал стихотворение, посвятил его Блоку. В нем лирический герой имеет явное сходство с врубелевскими образами. Стихотворение начинается словами: «В груди поэта мертвый камень, И в жилах синий лед застыл. Но вдохновение, как пламень, Над ним взвевает ярость крыл». Это не единственный случай поэтического посвящения Блоку, навеянный художественными образами Врубеля. Так, стихотворение Игоря Северянина, написанное уже после кончины поэта, содержало такие строчки: «Красив, как Демон Врубеля, для женщин он лебедем казался...». В сознании автора образ Александра Блока был неотделим и от имени самого Врубеля, и от образа главного произведения художника.

На творческое сходство Блока с Врубелем, хотя и совсем в другом плане, раньше всех указывал Андрей Белый. Еще в 1903 году он уловил в них стихийную «врубелевскую глубину» и «неврубелевскую нежность». По его мнению, многие стихи первого тома лирики Блока содержат «сродство к Врубелю». И у художника, и у поэта «душа чудесное искала» и стремилась этот поиск воплотить различными выразительными средствами. У обоих наблюдается особая глубина в постижении сложного.

Первое прикосновение к творчеству Врубеля запомнилось Блоку навсегда. 21 ноября 1902 года написаны строки, навеянные живописным образом Демона: «Я надел разноцветные перья...». Близость символов очевидна. В феврале 1903 года на очередной выставке «Мира

искусства» экспонировались картины Врубеля «Царевна-Лебедь», «Демон сидящий» и другие. На поэта картины произвели настолько сильное впечатление, что репродукция «Царевна-Лебедь» впоследствии появилась в его кабинете в Шахматове. Картина пленила Блока загадочностью и поэтичностью. А в петербургском его кабинете стояла майоликовая статуэтка работы Врубеля, приобретенная Любовью Дмитриевной. Скульптурное воплощение образа Волховы, необычайно живописное, напоминало о праздничности искусства. Вообще художественные образы Врубеля создавали атмосферу эмоциональной приподнятости, они как бы приподнимали зрителя над миром будничных забот и интересов, заставляли задуматься над вечными категориями Добра и Красоты, Жизни и Искусства.

Год от года будет меняться и усложняться духовный мир поэта, но отношение к творчеству Врубеля останется незыблемым. Приобщение к миру Врубеля было у Александра Блока многолетним. Началось оно, пожалуй, со знакомства еще в ранней юности с юбилейным изданием Лермонтова, где впервые строки «Демона» с иллюстрациями Врубеля явили удивительный синтез слова и линии. Одно было конгениально другому. Л. Д. Блок признавалась, что иллюстрации буквально «пронзили» ее.

Весной 1904 года поэт написал стихотворение «Дали слепы, дни безгневны», в примечаниях к которому в первом томе лирики он признавал: «...написано под впечатлением живописи Врубеля». В стихотворении словно сосредоточено несколько смысловых уровней. Поэтические образы необычайно зримы и живописны. Особенно проникновенны заключительные строки, в них ощущается нежелание автора смириться с трагедией, постигшей художника, теряющего творческую волю, энергию, зрение, даже рассудок. «Что мгновенные бессилья? Время — легкий дым... Мы опять расплещем крылья, снова отлетим! И опять в безумной смене, рассекая твердь, встретим новый вихрь видений! Встретим жизнь и смерть!».

В слове «мы» угадывается чувство неотъединенности судьбы автора от судьбы художника. Обоим близок и понятен полет духа, крылатость творческих устремлений и воплощений. В черновых набросках стихотворения встречается словосочетание, где «брат к брату» обращается с призывом «откинуть сон безгневный». Да, они — собратья по Духу, по общему мироощущению жизни, по осознанию собственного предназначения в жизни.

В 1906 году в статье «О лирике» Александр Блок сравнивает поэта-лирика с художественным воплощением лермонтовского героя. Он пишет: «Среди горных кряжей, где „торжественный закат" смешал синеву теней, багрецы вечернего солнца и золото умирающего дня, смешал и слил в одну густую и поблескивающую лиловую массу,— залег Человек, заломивший руки, познавший сладострастие тоски, обладатель всего богатства мира, но — нищий, ничем не прикрытый, не ведающий, где преклонить голову. Этот Человек — падший Ангел — Демон — первый лирик». Характерен вывод статьи: «Проклятую цветную легенду о Демоне создал Врубель, должно быть глубже всех среди нас постигший тайну лирики и потому — заблудившийся на глухих тропах безумия...» Блок и сам ощущает в себе черты, которые сближают его с Лермонтовым, и с Врубелем, глубоко проникшим в «тайну лирики». И вновь Блок употребляет слово «мы». Мы — это все поэты-лирики! Мы — это и то поколение творческой интеллигенции, которое в первое десятилетие XX века стремилось «ничему так не верить, как только тому, что пропоет стихотворение или скажет музыка», или что «просияет с полотна картины, в штрихе рисунка».

И Михаил Врубель, и Александр Блок стояли в преддверии будущего и принадлежали одновременно и своему кризисному времени, и будущему. Поэтому, быть может, их творчество так близко и понятно потомкам. Блоковские образы Ангела-хранителя, Пророка, Демона, Художника постоянно менялись, росли и укрупнялись и рождали обобщения огромной силы.

Мысль Врубеля о том, что «искусство призвано будить от сонной одури мелочей величавыми образами», была особенно дорога и созвучна Блоку. Его, как и Врубеля, глубоко возмущало, что чаще всего «человеку близка жвачка мелкого и будничного натурализма», которую многие по недомыслию принимают за проявление подлинного искусства.

В очерке «Безвременье» Блок затрагивает тему «безумия», непосредственно «возникающую из пошлости паучьего затишья» действительности. Поводом для такого разговора с читателем послужил рассказ Леонида Андреева. От единичного и частного Блок переходил к обобщениям с широким охватом российской культуры. Возникал вывод, что «нота безумия» пронизывает буквально всю русскую литературу и особенно усиливается в первые десятилетия XX века. Не удивительно, что поэт упоминает и о неповторимых «безумных врубелевских портретах», несущих приметы своего времени, сколь бы фантастичны и оторваны от грубой действительности они ни были. В них Александр Блок обнаруживал органичное смысловое единство с отдельными образами Достоевского. Как некогда дух Лермонтова и дух Достоевского не ведали покоя, так и творческий дух Врубеля постоянно напряжен и сосредоточен на своей думе о природе демонического и трагического в жизни человека. И от этих дум нет покоя художнику. Острое состояние непокоя, а порой мятежа, внутренней тревоги делает его особенно понятным и близким Александру Блоку, убежденному в том, что «душа всякого художника полна Демонов», а жизнь — есть постоянные борения и преодоления бесчисленных химер. Трагизм вечных дум и терзаний неизбывен в жизни. Быть может, именно потому так широко и жутко распахнуты глаза врубелевских героев? Они будоражат воображение, волнуют душу, смущают беспамятное течение мыслей. Природа гения обусловила появление его героев. Для их воплощения требовалась полная самоотдача и непоколебимая сосредоточенность. Творчество требовало «сжигания» земной жизни. К осознанию этой неотвратимой истины Александр Блок пришел постепенно.

В мае 1910 года он написал восьмистишие, впоследствии ставшее широко известным:

Как тяжело ходить среди людей
И притворяться не погибшим,
И об игре трагических страстей
Повествовать еще не жившим,
И вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали гибельный пожар!

Стихотворение написано в то же время, что и статья «Памяти Врубеля».

В декабре 1909 года умирает отец поэта. За этим событием последует целая цепь потерь, сделавших Александра Блока старше и мудрее. По семейным преданиям Достоевский однажды назвал Блока-старшего «Демоном», и этой «легендой» поэт втайне очень гордился. Печальное событие заставило Блока задуматься не только о судьбе отца, но и о судьбе целого поколения. К этому поколению принадлежал и Врубель, который был всего на четыре года младше профессора Блока. Оба они учились у знаменитого А. Д. Градовского на юридическом факультете в Петербургском университете. У них было немало черт, по-своему сближавших их. Единичное вело к пониманию общего, а оно в свою очередь помогало понять общечеловеческое. Внутренний трагизм этих судеб, их заблуждений и исканий усугубляло время рубежа столетий. Все бури и душевные катастрофы, вся вера и отчаяние людей конца XIX века, увидавших начало XX, по убеждению Александра Блока, должны были войти в обобщающий образ героя поэмы «Возмездие». Возникает многомерность поэтических аллегорий и образов, идет смешение черт лирического героя и конкретной реальной судьбы. Даже самые ранние наброски поэмы рассказывают о сложнейших поэтических ассоциациях, о непреложных законах художественной фантазии. Жизнь воспринималась как проявление творчества, а творчество как единственно возможная форма жизни.

1910 год для Блока полон душевных переживаний. Смерти Веры Комиссаржевской, Льва Толстого, Михаила Врубеля сразу осиротили его. Девять лет спустя в предисловии к поэме «Возмездие» Блок напишет: «С Комиссаржевской умерла лирическая нота на сцене. С Врубелем — громадный личный мир художника, безумное упорство, ненасытность исканий, вплоть до помешательства. С Толстым — умерла человеческая нежность, мудрая человечность». Так были четко сформулированы качества, которые поэт ценил выше всего.

Сравнение чернового и белового вариантов статьи «Памяти Врубеля» делает понятным появление отдельных прозрений поэта. Начальные строки черновика подобны доверительному разговору: «Я никогда не встречал Михаила Александровича Врубеля и почти не слыхал о нем рассказов. И жизнь его, и болезнь, и смерть почти закрыты для меня — почти так же закрыты, как от будущих поколений». В окончательной редакции элементы личного восприятия максимально исключены. Их заменяют рассуждения о жизни и смерти, о природе гениального и бессмертного. В тексте аналитичность соседствует с поэтичностью, единичное с обобщенным; отдельные мысли поражают своей пронзительностью.

Осмысливая угасшую жизнь, поэт задает себе вопрос: что же такое гений? Ответ полон метафор и сложных поэтических ассоциаций. Это даже не ответ, а скорее размышление «по поводу». Блок пишет: «Гениален, быть может, тот, кто сквозь ветер расслышал целую фразу, сложил слова и записал их...». И далее: «Кто расслышал, не может слушаться, суждено ли ему умереть на рубеже или увидеть на кресте распятого сына, или сгореть на костре собственного вдохновения... Он уходит все дальше, а мы, отстающие, теряем из виду его и нить его жизни с тем, чтобы следующие поколения, взошедшие выше нас, обрели ее, заалевшую над самой их юной и кудрявой головой».

Жизнь гения принадлежит будущим поколениям в большей степени, чем его современникам. Александр Блок приходит к неожиданному выводу. Он заключает: «Творчество было бы бесплодно, если бы конец творения зависел бы от варвара-времени или варвара-человека». Эта важная для него мысль в первоначальном варианте отсутствовала. Речью на похоронах Блок прежде всего стучался в сердца

тех, кто, как и он, переживал потерю художника, и потому его слова имели эмоциональную напряженность и наполненность. Блок говорил: «Врубель потрясает нас, ибо в его творчестве мы видим, как синяя ночь медлит и колеблется побеждать, предчувствуя, быть может, свое грядущее поражение...». Поэт словно оправдывается: «Я говорю образно, но то, что я хочу сказать о Врубеле, кажется, еще и не может быть сказано логично: слов еще нет, слова будут...».

«...В художнике открывается сердце пророка...». Образ Пророка символизировал могучий творческий дух художника, страстно стремившегося к полноте воплощения мечтаний. Пророк — это непременно великий мечтатель, романтик, исполненный возвышенных идей и надежд.

Сравнение чернового варианта речи и окончательного варианта статьи «Памяти Врубеля» показывает, ч е м именно Блок дорожил в творчестве художника, ч е м был обязан ему. В докладе «О современном состоянии русского символизма» поэт признавался: «Если бы н обладал средствами Врубеля, я бы создал Демона, но каждый делает то, что ему назначено...». Из всех художников-современников, талантливых и самобытных, Александр Блок более всего тяготел к Врубелю, понимая его выбор героем именно Демона. Поэт пытается создать собственную философскую и этико-эстетическую трактовку «демонизма» в искусстве. «Демоническое» у Блока разрушает косность и несет «мятежи», «неслыханные перемены», «попирание заветных святынь». Образ Демона символичен по самой своей природе и заключает в себе одну из художественных возможностей постижения смысла бытия. Указывая на множество миров искусства, которые подвластны творцу прекрасного, поэт убежден, что «в тех мирах нет причин и следствий, времени и пространства, плотского и бесплотного и мирам этим нет числа: Врубель видел сорок разных голов Демона, а в действительности их не счесть».

С мыслью о Врубеле Блоком написан целый ряд поэтических произведений в 1910—1916-е годы. В них ощущается спрессованность и философская глубина поэтической мысли. Стихи отличаются зрелостью и выстраданной мудростью. Если в прозаических строчках Блока — там, где упоминается имя Врубеля, речь идет о проблемах художественного творчества, то в поэтических — это чаще всего переосмысление образов Пророка и Демона, их преображение в сознании поэта. Это — своеобразная живопись словом. Все конкретней звучит мотив слабеющей творческой воли и острое неодолимое желание пробиться к Свету. В трактовке образа Демона ощущается смешение разных состояний творческого духа поэта: «...там все игра огня и рока, и только в горький час обид из невозвратного далека печальный ангел просквозит». Возникает мотив высокой трагедии преодоления кризиса индивидуализма.

9 ноября 1911 года, напряженно работая над первым вариантом поэмы «Возмездие», он сделал в дневнике запись: «На днях я видел сон: собрание людей, комната, мне дают большое покрывало и я — к р ы л а т ы й д е м о н, начинаю вычерчиаать круги по полу, учась летать, в груди восторг!». И заканчиаается запись словами: «Это не смешно». В поэме в каждой главе незримо присутствуют символы огромных крыльев Демона, иногда эти символы сочетаются с реальными лицами и образами, например, с образом «отца». В начале 1914 года Блок пишет стихотворение, где как отзвук недавних переживаний и переосмыслений возникает прежний и вместе с тем качественно новый образ, рожденный на новом витке самопознания и самораскрытия автора:

Ну что же? Устало заломлены руки,
И Вечность сама загляделась в погасшие очи,
И муки утихли. А если б и были высокие
муки,—
Что нужды? — Я вижу печальное шествие
ночи.
Ведь солнце, положенный круг обойдя,
закатилось.
Открой мои книги: там сказано все,
что свершится.

Круг завершился: лирический герой Блока стал пророком, при этом отягощенный, как каждый простой человек, муками сомнений и преодолений. Поэтический образ «обессиленной руки», ее «заломленности» указывает на «демоническое» начало в герое.

Поэт Валерий Бородаевский вспоминал: «Врубель был задушевной любовью Блока. Великого художника он воспринимал целиком, с его творчеством, характером, с изгибами его капризной и роковой судьбы. Во Врубеле ему мерещился близкий, как бы однотипный с ним человек, чье рукопожатие, будь оно возможно, уже переживалось как счастье».

В 1937 году Н. Рерих, оглядываясь на вереницу пережитых встреч написал очерк под названием «Блок и Врубель», где лаконично и убедительно объяснил суть такого соединения имен. Он писал: «Оба они имели свой самобытный, присущий только им стиль и способ выражения... они совершали земной путь каждый по своей тропе. Но с этой тропы каждый из них видел чудесные дали. И в этих далях было очень много подобного... Оба своим творческим горением и дерзаниями опалили память современников и определили свое Время и Эпоху... Оба были первопроходцами прекрасных и неисчислимых творческих миров...».